

В ЛУЧАХ
ЧУЖИХ ПЛАНЕТ

Борис
ХАЗАНОВ

Борис ХАЗАНОВ

В ЛУЧАХ
ЧУЖИХ
ПЛАНЕТ



РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Борис ХАЗАНОВ

В ЛУЧАХ ЧУЖИХ ПЛАНЕТ

Рассказы, статьи, переводы

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2012

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
X 152

Хазанов Б.

X 152 В лучах чужих планет. Рассказы, статьи, переводы. – СПб.: Алетейя, 2012. – 446 с. – (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-91419-677-3

Заключительный том Собрания сочинений Бориса Хазанова содержит рассказы, очерки, памятные записи разных лет. Книгу завершают избранные переводы работ известных современных западных авторов.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-91419-677-3



9

© Б. Хазанов, 2012
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2012

ALTER EGO

Универсальная грамматика

С чего начать? Начало и конец, как известно, слова одного корня, так что это будет одновременно и рассказ о конце. Мой отъезд совершился без особых трудов: выездная виза представляла собой приказ покинуть страну в кратчайший срок. Билет на самолёт в один конец, шестьдесят долларов в зубы, и катись. Мне дали понять, что если я тотчас же не уберусь, то пускай пеняю на самого себя.

Это было милостивое решение. Да я и не возражал — я больше не мог там жить. Мы дышали азотом. Я говорю: «там», словно это была чужая страна, но она в самом деле стала чужой. В аэропорту, в особом закутке меня заставили раздеться донага. Что они искали? Я был гол как сокол и в прямом, и в переносном смысле. Мой багаж составляли потрёпанный чемодан и портфель. Туда было свалено моё прошлое, точнее, тот скудный остаток прошлого, который разрешалось увезти: две-три книжки, несколько рубашек, бельё, наспех собранное моей женой. Не возбранялось захватить с собой ночной горшок и домашний халат; ни того, ни другого у меня не было. Что касается нематериального имущества, о котором гордо возвестил один старый эмигрант: «Я унёс с собой Россию!», — тут можно было только пожалть плечами. Я мечтал стряхнуть с себя Россию. Когда я показался в последний раз, жена моя — теперь уже бывшая, своевременно подавшая на развод, — стояла за чертой, разделявшей два мира. Мне показалось, что она плачет. Мой сын на проводах не явился.

Ценци встретила меня в Вене. Собственно, её звали Кресценция Аделаида, фамилию называть не буду. В те времена моё имя было известно в определённых кругах; мы познакомились в доме, где собирались эти круги. Что побудило меня принять участие в подпольном журнале? Так вступают в тайную секту или банду взломщиков квартир. Взламывать кое-что пытались и мы. Здесь занимались разоблачением режима — весьма обширное поле деятельности в государстве, где под замком находилось всё, начиная с самого государства. Не могу сказать, чтобы я вполне разделял героический энтузиазм моих товарищей; моё тогдашнее настроение было довольно смут-

ным; я понимал, что ввязался в опасную игру. Но игра манила к себе, в ней было нечто от озорства подростков, лихо сплёвывающих, подрисовывающих усы, бороду и ещё кое-что к священному портрету; игра сулила освобождение от постыдного рабства, обещала веселье, а ведь я по натуре меланхолик и пессимист. При этом я тщеславен — или был таким. Мне было мало моей подпольной славы, я жаждал подлинного признания, притом никак не меньше, чем мирового. Тут явилась Кресценция, чуть ли не при первой встрече объявила, что она моя поклонница, несмотря на то, что по-русски читать не умела. Едва ли знала полтора десятка слов.

В ту пору она приблизилась к роковой черте — 40 лет. Жестокая власть цифр: годы шли, а ей всё ещё было тридцать девять. Я так и не узнал, какую должность она занимала в посольстве: машинистка, секретарша? Удалось ли ей переправить мои сочинения за бутор? Как и возраст, это осталось её маленьким секретом. Скорее всего их перехватили; вскоре, как и следовало ожидать, Кресценция была отозвана из Советского Союза.

Я сошёл в цепочке пассажиров по трапу и поплёлся к зданию аэровокзала. Солнечный день, тишину нарушает рокот самолётов на взлётной полосе; никто мною не интересовался, никто не следил за мной, не требовал предъявить документы. Я был свободен, я был совершенно один, и меня охватило чувство сиротства. Я знал, что никогда не вернусь, никогда больше не увижу высоких, недавно воздвигнутых и уже начавших осыпаться домов вдоль Ленинского проспекта, в одном из которых нам посчастливилось получить двухкомнатную квартиру, не войду через арку во двор с остатками замусоренного газона, не поднимусь по ступеням грязного подъезда, не позвоню в дверь, которую ещё недавно собственноручно обивал красным дерматином. Двинулась лента транспортёра, мимо поехали, подпрыгивая, щёгольские заграничные кофры и саквояжи. Люди вокруг спешили, искали глазами встречающих, обнимались, я слышал восклицания, обрывки разговоров, понимал, хоть и с трудом из-за непривычного акцента, о чём они болтают, и ничего не понимал, не мог бы сказать, кто они такие: богачи, бедняки, дворники, профессора, добропорядочные жёны, девицы лёгкого поведения? Главным и общим для всех было то, что это были *они*, а *нас* больше не существовало. Я стоял, не зная, куда податься, со своим поприглядным багажом, и тут ко мне подбежала Ценци.

Она была типичной баваркой, о чём я научился судить позже: бойкая, маленькая, темноглазая и темноволосая, считается, что такие женщины — потомки римских легионеров. Само собой, католичка. Она купила мне шляпу и новые ботинки и отбыла, обещав прислать офици-

альное приглашение. Далее всё шло как по маслу: добравшись до рубежа, я, как принято говорить о правонарушителях, сдался баварской пограничной полиции, был не без некоторой торжественности препровождён в участок, далее помещён в деревенской гостинице на казённый счёт; приглашение пришло через неделю.

Дом находился в пригородном посёлке или местечке — не знаю, как перевести слово Ort. Сельский городок. Тишина и чистота. За живой изгородью или штaketником, за кустами жимолости и купа́ми деревьев двухэтажные, обшитые тёсом дома с двускатными крышами, на балконах алая герань, на асфальтированных улочках ни души, кто следит за порядком, кто убирает улицы, неизвестно; до станции четверть часа неспешным шагом, до города, где электричка уходит под землю, чтобы соединиться с линиями метро, минут сорок. Мне отвели опрятную комнатку: свежезастланная постель, над изголовьем распятие. Сортир сверкает никелем и кафелем, всё маленькое, как сама хозяйка, и в то же время не по-русски просторное; и всё та же дремотная, благодатная тишь, которую изредка прерывает колокол лютеранской церкви, — после войны, объяснил муж, здесь появилось много беженцев из отторгнутых восточных земель.

Не упомянуть о нём было бы по меньшей мере невежливо. Да что там упомянуть — он сделался чуть ли не главным действующим лицом пьесы, похожей на фарс. Муж был заметно старше Ценци и представлял собой то, что называется Privatgelehrte. Рак-отшельник, самодеятельный учёный. Встретил меня весьма любезно и немедленно удалился к себе.

Он и впредь почти не вылезал из комнатки, заставленной книгами. Над чем он там колдовал? Исчезая за дверью своего кабинета, он как будто переставал существовать. Изредка сверху доносилась игра на пианино; иногда мы гуляли по лесу, довольно быстро перешли на ты. Он не нуждался в собеседниках; ему нужен был слушатель; Ценци учёные занятия мужа не интересовали.

Над чем же всё-таки трудился герр Виллибальд? Я, по крайней мере, понял не сразу, если вообще был способен понять. В те времена я не успел ещё отделаться от привычки обозревать своё новое окружение сквозь толстые литературные очки; мне чудилось в нём что-то почти средневековое, ему не хватало только бархатного берета и мантии доктора Фауста. Имя — тоже, знаете ли... Виллибальд. Может быть, родители были поклонниками Глюка? С тех пор, кажется, это имя никто не носил.

Чернокнижнику положено быть большеголовым, бородатым карликом с кустистыми бровями, с крючковатым носом. Ничего подобного. Вилли был тщательно выбрит, одет со вкусом, под просторным твидо-

вым пиджаком большой живот обтянут в меру пёстрым жилетом, на шее бабочка; это был, крупный, толстый, тяжелолюбёрый мужчина с бычьим затылком, с венцом полуседых волос вокруг импозантной лысины. Я встречал такие пары: массивный супруг и субтильная жена, так что приходит на ум непристойная мысль: как они спят?

Итак, я поселился у них, сперва считалось — временно, до тех пор, пока не подыщу себе жильё, социальную квартиру, что-нибудь такое; Ценци сопровождала меня в учреждение, где в качестве политического эмигранта я получил официальное убежище — разрешение остаться в стране, мне было назначено пособие, пока не найду себе работу. Найти работу: легко сказать... Мало-помалу я превратился из гостя в постоянного жильца.

Чем занималась Ценци? Да, собственно, ничем. Когда-то собиралась (как все девочки) стать балериной. Одно время преподавала английский язык в школе, где познакомилась с Вилли (он был директором гимназии кайзера Вильгельма), потом, как уже сказано, работала в посольстве; изгнанная из Москвы, лишилась и этого места. Завести детей не удалось — может быть, и не хотели; отчасти поэтому у супругов, судя по всему, были приличные сбережения. Вдобавок Валли-балльд получал солидную пенсию. Ценци бегала по местечку, занималась общественными делами, организовала литературный ферейн, нечто вроде кружка немолодых дам, не знавших, куда себя девать. (Мне, правда, не посчастливилось там выступить.) Дом находился на краю посёлка, позади, почти сразу за оградой, кустарник, круто поднимаясь переходит в лес. Тучный Вилли ежедневно совершал там предписанный врачами послеобеденный моцион.

Мы вышли из дому и остановились перед тем, как начать восхождение.

«Я слышу, — сказал он, — ты успешно подвигаешься на педагогическом поприще». Имелось в виду, что у меня, наконец, появилась ученица, пожилая дворянка, обитавшая неподалёку.

Я пожал плечами; жест, который может означать всё что угодно.

«На родине ты тоже преподавал?»

«Никогда. Я самозванец. Занимался, правда, — добавил я, — переводами...»

«Вот как, это интересно. С немецкого?»

«Да. И немного с французского».

«Alors, nous sommes des collègues, un peu. Я ведь тоже, позволю себе заметить, занимаюсь языком... Ты отдаёшь себе отчёт, — спросил он, как спрашивает учитель не слишком многообещающего ученика, — что такое язык?»

Я снова пожал плечами. Мне был неинтересен этот разговор. Но надо, как говорится, держать марку. Мне послышалась в его вопросах снисходительная нотка. Видимо, он считал меня, а заодно и всех моих соплеменников не варварами, нет, — какими-то недорослями.

Решив ответить ударом на удар и заодно блеснуть своим немецким, я изрёк:

«Язык — это внутренний образ мира. А мир — внешний образ языка».

Виллибальд поднял брови, смерил взглядом собеседника; мы стали подниматься. Я понял, что теперь моя очередь задать вопрос.

«Над чем я тужусь. Известно ли тебе... — пролепетал он, задыхаясь, — кто такой был Лейбниц?»

«Допустим».

«Ну, а... — мы, наконец, взошли на горку, — о такой штуке, как Универсальная Характеристика, слышал?»

Я покачал головой.

«Это была его заветная мечта. Восемнадцатый век! Восемнадцатый век в самом начале, собственно, даже ещё раньше... И такая прозорливость».

Но это было, пояснил он, в духе времени. Век универсализма. Мечта о синтезе человеческого знания. Надо было создать некий общий метод изложения идей: представить все истины в виде формул, и тогда можно будет решать любую проблему путём математических преобразований. Закодировать всё знание о мире и человеке, заменить рассуждения выкладками, создать сверхнауку, всеобъемлющее исчисление.

«Проект мира!», — сказал Виллибальд. И погрозил мне пальцем.

Над этим, спросил я, он сейчас и работает?

«Нет, куда там, но — могу считать себя наследником великого Готфрида Лейбница».

Каюсь, надо отдать должное красноречию Вилли: в этой каббалистике начинала меня увлекать. Сколько здесь было истины, сколько фантазии, меня не интересовало. Но в его каббалистике (о которой я сейчас скажу) мерцала особая, мистическая красота.

Я этого ожидал: идея очень подходила Вилли, его затворничеству, загадочным занятиям. Его разглагольствования казались мне очень немецкими. Как и для многих из нас (замечу попутно), эта страна двоилась: да, зелёный, звенящий птичьими голосами край, таинственные закаты, лунный лик Новалиса, лесная чаща, по которой едет опоясанный мечом юный Зигфрид, поэзия, музыка, всё замечательно, но за этим стоял чёрный провал недавнего прошлого; и вот теперь, когда я

поселился здесь, по-видимому, насовсем, надо было основательно протереть глаза, чтобы научиться видеть не литературную страну, а реальную жизнь. Впрочем, я отвлёкся.

«Нет, конечно, проект Лейбница неосуществим. И вообще, исчисление — это одно, а универсальная грамматика — совсем другое, но принцип! Принцип тот же».

Пауза. Виллибальд поднял палец.

«Между прочим, не задумывался ли ты над тем, почему дети так быстро и легко усваивают язык? Ребёнку не нужно зубрить грамматику, склонения, спряжения, ему достаточно понять значение слов, усвоить правила словообразования, чтобы овладеть устной речью. Оказавшись в другой среде, он так же легко научится другому языку, русскому, китайскому, какому угодно. Почему? Потому что грамматическая структура, то общее, что лежит в основе всех языков, уже хранится наготове в его мозгу!».

Несколько осмелев, я спросил: что-то вроде платоновской идеи?

Вилли захлопал в ладоши.

«Хвалю! Именно так: платоновская идея языка. Но что такое вообще грамматика? Это логический костяк языка. А что значит расшифровать грамматику всех грамматик? Это значит расшифровать тайну мира, похороненную в человеческой голове. И теперь спрашивается: кто вложил её в наш мозг, с тем, чтобы она воспроизводилась из поколения в поколение? Кто создал универсальную грамматику? То-то и оно! (Хитрая улыбочка.) Это мог совершить лишь вселенский Разум».

Мы вышли из чащи с другой стороны, там, где, полого спускаясь, извилистая тропа обрывается перед сверкающим на солнце, свистящим от пронсящихся машин шоссе. Опасное место. Такое же опасное, как решение задачи, ради которой предстояло пожертвовать жизнью. Моей скромной задачи, сказал Вилли. Расшифровать универсальную грамматику, проникнуть в святое святых. Я заметил странный блеск в его глазах. Отражение яркого солнца? Да, я в самом деле поддался соблазнительному обаянию его идеи. Инферальной идеи: мнилось мне, за ней мелькает лик дьявола.

Дома оказалось, что у нас гости: приехала Ирма, старинная крещеница подруга. Она вышла из ванной с тюрбаном из полотенца на голове, подставила щёчку для поцелуя Виллибальду. Обед, после чего все разошлись.

Ирмгард была беженкой. Не с Востока, а из Богемии, точнее, из бывшей Судетской области, где отец семейства — трое детей, и все девочки — был помещиком. Пришлось всё бросить, толпы изгнанников тащились по военным дорогам, две сестрёнки и бабушка умерли в пути.

Опишу коротко вечер, затянувшийся далеко за полночь.
Мы услышали шаги.

«В этом доме, и прежде водились привидения, — сказала Ирма. — Значит, он до сих пор ходит?».

Ценци засмеялась. Обе были уже слегка навеселе.

«Предлагаю, — сказала Ирма, — выпить на брудершафт. В конце концов мы коллеги по несчастью».

«Почему же, — возразил я, — для меня это не было несчастьем».

«Но стало?» — хихикнула она.

Ценци подлила нам вина.

«Ich bin Irma».

«Ich bin...» — я назвал своё имя. Подняв бокалы, — prost! — мы сцепились руками, как кренделями, и бодро выпили на брудершафт.

«Ну и как тебе здесь. Хороший дом, а?»

«Хороший».

Снова шаркающие шаги. Он — или оно — подошло к дверям. Мы перестали жевать сыр, за дверью никакого движения, так прошла бесконечная минута. Затем шаги удалились.

«Он пошёл вверх».

«Он растворился во тьме».

«Сейчас прокричит петух».

«Петухи теперь, моя дорогая, бывают только на базаре...»

Ирма вздохнула.

«Он и при мне ходил».

Помолчали.

«Я всё хочу спросить...»

«Да уже спрашивала...» — проговорила Ценци.

«Ты наши бабьи разговоры не слушай», — сказала Ирма.

«У меня от него секретов нет».

«А-а, вот оно что. Понимаю, понимаю...»

«Ты, девушка, пьяна», — сказала Ценци.

«А ты разве нет?»

«Мы просто друзья. Ведь правда?»

Я кивнул.

«И напрасно! — заключила Ирма и уверенно сделала большой глоток. (Я поспешил наполнить чаши обеих дам.) — Молодость-то уходит!»

«Как для кого».

«Я имею в виду... ты ведь говорила, что не спишь с ним».

«С кем, с ним? — Быстрый взгляд в сторону двери. — Ну и что?»

«Мы с ним тоже... сама знаешь. А ты мне вот что скажи, ты вообще-то не жалеешь?»

«Что вышла за него? Нисколько не жалею».

«А я не жалею, что развелась!»

Обе расхохотались. Потом стали шептаться; я взглянул на часы: завтра должны за мной захватить. Это завтра уже наступило. Ровно в 7.30 к калитке подъехала машина, старый грузный Rover. Я уселся рядом с шофёром, он поздоровался коротко, не глядя, он презирал меня. Шофёр был в фуражке, а я нацепил галстук.

Проехав через посёлок, нырнули в короткий туннель под железной дорогой, вскоре показались каменная стена и ворота. Водитель нажал на кнопку дистанционной панели, железные створы неохотно раздвинулись. Гостя встретил злобный кашель боксёра, которого удерживал на поводке человек в форменной курточке; это была старинная, с высокими окнами, одетая плющом каменная вилла, именуемая замком, над подъездом сохранилось что-то вроде герба; я вошёл и поднялся по лестнице.

Frau Gräfin, так полагалось её называть, ждала меня наверху: сухая антикварная дама подстать старинному резному столику, за которым она сидела, в тёмном закрытом платье с кружевным воротничком вокруг шеи, в лиловом шиньоне. При первом визите она показалась мне чопорной, такой я представлял себе баварскую графиню. На самом деле она была скромная, тихая, какая-то потерянная женщина, очень старательная, совершенно неспособная, и терялась, когда я пытался объяснить ей ту или иную несуразность русского языка. Зачем он ей понадобился?

«Самое трудное, — сказал я, — это глагол. Русский глагол имеет всего три времени, не так, как в немецком».

Она испуганно смотрела на меня, приоткрыв маленький рот.

«Но зато имеются виды, совершенный и несовершенный. Они компенсируют бедность прошедшего времени. Например: я писал и я написал...»

Обыкновенно к исходу положенного часа слышалось поскрипывание колёс, в комнату, управляя одной рукой, въезжал в креслекаталке её муж. Тут уж говорить о бедности прошедшего времени не приходилось.

Как ни странно, мы с графом не то чтобы сблизились, — об этом не могло быть речи, — но нашли общий язык. Отчасти оттого, что он видел во мне представителя страны, где воевал, потерял руку, пожалуй, и часть рассудка. Опять-таки не хочу называть его звучное имя; он был родом из Восточной Пруссии, которой теперь не существовало, и принадлежал к далёким временам, когда знать поставляла отечеству затянутых в тесный мундир, сверкающих козырьками и лакированными са-

погами вояк. Урок был окончен, моя ученица записывала домашнее задание. Мне было предложено кофе, графиня накапывала в рюмку бывшему капитану вермахта капли.

Вернувшись, я ещё застал Ирму, она не хотела долго задерживаться. Но я не досказал: вернусь к той весёлой ночной попойке или, лучше сказать, к непристойному намёку, который позволила себе подвыпившая подруга. Разумеется, Ценци, как и положено добродетельной супруге, решительно отмела эту инсинуацию. Ирма, однако, лишь усмехнулась... Мне неизвестно, при каких обстоятельствах совершился брак Ирмагарт и Виллибальда, как протекало супружество и почему они развелись, — давно было дело, — но, по крайней мере, из разговора обеих дам становилось ясно, что «наш общий муж» не стал мужем ни для той, ни для другой. И что же? Да ничего.

«Он не войдёт, — сказала Ценци, — во-первых, он никогда не входит, а во-вторых, это не он, а привидение».

Мы лежали в постели — увы. Покоились, легкомысленно-благодарные, готовясь мирно уснуть после любви, а призрак в долгополом халате бродил по дому. Это продолжалось недолго; он поднялся наверх. Несколько минут спустя мы услышали музыку, Вилли исполнял дивертисмент Моцарта, переложение для клавира. Играл он плохо.

Любил ли я Кресценцию? Мне трудно дать однозначный ответ. Я готов понять мужиков, которым мало одной женщины, но сам я однолюб. Это не порок и не достоинство, а просто черта характера. Я любил по-настоящему только одну женщину — мою жену. Она отказалась (после долгих ночных пререканий и слёз) ехать со мной и, чтобы не носить мою фамилию, подала, как уже сказано, на развод, это был разумный шаг. Не хочу оправдываться, связь с Ценци была — что тут удивительного? — попыткой хотя бы немного поправить вдребезги разбитый внутренний, да и внешний мир, если угодно — удержаться на плаву. Тут, конечно, сыграло роль всё сразу: и обыкновенный мужской голод, и барахтанье утопающего, который хватается за борт подоспевшей лодки. Думаю, что и милая моя Ценци учитывала, так сказать, это обстоятельство.

Женщина — это пристань, дом; звучит тривиально. Стол, постель. Этому предназначению, правда, — не хочу быть циничным, но раз уж зашла об этом речь, — не вполне отвечало телосложение Кресценции Аделаиды: меня всегда привлекали женщины иного типа: широкобёдрые и полногрудые, несуетные, неторопливые, излучающие покой. Но делать было нечего, я поддался её натиску, впрочем, достаточно тактичному. Её любовь — это была для меня, если подвести итог, замена очага и отечества.

Мысли эти возвращают меня, как ни странно, к однорукому графу, мучу моей единственной (как оказалось) ученицы. Спросят: причём тут граф? Причём тут война и отечество... Ах, не всё ли равно.

Невооружённым глазом было видно, сказал он, что сдача Одессы повлечёт за собой и потерю Крымского полуострова, так оно и произошло. Потеря Керчи, Феодосии, уход из главной... «подскажите мне: главная военная гавань...»

«Севастополь» — сказал я. Это были его места. Черноморское побережье и безрадостная крымская степь — такова была в его представлении Россия. Он попал под обстрел где-то возле Джанкоя.

«Отступление, если не провести его своевременно и сухопутным, а не морским путём, будет стоить нам огромных жертв, это тоже можно было предвидеть...»

Жена неслышно вышла из комнаты; он посмотрел ей вслед. Может, они и меня-то решили нанять в учителя, чтобы ему не сидеть одному?

«Да... — вздохнул инвалид. — Вы, мой друг, не можете себе представить, что получается, когда огромной, самой дисциплинированной и самой боеспособной армией командует дилетант, выскочка, недоучка...»

Я заметил, что и нами руководил человек, не имевший военного образования, ни разу не побывавший на фронте.

«Если я правильно информирован, — заметил граф, — вы были врагом режима».

Я пожал плечами.

Он возвысил голос. Жена, как всегда, в тёмном платье с воротничком гимназистки, явилась на пороге. Граф кивнул. Кресло подъехало к резному столику, она расправила и подоткнула плед на его коленях. Чёрная, с золотой этикеткой бутылка воздвиглась. Хозяйка удалилась.

Ветеран сам разлил коньяк по рюмкам.

«Вы думаете, что Германия могла бы выиграть войну?» — спросил я.

«С Россией? Так думали все. Ваше здоровье».

Он ждал вопросов. Мне хотелось кое о чём его расспросить. Я молчал.

«Без сомнения, — сказал он. — Да, вне всякого сомнения мы выиграли бы войну, если бы не этот самовлюблённый болван. Русское население было одурачено марксистской пропагандой. Мы несли ему освобождение. Нас встречали с цветами...»

«Почему же тогда...»

«Почему русские оказали нам сопротивление? Я вам объясню...»

В другой раз он не показывался, я не спросил, почему. Старушка развернула свою тетрадку, где чрезвычайно аккуратно, каллиграфиче-

ским почерком были переписаны упражнения, которые я задавал. Было совершенно ясно, что она никогда не научится языку. Да и педагог, по правде сказать, оставлял желать лучшего. Покончив с уроком, я пил с графиней кофе, поглядывал по сторонам. Она подвела меня к другому столику в углу гостиной, там стояли фотографии двух молодых ребят в военной форме, светлоглазых, светловолосых, с оттопыренными ушами, как у подростков очень похожих друг на друга — видимо, близнецов. Оба были убиты на Восточном фронте.

Так всё и шло, давно уже наступила осень, я по-прежнему гулял по лесу с Виллибальдом, слушал, как ветер, налетая, шумит в верхушках деревьев, и внимал рассуждениям Вилли о том, что Шопенгауэр ошибался, называя музыку голосом безначальной и злой мировой воли, а сам обожал сладкозвучного Россини; нет, говорил он, музыка, есть нечто иное, это, если угодно, образ высшего разума, а точнее, отголосок, отражение, инобытие Универсальной Грамматики; по ночам я прислушивался к шагам, к поскрипыванию ступенек, и мирно засыпал, обняв тёплую Ценци. Дважды в неделю ездил в замок и пил золотистый напиток забвения с искалеченным графом, — так оно и шло.

Что-то происходило со мной в эти месяцы, незаметно для себя я начинал по-иному относиться к моему славному диссидентскому прошлому, к нашему журналу и моим смехотворным литературным амбициям, — если хотите, стал ренегатом по отношению к самому себе. Советскую власть я не полюбил, она попросту перестала меня интересовать. Живя у супругов, я ни разу не притронулся к бумаге. Ценци, которая когда-то собиралась предложить мои творения одному здешнему издательству, никогда об этом не вспоминала; я и не спрашивал. Я понимал, что если когда-нибудь вернусь к писательству, это будет совсем другая литература. Какая же? Тут нужно было вновь пожать плечами. Другая — и всё тут.

Я спросил однажды графа (набравшись некоторого нахальства), как он относится ко всему этому.

«К чему?»

«К войне... и вообще к немецкой истории».

Он усмехнулся углом рта.

«Вы не возражаете?» — спросил он, как обычно, когда жена внепла пузатые рюмки, что-то скудное на блюдцах и всё тот же чёрно-золотой сосуд.

«Вы, очевидно, ждёте от меня, что я скажу, что я враг национал-социализма, всегда был им, и... и глубоко раскаиваюсь в преступлениях, совершённых нами по отношению к другим народам. И так далее. Басни для старых баб. Prost!».

Тусклый, холодным взор. Словно он спрашивал себя, что за субъект оказался в его доме. Или он просто меня ненавидел?

«Чтобы так говорить, бить себя в грудь, надо быть человеком другого поколения. Не пережить того, что пережили мы... Наше поколение заплатило по всем счетам...»

«Вас удивит, — продолжал он, — если я скажу, что осуждал Штауфенберга и остальных... вы, наверное, слышали о покушении на Гитлера?»

Кое-что, отвечал я.

«Я считал их — и считаю — изменниками. Когда враги теснят Германию со всех сторон, когда бомбы сыплются на наши города. Слов нет, этот макабрский клоун Геббельс, заплывший жиром Геринг и вся сволочь могли внушать только отвращение. Да и сам фюрер...»

«Видите ли, mein Herr, я был воспитан в среде, где было азбучной истиной, что немецкий офицер не занимается политикой. Не лезет в эту грязь... Его дело — защищать отечество, исполнять свой долг. Конечно, мы начали с того, что нападали, а не защищались. Но на то были свои причины... Я избрал военную карьеру, как это делали мои предки. Между прочим, для этого не требовалось быть национал-социалистом. Я никогда не был членом партии, я знал, что можно сохранить своё достоинство, делать своё дело и оставаться вне политики. А если вернуться к вашему вопросу насчёт истории, что я ней думаю... то вот вам мой ответ: это сумасшедший дом. История моей страны в этом веке, да и вашей, — сумасшедший дом. Prost».

История подошла к концу — я говорю о моей собственной истории. Должно же было чем-то кончиться всё это. У меня нет большого желания досказывать, но придётся.

Мы уже спали, когда с шумом (который во сне показался грохотом рухнувшей вселенной) распахнулась дверь. Ценци тарачила заспанные глаза.

«Вилли, что случилось?..»

Вилли, большой толстый Вилли, отнюдь не в ночном халате, но одетый, как днём, при полном параде, с невыразимой тоской в глазах стоял на пороге и держал перед собой пистолет.

«Перестань, — сказала она, — что это, для тебя новость?»

Виллибальд молчал.

«Что случи-илось? Ви-илли!» — пропела Ценци.

«И ты ещё спрашиваешь, — проскрипел он. — И ты ещё смеешь спрашивать! Убирайтесь. Убирайтесь оба... Вон!» — заорал он.

Я живу теперь в другой стране. Живу далеко, вы не поверите: в Королевстве Новая Зеландия. Как это получилось, расскажу как-нибудь в

другой раз. Причём на Южном острове, где зима посуровей, чем в Европе. Живу теперь окончательно один. Иногда вспоминаю Кресценцию, колокол лютеранской церкви, тропинки в лесу, Виллибальда...

В огромном ворохе бумаг, среди таблиц, выписок и прочего не нашлось ни письма, ни прощальной записки. Ценци рыдала и ничего не могла сказать. В конце концов её оставили в покое. Я заявил следователю, что считаю виновным себя.

О покойном Вилли могу лишь сказать, что поиски Универсальной грамматики, этого философского камня, не удались; подозреваю, что они и не могли увенчаться успехом. Может быть, Вилли был одним из тех, для кого крушение веры, а ведь это была вера, не больше и не меньше, — означает катастрофу всей жизни. Может быть, оттого он и покончил с собой, супружеская измена (не догадывался ли он о ней уже давно?) была последней каплей. Прав ли я? Не пытаюсь ли успокоить свою совесть? Глаза Вилли, полные горя, и сейчас стоят передо мной. Кстати, я не знаю, откуда взялось у него оружие, он был сугубо штатский человек.

Вспоминаю ли я Россию? Да... изредка.

У меня странное чувство, что всё возвращается, как говорит Эклизиаст, на круги своя. И если я когда-нибудь вернусь к своим литературным упражнениям, то, вопреки всему, вопреки моим собственным заверениям, поверну на изъезженные колеи. Выяснилось — теперь уже окончательно, — что ни на какие другие темы, кроме российских, я писать не способен.

Horologium Dei¹

Главным в этом мимолётном знакомстве — ибо мы больше не виделись, а вскоре, как мне передали, часовых дел гроссмейстер умер, точнее, сгорел в своей халупе, — главным были, конечно, не его разглагольствованья (бред всегда банален), да и запомнилась мне из всего, что он изрекал, дай Бог половина. Главное — то, что знакомство это отнюдь не является литературным вымыслом. Некоторые писатели, — да, я именно это хочу сказать, — некоторые писатели сочиняют вполне тривиальные истории, но делают вид, будто речь идёт о чём-то необыкновенном. Другие, напротив, рассказывают о необыкновенном, а выдают за повседневное. Не стану подражать ни тем, ни другим. Не имеет значения, как меня зовут, тем более что читатель волен и меня принять за вымышленное лицо.

Чемодан и рюкзак упакованы, лыжи с ботинками стоят в углу. Как большинство смертных, я тяну ляжку; как большинство, ненавижу свою работу, вскакивание на рассвете, торопливый завтрак, поглядывание на часы, эту вечную зависимость от минутной стрелки, рабство у круглолицего дьявола. Баста. Завтра утром, в первый день отпуска, я отправлюсь за город, на пустующую дачу моих друзей.

Ибо мы рождены для иного поприща!

Кажется, я был единственный, кто сошёл с поезда на безлюдном полустанке, двери захлопнулись, электричка неслышно двинулась навстречу пылающему зелёному глазу, последний вагон растворился во мгле. Всё слилось кругом в серой белизне; часы на столбе, полузасыпанные снегом, показывали невероятное время; призрачная фигура в платке, в зипуне и валенках сгребала снег с платформы. Сочинитель присел на скамью, чтобы снять городскую обувь, сунул ноги в лыжные ботинки. Несколько минут спустя он полушагал, полускользил вдоль дороги, с брезентовым мешком за спиной, равномерно переставляя палки, везя за собой санки с чемоданом.

Я взошёл на засыпанное снегом крыльцо и отомкнул висячий замок. В доме было холодней, чем снаружи. На кухне постояльца ожидали

¹ Часовой механизм Бога (*лат.*)

совок для выгребания золы, щепы и газеты для растопки; в кладовой запас дров; в большой комнате стол, поставец, старая, но исправная пишущая машинка, заправленная керосиновая лампа на случай перебоев с током, за пёстрой занавеской широкая деревянная кровать. Подтянул кверху гирьку стенных часов-ходиков, маятник покачался и остановился. Мои часы, как оказалось, тоже стояли.

Дрова трещали в печи. Чайник кипел на плите. Восхитительное сознание, что не надо никуда спешить, восхитительное чувство свободы, покоя и одиночества завладели душой странника. Таково было вступление; первая пришедшая в голову фраза. И правда: наконец-то я принадлежал самому себе.

У меня никого нет. Несколько лет женщина, с которой я был связан, сражалась с соперницей. Клятвы, слёзы, выяснение отношений, ухищрения постельной техники — всё было пущено в ход, все средства вплоть до обмана, до мнимой беременности. В конце концов на меня махнули рукой. Было ясно, что мною владеет иная страсть. Я остался один, каким и был, в сущности, всю мою жизнь.

Две причины объясняют, почему до сих пор мною не создано ничего, кроме вороха заготовок: во-первых, как уже сказано, не было времени засесть по-настоящему за работу. Я мечтал о карьере ночного сторожа на каком-нибудь складе, который не соблазнит никакого грабителя, о месте библиотекаря в библиотеке, где нет посетителей, о том, чтобы запереться от всех, скрыться, уехать куда-нибудь далеко, вести полунищее вольное существование в тёплых краях, днём спать, ночи проводить за письменным столом. Но есть и другая, более важная причина, она коренится в природе моего замысла. Я не хотел быть писателем как все. Я должен был выдать нечто грандиозное. Не роман, не драму, не эпос, но что-то такое, что было бы всем сразу и ничем в отдельности, и объединялось бы общей идеей. Если хотите, великий синтез — итог нашего времени.

Пока что моё творение, как плод в материнской утробе, шевелится в моей голове, но дайте срок, думал я, дайте только срок! В горнице стало тепло. Всё ещё длилось позднее утро; закусив из своих припасов, напившись чаю, я собрался было приступить к делу, разложил бумаги и прочее, но не мог преодолеть сонливость — действие деревенского воздуха. Кровать, словно любовница, приняла меня в свои объятия.

Сказанное, не правда ли, выглядит вполне правдоподобно. Некоторые писатели, рассказывая о самой обыкновенной жизни, хотят внушить читателю, что речь идёт о чём-то сверхъестественном. Другие, напротив, плетут небылицы и выдают их за истину. Мне приснился звон будильника. Потом оказалось, что это огромные часы бьют на вокзаль-

ной башне. Надо было спешить, я втиснулся в автобус, вместе с толпой штурмовал вагон метро; в поезде, в бесконечном чёрном туннеле, среди мелькающих огней, мне пришла в голову простая мысль, куда это я не-сусь, думал я — или, может быть, кто-то притворившийся мною, — куда спешить? Ведь у меня отпуск. Сейчас будет остановка, я вылезу и вернусь домой. Но поезд по-прежнему мчался, не снижая скорости, вагон шатался, в чёрных окнах смутно виднелись лики усталых пассажиров, летели тусклые огни, постукивало, повизгивало, и когда я открыл глаза, кровать всё ещё раскачивалась; я поднёс к глазам руку с часами, забыв, что они не ходят; белый, бездыханный день цепенел за окнами.

Я всё ещё не мог привести себя в форму; на другой день с утра вяло токал на машинке, взялся было писать пером, набросал несколько фраз. Наконец, оделся, но на лыжи становиться не стал. Погода прояснилась, небо голубело, был лёгкий мороз. Снег слегка поскрипывал под ногами. Мне никто не встретился на дороге, я подумывал о том, чтобы проехать две-три остановки до большой станции, где надеялся отыскать мастерскую. Но, не дойдя немного до железной дороги, увидел лачужку с железной трубой и вывеской.

Там висел прейскурант, висела табличка *Курить воспрещается* и было жарко от раскалённой печурки. За прилавком сидел неопрятный человек с папирсой. Посетитель стянул с головы меховую шапку, снял с руки часы и протянул мастеру. Часовщик отложил тлеющую папирсоу, отколупнул крышку крохотной отвёрткой, вставил в глаз окуляр.

Значит, заметил я, курить всё-таки можно?

Часовщик положил окуляр на прилавок, сунул окурочек в рот и сказал наставительно:

«Кому можно, а кому нельзя. Часы в порядке».

«Как это, в порядке, вы же видите, что они показывают».

«Вижу».

«Они не идут!»

«Что же я могу поделоть. Я же вам сказал: механизм в порядке».

«Может быть, стрелки?»

«И стрелки в порядке».

Он взглянул на часы на стене и перевёл стрелки моих часов.

«Видите, они прекрасно двигаются».

Я спросил, сколько я ему должен.

«За что?»

«Может, мне лучше обратиться в...?»

«Валяйте».

Чудный день, пьянящий воздух. Мне пришлось довольно долго ждать на платформе: большая часть поездов здесь не останавливается.

Сойдя с электрички, путешественник перешёл через мост и довольно быстро, на улице, ведущей к вокзалу, отыскал часовую мастерскую. Здесь ожидало несколько заказчиков, мастера ушли обедать. Бодро тикали и постукивали часы на полках, на стенах, висели плакаты: «Время — деньги! Фридрих Ницше». «Соблюдайте осторожность при переходе через железнодорожные пути». «Не курить». «Окурки на пол не бросать» и прочее в этом роде.

Наконец, явился часовых дел мастер. Очередь дошла до меня.

Часовщик положил часы на ладонь и задумался.

«Лёха, — проговорил он через плечо. Никто не отозвался. — Кому говорю!»

Лёха просунул голову через дверную щель.

«Ты Нинку видел?»

«Видел; а что?»

«Ничего».

Разговор продолжался ещё некоторое время. Мастер вскрыл часы, осмотрел механизм, тонким инструментом извлёк миниатюрную батарейку, проверил ёмкость, уложил батарейку на место, захлопнул крышку и положил часы передо мной, повторив то, что я уже слышал.

Пришлось отправиться в город. Не буду рассказывать о том, как я ехал автобусом, плутал в переулках полудеревенской окраины, перебирался через сугробы; чахлый лес виднелся неподалёку; стало смеркаться; часовых дел гроссмейстер обитал в избе-развалюхе на краю заснеженного пустыря. Я отворил калитку, постучался в дверь, потом в окно. Никто не отозвался. Потоптавшись, я взялся за ручку двери, утонувшую в лохматом войлоке.

Хозяин сидел на низкой тахте.

«Меня, — пролепетал гость, — направил к вам...»

Гроссмейстер — это был косматый старик с еврейской внешностью — перебил меня:

«Небось сказал, что я уже умер...»

Помявшись, я подтвердил, что мастер дал мне адрес «на всякий случай».

«Все они так говорят. Я всем мешаю... Я имею в виду конкуренцию. И мою квалификацию. Впрочем, я уже не занимаюсь практической орологией».

Посетитель робко спросил, что это такое.

«Наука о часах. Точнее, наука о времени... Что случилось? А-а, — пробормотал он, — можете не снимать. Я и так вижу, в чём дело».

«В чём?» — спросил я, озираясь.

«Вот там табуретка. Только осторожней... — он покашлял. — Вы меня очень обяжете, если... э...»

Я вошёл за дощатую перегородку, там находилась кухня. Я ничего не ел с утра.

«А! — махнув рукой, возразил старец, когда я предложил сбегать за чем-нибудь. — К тому же здесь нет магазинов. Поищите... что-нибудь там найдёте. Осторожнее с газом».

Кое-что нашлось; я разложил снедь по тарелкам. Гроссмейстер лежал на тахте бородой кверху. Я остановился посреди комнаты с медным чайником в одной руке и бутылкой вишнёвой наливки — в другой.

«Поставить на стол, — сказал хозяин, не открывая глаз. — Чашки и прочее в буфете. Зажечь свет. Теперь помоги мне...»

После двух попыток удалось сесть. Старик глубоко вздохнул. Голая лампочка горела под потолком. Он прошествовал к столу.

«Дело в том, что... М-да. А что это такое? Где взял? Там есть лучше!»

Вдвоём отправились на кухню, он давал указания.

«Я вынужден прятать от дочки. Дочка иногда приезжает».

«Откуда?»

«Откуда... Из Израйля, естественно! Два раза в год, осведомиться о моём здоровье».

«Вы боитесь, что она всё выпьет?»

«Тоже не исключено».

Мы вернулись в комнату с коньяком «Реми Мартен», правда, оказалось, что в чёрную бутылку налит напиток маркой похуже.

«Так вот. Тебя интересует, в чём дело. Дай-ка мне часы... Стоят, ты не ошибся. Часы, которые стоят, дважды в сутки показывают верное время. Это установил автор книги “Накрытый Стол”, к сожалению, его имя осталось неизвестным. Впрочем, не исключено, что у неё вообще не было автора».

«Когда же она была написана?»

«Написана? Она была продиктована!»

Мы выпили, старик жевал колбасу. Я снова наполнил пузатые стаканчики псевдоконьяком.

«Тебя, стало быть, интересует, что же произошло... Часы в полном порядке, эти прохвосты тебя не обманули».

Напиток оказал своё действие. Старец стал расплываться в тумане. Что значит — в порядке, когда они не в порядке! Гость почувствовал, что он плохо понимает собеседника. Разумней было отложить дело на завтра; я пробормотал:

«Вы, наверное, устали. Уже поздно...»

«Устал? Очень возможно. Всё может быть... даже то, чего быть не может».

«Пожалуй, я поеду...»

«Поедешь, куда? Впрочем, поезжай... поезжай. Ты прав, я действительно устал. Ты спросишь, от чего. От этой жизни, разумеется. От этой гнусной жизни, от недоброжелателей, и... и от самого себя, и от женщин...»

«Женщин, каких женщин?»

«Как это, каких. Меня посещают женщины. Главным образом по ночам. Я всё равно не сплю... А кстати, ты! Кто ты такой? Осмелюсь осведомиться».

«Но я уже сказал...»

«Нет, нет. Правду. Правду!»

«Может быть, — лепетал гость, — перенесём этот разговор на завтра...»

«Да, но всё-таки!»

«Я пишу. Занимаюсь литературой».

«Угу. И что же ты там пишешь?»

«Где?»

«В твоей конторе. Или, может быть, это министерство? Верховный Совет?»

«Верховного Совета давно нет. И не министерство. Но я пишу не там... то есть пишу, но не то. У меня отпуск. Целых три недели!»

«Откуда это известно, что три недели?»

Я развёл руками.

«Ты не можешь этого знать, — сказал гроссмейстер, покачав корявым перстом, — коль скоро твои часы стоят. А вот я тебе сейчас расскажу, в Мидраше есть одна притча».

«Завтра!»

«А вот я тебе сейчас расскажу. Однажды Гейне — знаешь такого поэта?»

«Никогда не слышал».

«Однажды Гейне пришёл к Ротшильду. Ротшильд жил во дворце. А, дорогой Гейне! Наконец-то вы посетили мою конуру. Нет, говорит Гейне, я пришёл взглянуть на собаку. Смешно? Не смешно? У тебя нет чувства юмора. Так вот. Один архитектор пришёл в гости к торговцу шерстью. Ты меня слушаешь?»

Гость кивал тяжёлой головой.

«Пришёл к торговцу. А шерсть, да будет тебе известно, дело прибыльное. Особенно там, где холодно. Вот они ходят из комнаты в комнату, из одного зала в другой, торговец показывает свои богатства. Потом вышли в сад, поглядеть на дом снаружи. Не дом, а дворец. Архитектор смотрел...»

Мы стояли на пороге, мне пришлось вернуться к столу за подкреплением. Старик опрокинул стопку в рот.

«...смотрел, хвалил, потом говорит: хотите, я построю вам новый дворец? — Ещё лучше? — спрашивает торговец. Архитектор помялся, покачал головой, нет, говорит, не обязательно. Но зато это будет новый дворец. — Ну и что? — Как это, что? Новое всегда лучше старого! — Ты так думаешь? — сказал торговец. — А ну иди отсюда вон. Это я к тому, — пояснил гроссмейстер, — что ты собираешься стать писателем. Строить новый дворец...»

Не стоило, конечно, тащиться к нему снова. Слишком дорог каждый день отпуска. Всё же я проделал ещё раз весь путь. Явился к часовых дел гроссмейстеру с сумкой харчей и настоящим коньяком. Старец принял дары как должное.

Я спросил, посетил ли его кто-нибудь ночью.

«А как же!»

Было решено, что сперва мы закусим, а потом он покажет мне кое-что, ибо лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Выпив, гроссмейстер утёр ладонью рот и втянул воздух в широкие волосатые ноздри.

«Без ложной скромности, да. Могу без ложной скромности сказать, что я разбираюсь в двух вещах. В двух областях знания. Которые так или иначе соприкасаются. Во-первых, в часах, это уж само собой, а во-вторых, я знаю толк в женщинах».

Спрашивается, какая между ними связь.

«О! и немалая. Это установил Моше де Леон, автор Книги Сияния, тебе её всё равно никогда не прочесть, а тем более понять... Сейчас, сейчас, — сказал он, видя, что я нервничаю, — куда торопишься? Они же всё равно стоят. Несколько теоретических замечаний. Наш мир, чтоб ты знал...»

Он вонзил зубы в огромный бутерброд с ветчиной. Он голодал. Трефное его не смущало. Жуя, он с презрением оглядывал своё жильё.

«Наш мир — это лишь тусклое отражение высшей реальности. Всё, что происходит наверху, так или иначе отражается в низших сферах, за всем, что делается внизу, наблюдают свыше... Но есть некий узел соответствий: это — женщина».

«Может быть, — заметил гость, — мы всё-таки двинемся? Это далеко?»

«Моя мастерская? Нет, рядом».

По узким дорожкам в снегу мы пробирались через сонную окраину, которая так и не стала городом, перестав быть деревней. Гроссмейстер переставлял ноги в огромных валенках. Его одяние представляло собой гибрид лапсердака и тулупа. Я держал его под руку.

«Легко заметить, что тело женщины имеет сходство с песочными часами. Станешь ли ты утверждать, что это случайность?»

Топ, топ. Лишь бы не свалиться. Кругом ни души. Можно было подумать, что мы за тысячу вёрст от столицы.

«Так вот, чтоб ты знал. Женщина не просто напоминает часы. Что такое часы? Вот, например, твои часы. Которые стоят. Или часы на Спасской башне. Которые, кстати, ходят неверно. А что такое песочные часы? Приспособление, чтобы узнавать, который час? Вроде того, как термометр показывает температуру. Да... в известном смысле. Но, как сказано в Талмуде: возможно, правильным будет и обратное. Часы — это воплощённое время. Не я, конечно, это открыл. Это известно очень давно. Мир неудержимо стареет. Да. Но! Достаточно перевернуть часы. И что тогда? Тебе понятно?»

«Более или менее. Только ведь женщин много...».

«Много, это верно. Пожалуй, даже слишком. Ходят, ходят, конца им нет...»

«Вы имеете в виду...»

«Да. Это, знаешь ли, утомительно. И чего они ходят? Каждая предлагает себя, точно я святой Антоний. Каждая думает, что она одна на свете...»

«Далеко нам ещё?»

«Далеко... Надо пройти лес».

«Вы говорили, рядом».

«Кто это говорил? Надо пройти лес, потом будет поворот. А куда топиться...»

«Вы, наверное, устали».

Я разбросал ногой снег, дед сидел под деревом, выглядывал из-под шапки и косматых бровей, как волк из кустов.

«Есть женщины, — изрёк он, — и есть Женщина. Для того, кто создал мир, нет явлений, есть сущности. В своё время делались попытки взглянуть на мир с точки зрения самого Творца».

Мне стало скучно. Разумней было бы отвести сумасшедшего старца домой и смыться.

«Ты скажешь, — продолжал он, — что это невозможно. Но ведь написано, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Значит, человек в состоянии проникнуть в мысль Бога. Так вот, с точки зрения Творца, женщина — это и есть время, ставшее плотью».

Я помог ему встать на ноги, и мы, наконец, пришли.

Дом был похож на амбар. Его можно было принять за конюшню, за учреждение в захолустном районном центре. Он напоминал ковчег. Из железной трубы летели искры. На дверях висел замок. Я вспомнил, что

старик утверждал, будто не занимается больше практическим ремеслом. Чем же он занимался? Он поцеловал пальцы и коснулся мезузы, косо прибитой к косяку, мы вошли, я стянул с него валенки и помог выбраться из тулупа.

Почему, спросил я (меня не интересовали «теоретические замечания», чушь, которую он нёс. Но кое-что показалось подозрительным), почему, вместо того, чтобы разобраться, что же в концов концов случилось с моими часами, можно ли отремонтировать или надо просто выбросить, — почему он увिलивает? Причём тут еврейские бредни, заплесневелые древности?

«Заплесневелые, хе-хе... Отвечаю: и мой отец, и дед были часовщиками, и вообще, часовое дело — традиционное ремесло евреев».

Я разглядывал мастерскую. Дед сидел на табуретке. На дощатом столе были разложены инструменты. На стенах, на полках, на полу висели, лежали, стояли приборы всех фасонов и всех веков. Я не удивился бы, если бы здесь оказались часы из эпохи, когда часов вообще не было, когда их ещё не изобрели. Вокруг всё стучало и тикало, качались маятники, перекачивались серебряные шарики, пересыпался песок. Бежали и гасли цветные огоньки. Вода переливалась из трубки в сосуд, из сосуда в другую трубку.

«Чтобы ты не беспокоился...» — пробормотал, усаживаясь за стол, часовых дел гроссмейстер. Он оглядел с обеих сторон мои часики, поднёс к уху, к носу. Вскрыл, вставил в глаз окуляр, обмахнул механизм крохотной кисточкой. Втянул воздух в ноздри, важно кивнул самому себе. Отложил окуляр и захлопнул крышку.

«Сколько я вам должен?»

«Нисколько. Или столько, что ни ты и ни кто другой никогда не сможет заплатить».

Моё терпение иссякло. «Знаете что...» — сказал я.

«Знаю».

«Что?»

«Знаю, что ты мне хочешь сказать. Что тебе хочется обо мне написать. Не знаю только, что: балладу, поэму? Роман?»

«Откуда вы это взяли?»

«Ты же говоришь, что ты писатель».

«Да, но...»

Гроссмейстер покачал головой.

«Ни к чему. Что ты можешь обо мне сказать? Что вы все можете обо мне сказать? Всё давно уже сказано и написано».

Я спросил, кто же это написал. Где?

«Например, есть целая глава в Книге Сияния. В комментариях Моше бен Шимона тоже обо мне говорится. Да мало ли где... Но ты затронул любопытную тему. Почему орология — традиция евреев? Могу ответить. Есть китайцы, есть индусы. Китайцы утверждают, что они существуют три тысячи семьсот лет. Поди проверь... Индийцы немного скромней. Евреям 3200 лет. Если не больше... Но Индия и Китай — большие страны, народу много, и народ там жил постоянно. Иудеи — народ маленький, самое большое, сколько их было когда-то, — пятнадцать миллионов... И у них давным-давно нет своего дома. Иудеи — это не народ пространства. Это народ Времени... А теперь пошли».

«Куда?»

«В ту комнату, куда же».

Я понял, откуда летели искры: посреди комнаты находился очаг с дымоходом. Что служило горючим материалом, решить было трудно. В круглом каменном углублении, ограждённом для безопасности кирпичами, плясал огонь. Очевидно, мастерская обогревалась таким архаичским способом. Почему не поставить обыкновенную печку?

«Это не для тепла».

«А для чего?»

«Неужели непонятно: это часы!»

«Как это — часы?»

«Вот так; очень просто. Стрелки — это языки пламени».

«Сколько же времени показывают эти часы?»

Старый часовщик протянул к очагу ладони.

«Время сгорает в этих часах. Или, лучше сказать, развоплощается. Так спадают одна за другой материальные оболочки... Уходит видимость. Подумал ли ты о том, что для них служит топливом?»

«М-м...»

«Мы! — сказал он торжествующе. — Ты, я. Наше тело, наш мозг, наше сердце, наши органы размножения».

«Угу, — сказал я. — М-да».

«Я вижу, ты кое-что начинаешь понимать!»

«Вы так думаете?»

Он продолжал:

«Можно сделать часы, где на циферблате будут чёрточки вместо цифр, можно вовсе без циферблата. Можно — у меня есть там такие — сконструировать часы, состоящие из одного маятника, можно даже и без маятника. Можно вообще без всего — без корпуса, без механизма... одним словом, без ничего».

Там оказалась ещё одна дверь. Часовщик повернул ключ в скважине.

Он пробормотал: «Только осторожнее...»

Мы вошли, оказалось, что кладовка пуста.

А что же тут, спросил я (или подумал), веря и не веря.

«Пошли, — сказал он, — здесь нельзя долго находиться. Взгляни на эти стены, приюхайся — и прочь».

Мы засиделись в мастерской, среди стука и тиканья. Старик говорил:

«Никто не знает, что это такое — время, нам доступны лишь его проявления. Но можно представить себе, что такое отсутствие времени. Это — смерть. Для мёртвых время ничего не значит, они находятся в пространстве, где часы стоят. Где времени нет. Или, что то же самое, в пространстве абсолютного времени, освобождённого от всех своих свойств и всех проявлений. Ты находился в таком очищенном времени. — Он указал большим пальцем на кладовку у себя за спиной. — Побудь мы там ещё немного, и нас бы уже не осталось в живых. Но берегись: твои часы остановились. Как их снова завести?»

Он развёл руками.

Мне незачем (как уже сказано) называть себя, моё имя не имеет значения, читатель вправе принять меня за вымышленное лицо.

Гиббоны и облака

1. Гиббоны и облака

Те, кому приходилось ездить в пригородных поездах Казанской железной дороги, знают, что тут можно смело сэкономить на билете: на всём участке вплоть до Голутвина никто отродясь не видел контролёров. Тем не менее однажды вечером, в десятом часу, в электричке на пути в город был задержан гражданин неизвестного государства.

Произошло это так: в ответ на вопрос контролёра пассажир, улыбаясь, помотал головой и развёл руками. Подошёл второй контролёр, женщина. Поезд нёсся мимо тусклых полустанков, сквозь ночные поля и заросли, в которых отражались лампы вагона, пустые скамьи и лица людей в форменных фуражках, контролёр показывал пассажиру сложенные книжечкой ладони, очевидно, требовал предъявить документы. Пассажир весело закивал и добыл из недр просторного макинтоша грамоту крупного формата в дерматиновой обложке с гербом и короной. Контролёр развернул диковинный паспорт, как ребёнок раскрывает книжку с картинками. Женщина заглядывала через плечо. Контролёр попытался засунуть паспорт в карман служебной сумки. Поезд затормозил, и все трое вышли на платформу.

Иностраннйй гражданин с достоинством прошествовал к зданию станции, где был встречен местным милиционером и начальником. Старшина милиции на всякий случай обхлопал гражданина, нет ли оружия, и остался с задержанным в служебной комнате, прочие должностные лица удалились в кабинет начальника. Уборщица побежала за картой. Начальник станции, знавший латинский алфавит, хмурил лоб и чесал в затылке, листал странный документ, в котором не было ни штампа прописки, ни иных каких-либо помет, удостоверяющих законное пребывание гражданина в нашей стране. С некоторым остолбением присутствующие разглядывали фотографию владельца, который был представлен во весь рост, в лазоревом мундире с золотым шитьём и орденами, на фоне пальм.

Начальник станции расчистил стол от бумаг, и компания принялась искать на карте мира Зеданг. Позвонили по линии в Голутвин, от-

туда последовали неопределённые указания, видимо, там тоже не слышали о новом государстве, освободившемся от ига колониализма. Их теперь много. То ли в Африке, то ли в Азии. Кто-то вспомнил, было в газетах: советско-зеданские переговоры. Кто-то заикнулся, что не худо бы поставить в известность особое учреждение. Предложение повисло в воздухе. С одной стороны, бдительность необходима. С другой стороны, кому охота связываться с органами. Пускай уж там, выше, сами разбираются, наше дело, сказал начальник станции, доложить.

Гражданин мирно дремал в дежурке. Возникла счастливая мысль запросить, невзирая на поздний час, посольство. По указанию начальника старшина ввёл иностранца в кабинет. Удачно объяснившись на пальцах, показывая на себя, на паспорт, на иностранца, начальник протянул ему телефонную трубку. Тем временем на подносе был внесён скромный ужин, гость галантно раскланялся перед уборщицей, с очаровательной улыбкой поднял стакан с газированной водой за дружбу народов, отпил глоток и стал крутить телефонный диск.

Последующие полтора или два часа гражданин Королевства Зеданг провёл на кушетке в комнате дежурного по станции. Милиционер посапывал в углу. Начальник сидел в своём кабинете, положив голову на стол, и ему представлялось, что он расхаживает по залитому светом вокзалу, на нем белый парадный китель, красная фуражка с крабом и штаны с серебряным кантом. Это был его вокзал, его настоящая жизнь, а тухлая станция ему всего лишь приснилась. Задрезжал телефон, голос с иностранным акцентом сообщил, что ответственные лица находятся в пути.

Зелёная луна сияла на мачте светофора. Тусклый свет побежал по рельсам, послышалось мерное постукивание, из-за дальнего поворота выкатились огни дрезины. Начальник стоял на платформе. Было ли это продолжением его сна? Прибыло только одно ответственное лицо, но зато какое! Военный атташе собственной персоной, с бахромчатыми эполетами, шнурами и лампасами. Он напояминал швейцара к какому-нибудь шикарном отеле. Ко всеобщей радости оказалось, что атташе превосходно владеет русским языком. Он похлопал начальника станции по плечу. Тем временем его соотечественник пробудился и сладко зевал, сидя на кушетке.

Дрезина, как только высокий гость сошёл на платформу, сама собой тронулась и покатила дальше в направлении Голутвина; автоблокировка переключила зелёный сигнал на красный.

В блеске и великолепии, в грибообразном раззолоченном картузе высокий гость проследовал в кабинет. Начальник, придя в себя, мигнул кому надо; явился трёхзвёздный армянский коньяк, лимон, нарезанный

ломтиками, явилась селёdochка, проплыла мимо почтительно расступившегося персонала разодетая в пух и прах, с наколкой на жидких волосах уборщица Степанида или Аглаида, история не сохранила её точного имени, — с огромной сковородой, на которой журчала глазунья с салом. Под звон стаканов состоялся доверительный разговор и обмен тостами в честь наших народов и их вождей: Генерального секретаря КПСС и Его Величества революционного короля Али-Баба Зеданга Мудрого, а также Его Высочества революционного наследного принца Али-Баба Мухамеда Зеданга, Ещё Более Мудрого. Как это, ещё более? А вот так: каждый следующий глава государства бывает мудрей предыдущего; сын наследного принца и внук короля носит титул Сверхмудрого, а когда появится правнук, то он будет Ещё Более Сверхмудрый. «Но где же мой компатриот?» — вскричал военный атташе. Начальник рассыпался в извинениях, гражданин, задержанный в поезде, вошёл в кабинет. Пир продолжался втроём и оставил по себе самые лучшие воспоминания.

Зевая и содрогаясь от утреннего морозца, приятели вышли на перрон Казанского вокзала, причём атташе был укрыт макинтошем, дабы не возбуждать нездорового любопытства у рабочего люда. Некоторое время спустя оба ехали в мотающейся коробке лифта в старом доме на Преображенке. Гражданин королевства Зеданг мурлыкал государственный гимн. Визг каната, тащившего кабину, словно бадью из колодца, будил жильцов. Добрались до последнего этажа. Подданный Его Величества отомкнул тремя ключами обшарпанную парадную дверь, и они очутились во тьме коммунальной квартиры. Впустив друга в комнату, похожую на келью, хозяин закрыл дверь на защёлку, задвинул задвижку и — уфф! — плюхнулся на диван.

Мундир с регалиями висел на плечиках. В оловянном свете будней было видно, что он не нов. На старом костяном роге — возможно, это был рог единорога — раскачивался грибовидный картуз эпохи колониальных завоеваний. Штаны с лампасами сложены и упрятаны в сундук. «Пора на службу», — зевая проговорил экс-атташе. — «Успеется; работа не волк». — «А ты, — сказал атташе, — когда-нибудь доиграешься». В ответ коллекционер махнул рукой. — «Нет, ты когда-нибудь доиграешься. Думаешь, они не догадались?» — «Зачем им догадываться?» — возразил хозяин.

Он был прав: в самом деле, зачем? И ещё много лет спустя начальник станции рассказывал о ночном прибытии дрезины с роскошным гостем.

В углу на тумбочке помещалась спиртовка с химической колбой, в которой пузырился желудёвый кофе. Над продавленным диван-

ным ложем штабеля альбомов в массивных переплётках грозили обрушиться вместе с полкой. На почернелом от городской копоти подоконнике стоял аппарат для рассматривания водяных знаков. Филателист, с лупой в руках, сидел на диване в дальневосточном халате и в короне, выполненной в точном соответствии с изображениями на марках. Она обошлась ему в немалую сумму. В своей ненасытности благородная страсть не знает границ. Филателист был нищ, как всякий обладатель сокровищ.

«Ну, я пошёл», — пробормотал атташе королевского посольства, и хозяин запер за ним дверь.

Он рассматривал через увеличительное стекло добычу, ради которой было предпринято путешествие в Голутвин, к собрату, доживающему там свои дни. Три недостающих экземпляра. Теперь у филателиста были все двенадцать марок — полная серия, подобие двенадцатитоновой гаммы или радуги экзотических широт. Голубошерстные гиббоны, которым была посвящена серия, принадлежали к виду, не известному за пределами сказочных нагорий Зеданга.

Нелишне будет заметить, что коллекционирование фальсификатов, будь то мнимые грамоты, имитации редких монет, знаков военной доблести или знаков почтовой оплаты, есть занятие столь же легитимное, как и собирание подлинников. В некотором высоком смысле поддельный раритет равноправен подлинному. Существуют фальшивки, ставшие классическими, признанные шедевры подлога, рядом с которыми оригинал выглядит беспомощным подражанием. Вышедшая из рук высокоодарённого мастера, подделка оказывается редкостней и ценней оригинала; она сама превращается в оригинал и, в свою очередь, может быть подделана. Но своей вершины искусство изготовления фальсификатов достигает в подделывании *несуществующих подлинников*.

Большая, во всю стену карта Исламского Королевства Зеданг, висевшая в келье филателиста, убеждала в том, что эпоха великих географических открытий не закончилась. Утверждают, что страна, раскинувшаяся в нагорьях Юго-Восточной Азии и на островах тёплых морей, страна, где не существует смены времён, где царит вечное лето, где всего вдоволь, возникла в полуподпольной парижской типографии, там были отпечатаны карты и прочее; особый успех выпал на долю почтовых знаков: за короткое время цена их удвоилась. Уже в начале века известный каталог Гизевюса поместил их в разделе «Марки и штемпеля несуществующих государств». Но и эта история со временем превратилась в легенду или, лучше сказать, стала малозначительным эпизодом уходящей в седую древность истории Зеданга. Тот, кто там побывал, мог бы

многое рассказать о его народах и языках, о караванах, башнях, о блеске и коварстве его властителей, соперничестве династий и посрамившей европейскую кулинарию кухне.

Магия крошечного цветного квадрата завладела собирателем, словно он выглянул из окошка в зубчатой раме и очутился среди обросших голубоватой шерстью животных на разогретой солнцем каменной тропе.

II. Россия в 2009 году

Уважаемые господа!

Надеюсь, вы поймёте меня. Этот доклад не может быть ничем иным, как только информационным сообщением, отчётом о поездке, по возможности объективным, без домыслов и прикрас. Выступая перед столь серьёзной аудиторией, я сознаю, что моя обязанность — изложить факты. И всё же мне трудно обойтись без личных интонаций. Я всегда считал себя кабинетным отшельником, *l'homme sedentaire*¹, — да и был им, — и вот оказалось, что мне пришлось пуститься в некую авантюру, совершить трудное и странное паломничество. Я не отниму у вас много времени.

Но прежде напомним вам одно место из книги «Масса и власть» иностранного писателя Элиаса Канетти: он говорит о национальных символах. Так он их называет. У немцев это лес, у французов революция, у англичан палуба корабля, у испанцев арена и поединок тореадора с быком — и так далее. Наше отечество, если не ошибаюсь, в этой книжке не упоминается, но и у нас есть наш исконный, неизменный национальный символ: это — дорога. Путь-дороженька, по которой бредут калики перехожие, по которой можно ехать целыми днями, забыв обо всём на свете, ехать, ехать, и всё это будет Россия.

Но оставим мифологию; всякий, кому случалось путешествовать вглубь нашей страны, поймёт, что я имею в виду, говоря о долгих часах в пути, о чувстве какой-то роковой неизбежности, о невыразимой дорожной тоске. Еду, еду в чистом поле... Сменив коляску на автомобиль, мы мало что выиграли, если не проиграли. Господи, бывает ли зрелище безотраднее этих дорог... Хорошо ещё, что я догадался запастись армяком и сапогами. Едва только, не доезжая Великих Лук, мы свернули на грунтовую дорогу, как машина заскользила в колеях, запрыгала на ухабах. Полил дождь. Переживал ли кто-нибудь из вас дождь на разбитых дорогах Срединной России? Приходилось ли вам трястись в кузове гру-

¹ букв.: сидячим человеком (*фр.*).

зовика, прислонясь к заднику заляпанной грязью кабины, где водитель, рядом с другим попутчиком, отчаянно крутит баранку, вперяется в смотровое стекло, по которому, в потоках дождя, словно маятник, мотается дворник-стеклоочиститель? В конце концов мы застряли всерьёз, мотор ревел, задние колёса крутились, разбрызгивая жижу, и с каждым рывком всё глубже уходили в трясины. Пришлось отправиться на поиски трактора в соседних деревнях.

Так протащились ещё километров пятьдесят, может быть, больше, впереди были ещё сотни и сотни вёрст. Я устал, господа. Устал, устал, устал от всего этого! От этой жизни, от вечной неустроенности, от дождей и осенней слякоти, от этих людей, от вечных посулов и обещаний, которые никогда не выполняются, от будущего, которое становится прошлым, так и не сбывшись... Итак, на чём мы остановились? Дождь кончился. Под вечер выглянуло медно-оранжевое солнце. На пригорках тусклым золотом отливали стволы сосен. Надо было подумать о ночёвке.

Я помахал рукой шофёру и двинулся с рюкзаком за плечами вдоль единственной деревенской улицы, имея крайне приблизительное представление о том, в какой части света я нахожусь. Стучался в ворота, поднимался на крылечки, заглядывал в окошки, залитые закатным огнём, — никого не было видно, никто не откликнулся. Дойдя до околицы, повернул назад. Старая женщина в лохмотьях шла навстречу, вела упирающуюся козу на верёвке, привязанной к рогам, — две живых души, может быть, единственные во всей округе. Она одиноко жила в доме на краю деревни.

Я с наслаждением растянулся на большой кровати (хозяйка улеглась на печке), завернулся в тряпьё, и сон, подобный смерти, накрыл меня чёрным саваном; сколько-то времени спустя постояльца разбудил стук ходиков, скрип половиц; в темноте старуха бродила по избе; я спросил, который час, и услышал в ответ её бормотанье. «Почему вы не спите?» Она ответила, что никогда не спит. Что же она делает ночью? А ничего.

Я встал и вышел за нуждой; ночь была ясная и холодная. Снова натянул на себя ветхое одеяло и уже не мог понять, сплю я или не сплю, ночь казалась очень длинной, стучали ходики, время двигалось толчками; внезапно я услышал шаги — старая хозяйка опять принялась бродить. Но это была не хозяйка. Белое привидение остановилось посреди горницы, вот так новость, подумал я. Девочка или девушка, совершенно нагая, с чёрными провалами глаз, с тенью внизу живота. Хотел её помянуть, протянуть к ней руки, но она сама приблизилась и присела на кровать у меня в ногах.

Утром я сидел за дощатым столом, пил козье молоко и беседовал с хозяйкой, которая на все вопросы отвечала односложно, словно разучилась говорить. Я пытался выяснить, как мне двигаться дальше. Тут раздалась шага в сенях, застонали дверные петли, в избу вступил, нагнув голову под притолокой, парень в сапогах и замасленной телогрейке. Самое замечательное в наших краях то, что при общем развале всё как-то устраивается, откуда-то всё берётся: и провиант, и нужные вам люди, и средства передвижения; ничего нет, и всё есть. Тракторист оказался весьма кстати, и вообще всё сложилось как нельзя лучше. Стояла прекрасная погода. Дошли до машинотракторной станции, там нашёл попутный грузовик. Я уселся наверху среди мешков с льняным семенем. Одному Богу известно, кто здесь возделывал лён.

Отмечу кстати, что, с кем бы ни приходилось встретиться по пути, никто не спрашивал меня о цели моей поездки: должно быть, люди считали, раз я сам помалкиваю, значит, нечего и выпытывать. Но что я мог бы ответить? Мне никто бы не поверил, если бы я сказал, что пустился в дальнюю дорогу с намереньем пополнить свою коллекцию. Пожалуй, приняли бы за сумасшедшего; а уж если бы я намекнул, куда я держу путь... Впрочем, не стоит об этом. Ещё одно обстоятельство должно было бы удивить иностранца, — меня оно вовсе не удивляет. Чем дальше вы продвигаетесь вглубь нашего обширного государства, — словно опускаетесь в воронку, — тем всё вокруг становится глуше, всё меньше встречных, все реже и скудней человеческое жильё. Сердцевина страны безлюдна.

Пошла уже вторая неделя моего путешествия, накануне мне повезло: я остановился в большом, некогда богатом селе — избы из массивных почернелых брёвен, на высоких подклетьях, где прежде помещались амбары; на главной улице почта, клуб, сельсовет и Дом крестьянина, где за скромную плату удалось получить койку. Было уже довольно поздно, я ждал, когда придёт дежурная; последовало разглядыванье моего паспорта, заполнение анкеты; наконец, меня провели в тускло освещённый, сплошь уставленный койками зал, всё это громко храпело, чмокало, постанывало во сне, — что снилось людям? Я думаю, им снилось всё то же самое.

Расплатившись, я попытался навести справки; по моим предположениям, оставалось уже недалеко; и, хотя конкретно ничего узнать не удалось, — дежурная в Доме крестьянина была новым человеком в округе, другие сообщали разные, отчасти фантастические и противоречащие друг другу сведения, — я, по крайней мере, понял, в какую сторону мне надо направиться. Оставалось каких-нибудь десять-двенадцать километров. Я шагал с палкой и отощавшим рюкзаком по

лесной дороге в самом лучшем настроении, пели птицы, сиреневое небо между верхушками сосен постепенно теплело, голубело, во мхах и травах на полянах сверкали цветные искры росы. Откуда-то издалека донёсся звук, похожий на зов охотничьего рога, какие тут могут быть охотники, подумал я, всё это принадлежало далёким романтическим временам. Пронёсся ветер. Никто не попался мне навстречу, сперва на дороге были видны следы колёс и копыт, кто-то куда-то ехал на телеге, потом верхом, не доехал и повернул назад. Осталась дорога — теперь это была тропа — и медленно спускалась в лощину. На дне лежал мёртвый лось, полурастерзанный, с пустыми глазницами, с лопатообразными рогами, белыми от птичьего помёта, тучи пернатых взвились над ним. Вокруг стояли вековые тёмные ели, местами густой колючий подлесок мешал пройти.

Я объяснил, кто я такой. Но прежде надо всё-таки досказать в двух словах, как я добрался до замка. Да, господа, невероятно, но факт: я всё-таки побывал там, — я, тот, кто стоит сейчас перед вами. Если бы можно было, я бы там так и остался... Лес поредел, впереди посветлело, солнце стояло уже совсем высоко, я брёл вверх и наискось по склону, и вот впереди на открывшейся равнине завиднелось что-то, блестели стёкла, обозначились стены, на башне под слабым ветром веял и трепыхался флаг. Не скажу, чтобы я был разочарован, но всё-таки представлял себе здание выше и помпезней. Правда, внутри, как это часто бывает, оно оказалось гораздо обширней.

Теперь, когда я, наконец, добрался до места назначения, я чувствовал смертельную усталость, коснеющим языком пролепетал несколько слов — как уже сказано, объяснил, кто я и зачем прибыл. Дама за стойкой сняла телефонную трубку, поглядывала на меня, на мой одичавший вид; я не слышал, что она говорила, упал в совершенном изнеможении в кресло и тут же в вестибюле уснул, словно мореплаватель с затонувшего корабля, добравшись вплавать до берега.

Несколько времени спустя я был препровождён в помещение для приезжих, смог, наконец, побриться, принять душ, выспаться. В пустынном зале я сидел за завтраком, подошёл человек и скромно отрекомендовался: это был экскурсовод. Собственно говоря, прежде чем отправиться по залам (я был единственным участником экскурсии), мне хотелось прозондировать почву касательно некоторых экземпляров, которые я надеялся здесь приобрести. Гид заверил меня, что у нас ещё будет возможность об этом поговорить, ведь я никуда не тороплюсь, не так ли, — и предложил начать с осмотра музейных коллекций.

Из его объяснений было видно, что он хорошо знает своё дело; я едва удержался от желания спросить, не является ли он сам кол-

лекционером. Думаю, что и у него вертелся на языке тот же вопрос. Во всяком случае, он довольно скоро понял, что имеет дело не с торгашом.

Мы остановились перед знаменитой двадцатипятифунтовой Северной Нигерией с портретом короля Эдуарда VII. Экскурсовод сообщил, что ныне известно восемь негашёных экземпляров (о некоторых владельцах я знал), здесь я увидел девятый. Лет пятнадцать тому назад один такой экземпляр был продан — если не ошибаюсь, на аукционе в Нью-Джерси — за 23 тысячи долларов; ныне марка оценивается вдвое, а то и втрое дороже. Вообще здесь можно было увидеть сокровища, ради которых стоило проделать такой долгий и трудный путь. Упомяну, к примеру, полную серию траурных марок СССР 1924 года с зубцами, весьма редких, в отличие от марок с Лениным без зубцов. Упомяну неплохо сохранившиеся Маршалские острова кануна Первой мировой войны; серию крупноформатных марок Баварского королевства с профилем принца-регента — отнюдь не дорогую, но я её очень люблю.

Мы углубились в интереснейшую беседу о календарных и специальных штемпелях, клеях и сортах бумаги, способах гашения, водяных знаках и надпечатках. «А что вы скажете об этой серии», — говорил время от времени мой спутник. «А как вам нравится вот это?» — и он подвёл меня к невзрачной на вид марке с гербом Стеллаленда, мало кто помнит, где находилась эта колония, выпуск 1885 года, с надпечаткой «twee» ручным штампом. Никаких дефектов, отличные зубцы, одним словом, одна из лучших дошедших до наших дней. Я отнёсся к ней довольно прохладно. Весьма незаурядный экземпляр, но ведь не Бог весть что, — марка была выпущена большим тиражом, считать её редкой, извините... «А вы приглядитесь». Он опустил над витриной большую круглую линзу, прибавил подсветку. Я взглянул и ахнул...

Господа, я напомню вам случай, обошедший всю филателистическую печать; о нём сообщали крупные газеты, не говоря уже о специальных изданиях. «L'Echo de la Timbrologie» поместило подробный отчёт о судебных заседаниях. Не буду называть имя подсудимого, возможно, он ещё жив. Это был высокоталантливый художник-копиист.

Вы согласитесь со мной, что коллекционирование фальсификатов есть занятие столь же традиционное, столь же достойное и заслуживающее такого же уважения, а в иных случаях и восхищения, как и собирание подлинников. В некотором высшем смысле поддельный раритет равноправен подлинному, — если не оказывается ещё выше. Ибо в данном случае имитация превзошла подлинник. Роли переменялись: настоящим, редчайшим и поистине драгоценным образцом оказалась подделка.

Как я уже сказал, марка известна во многих экземплярах, ценность её относительно невелика. Во много раз дороже, однако, подделка — довольно неумелая, почему она и была тотчас разоблачена, но выполненная в единственном экземпляре. И вот этот экземпляр находился сейчас передо мной. Нет, не этот; в том-то и дело, что не этот. То, что показал мне экскурсовод, было искуснейшим подлогом — изумительной по степени сходства имитацией. Но не малоценного подлинника, нет, а подделкой поддельного экземпляра. Мастер продал её за огромную сумму.

Мне остаётся добавить, что и этот подлог был в конце концов разоблачён, художник привлечён к суду. Но что было делать? Закон преследует фальсификацию государственных знаков почтовой оплаты, но не фальсификатов. Судья вынес оправдательный приговор.

Перехожу к главному, — вы поймёте, почему я заговорил об идеальном мире имитаций. Гид, или вожатый, — уж и не знаю, как его назвать, — ввёл меня в отдельный зал почтовых марок, открыток с напечатанными марками, конвертов и прочего, украшенный геральдическими орлами, под сенью трёхцветных знамён: зал Объединённого Западно-Восточного Королевства Зеданг.

Те из вас, господа, кто специально коллекционирует Зеданг, информированы лучше меня. Но и я более или менее осведомлён об этой стране. Изумительная по красоте художественного и литографического исполнения серия «Гиббоны и облака», естественно, занимала здесь одно из почётных мест. Полностью всю серию — 12 марок — мне пришлось видеть только в книгах, точнее, в каталоге Гизевюса, в V томе, в разделе фиктивных государств. Я остановился, ошеломлённый, зачарованный, как останавливаются перед Джокондой, как застывают перед Афродитой Анадиоменой. Экскурсовод скромно ждал. От гиббонов мы перешли к портретным сериям монархов. Моё внимание привлёк последний выпуск, с этой серией я ещё не был знаком, — после чего перешли в демонстрационный зал.

Я опустил в кресло, испытывая блаженную усталость. В мягком сумраке сами собой опустились и мои веки. Тотчас же я очнулся. В глубине большого, по-видимому, оснащённого новейшей техникой стереоскопического экрана, в рамке с зубцами, неприметно меняя цвета, появились, приблизились, осветились номиналы, официальное название страны, поясной, влоборота портрет Его Величества. За этой серией последовала пейзажная, тоже недавнего выпуска и мне ещё неизвестная; должен признаться, она повергла меня в немалое недоумение. Дело в том, что Зеданг расположен, как вы знаете, в субтропиках, к северу от тропика Рака и южнее 37 параллели. Между тем ландшафт на экране

был типично... как вам сказать? Да, типично русским — какая-нибудь Тверская, Калужская или Орловская область. Но что значит типично? Это был таинственная, затягивающая красота. Вдали смутно виднелась деревня. Косо из левого нижнего угла в верхний справа почтовую марку — пожелтелые поля — пересекала дорога. Серо-жемчужное небо, кромка леса на горизонте. Тихая музыка в зале, где мы были только вдвоём, напоминала Римского-Корсакова, немножко Танеева. А может быть, давнишнюю, из времён детства, Первую симфонию Василия Сергеевича Калинникова.

«Послушайте, вы... — пробормотал я, — вы что, меня морочите?»

Это была снова, во весь экран, марка с портретом монарха. Я повернул голову, экскурсовод сидел с непроницаемым выражением. Ну-ка, повернитесь, сказал я.

«Почему вас это удивляет? — спросил король. — Да, конечно. Но не могу же я, — он кивнул на экран, — надевать всё это каждый день...»

«Кстати, — промолвил он после некоторого молчания, — известна ли вам этимология слова “Зеданг”? Филателисту следовало бы это знать... Загляните как-нибудь в словарь. Самый обычный русский этимологический словарь».

«Ваше Величество, — лепетал я, — мне... я... Мне так неловко...»

«Ничего, ничего. Я ведь не представился. Точнее, вы не были нам представлены. Мы хотели поближе познакомиться вас с моей страной».

«Да, но ведь её не существует!»

«М-м, как вам сказать... Это ведь и ваша страна... в известном смысле. Но дело в том, что... Одним словом, я обязан вас предупредить».

Кажется, на моём лице появилось вопросительное выражение. Венценосец сказал:

«Аппаратура позволяет посетить Зеданг. Демонстрация далеко не окончена, но вы, собственно, уже вступили туда, экран больше не нужен. Однако путешествие в королевство должно быть ограничено весьма коротким сроком. Вам не захочется возвращаться. Вы не первый, кто навсегда остался в этой стране. Эта страна затягивает. Вы почувствуете себя на родине, вас подстергает та же опасность».

Господа! я там побывал. Хоть и с трудом, мне удалось вернуться.

Жизнеописание Л.Лурье, основателя Новой Каббалы

1

Мы сознаём, что ставим себя в двусмысленное положение. Представьте себе — если позволительно такое сравнение — детективный роман, который оставляет читателя в неведении: кто убил, и как, и убили вообще? Вообразите сыщика, употребившего весь свой опыт, но вынужденного развести руками: ничего не получилось! Истина ускользнула, тайна так и осталась неразгаданной. Жизнь нашего современника и соотечественника Леопольда Лурье напоминает такой роман: подобно сочинению неумелого беллетриста, она лишена последовательности, нет выстроенного сюжета, и концы не сходятся с концами. Загадочное исчезновение великого каббалиста усугубило эту незавершённость. Итак, то, что мы можем здесь предложить, — лишь следы исчезнувшей жизни. Если, изучив немногие документы, опросив знавших Лурье случайных лиц и т.д., удалось кое-как скрепить обломки биографии то и на том, как говорится, спасибо.

2

Сомнения встречают историка с самого начала. Лурье вёл свою родословную от рабби Ицхака Лурия Ашкенази, сокращённо именуемого Ари, легендарного мудреца и мечтателя, родившегося в Иерусалиме и умершего тридцати восемью лет от роду в городке Цфат, в тогдашней Османской империи, во второй половине XVI века. Впрочем, не все специалисты допускают, что он существовал на самом деле.

Напомним исходный пункт так называемой лурианской Каббалы — метафору расколотого кувшина. Разумеется, мы можем сказать о ней совсем кратко. Намереваясь создать мир, Всевышний освободил для него пространство в необозримой вселенной, но сосуд божественного света разбился, и в мир проникли тьма и зло. Это утверждение Ари, которое комментаторы поспешили расценить как реа-

билитацию Зла, повлекло за собой тяжёлый кризис каббалистического сознания, мистической эротики и метафизики. Ведь из него следует, что всеблагое Начало, о котором сказано: «Всё в Тебе, и Ты во всём; и Ты был во всём до того, как всё было сотворено», отделилось от творения и твари. Творение есть экстазис, «источение» Божества. Акту творения предшествует вожделение Бога. По логике лурианства, Предвечный отделился от мира, так и не уголив нарциссического влечения к самому себе, не успев создать мир из ничто единственно возможным способом — путём Божественной мастурбации, излившись сам из себя.

3

Измислил ли свою генеалогию сам Леопольд Лурье или она осталась легендой? Знал ли Лурье о том, что гробница Ицхака Лурии в Цфате оказалась поддельной? Существует предание (упомянем о нём в скобках), которое странным образом отозвалось в его собственной судьбе: будто бы время от времени его предполагаемый предок посещал потусторонний мир, где общался с душами умерших, с пращурами и пророками, — прежде чем исчезнуть там навсегда.

Между тем твёрдо установлено, — мы скромно признаём за собой эту заслугу, — что Лурье появился на свет, как бы в противовес рабби Ицхаку Лурия, отнюдь не на Ближнем Востоке. Нет, он родился в России, а именно, в рабочем посёлке под городом Горьким, ныне Нижним Новгородом, его отец, некий Фёдор Подшибякин, лицо без определённых занятий, из тех, кого в народе называют шатунами, бросил семью, о 16-летней матери известно, что она умерла в родах. Незавидная участь постигла бы и ребёнка, если бы не бабушка. Словно посланница судьбы, она явилась Бог знает откуда и увезла младенца Леонтия, вручив предварительно кому надо необходимую сумму. Обратного адреса не оставила. Каким образом удалось объяснить властям загадочное исчезновение малыша, тоже неясно.

За ним, согласно свидетельству о рождении, всё ещё сохранялась фамилия отца. Тем не менее, он получил другое имя, тогда же, по-видимому, был обрезан и усыновлён мнимой бабушкой. Мальчик вырос в Москве, в старинном доме у Никитских ворот, где приёмная мать обитала в просторной квартире. Благополучно окончив среднюю школу, юный Лурье-Подшибякин поступил в университет, на филологический факультет — примечательным образом на восточное отделение.

Отвлечёмся на короткое время, чтобы описать его внешность. Фотографий, вообще каких-либо изображений Леопольда Лурье, как известно, не сохранилось. Возможно, это было следствием рано развившейся мании скрываться — жизнь Лурье представляет собой чередование света и тени. По отзывам, герой этих страниц был весьма хорош собой, высок и строен, пользовался успехом у молодых девиц, подражая предкам, рано отпустил ярко-рыжую бороду, но этот словесный портрет относится только к юным годам. Позднейшие сведения его опровергают. Так, иные из наших собеседников утверждали, что Лурье, напротив, был приземист. Ходил, выворачивая ступни наружу, заложив непропорционально длинные руки за спину; якобы что-то птичье было в его манере закидывать голову, выставив почти касавшийся крючковатого носа щетинистый подбородок.

Говорят, пятнадцатилетним отроком он был совращён приходящей уборщицей по имени Марфуша, женщиной столь же хитроумной, сколь и сластолюбивой. Разгневанная бабушка изгнала эту Лилит, но свидания продолжались тайком. Последствия не заставили себя ждать, вскоре у ещё не сбившего золотистый пух с подбородка, едва успевшего сделаться сыном Закона, *бар-мицва*, то есть переступить порог религиозного совершеннолетия, подростка родился сын, будто бы вылитый отец. Проблему, как некогда на родине младенца Леопольда, решила находчивость всё той же бабули. Была пожертвована приличная сумма. После чего мамаша и отпрыск бесследно исчезли из жизни Лурье; о дальнейшей судьбе ребёнка ничего не известно.

Можно считать установленным, что интерес к мистическим учениям иудаизма, пробудившийся в студенческие годы и, конечно же, не оставшийся незамеченным в предательском окружении, — интерес, равнозначный крамоле, — стал причиной и законным основанием для того, чтобы юность Леопольда Лурье была перерублена вмешательством высших бдительных сил. На двадцать первом году жизни он был арестован. Чему не приходится удивляться.

Но что значит законное основание? Позволив себе коснуться этого прискорбного эпизода с трудом, повторяем, восстановленной биографии Л. Лурье, заметим, что всякая доктрина, если она не согласуется с официальной ортодоксией, неизбежно порождает сомнение в ортодоксии. Ортодоксия же представляет столп и утверждением истины.

Истина равнозначна режиму. Ergo, приверженец незаконной доктрины есть враг режима и должен быть возведён в ранг врага народа. Враг народа Лурье был схвачен на основании агентурных сведений, другими словами, по доносу товарища-однокурсника, в ночь накануне государственного праздника годовщины Октябрьской революции и, как положено, беззвучно провалился в подземный мир.

6

Подземный ли? Первое, что ожидает арестанта, — раздевание, холодный душ, стрижка наголо и пребывание в боксе-отстойнике до утра — происходит, действительно, в подвалах. Наверху высится похожая на колумбарий, многоэтажная цитадель закона. Однако эта метафора тайного и безвозвратного изъятия из мира живых должна быть пересмотрена.

Выше упоминалось о Новой Каббале. Здесь уместно будет сказать в нескольких словах о важнейшем каббалистическом тексте, где изложено в символической форме учение рабби Ицхака Лурия Ашкенази-младшего, как называют с некоторых пор Леопольда Лурье. Мы говорим о романе «Опрокинутый мир».

По авторитетному заключению современных специалистов, роман Лурье может быть сопоставлен с самой известной каббалистической книгой **רהוזה רפס**.

Напомним, что Зоар, в переводе с иврита блеск, сияние, представляет собой комментарий к Торе, написанный, как думают, в тринадцатом столетии испанцем рабби Моисеем де Леон, который выдал его за произведение Шимона бар-Йохая.

Как известно, Тора предписывает четыре ступени понимания текста, обозначенные буквами, из которых состоит слово Пардес, или Сад мудрости; в свою очередь познание Каббалы доступно лишь тому, кто вошёл в Сад, переступив одну за другой все четыре ступени. Согласно талмудической притче о четырёх мудрецах, вошедших в Пардес, нефит может пройти через Пардес ценой собственной жизни.

(Попутное замечание. Рассказ о мудрецах, трое из которых погибли в Парлесе и лишь четвёртый, ведущий реб Акива остался в живых, реинтерпретирован в неолурианской Каббале. Постигание высших тайн мироздания сопоставляется с познанием женского тела — четырехъярусного вертограда наслаждений, которое завершается репетицией смерти. Вправе ли мы предположить, что такое толкование подсказала создателю Новой Каббалы полудетская связь с работницей Марфой?)

Роман Лурье, конфискованный тайной полицией, долгое время считался погибшим. Герой, в котором можно узнать автора, живёт, не подозревая о том, что для него готовится местопребывание в потусторонней обители. И лишь когда к нему являются таинственные вожатые в масках, вталкивают его в бронированную колесницу с чёрными окнами и везут по невидимым улицам и мостам ночного города, когда экипаж останавливается и, вылезая, пленник слышит, как за ним навсегда смыкаются створы стальных ворот, — лишь тогда он догадывается, что попал из мира живых в преисподнюю. Окружённый тенью, он сам — тень. Так он узнаёт о том, что потусторонний мир существует на самом деле. Теперь ему предстоит провести в нём остаток жизни.

8

С тех пор, как комментаторы Новой Каббалы проложили тропинки знания в заколдованном саду иносказаний и притч, какими изобилует роман (как считалось, неоконченный), стало возможным кое-что узнать о тусклой действительности одного из крупнейших лагерей принудительного труда, тех, что раскинулись на берегах бездонных рек подземного мира, в таёжном и заболоченном краю, среди вечных льдов великого северного океана. Здесь отбывал свой бессрочный срок Леопольд Лурье.

Нам уже приходилось цитировали тезис Ари о разбитом кувшине Творца: следствием этого несчастья было то, что свет не пролился в мир Новая Каббала внесла в эту теорию важное уточнение. Божественное Всё и Ничто (эн-соф) исторгает из себя десять сфирот — искр или семян мироздания. Однако, указал Леопольд Лурье, в осколках кувшина кое-что осталось: некоторое число несовершенных сфирот, чёрных искр. Из них произошли Оовенцим, Бухенвальд, Треблинка. Из них возникло и наше лагерное государство.

9

В один забываемый день произошло предсказанное пророками: каннибал — не будем грязнить его именем эти страницы — испустил дух. Плачущие толпы проводили его в царство Самииэля. Понемногу кое-кто стал возвращаться из узилищ. К этому времени бабушка, добрый дух и воспитательница Леопольда, уже давно переселилась на

московское Востряковское кладбище. Опустим скучную повесть о бюрократических мытарствах бывшего заключённого, которому всё же посчастливилось добыть жильё и прописку, — правда, не в самой столице: на то была особая секретная пометка в его новом паспорте, который внешне не отличался от волчьего билета.

Уединённая дача в залестье, многие годы стоявшая заколоченной, в сорока минутах ходьбы от полустанка, в полутора часах езды до города, стала его убежищем. Лурье вёл жизнь. Одержимый (как все побывавшие за колючей проволокой) уверенностью, что погода рано или поздно изменится и за ним придут вновь, — ибо лагерь вечен, как мир, — анахорет возобновил работу над своим романом, надеясь, что успеет его закончить до нового ареста хотя бы вчерне. Здесь его настиг последний нокаут судьбы.

10

До сих пор не вполне прояснены обстоятельства, при которых завершилось земное существование Леопольда Фёдоровича Лурье. Есть сведения, что изредка он покидал дачу, чтобы посетить в городе могилу бабушки, но была и другая причина. Лурье получал письма из лагерного края. Письма без обратного адреса поступали на Главный почтамт до востребования. Кто их писал?

Нами уже были принесены извинения за несовершенство предлагаемого жизнеописания. Но лучше откровенно указать на лакуны информации, нежели пытаться залатать их домыслами. Здесь придётся вернуться к полузабытой поре, так называемой оттепели, когда в итоге некоторых общих послаблений лагерного режима з/к Л.Лурье был расконвоирован. Это означало, что он получил пропуск за зону и право не ходить на работу в общей колонне, под крики конвоя с автоматами и овчарками. Некоторое время спустя, сменив разные малопривлекательные должности, он был назначен сторожем дальнего лесосклада.

Концлагеря именовались исправительно-трудовыми; вопрос, кого и от чего они могли исправить, остаётся открытым, но по крайней мере вторая часть этой остроумной формулы незыблема. Но жизнь сложна, как сложна и непредсказуема сама наша матушка-Русь, и никакими формулами описана быть не может. В лагере, — как, впрочем, повсюду — можно было, работая, не работать. Нельзя сказать, чтобы Лурье был особо искусен в умении уклоняться от исполнения своего патриотического долга, — так уж получилось. И не в нашей компетенции решать, от кого, собственно, надлежало охранять лесосклад. Существовала такая должность, кто-то должен был её исполнять.

Склад находился в десяти километрах от зоны. Вечером, когда бригады возвращались из оцепления, Лурье пускался в путь. Он шагал по лежне, опираясь на палку для равновесия, чтобы не оступиться в болото; под звёздами, подойдя к штабелям, раскладывал, где посуше, костёр. Несколько времени погода из мрака, озаряемый отблесками огня, появлялся призрак.

Отшельник сидел на корточках перед раскалённой печуркой с подвешенным на проволоке коленом железной трубы, в сторожке, сколоченной из горбыля. Гостя расстилала на топчане изношенный поколениями узников овчинный тулуп, развязывала шерстяной платок и косынку, сбрасывала пальто, кацавейку, встряхивала ореховыми волосами. Она приходила издалека, раскрасневшаяся от ночного холода, с блестящими глазами, крепконогая, широкобёдрая и полногрудая.

Впоследствии она проделала ещё более долгий путь, чтобы добраться до станции, где находилось главное управление таёжного княжества. Там она села на поезд, идущий в юго-западном направлении, три дня и четыре ночи ехала в переполненном вагоне через леса и пустоши мимо неведомых селений и, наконец, сошла на рассвете в толпе одуревших от долгого путешествия пассажиров на перрон огромной фантазмагорической столицы. Ей понадобилась приложить ещё немало усилий, терпения и находчивости, чтобы добраться до цели. Шатаясь, она поднялась на крыльцо заброшенной, дачи. Была глубокая ночь. В окнах мерцал огонёк. Великий каббалист сидел над своим манускриптом.

Подробности встречи, как и последующей мелодраматической сцены на рассвете, неизвестны. Следствие по делу о смерти гражданки Марии Анкудиновой, 38 лет, колхозницы, русской, проживающей в деревне Лукошкино такого-то сельсовета, района и области, лишь подтвердило факт, очевидность которого не требовала длительного расследования.

Было найдено письмо, которое она привезла с собой. Лурье писал о том, что окончательно порывает с ней, просит, чтобы она больше не писала к нему. Видимо, он повторил содержание этого письма, осыпав незваную гостью упрёками. Описывать детали самоубийства кажется нам излишним; в припадке гнева и отчаяния Маруся зарезалась.

Поиски других документов ничего не дали, не оказалось и рукописей. Что касается самого Леопольда Лурье, он исчез бесследно. Выше говорилось о том, что составитель воздерживается от безосновательных предположений. Однако причина не вызывает сомнений; её можно свести к короткой фразе: *будешь меня помнить!* То была месть женщины за поруганную любовь.

13

Мы приблизились к финалу; собственно, финал уже наступил: недоброе число, венчающее этот рассказ, побуждает нас завершить биографию основоположника Новой, неолурианской Каббалы указанием на события в духовном мире, совершившиеся на наших глазах и радикально изменившие наше представление об этом мире. Стремительный прогресс информационной техники во второй половине столетия заставил по-новому взглянуть на некоторые проблемы философии и традиционные метафоры богословия. Обнажился тайный смысл вероучений, веками считавшихся еретическими.

Здесь уже говорилось о лурианской Каббале, наследии великого Ицхака Лурии Ашкенази. Вспомним учение о раздвинутом пространстве, оживим в своей памяти и предание об учителе, который навещал пророков и прашуров в мире, находящемся по ту сторону земного знания и существования. Откуда в конце концов он никогда не возвращался. Наконец, не вдаваясь в многообразные аспекты этой темы, укажем на важнейшую интуицию, которая образует философскую основу многократно упомянутого текста Леопольда Лурье — его романа: существование в потустороннем пространстве есть на самом деле подлинное бытие, тогда как земной мир — это царство теней.

Куда же девался автор романа? Решаемся дать ответ. Оставив нашу юдоль, Лурье переселился в надмирное электронное пространство — виртуальный мир интернета. Скажут: но ведь он не дожил до появления компьютера. На это можно ответить только одно: эпоха компьютеризации в свою очередь опоздала, не успела застать в живых создателя Новой Каббалы. Зато она отворила тайные врата — открыла доступ к виртуальному Пардесу, куда, как четырём мудрецам, ему предназначено было войти и откуда он не вернулся.

Будем и мы его помнить.

ИДУЩИЙ ПО ВОДЕ

Звук, похожий на бульканье, словно без конца переливали воду кружкой из одного ведра в другое, слышался всю ночь, с ним засыпали и просыпались, и, когда я смотрел на часы — было пять,— и пошатывался, слезая с обрыва, этот звук стоял в ушах. Солнце еще не успело вылезти из-за лесистых холмов, холодные камни казались отсыревшими за ночь.

Кто поверил бы, что накануне бушевал шторм! О нем, правда, напоминали клочья бурой травы, очески от бороды Нептуна, и зализы сырого песка со следами полузасохшей пены. Но море было зеркально, пустынно и как будто дымилось белым паром.

Об этом стоит поговорить; мне кажется, я еще никогда не видел такой воды. Перед восходом солнца море было белым, как молоко, только у самого берега большие камни покачивались в воде и отражались в ней зелеными разводами. Вдали огромная бесцветная гладь сливалась с бледно-фисташковым небом.

И странная мысль являлась на ум при виде этой равнины: кажется, шагнешь — и не потонешь, и зыбким пятном отразишься в воде. Это ощущение плотной, холодной и колышущейся воды было так живо, что я тотчас принялся что-то сочинять на эту тему; вдали я заметил мерцающую полосу, смутную трассу, косо идущую вдоль горизонта. Так вот что такое были *дороги моря*, эти слова обрели предметность. Вообще я заметил, что смысл многих слов, давно утраченный, оживает, когда окажешься вот так, с глазу на глаз, с морем, землей и небесами.

В кустах над обрывом уже сверкало нечто подобное грандиозной улыбке. Апельсиновый луч брызнул с высоты. Из зарослей дубняка выбралось косматое солнце, свет бежал по песку, и вокруг меня протянулись сизые тени. Тотчас вслед за этим событием послышались озабоченные шаги. Учительница средней школы хрустела по песку в босоножках. Утро уже сияло вовсю. Учительница проспала солнце.

Мы не раз встречались так по утрам, и она угощала меня здешними мелкими грушами. Они были невкусные, но считались витаминными — так о женщине говорят, что она некрасива, но зато умна.

Разговор зашел о плавании. Морская вода держит, сообщила она, в ней много солей.

«Вы преподаете химию?»

«Нет. Но это и так известно. Можно лежать, и не утонешь».

«А ходить по воде можно?» — спросил я.

Мы жевали груши и швыряли в море объедки — чтобы не загрязнять пляж. Я заметил, поглядывая на собеседницу, что ноги у нее не смыкались, факт прискорбный, ибо степень упитанности влияет на мировоззрение. Никакие иллюзии невозможны для женщины, у которой торчат ключицы.

«Видите ли, — пробормотал я, — есть такой рассказ».

Мой вопрос поставил ее в тупик, ей стоило усилий отнестись к нему серьезно. Подумав, она ответила, что такое событие могло произойти — в очень далекие времена. Тот, кто шагал по воде, был пришельцем с другой планеты. Это были обломки чего-то прочитанного.

Итак, она согласна была фантазировать, но лишь под покровительством науки.

Зачем же, спросил я, прилетать с другой планеты?

Она не поняла.

«Какой смысл было прилетать ради того, чтобы заниматься моральной проповедью?»

«Моральная проповедь,— возразила учительница,— это выдумки. Вот это действительно выдумки».

Прищурившись, античным жестом я метнул огрызок груши по поверхности вод. В эту минуту ребристый луч упал на воду, и я увидел Идущего. Он шел, не обращая внимания на жидкий блеск воды, не заботясь о том, как истолкуют его явление. Я сказал:

«Знаете что? Попробуйте вы совсем отказаться от объяснений. Мало ли в жизни невероятного. Может, лучше искупаемся?»

Ответа не последовало — да и какой мог быть ответ? Учительница пошла в море, она смеялась и вскрикивала, говоря, что вода чудо и обжигает, словно огонь.

Наш диспут на этом окончился, и, может быть, не стоило вовсе упоминать о нем. Но для меня он был важен, потому что возвращал меня к тайным и все еще неясным мыслям. Я испытывал нежность к этой компании простонародных апостолов, бродившей за своим учителем по рыжей от солнца галилейской равнине; я видел их, идущих толпой, точно крестьяне с ярмарки, громко спорящих и размахивающих руками или ступающих чинно друг за другом, след в след, как иноки минориты или буддийские монахи.

Учительница вышла на берег, вода стекала с нее, как чешуя. Она обула босоножки, и худые ноги ее захрустели по песку. Пора было зав-

тракать. Я полез вверх по обрыву. Я вел восхитительный образ жизни. Образ Идущего по воде не выходил у меня из головы, и, раз уж это утро настраивало на метафизический лад, я вспомнил слова одного мудреца, кажется, Ясперса, о том, что тот, кто не может уверовать, создает себе веру в своем воображении.

*

Раввин устал, преследуемый толпой, отовсюду сбегавшей поглазеть на него, и, когда на исходе дня они подошли к берегу, сказал, что не поедет и хотел бы провести ночь в горах, один.

Компания спустилась в ложбину по следу высохшего ручья, где давали немного тени полузасохшие кусты, которым не суждено было превратиться в деревья оттого, что их обгладывал скот. Был конец десятого часа — по-нашему шесть часов вечера,— и солнце стояло еще довольно высоко. Ученик Андрей отправился к рыбакам, он подошел к крайней лачуге, видневшейся на пригорке, и сейчас же оттуда с лаем выскочила дворняжка. Старик в портках, босой и с одним глазом вышел и стал разговаривать с Андреем.

«Все в порядке, — сказал Андрей, спустившись с холма. — Еле уговорил».

На земле были разложены остатки еды. Симон, который заведовал хозяйством, быстро собрал куски хлеба в мешок; все встали и пошли гуськом по засохшему руслу вниз. И чем ниже они спускались, тем ярче сверкало внизу между зарослями. За учениками шел старик с веслом и веревкой, а за стариком — мальчик лет десяти, волочивший под мышкой второе весло.

Наконец ложбина кончилась, и сверху перед ними открылась широкая и гладкая равнина. Она блестела, как медь. Это и было Генисаретское озеро, которое местные жители называли морем.

Симон догнал Андрея.

«Сколько ты ему дал?»

«Тридцать».

Симон вздохнул: в кошеле, висевшем у него под рубахой, оставалось двести динариев.

«Ну и сам бы торговался», — возразил Андрей.

Лодки лежали далеко от воды и для верности были привязаны к кольям, вбитым в песок. Старик указал на бокастый баркас, Андрей почесал затылок.

«Одной пары маловато будет», — сказал он.

Хозяин стоял, подняв к небесам свой вытекший глаз. Солнце висело над пеленою сизых облаков, легкий ветер шевелил рубаху старика.

«Отец!»

«Ну чего тебе?»

«Нам бы еще парочку весел».

«И куды спешить на ночь глядя? — проворчал старик. — Ночевали бы уж, а там... Тише едешь, дальше будешь». Он уселся на корточки от-вязывать баркас. Учитель, до сих пор молчавший, подошел к Симону и Андрею.

«Езжайте, еще успеете, — сказал он. — Тут недалеко».

Они вопросительно глядели на него. Подошел брат Андрея Петр.

«Не хочет ехать, — сказал Симон вполголоса. — Может, вправду отложить до утра?»

«Пожалуй, — согласился Петр. — Переночуем в деревне. Извини, батя, — обратился он к хозяину лодки, — мы, того, передумали».

Раввин порывисто повернулся к ним. «Перестаньте, не тратьте времени. Встретимся в Капернауме». И, так как они медлили, добавил, обращаясь главным образом к Петру: «Здесь оставаться больше нельзя».

Они поняли, что он имеет в виду драку в трактире. Пьяный сириец, схватившись с Петром, чуть не убил его. Вернулся мальчик, весь потный и запыхавшийся, он волочил по земле вторую пару выдавших виды весел. Ученики — раз-два, взяли! — столкнули баркас на воду. Андрей первым вошел на лодку и сел на корме.

Старик бормотал, глядя на них: «Утро вечера мудренее. И куды легкая несет?»

Маленький Симон Кананит упавшим голосом уговаривал рабби взять у него часть денег на всякий случай. Придерживая на груди кошель, огорченный Симон прыгнул в лодку. Кормой вперед баркас отчалил. Передний гребец, оглядываясь, разворачивал, сидевший с ним рядом табанил; позади вторая пара гребцов сидела наготове, подняв весла. Круглый, похожий на скорлупу ореха баркас качался на воде. Потом все двенадцать стали медленно удаляться по медной, лоснящейся глади, лодка равномерно взмахивала веслами, а с берега, заслонясь от солнца, вслед ей смотрели провожатые. Мальчик махал рукой.

Они повернулись и пошли, дед и мальчик впереди, за ними, глядя себе под ноги, шагал высокий понурый раввин. Вот уж их и не видно. Широкой дугой раздалась бухта, открылись прибрежные холмы, позади них выступили скалистые серые горы. Вода сильно блестела. Баркас бойко шел вперед. Плыли молча. Сидевший на носу Петр видел сомлевшие лица товарищей, потные спины гребцов и на корме, над всеми широкое неподвижное лицо Андрея, озаренное точно пламенем пожара. Берег, еле заметный, растворялся в фиолетовом мареве.

Петр думал о рабби, о его словах, сказанных в харчевне, куда они завернули, истомленные зноем и жаждой. Ну и вертеп! С порога в нос

шибануло кислой вонью, две-три осовелых физиономии повернулись к вошедшим, больше никто не обратил внимания. Должно быть, сюда еще не докатилась молва о Царе иудейском. Хозяин молча сгреб обьедки с длинного стола, растолкал спящих, чтобы освободили место, принес блюдо маслин, кислого вина и четыре кружки на всех.

Бряк! Лоснящаяся от жира монета с головой императора Тиберия ударилась об стол. «Ставлю бутылку, — сказал кто-то. — Я их уже видел». Перед ними стоял широкоплечий и смуглый, могучего вида оборванец, в серьгах, с амулетом на голой груди, грязным пальцем показывал на раввина.

«Иди, Варавва, чего привязался к людям?» — бросил ему мимоходом хозяин.

«Нет, шалишь. Сыграем? Кесарь твой, корова моя». Монета взлетела вверх и покатилась по полу. «Абрашка! — закричал Варавва. — Кончай ночевать. Полезай под стол». И Петр вспомнил, как среди нищих один по имени Авраам, подхватив полы лохматого рубища, бросился под стол за монетой, а Варавва с криком: «Зубами, зубами!» — поддал ему пинком в зад.

Он искал глазами учителя, намеревался что-то добавить, но тут приоткрылась дверь, кто-то вошел в ярком свете дня: девушка лет тринадцати, черноглазая, с желтой лентой в волосах. В это время Авраам, воздев руки и держа в зубах золотой, тряся лохмотьями, исполнял какой-то сложный и похабный танец. Варавва заливался счастливым смехом, а хозяин, скрестив волосатые руки, стоял перед занавеской у входа в другую комнату и без всякого выражения смотрел на них.

Гостя с презрением взглянула на плясуна, она шла танцующей походкой, виляя бедрами под цветастой юбкой, трактирщик хотел остановить ее, она отмахнулась. Тоненький голосок нагло и нежно прозвучал в зловонной харчевне.

«Ай-яй. Какие гости! — сказала она по-арамейски. — Глаза мои не видели, уши не слышали. И где я была?.. — Она свесила голову на плечо, не спуская с раввина лиловых глаз. — Господин, погадаю, всю правду скажу. Где счастье найдешь, где голову потеряешь...»

Пришлось потесниться; гадалка, цепляясь юбкой, пролезла между ними. Рядом с учителем она оказалась на две головы ниже, точно ребенок, босые ноги ее висели под столом. Она сорвала с головы желтую ленту, знак ее ремесла, смеясь, тряхнула черными жирными волосами. Варавва засопел, развесил руки.

«Сука! Иди на место!» — прогромыхал он.

Она испуганно хихикнула, сказала быстро: «Жене своей можешь приказывать, я тебе не жена».

Петр скосил глаза: девчонка крутилась, как вьюн, между ним и учителем. Подняв голову, Петр увидел звериные очи Вараввы.

«Кому сказал, ну?!» — лязгнул Варавва. Из всех углов смотрели на них любопытные лица. «Слушай, друг...» — начал было Петр. Гигант, покачиваясь, ввинтил желтые глаза в рабби. Медленно и сначала как будто беззвучно задвигалась его челюсть, на груди закачался амулет, Варавва изрыгнул чудовищно-внятный мат. Женщина, взвизгнув, исчезла под столом. Верзила выбросил вперед цепкую, как щупальце, руку и схватил за бороду раввина.

Кровь бросилась в голову Петру, он вылетел из-за стола. Все повскакали с мест, стукнула, падая, скамейка. Нищие толпились вокруг. Варавва, сцепив ручищи, ударил Петра раз и другой. Кто-то хотел вступить; Петр раскинул руки, отстраняя всех. Рука его шарила по столу, нашла кружку. Варавва расставил ноги носками внутрь, покачивался, что-то пел и доставал не спеша из-за пазухи короткий, вроде охотничье-го, нож.

Петр смотрел врагу в живот, у него был свой план — броситься под ноги и, когда тот рухнет, навалиться сзади и разбить голову тяжелой кружкой.

Вдруг сильная рука остановила его, тонкие пальцы сжали локоть, как клещи. Учитель, худой и высокий, отодвинул Петра.

Варавва проглотил слюну. «Отойди, пахан,— сказал он мрачно,— без тебя разберемся...»

Раввин не двигался и смотрел на Варавву, который держал нож перед животом.

«Бей, чего уж там», — сказал раввин.

Варавва смотрел на него в недоумении. Все молчали.

«Ударь,— повторил раввин. — Ну бей же, если тебе так хочется. Убей меня, и тебе ничего не будет. Они,— он кивнул на учеников, — тебя не тронут, это я тебе обещаю».

Варавва исподлобья следил за ним. Раввин продолжал:

«Если ты ударишь его, то станешь убийцей, и люди будут преследовать тебя. А меня ты можешь убить без всякой опаски. Ведь я — Сын Божий».

Кто-то засмеялся.

«Убей, если не веришь», — сказал раввин и, неожиданно улыбнувшись доброй, жалкой своей улыбкой, раскрыл двумя руками одежду на груди.

Варавва покосился на лица, с жадным испугом ожидающие, что будет, смерил взглядом Петра, усмехнулся. Все зашевелились, раздались восклицания. Маленький Симон, нервно жестикулируя, что-то толковывал непроницаемому хозяину.

Мигнув тусклыми глазами, Варавва цыкнул слюной через плечо. «Ладно, — сказал он презрительно, — валите отсюда...»

Двенадцать вслед за учителем пошли прочь меж расступившихся людей, но, перед тем как уйти, раввин обернулся, пропуская учеников, и что-то сказал толпе. Петр заметил, что девушка с лентой в руках, всхлипывает, снизу вверх глядя на раввина большими отсвечивающими глазами.

*

Учителя провожали, то ли благоговей, то ли насторожась и насмеясь. Кто он был для них: артист-охмурыла, дешевый проповедник, каких было и будет тысячи, или тот, чьим именем он назвал себя? Что они бормотали, когда смотрели с порога вслед удалявшимся в пыли по белой дороге: «Много вас тут шляется» или «Благословен ты, Адонай»? Петр подумал о том, что нужно подставить себя под нож, чтобы доказать им, что ты бессмертен, и умереть, чтобы стать Богом.

Мысль, не понятная ему самому. Но рабби ничего не объяснял до конца. Ученик Петр был порывистым, опрометчивым человеком; он не любит умствовать. Петр вспомнил, как он стоял перед пьяной рожей, выбирая момент, когда кинуться вперед. Вот именно: не рассуждать, а действовать! Он смотрел на своих товарищей, они сидели, раскачиваясь вместе с лодкой, по двое и по трое на скамьях, и на всех лицах было одинаковое выражение терпения, усталости, долга. Гребцы успели сместиться, скоро и его очередь.

На корме по-прежнему виднелось лицо Андрея, но золото предзакатного света уже померкло на нем. Обернувшись, Петр увидел, что солнце исчезло в фиолетово-сизых тучах, вода потемнела, ветер с заката рябил и серебрил ее. Баркас тяжело шел против ветра. Уже давно исчезло из виду восточное побережье, должна была показаться по правому борту песчаная отмель, но море по-прежнему было пустынно. Ни паруса, ни рыбацкой шлюпки. Чайки время от времени шныряли с криком над самой водой.

Ученики вполголоса переговаривались, поглядывали на небо. Гребцы усердно работали веслами. Банка справа должна была находиться недалеко, в таких местах всегда кружится много чаек. А там и берег галилейский покажется, озеро в самом широком месте не превышало шестидесяти стадий. Ничего не показывалось. Чайки покричали и улетели. Впереди черно-пепельное море понемногу пошло белыми барашками. Дул ветер; вдруг стало совсем темно.

Баркас раскачивался, поворачиваясь на волнах. «Табаньте! — командовал Андрей. — Выходите на волну». Большой вал, приподняв нос

лодки, прокатился под ними, и передние трое чуть не упали на гребцов. «Ты-то куда смотришь?» — крикнул Симон, хватаясь за что попало. Кормчий, держась за руль, величественно качался на корме вверх-вниз. Все море колыхалось, словно кто раскачивал его.

Ветер трепал волосы Петра. «Держись!» — крикнул кормчий, и новый вал окатил их брызгами. Эх, подумал Петр, не послушали старика... Тупой нос баркаса нырял в волнах. Тучи заволокли небо; теперь, если даже недалеко берег, его не увидать. Вцепившись в борта, он вперялся во мглу, все еще надеясь различить огоньки Капернаума. Вдруг кто-то сказал: «Боже, что это?!»

«Что, что такое?» — заговорили сидевшие против гребцов, и все стали поворачивать головы. Все увидели привидение, которое медленно подвигалось, точно ехало по воде, и сбоку догоняло лодку.

Теперь можно было различить одежду, посох. Лицо тонуло во мгле. Призрак учителя, точно такой, каким раввин был в жизни, догнал их и, казалось, всматривался в их оцепенелые лица. Ученики, онемев, смотрели на эти шагающие ноги. Ветер стал как будто потише. Лодка, потеряв управление, медленно поворачивалась на воде. Идущий поднял руку. Голос донесся до них.

«Что он говорит?» — спросил Петр.

Все молчали. Донеслось покашливание.

«Не бойтесь, — громко и внятно сказал призрак. — Это я».

«Вот так здорово, — сказал Петр, у которого не оставалось сомнений в том, что он окончательно повредился в уме. — Рабби, — пролепетал он, — ты?»

«Ну да, — ответил голос, и лицо улыбнулось в темноте. Они не различали черты, но видели улыбку. — Успокойтесь же, говорю вам, — сказал он сердито. — Я не привидение».

В самом деле, это был он, стоявший в море, как на плоту. Вода перекатывалась через его ступни, ветер отдувал край хитона.

Что-то происходило с Петром, он вдруг засуетился. «И я, и я к тебе, — бормотал он, волнуясь, — можно?..» Поднялся сердитый ропот: «Куда? этого еще не хватало!» Петр никого не слушал. Дрожа от волнения и отдирая руки, которые пытались его удержать, упершись в чье-то плечо, он перешагнул через борт сначала одной ногой, потом другой, вода была ледяная, ему даже показалось, что он сделал шаг; учитель смотрел на него, опираясь на посох.

Мокрого, стучащего зубами Петра вытащили кое-как из воды. Гребцы взяли за весла. Раввин уже стоял в лодке.

«Эх, ты...» — сказал он Петру.

Похож на человека

«Вот теперь ты похож на человека. А то скажут: откуда это он явился? Да ведь это какой-то уличный оборвыш. Костюмчик сидит хорошо. Да, — сказала она, — ты у меня, конечно, не красавец. Но знаешь, что я тебе скажу: внешность — это не главное. Есть такая пословица: нам с лица не воду пить. Дело не во внешности, а в том, что у человека здесь, — и она постучала пальцем по его лбу, — вот это главное!»

Мальчик хотел спросить, если не имеет значения, какая у него внешность, то зачем нужно было так долго его разглядывать, вертеть туда-сюда, одёргивать пиджак и поправлять пионерский галстук. Тем более что с такой внешностью всё равно ничего не поделаешь. С таким недостатком. Речь шла о самой малости, о ничтожном обстоятельстве, которое будто бы отличало его от других, тем не менее он никогда не рассказывал матери о том, что его ожидает, ведь это значило бы признать, что ничтожное обстоятельство на самом деле имеет огромное значение. Он выглянул из подъезда и убедился, что никого вокруг нет, одни прохожие. Но едва он добрёл до Кривого переулка, неся в обеих руках портфель и мешок с физкультурными тапочками, как раздался свист, тот самый свист, от которого всякий раз вздрагиваешь, как от удара бичом, издаваемый особым способом: пальцы в углах рта, нижняя губа поджата, глаза выпучены и вращаются в орбитах. Свист, не оставляющий сомнений в том, для кого он предназначен. Говнюк прятался в подворотне. С такими людьми ни в коем случае нельзя связываться: замахнёшься на него, выйдет верзила. Мимо прошагал дядька в сапогах. Ученик ускорил шаг и догнал прохожего, чтобы казалось, что они идут вместе. Тот пошёл медленней, очевидно, думая, что мальчишка хочет его обогнать. Впереди был самый опасный двор, но прохожий неожиданно вошёл в подъезд. Мальчик остался один, брёл вдоль облезлых домов с полуразрушенными подъездами, с пыльными окнами и железными створами ворот; угадать, глядя на эти дома, кто там живёт, было так же трудно, как прочесть прошлое на лице старика.

Он уже миновал опасную зону, когда засвистели снова. Коротышка в широких штанах, с непросыхающей верхней губой, с лягушачьим

ргом, куда он засунул чуть ли все пальцы, выкатился из подворотни, во-след ему откуда-то донёлся другой свист, и радостный вопль прокатился по переулку. Главное — не оглядываться.

Не оглядываться, делать вид, что ничего не видишь и не слышишь. Мешок с тапочками бил его по ногам, в затылок попали из рогатки, но ничего страшного не произошло. Он вошёл в школьный вестибюль, уже опустевший, где на высоком, выкрашенном под мрамор постаменте помещался алебастровый бюст Вождя с девочкой на руках. В классе большинство уже сидело на своих местах, дежурный возил мокрой тряпкой по доске. Некто с медным от веснушек лицом, огненноволосый, шатался между партами. «Ты! — сказал он, подойдя к ученику, сидевшему, как все, рядом с девочкой: это была мера для предотвращения разговоров на уроке. — Линейка есть? Дай линейку». Мальчик вынул линейку. «А румпель-то стал ещё длинней, — сказал парень по кличке Пожарник, — дай померяю». Кругом захихикали. «Сука буду, — продолжал рыжий Пожарник, стяжавший славу и популярность своим остроумием, неистощимой изобретательностью и тем, что он в каждом классе оставался на второй год. — Вчера был на сантиметр короче». Громовой смех встретил эти слова, а соседка с презрительной жалостью поглядела на мальчика. «Училка!» — крикнул кто-то. В класс вошла учительница. Все вскочили. Учительница покосилась на доску, где тряпка оставила размашистые белые разводы, уселась за стол и раскрыла классный журнал; началась переключка, фамилии школьников звучали словно впервые; в сущности, они были забыты, вытесненные прозвищами.

Нос был вынужден выйти со всеми в коридор, во время перемены оставаться в классе не разрешалось, за этим следил дежурный. В коридоре висела большая картина: легендарный комдив Чапаев в меховой бурке и заломленной папахе, с саблей, на боевом коне. За окном внизу находился школьный двор, но туда идти было незачем. Стоит только выйти, как всё начнётся снова. Он стоял в своём новом костюмчике перед подоконником, как бы отгороженный запретной полосой. Кругом всё галдело и скакало, и если бы он присоединился к другим, то, возможно, оказалось бы, что запретной полосы не было, но она существовала оттого, что он не мог присоединиться, и с этим уже ничего невозможно было поделать. От него отшатнулись бы, как от заразного больного. И прекрасно. Он надеялся, что о нём позабыли. Первая перемена прошла благополучно.

Урок не интересовал его; он сидел, глядя прямо перед собой, по привычке следя одним ухом за происходящим, как собака, погружённая в дрему, улавливает звуки вокруг, и мог бы при необходимости ответить

на вопрос учительницы; но мысли его были далеко. На большой перемене он снова занял позицию у подоконника, напротив Чапаева, развернул бумагу с бутербродом, следя за тем, чтобы масляные крошки не упали на костюм; в эту минуту кто-то невзрачный, малявка из младшего класса, подошёл к нему и велел идти туда. «Куда?» — спросил Нос. Мальш показал в конец коридора. Нос отправился, с надкушенным бутербродом, по коридору и вышел на лестничную площадку, там стоял конопатый Пожарник. «Ребя, кого я вижу, — закричал Пожарник, как будто они увиделись впервые. — А вырядился-то. Ты смотри, как вырядился. Куда, — сказал он, преградив дорогу Носу, повернувшемуся, чтобы уйти, — нам поговорить надо. Это у тебя чего? Дай куснуть». Мальчик молчал.

«Ну дай, — лениво сказал Пожарник, — чего жмотничаешь-то».

Он вышиб из рук мальчика кусок бутерброда, протянутый ему, и приказал: «Подними».

Нос оглянулся, они стояли вокруг. Он поднял с пола бутерброд и протянул Пожарнику.

«Сам уронил, сам и жри», — молвил Пожарник.

С третьего этажа спускалась учительница. «Мальчики, вы что тут?»

«Да ничего, — сказал бодро Пожарник. — Мы гулять идём, ещё десять минут осталось».

«Брось, Пожарник, чего пристал к пацану», — произнёс властный голос за спиной у Носа, выступил человек по имени Бацилла и отодвинул рыжего Пожарника, который без слов подчинился. Нос держал в руках разломанный пополам бутерброд. Человек подошёл вплотную.

«Ну-ка, — сказал он, — повернись к свету».

Мальчик озирался.

«Маму твою туда-сюда, ну и рубильник», — задумчиво сказал Бацилла и покачал головой. Все заржали. Бацилла медленно занёс руку, дёрнулся, заставив мальчика отшатнуться, и, как ни в чём не бывало, почесал у себя за ухом; это был старый фокус, неизменно удававшийся.

«Ты откуда такой взялся с таким носярой, — продолжал Бацилла, — дай-ка поддержи». Мальчик стал отступать и получил от кого-то сзади подзатыльник. Он обернулся, все стояли с невозмутимым видом, один уставился в потолок, другой смотрел в сторону. Нос взглянул на Бациллу, тот пожал плечами, и тотчас кто-то огрел мальчика по уху. И снова все смотрели, скучая, мимо него. Эта игра повторилась несколько раз, в конце концов он свалился на пол и закрыл голову руками. Тут зазвенел звонок. Для порядка его пнули раза два ногами. Он услышал, как они убежали, поднялся и отряхнул костюмчик. Когда он вошёл в

класс, классная руководительница — это был её урок — уже стояла за своим столом и, очевидно, ждала его. Она даже не сделала ему замечание. Он пробрался на своё на место. Похоже было, что девчонки о чём-то донесли. Не глядя на него, она сказала:

«Дети, вы должны знать. У каждого человека может быть какой-нибудь физический недостаток. Но это не значит, что...» Мальчик не слушал, его мысли были далеко. На уроке физкультуры его тапочками играли в футбол. Дома мать всплеснула руками, увидев пятна. Знает ли он, спросила она, сколько стоил его костюмчик? Мальчик сидел над раскрытой тетрадью и думал о том, как он завтра придёт в школу и молча сядет на своё место, и никто не будет знать о том, что произошло, никто даже не догадается до тех пор, пока рыжий не подкатится, как обычно, чтобы начать издеваться над ним, и как он не спеша встанет и, не глядя, не сказав ни слова, размахнётся и врежет между рог, так что Пожарник полетит на землю вверх тормашками у всех на глазах; как этот Пожарник поднимется с пола, с глазами белыми от ярости, и бросится на него, и получит снова. И лишь тогда все поймут, что никто с ним больше ничего не сможет сделать, потому что мальчик одет с головы до ног в невидимые латы. И в этих латах он выйдет на школьный двор и встретит там Бациллу, Хиврю, гнилоглазого Лёнчика и других. Мать увидела, что тетрадь пуста, и сказала, что уже девять часов вечера.

После этого прошло несколько дней, и однажды соседка по парте — помнится, её фамилия была Осколкина — сказала: «А я знаю, кто это сделал». Произошла сенсация. Явились рабочие с лесенкой. Народ толпился вокруг. Картина с Чапаевым была снята со стены, её несли по коридору. На носу у героя гражданской войны красовались очки, к усам были добавлены лихо закрученные продолжения, изо рта торчала длинная изогнутая трубка, дымящая чёрным дымом, как паровозная труба. И в довершение всего бешено скачущему коню был пририсован углём внушительных размеров детородный член. Посреди урока в класс вошёл завуч, мы, сказал он, это так не оставим, мы выясним, чьих это рук дело. «Если, — продолжал он, — виноватый сам не сознается, то значит, он трус и недостойн звания юного пионера». Все молчали. «Я жду», — сказал завуч. Он добавил: «Я хочу, чтобы вы все поняли. Это уже не просто хулиганство, а политическое преступление. Пусть тот из вас, кому известно, кто это сделал, встанет и скажет».

«Откуда это ты знаешь», — мрачно сказал Нос. Уроки кончились, так получилось, что они вышли из школы вместе.

«Знаю, — сказала девочка. — Только не скажу».

«Значит, не знаешь».

«А я видела».

«Кого это ты видела». Случай с Чапаевым почему-то произвёл на него сильное впечатление и возбудил мысли, ещё не ясные ему самому.

После некоторого молчания она заметила:

«Можешь меня не провожать».

«А я и не собираюсь тебя провожать», — возразил он.

«Я с такими не вожусь».

Он пожал плечами. Дошли до поворота, она должна была свернуть направо, а ему предстоял путь по Кривому переулку, который мальчик переименовал в Магелланов пролив. Там, на скалистых берегах, горели зловещие огни, дикие племена следили за мореплавателем.

«И вообще, — сказала девочка по фамилии Осколкина, — это не метод».

«Что не метод?» — спросил Нос.

«Не метод борьбы», — сказала она и побежала домой. Ночью он плохо спал, не мог понять, где он, просыпался, но думал, что всё ещё спит, у него произошла эрекция, он смотрел на коня, который выставил напоказ своё приобретение, раскорячив задние ноги и задрвав хвост, дело происходило, как выяснилось, в их переулке. И в то же время этой был другой переулок.

В школе продолжалось следствие по делу о Чапаеве, многих вызывали к директору, дошла очередь до него. Директор был мал ростом, казался хилым рядом с могучим завучем, носившим прозвище Гишопотам, и говорил тихим, ласковым голосом. «Мы знаем, что это не ты, — сказал директор. — Ты этого никогда не сделаешь, мы знаем. И даже больше того, прекрасно знаем, кто совершил этот акт надругательства. И ты, конечно, тоже знаешь. Ведь правда же? Мы знаем, что ты знаешь. Так что никакого секрета ты нам не откроешь, если скажешь, кто он. И никто не будет говорить, что ты наядбедничал». — «Это твой долг. Ты обязан сказать», — прибавил басом Гишопотам. «Андрей Севастьянович, зачем уж так на него наседать. Мы никого силой не заставляем. Хотя можно применить и более строгие меры. Тот, кто отказывается изобличить преступника, тот сам становится соучастником. Так как же? — сказал директор. — Я жду». Он вздохнул. «Значит, будем играть в молчанку. Ну что ж! Ты сам об этом пожалеешь». Вместо Чапаева никого не повесили, позже, кажется, картина была реставрирована, но память не сохранила подробностей, так или иначе, они уже не имели значения.

Следующий день не принёс ничего нового, его втолкнули в девчачью уборную, не давали выйти, это была сравнительно безобидная выходка. Ясно было, что они напрягают фантазию, чтобы изобрести что-нибудь поинтересней. После уроков его поджидали у ворот. Не надо

было выходить, чтобы убедиться, что его ждут, он это знал заранее. Знал, что они дадут пройти мимо, а потом кто-нибудь громко сплонет, окликнет его ласковым голосом, кто-нибудь скажет удивлённо, как будто только сейчас его заметил: «Паяльник. Не, мужики, бля-буду, это Паяльник!» Он притворится, что никого не видит и не слышит, но перед ним встанет слюнявый гнилоглазый Лёнчик. Ему защипнут нос двумя пальцами и начнут водить взад-вперёд под общий гогот. Потом кто-нибудь сделает вид, что хочет схватить у него между ногами. Расставит два пальца и ткнёт ими, как бы собираясь выколоть глаза. И он уже слышал, как всё кругом ревели и пело:

«Паяльник!»

«Рубильник!»

«Румпель!»

«Руль!»

Почему эта малость имела такое огромное значение? Очевидно, она должна была что-то означать, служила доказательством чего-то. Иногда он тайком гляделся в зеркало, старался увидеть себя в профиль и выпячивал губы, чтобы сделать её незаметней. Он убеждался, что это не малость. Уборщица прогнала его из класса. Мальчик стоял у окна в пустом коридоре. Уборщица прошагала мимо с ведром и шваброй, он дождался, когда она войдёт в учительскую, влез на подоконник и отвернул верхний шпингалет, внизу был школьный двор. Он оглянулся — уборщица стояла в дверях учительской и восхищённо смотрела на него. Он раскинул руки, прыгнул и полетел, сначала над двором, перемахнул через крышу, сделал круг и увидел под собой ворота, там стояли Пожарник, Лёнчик, ещё кто-то, у всех разинуты рты от удивления. Нос парил над школой, внизу собралась толпа; он жалел о том, что не захватил с собой что-нибудь такое, но тут очень кстати оказалось под рукой ведро, принадлежавшее уборщице, и он вылил грязную воду на голову Пожарнику, а сам полетел дальше.

Неожиданно подошла Осколкина — откуда она взялась? — и сказала, что знает, как выйти из школы так, чтобы никто не заметил. Она сама много раз так выходила. Зачем, спросил мальчик.

«Так. Для интереса».

Она добавила:

«Мало ли что. Может, пригодится».

По чёрной лестнице спустились в подвал, всё оказалось очень сложно и очень просто, она нащупала выключатель, с силой толкнула забухшую дверь, они поднялись по крутым ступенькам наверх и неожиданно очутились где-то на задворках; как назывался этот переулочек, сейчас уже невозможно припомнить.

«Можешь не волноваться, — сказал Нос, — я тебя провожать не буду».

«А я и не волнуюсь. Что, испугался?» — спросила она.

«Мне на них наплевать. Я всё равно уйду из школы». Эта мысль внезапно пришла ему в голову, как все замечательные мысли, и он решил обдумать её на свободе, в спокойной обстановке. Но сейчас он подумал, что девчонка смеётся над ним исподтишка, над ним невозможно не смеяться, подумал, что ей будет стыдно, если кто-нибудь их увидит, и сказал:

«Слушай. А чего ты ко мне вяжешься?»

«Дурак. — Она обиделась. — Вовсе я к тебе не вяжусь. На кой ты мне сдался?»

«Так бы сразу и сказала».

«Ему, дураку, помочь хотят, а он...»

«Ну и пошла подальше», — сказал мальчик.

Он вернулся домой позже обычного, а на следующий день заявил матери, что больше не пойдёт в школу.

«Как это так, не пойдёшь?» — возмутилась она.

«А вот так. Не пойду, и всё».

«Пойдёшь, как миленький».

Он презрительно усмехнулся.

«А в чём дело?» — спросила она.

Он ответил: ни в чём.

«Ты от меня что-то скрываешь. Ты знаешь, — спросила она, — что значит быть человеком без образования?»

Нос пожал плечами.

«Ты хочешь мести улице. Хочешь пасти свиней. Ты добиваешься, — сказала мать дрогнувшим голосом, — чтобы я всю ночь не спала, плакала и завтра пошла на работу с головной болью».

На этом разговор прекратился, вечером она увидела, что он делает уроки, и промолчала. Мальчик сидел над тетрадами, но в действительности умел делать несколько дел сразу. Он думал о том, что подвал может пригодиться и вообще этот способ — подарок судьбы. Да, большие идеи приходят в голову внезапно. Его жизнь обрела смысл.

Тщательная конспирация есть закон и залог успеха; все последующие дни он был занят продумыванием подробностей, нужно было предусмотреть все неожиданности. Но тут ему пришла в голову гениальная по своей простоте мысль, что разыскивают лишь того, кто скрывается. Тот, кто действует открыто, не вызывает подозрений. Инстинкт подсказал ему меру необходимого соотношения осторожности и отваги. В школе открылся буфет, мать выдавала ему деньги,

но надо было быть последним идиотом, чтобы стоять в очереди, в толпе голодных и галдящих учеников, вообще туда ходить. Не говоря о том, что у тебя могли в любую минуту вышибить из рук завтрак, сбросить на пол тарелку, выхватить из рук бутерброд. Так ему удалось в короткое время скопить достаточную сумму. С плетёной бутылкой он отправился в лавку и закупил необходимое. Расчёт был правильный: никто не обратил на него внимания, когда спокойно и чинно он нёс бутылку — разумеется, не по Кривому, а по тому самому переулку, в котором они тогда оказались с Осколкиной. Накануне решающих событий, на уроке, Нос поглядывал на училку, на других, видел огненно-рыжую голову Пожарника, сидевшего впереди на первой парте, как положено второгоднику, и ощущал себя господином жизни и смерти. Тайна вознесла его над всеми. С соседкой он не заговаривал, хотя ему очень хотелось её удивить.

Так и подмывало сказать ей: а вот завтра кое-что увидишь. Нет, — и он сделал бы вид, что раздумывает над окончательным решением, — нет, послезавтра. Она спросила бы с равнодушным видом: что увидишь?

Такое, ответил бы он, что ты никогда в жизни не видела.

Тут она перестала бы притворяться. Что ты задумал? Скажи мне одной! — вскричала бы она.

Сама увидишь.

Нос подумал, что, пожалуй, стоило бы предупредить её в последний момент, но как это сделать? На уроке он отпросился в уборную, чтобы провести последнюю рекогносцировку. Тут он понял, что риск всё же велик. Он засёк время на больших часах, висевших в коридоре, спустился, поднялся, вся операция должна была занять от пяти до семи минут. Когда прозвенел последний звонок, он подошёл к классной руководительнице, держась за щеку, и предупредил, что завтра, наверное, не придёт в школу. Зубной врач положил ему мышьяк, чтобы убить нерв, но боль становится всё сильнее, он даже не знает, дотерпит ли он до завтра. Она подозрительно взглянула на него, принесёшь, сказала она, справку от доктора.

Жди, думал мальчик, тебе она всё равно уже не понадобится.

Но Осколкину всё-таки надо было предупредить. Он догнал её. «Слушай, — сказал он. — Только поклянись, что никому не скажешь. Клянёшься?»

Она воззрилась на него, сделав круглые глаза.

«Клянёшься?» — спросил Нос.

«И не подумаю, — сказала она презрительно, — чего это я буду клясться».

«Ну, не хочешь, как хочешь».

«Сначала скажи».

«Дура. Это в твоих интересах».

«А в чём дело?»

«Я завтра не приду», — сказал Нос, подумав.

«Ну и что?»

«Мне к зубному надо. Он мне мышьяк положил, сволочь».

Несколько времени шли молча. У поворота она сказала: «Ну, я пошла».

«Ты тоже завтра не приходи», — сказал мальчик.

«Чего это?»

«Я говорю, не приходи, поняла? Сиди дома. Вопросов не задавать».

И он зашагал прочь.

Он расстрелял взбунтовавшуюся команду и приказал сжечь мятежное судно. Дождавшись весны, он вышел на оставшихся трёх кораблях из устья Параны и двинулся на юг, не теряя из виду берег, в уверенности, что найдёт проход к океану, и в самом деле достиг пролива, и дал ему своё имя. И когда, наконец, после долгих блужданий, под неусыпным надзором враждебных плёмен, засевших в ущельях, корабли Фернандо Магеллана прошли сквозь пролив, перед ними открылся спокойный, бескрайний океан.

Мальчик вышел из дому раньше обычного времени, с портфелем и мешком, в котором лежали физкультурные тапочки, во избежание дорожных инцидентов сразу выбрал окольный путь, вышел к Чистым прудам, пересёк трамвайную линию, побродил по дорожкам безлюдного бульвара, несколько позже его можно было увидеть перед особняком латвийского посольства, он стоял, любясь замысловатым гербом на дверях. Было всё ещё рано. В половине девятого он оказался на задворках, отсюда было слышно, как в школе прозвенел звонок. Ошалелый школьный звонок, одно из худших воспоминаний жизни. Нос прошёл, держась у самой стены, к низкой железной двери и спустился в подвал. Чувство времени руководило им, как если бы в мозгу у него работал хронометр; в восемь часов сорок пять минут он прикрыл за собой дверь подвала и стоял в самодельной маске, которая завязывалась сзади верёвочкой, на площадке перед лестницей, прислушиваясь к звукам наверху. Некто, его направлявший, инстинкт-хронометр, подал сигнал, и тотчас Нос пошёл вверх по ступенькам, держа в одной руке плетёную бутылку, в другой портфель и мешок с тапочками, и выглянул в коридор, после чего сложил свои вещи на пол и облил их. Всё так же спокойно, с ровно и точно работающим механизмом в мозгу, он шёл, наклонив бутылку, по коридору, пока не кончился керосин. С бутылкой нечего было делать, он оставил её на подоконнике. Затем он

вернулся к чёрному ходу, вынул заранее приготовленный бумажный жгут, чиркнул спичкой и, швырнув жгут в коридор, бросился вниз по лестнице в подвал, сорвал с лица маску, выскочил наружу, не теряя времени, чтобы не про-пустить волшебное зрелище, обогнул квартал; несколько минут спустя он чинно шагал обычным своим путём со стороны Кривого переулка к воротам школы.

Тут его постигло великое разочарование. Ничего не было. Ничего не происходило, окна школы блестели на солнце, подъехал с урчанием грузовик, шофёр высунулся из дверцы, кто-то там открывал створы ворот и пререкался с водителем. Издалека послышалась сирена. Нос вгляделся и чуть не завопил благим матом от радости: в окнах первого этажа дрожало пламя! Сразу в нескольких окнах, и там, и здесь. Ему хотелось прыгать, плясать. Вместо этого он стоял на тротуаре, на противоположной стороне, и, слегка прищурившись, с каменным лицом наблюдал за происходящим. Горел весь нижний этаж, и, значит, им всем на втором и на третьем уже не спастись. Посыпались стёкла, кто-то выбежал из подъезда, люди метались по двору, красная пожарная машина никак не могла въехать, грузовик толчками выдвигался из ворот, вторая машина стояла посреди переулка, пожарные разматывали шланг. Между тем густой чёрный дым валил из окон второго этажа. Толпа обступила мальчика, он протиснулся вперёд, милиционеры отгесняли зевак с мостовой, вой сирен заставил всех повернуться. В конце переулка из-за угла вывернули ещё две машины. Санитары с носилками проталкивались между людьми в касках и брезентовых робах, чей-то начальственный голос командовал в мегафон. Нос выбрался из толпы. Он шагал, сунув руки в карманы, перешёл трамвайную линию, миновал бульвар, шествовал по Покровке, шёл без всякой цели, глядя перед собой, сумрачный, одинокий, как адмирал, свободный, не нужный никому и ни в ком не нуждающийся.

Διαλογοι

Выброси, Лампих, спесь и надменность; все это слишком тягчит лодку Харона.

Лукиан, Диалоги мёртвых, 4.

Художник и смерть

Смерть пришла к художнику, он занят своим делом.

«Разве ты меня не замечаешь?»

«А что тебе надо?»

«Разве не понятно — что?»

«Мне некогда».

«Мне тоже».

«Ну, хорошо, — сказал художник, — хочешь, я тебя нарисую?»

«Что это значит?»

«Сделаю твой портрет».

Смерть уселась на возвышении, мастер накинул на неё чёрный плащ, красиво расположил складки, дал в руки череп. Потребуется, сказал он, несколько сеансов.

Через несколько дней она спросила:

«Ну как, готово? Можно взглянуть? Мне нравится».

«А мне — нет. Романтизм, банально».

Начал заново, без плаща и черепа.

Ещё сколько-то дней прошло. Художник качал головой: опять нет. Неуместный модернизм. И тоже порядком надоевший.

«Мастер, — сказала смерть, — всякому терпению приходит конец. Что будем делать?»

«Я понял, — сказал художник, — задача искусства — изображать не внешний вид вещей, а их сущность».

«Ты со мной торгуешься. Это нечестно».

«Твоя сущность, — продолжал он, — вот что важно. Посиди в сторонке. Я напишу тебя такой, какова ты на самом деле».

Он заверил гостью, что на этот раз работа не займёт много времени, уселся перед мольбертом. Но прошёл час, и ещё час.

«Меня ждут другие», — сказала смерть. Она удалилась, а мастер, в глубокой задумчивости, с палитрой и кистью в руках, так и не сдвинулся с места.

Она явилась на другой день.

«Много работы. Террористы взорвали бомбу в универмаге».

«У тебя, я вижу, объявились помощники», — заметил художник.

«То ли ещё будет... Но не стоит отвлекаться. Надеюсь, картина готова?»

«Пожалуй», — сказал художник.

Смерть сама сбросила покрывало с мольберта.

«Что это? Ты вздумал со мной шутить!»

«Ошибаешься, дорогая».

«Но ты ничего не сделал».

«Вглядиись повнимательней».

«Я не слепая!»

«Уверяю тебя, я не ленился. Видишь? — Художник кивнул на кипу листов с набросками. — Я проработал всю ночь, прежде чем взяться за картину...»

«И это результат? Ха-ха. — Смерть показала на холст. — За кого ты меня принимаешь? Тут ничего нет!»

Подумав, она добавила:

«Понимаю. Ты считаешь, что я... Некоторые утверждают, что меня не существует. Ты тоже такого мнения?»

«Я объяснил тебе, — промолвил мастер, — и повторю снова. Искусству внешность неинтересна. Всё это навязло в зубах. Можно срисовать яблоко. Ну и что? Получится ещё одно яблоко, только и всего. Искусство ищет суть».

«В чём же эта суть? Ты до неё докопался?» — насмешливо спросила гостья.

Художник развёл руками.

«Вот, — сказал он, показывая на пустой холст, — сама можешь убедиться. Мне больше делать нечего. Твоя взяла».

Поэт и Вельзевул

Кто-то взошёл по скрипучей лестнице, постучался в мансарду.

«Да», — сказал поэт.

Вкрадчивый голос попросил:

«Пожалуйста, ещё раз».

«Войдите».

«Ещё раз...».

«В чём дело? Я же сказал вам: входите».

«Извини, — сказал дьявол, вступая в комнату. — Нашего брата полагается приглашать трижды».

Поэт заметил, что он где-то об этом читал.

«Могу напомнить. У Гёте».

Поэт спросил: чем он обязан чести?..

«Хочу тебя поблагодарить. — Гость окинул взглядом убогое жильё и уселся на продавленный диван. — Ты напомнил обо мне читателям. Сделал мне отличную рекламу».

«Вы думаете, — поэт усмехнулся, — у меня так уж много читателей?»

«Теперь их станет больше. Я позабочусь об этом. Как никак, и я приобщился к твоей судьбе. К твоему, быть может, бессмертию!»

«Но дьявол и так бессмертен. По крайней мере, так считается».

«Считается, хе-хе. Смерть и бессмертие — земные понятия. С точки зрения вечности, это ложное противопоставление».

Поэт признался, что ему пришлось издать свои стихи за собственный счёт.

«Последние деньги выложил».

«Сочувствую».

«Но знаете... Я бы не хотел оказаться приспешником Вельзевула».

«Приспешником? Это было бы для меня слишком большой честью! Гёте тоже... как бы это выразиться. Немало потрудился ради моей популярности. Другой вопрос, насколько ему это удалось... Но уж моим союзником его никак не назовёшь».

«Я вижу, вы интересуетесь поэзией».

«Это моя слабость. Скажу по секрету, я и сам пробовал свои силы. Написал эпическую поэму “Сотворение мира”. В двадцати четырёх песнях».

«Вы были свидетелем этого... события?»

«Был, как же».

«Вероятно, у вас там есть и кое-что о Творце?»

«О, да».

«Понравилось ему?»

Дьявол покачал рогатой головой.

«Почему?» — спросил поэт.

«Он сказал, что у меня нет поэтического таланта. Советовал переделать в роман наподобие Вальтер Скотта».

«Мне бы хотелось почитать, — сказал поэт. — Поэма опубликована?»

«Нет, конечно».

«Почему? В конце концов, можно под псевдонимом».

«Не в этом дело, — уныло сказал Сатана. — Я же говорю. Уж очень плохие стихи. Я их сжёг. В адском пламени».

«Скажите, — осторожно спросил поэт, — что вы нашли такого в моих стихах, что они вам так понравились?»

«Что нашёл... Дерзость. Упоение пороком. Демонское начало. Твоя поэзия дышит похвальным презрением к человеческому роду. Как раз то, что нам нужно. Настоящая современная поэзия».

Поэт был польщён, однако услышать комплименты из уст князя тьмы... гм.

«Вот, например, такое стихотворение...». Сатана вскочил с дивана, прочистил горло, стал в позу.

«Нет уж, лучше не надо... прошу вас».

«Слушай, брось ты эти церемонии. Давай на «ты»! У меня есть предложение».

«Какое?»

«Хочу тебе помочь».

«Ага, так я и знал».

«Ничего ты не знал».

«Ты обещаешь золотые горы, а взамен потребуешь мою душу. Старая песня».

«И абсолютно фальшивый сюжет! Да знаешь ли ты, что перед моей конторой стоит очередь в полкилометра. Отбоя нет от желающих продаться!»

«Странно, — проговорил поэт. — Я представлял себе чёрта иначе. Рога есть. А где всё остальное?»

Дьявол продекламировал:

«Auch die Kultur, die alle Welt beleckt, hat auf den Teufel sich erstreckt!¹ Но если ты сомневаешься...»

Он распахнул плащ, под ним оказалось голое тело, поросшее густым рыжим волосом. Свой хвост сатана обернул вокруг живота. Особенно бросался в глаза внушительных размеров детородный член.

Поэт брезгливо поморщился. Бес был доволен произведённым впечатлением.

¹ «Все в мире изменил прогресс././Как быть? Меняется и бес». («Фауст», I, 2140. Пер. Б. Пастернака).

«Что-то я продрог, — сказал он, запахиваясь. — Здесь не топят. Нет ли чего-нибудь выпить?»

«К сожалению, нечем закусить», — сказал поэт и поставил на стол початую бутылку.

«Печально», — отвечивал гость. Чокнулись, выпили.

«Люблю русскую водку. За такое изобретение вам можно многое простить... Но к делу. Мы говорили о душе. Друг мой, не сердись, — подбравшим голосом сказал дьявол. — В сущности, ты и так уже мне продался. Разумею, конечно, твою поэзию... Давно пора было покончить с предрассудком, будто литература должна служить добру»

Снова налили и выпили.

«Послушай. У меня есть связи в издательствах. Твои стихи будут выпущены огромным тиражом, на веленовой бумаге. Что ты на это скажешь?»

Поэт помалкивал.

«Критики со мной в прекрасных отношениях. Они напишут то, что надо... Я создам тебе идеальные условия для работы. Ты будешь жить на вилле. Прислуга, никаких забот. Отличная кухня. Как ты относишься к антрекоту по-гималайски?»

«Положительно, — сказал поэт. — А что это такое?»

«О! Это невозможно описать словами. Это надо попробовать. Или, может быть, ты предпочитаешь флан из телячьих яиц, индейку по-рыцарски? А как насчёт цыплят монморанси в вишнёвом соусе?»

Вельзевул приоткрыл свою хламиду, небрежно помахивал членом туда-сюда.

«Само собой, и девочки... У нас богатый выбор. А насчёт преисподней, советую не верить всем этим сказкам. Уверю тебя: здесь не лучше, чем там. Ну как, по рукам?»

И, не выходя из комнаты, гость исчез.

Адам и Ева

Адам познал Еву, но распорядитель медлил, и они могли ещё немного времени побыть в эдемском саду. Как это бывает после первого сближения, они стыдились взглянуть друг другу в глаза.

«Ну как ты?» — робко спросил Адам.

Ответа не было.

«Всё как-то быстро», — заметил Адам.

«Ты очень торопился», — сказала Ева.

«Ты на меня сердишься?»

«Почему я должна на тебя сердиться?»

«Это... так неожиданно».

«Ты думаешь?»

«Ну да. Как-то вдруг».

«Вовсе нет, — сказала Ева. — Я этого ждала».

«Ты? ждала?»

«Ну да».

«Но ведь ты сопротивлялась».

«Немножко. Так полагается».

«Значит, — сказал он, подумав, — ты меня прощаешь?»

Они ещё немного полежали на траве.

«Но это было очень приятно. Тебе тоже было приятно?»

«Я же сказала: ты поторопился. Но ничего. Следующий раз получится».

«Постой, — перебил её Адам, — ты хочешь сказать, что ты не успела... как это называется...»

«Кончить», — пролепетала Ева.

Адам нахмурился.

«Откуда ты знаешь такие выражения?»

«Но ведь ты тоже знаешь».

«Я — другое дело. Я мужчина».

Она проговорила снова:

«В следующий раз...»

«Когда это — в следующий раз?» Адам сидел, положив подбородок на колени.

«Не знаю, — сказала Ева, робко взглянув на мужа фиалковыми глазами. — Можно и сейчас».

«Я сейчас не могу».

«Ну что ж, подождём».

«Скажи... а ты не боишься?»

«Чего я должна бояться?»

«Что ты забеременеешь, чёрт возьми!»

«Нет, не боюсь, — сказала Ева. — Тем более, что ты там не побывал».

Они умолкли. Возможно, это была первая супружеская размолвка.

«Нет, серьёзно, — сказал Адам, — ты в самом деле думаешь, что я...»

«Я бы почувствовала. И к тому же, как тебе объяснить? Я всё ещё девушка».

«Что это значит?»

«Не знаешь, что значит быть девушкой?»

«Нет».

«И я не знаю. Я не могу тебе объяснить, я это просто чувствую. Если говорить откровенно, это меня тяготит».

Она добавила:

«Ты должен меня от этого освободить».

«Ты так думаешь?» — спросил он неуверенно.

«А как же иначе. Ведь я твоя жена. Ты не смущайся. Первый блин комом. Главное — не торопиться».

«Я поражаюсь: откуда ты это всё знаешь?»

«Женщины знают».

«Но ты же первая женщина на земле».

«Собственно говоря, ещё не женщина. Но всё равно. Знание даётся нам от природы. А мужчине надо приобрести опыт».

Адам погрузился в размышления.

«Я думаю, — осторожно напомнила Ева, — уже прошло довольно много времени. Ты любишь меня?»

«Я не знаю, — пролепетал Адам. — Что такое любовь?»

Она не успела ответить, как из-за кустов вышел распорядитель. Он был в картузе, в дворничьем фартуке и держал в руках метлу.

«Закрываем», — сказал он.

Они взглянули на него с испугом.

«Шесть часов. Сад закрывается. А ты, — сказал он Еве, — хоть бы надела что-нибудь на себя, бесстыдница...»

«Дедушка, — покраснев, сказала Ева, — ещё немножко...»

«Ещё десять минут, — твёрдо сказал Адам, — и мы уходим».

Иосиф и жена Потифара

Иосиф сидел над государственными актами, когда вошла служанка с приказом явиться к госпоже.

Супруга главы Управления безопасности возлежала на ложе, в де-забиле. Иосиф отвесил поклон.

«Давно хотела познакомиться с тобой поближе».

Он снова поклонился.

«Присядь. Я знаю, что ты занят, и не буду тебя утомлять околичностями. Вот, — она извлекла из ночного столика папирус, — я только что получила. Доклад коллегии халдеев. Сутобо секретно. Je compte sur votre discrétion»¹.

Иосиф наклонил голову.

¹ Рассчитываю на вашу скромность (*фр.*).

Египтянка зачитала документ. Согласно расположению светил, у госпожи NN ожидается потомство от Иосифа, сына Иакова, иудеянина, начальника телохранителей, в недалёком будущем — первого советника его небесного величества Фараона.

«Ты молчишь», — заметила госпожа.

«Мадам, — проговорил Иосиф. Разговор продолжался по-французски. — Я весьма польщён. Но...»

Жена Потифара подняла протестующим жестом руку в браслетах и кольцах; он продолжал:

«Я польщён этим предложением, — если я вас правильно понял, — но закон моих предков запрещает вступать в связь с замужней женщиной».

«Мы не в Земле Израиля, — возразила она. — Вдобавок, как ты видишь, такова воля богов».

«Астрология — несовершенная наука. Можно и ошибиться».

Он не посмел добавить, что гороскоп часто составляется применительно к ожиданиям именитого заказчика.

Она усмехнулась.

«Ты очень красив. Согласись, что это тоже немаловажный фактор... Но вернёмся к твоему замечанию о законе. Ты давно у нас и, может быть, кое-что забыл. Я могу тебе напомнить. Ваш закон предусматривает, среди прочих видов сближения мужчины и женщины, сакральное соитие. При этом, как правило, секс по заданию небес совершается по почину женщины... Кстати, — она мельком оглядела себя, — я ведь тоже, как видишь, недурна...»

«Красота моей госпожи не имеет себе равных во всём Среднем Царстве», — сказал Иосиф.

«Ты опытный царедворец. Но я готова принять твой комплимент всерьёз. Хочу добавить к сказанному... Ты сослался на то, что я замужем. Я не стану говорить о моих чувствах к мужу, которого я глубоко почитаю. Не говоря уже о том, что он немолод... Замечу только, что и наш, и ваш закон различают брак земной и небесный. Один совершается по земным, практическим соображениям. В данном случае, государственным. Другой... Не надо их смешивать. Пожалуй, мы слишком скованы пуританскими представлениями о сексе».

Помолчали.

«У меня был доверительный разговор с его величеством. Его величество дал понять, что он не возражает. Итак?»

Иосиф безмолвствовал.

«Ты прав, — сказала она, — не будем тратить слов. Я составила описание. Ты приходишь ко мне каждую третью ночь. Муж, как ты знаешь, в это время на работе. Мои рабыни немые, как рыбы в Ниле».

«Хорошо, — сказал Иосиф, — я подумаю».

Рабби Лёв и Голем

Огромный глиняный Голем стоял посреди двора, расставив ноги, развесив ручки, а маленький реб Лёв Циммерман наблюдал за ним с порога.

«Попробуй ходить», — сказал он.

Великан сделал несколько шагов.

«Прекрасно. Теперь...»

Голем выполнил ещё несколько упражнений.

«Остаётся выучить тебя говорить, — сказал реб Лёв. — Повторяй за мной: я...»

«Йа-а».

«Я Голем», — сказал реб Лёв.

Голем повторил.

«Я родился семнадцатого ава 5330 года».

«Когда это?» — спросил Голем.

«Я уже сказал: семнадцатого ава. У христиан сейчас 1570 год, июль. Но ты не христианин».

«А кто я?»

«Пока что ты Голем».

«Я — Голем», — сказал Голем.

«Правильно», — резюмировал рабби.

Начал капать дождь.

«Это плохо, — сказал реб Лёв. — Становись под крышу».

Глиняный человек возразил:

«Я твёрд, как камень».

«Да, но я боюсь, что ты размокнешь. Кому сказано? Стань под крышу».

Так прошёл первый день.

Назавтра человек из глины успешно повторил вчерашний урок и выучил наизусть первую фразу Книги Берейшит: «В начале Элохим сотворили небо и землю».

Учитель подумывал о том, чтобы подвергнуть Голема обжигу и тем обезопасить его от превратностей богемского климата. Но глиняный человек мог потерять способность к дальнейшему обучению. К

тому же в Праге не нашлось бы печей такого размера. Для Голема сшили дворницкий фартук, он передвигался по двору, усердно размахивая метлой. В перерывах между работой Голем повторял за ребе фразы из Книги Берейшит.

Рабби Лёв был доволен.

«Не потеряй свиток, который я вложил тебе в рот», — сказал он.

«А что будет?»

«Будет очень плохо».

«Для кого?»

«Для тебя, дуралей!»

«Я бы попросил... — сказал Голем обиженно, — меня не обзывать».

«Хорошо, не буду, — согласился рабби. — Но предупреждаю тебя: ты должен меня слушаться. В твоих же собственных интересах».

«А ты — меня», — сказал глиняный человек. И прошло ещё сколько-то времени.

Рабби Лёв сидел, как всегда, за книгами, когда раздался треск. Это скрипели и трещали ступеньки крыльца. Что-то упало. Голем протиснулся в комнату.

«Есть разговор», — сказал он.

«Метлу надо оставлять на улице, — заметил рабби. — В чём дело?»

«Есть разговор. В твоей книге слишком много противоречий».

Реб Лёв пожал плечами.

«Может быть. Но о Торе так не говорят».

«И вообще, — продолжал Голем, — она мне не нравится».

Учитель поинтересовался: почему?

«Долго объяснять. А вот что мне нравится, так это твоя комната».

С тех пор Голем жил в доме, а рабби убирал двор и ночевал в сарае.

Вместе с рабби глиняный человек гулял по городу, возбуждая всеобщее любопытство. На нём был кафтан, панталоны до колен, белые чулки и туфли с пряжками. На голове высокая чёрная шляпа.

Оба остановились на базарной площади, вокруг столпился народ.

Голем объяснял людям, что реб Лёв — это его создание. Кто смеялся, а кто и поверил.

«Не надо так много разговаривать, — сказал реб Лёв, когда они вернулись домой, — а то ещё выронишь изо рта свиток».

Мало-помалу распространился слух, что рабби Лёв Циммерман лишь выдаёт себя за человека, а на самом деле — говорящая глиняная кукла.

В конце концов он был разоблачён и с бранью изгнан из синагоги. Мальчишки швыряли в него камнями. Голем строго наказал ему

никуда не отлучаться. Рабби жил в сарае, вставал на рассвете, колот дрова, носил воду, а Голем сидел в его комнате и делал вид, что изучает Тору.

«Нет, — сказал он однажды, — надо всё-таки открыть глаза людям».

Держа святую книгу под мышкой, Голем появился на базарной площади.

«Евреи, — сказал он, — вас бесстыдно обманывают. Просто-таки водят за нос. Вот, — он раскрыл Тору, — тут рассказано о том, как Бог создал из ничего небо и землю, и земных тварей, и человека, и всё это за каких-то семь дней. Этого не может быть! А вы слушаете и всему верите. Всем этим сказкам... Таки плюньте, наконец, на них. Как я!»

С этими словами он швырнул Тору на землю, с громом прочистил носоглотку и плюнул на Книгу книг.

Крошечный свиток вылетел у Голема изо рта, и тут что-то случилось.

Поражённые зрители молча смотрели на книгу в толстом переплёте из телячьей кожи с серебряными застёжками и кучу сырой глины, которая расплзлась по земле.

Alter Ego¹

Магнитофонная запись, найти которую не составляло труда, не убедила инспектора: он принял её за литературное произведение. Другие версии не выдержали проверки. Опрос соседей не дал ничего нового. Подтвердилось уже известное: убитый вёл замкнутый образ жизни. Дальняя родня, проживающая в другом городе, судя по всему, давно прервала с ним отношения. Наконец, полиция столкнулась с тем, что в криминальных романах именуется *the locked room mystery* и, к сожалению, иногда бывает в жизни: преступление в квартире, запертой изнутри.

Бывает, что одинокий человек умирает у себя дома без свидетелей, и никто об этом не знает. Писателя перестали видеть (по утрам он выходил за хлебом). Он не отвечал на телефонные звонки, в наружную дверь не достучаться. Тревогу подняла уборщица. В присутствии дворника и понятых были отожжены оба замка. Стало очевидно, что никаких других способов покинуть квартиру, кроме как выйти на лестничную площадку, у преступника не было. Наглухо закрытые изнутри окна, восьмой этаж, гладкая наружная стена исключали возможность бегства.

Вот краткое резюме полицейского протокола. Квартира состоит из прихожей, рабочего кабинета, столовой и комнаты с диваном — спальни. Имеется совмещённый санузел. Хозяин занимал эти хоромы один. Особых ценностей, как-то: крупных денежных сумм, ювелирных изделий, дорогостоящих произведений искусства и т.п. не обнаружено. Следы грабежа отсутствуют.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате тампонады сердца (заполнения кровью околосердечной сумки). Рана в области сердца нанесена колющим оружием. Труп, несколько необычно одетый, находится в сидячем положении, головой на письменном столе, следы крови (очень скудные) на одежде и на ковре рабочего кабинета. Здесь же валяются орудия пре-

¹ Другое я (лат.)

ступления: шпага с прямым однодольным клинком длиной 700 мм, изогнутым эфесом и дужкой (гардой) и кинжал-дага длиной 250 мм, с прямым клинком, рукоятью для левой руки и крестовиной, концы которой направлены вперёд. Отсутствие пальцевых отпечатков указывает на то, что злоумышленник либо тщательно вытер рукоять и эфес, либо действовал в перчатках.

Р.С. Примечательно, что, даже находясь в критическом состоянии, пострадавший не утратил профессиональных навыков (связная речь, литературный язык и т.п.), что, по-видимому, и ввело в заблуждение инспектора. Начало записи оборвано. Соседи подтвердили, что голос принадлежит убитому.

...чужая лысая голова. Кусты дремучих бровей, борода — я не узнал себя. Мне показалось, что из зеркала на меня смотрит кто-то другой. На мне долгополый халат, древние шлёпанцы. (*Примечание. Указанные вещи найдены в ванной комнате*). В этом одеянии я расхаживаю по моим апартаментам, листаю книжки, включаю и выключаю музыку. Я одинок, у меня больше нет женщин; изредка, в виде отдыха, я позволяю себе смотреть порнографические фильмы. О бывших друзьях ничего не слышу; телефон молчит.

Нет времени подробно рассказывать о себе, да и незачем. Я думаю, внимательный читатель (таких, увы, раз-два и обчёлся, люди читают с пятого на десятое, отвлекает телевизор, отвлекает газета, отвлекает политика, то есть, попросту говоря, труха) мог бы собрать из моих произведений, по мелочам, по осколкам, всю мою жизнь. Много лет подряд я занимался тем, что выдавливал сок своего мозга на бумагу. У меня не хватало терпения дожидаться, пока снова накопится жидкость в колодце, порой я чувствовал себя совершенно опустошённым, обезвоженным, бессильным.

Итак, на чём я... (*дефект записи*) ...две щётки в стакане, совершенно одинаковые... улёгся и погрузился в размышления, точно вошёл в мутную тину, и тут меня легонько шлёпнули по щеке.

Оказалось, что я таки задремал; забвенияхватило на... (*голос временами гаснет; звук передвижаемых предметов*). Обратите внимание, о-о, проклятье... Так вот, что я хотел сказать? (*Говорящий собрался с силами.*) Во сне можно пережить состояние утраты своего «я». Во сне отсутствует личное местоимение. Некто очутился в странном мире, но мир не кажется странным; действуешь в согласии с его абсурдной логикой, замечаешь подробности. Но ощущение себя, своей личности отсутствует. Сон без сновидца. Всё равно что увидеть мир после своей смерти,

он тот же, а тебя больше нет. Казалось бы, невозможно лишиться «самости», сохранив все её способности, а вот, пожалуйста. Трон, на котором восседает Я, пуст.

Но то, что со мной случилось, клянусь, не было сном. Я был бодр, я и сейчас бодр; да, да, в здравом уме и памяти. Я в полной мере обладал своей личностью. Разве только последовательность мелких событий пугалась: что́ было сперва, что́ потом. Но вот что интересно: оказалось, что к тому самому мозговому центру, который заведует самосознанием, — если он вообще существует, я, конечно, не специалист, — к нему присоединился ещё один. Или это было что-то другое... кто-то другой поселился в мозгу? Словом, не могу объяснить. Не хватает нужных слов. Скажут: вот так писатель. Да, я и в творчестве своём доходил до границ выразимого, до пределов того, что ещё можно облечь в слова; я даже думаю, что именно поэтому теперь это произошло на самом деле. Скрипнула дверь, послышались или почудились шаги, я выбрался из уборной, где провёл довольно много времени, — обычная история. Измученный, сидел на диване в нижнем белье, ловил шорохи, вздохи вещей. Когда, наконец, облачившись в халат, я прошествовал в кабинет и кашлянул, остановившись на пороге, субъект, сидевший спиной ко мне за моим столом, не обернулся.

Я услышал его голос: «У вас запор».

«Это моя рукопись», — сказал я.

«Вижу. Обе вещи, запор и вот это. Очевидная связь. Не правда ли?»

Я спросил:

«Это ваша щётка?»

«Какая щётка?»

«Зубная. На полочке в ванной».

Он сложил стопкой мои листки, их довольно много, большая часть написана от руки, кое-что перепечатано, я всегда так работаю. Машинка даёт мне возможность взглянуть на текст со стороны, как бы уже не моими глазами.

Складывает, значит, мои листки, поворачивается и спрашивает: что я думаю об этом сочинении?

Что я думаю, хм... Докладывать ему, что это, может быть, мой последний труд, что я шёл к нему, сам того не сознавая, долгие годы... моё высшее достижение, мой подвиг? Великий магистериум алхимиков. Всю жизнь, с тех пор как я начал покрывать бумагу чёрными строчками, орошать её невидимыми слезами, — всю жизнь! — я мечтал создать что-то окончательное, неопровержимое, роман-приговор, роман-синтез, роман — итог и диагноз нашего века, а вместе с тем и ба-

ланс моей собственной жизни. Сколько бессонных ночей, сколько сомнений... Это венец моих усилий. Баста. Я знаю себе цену. И не люблю пафоса.

«Правильно. — Кажется, он угадал мою мысль. — Пафос был бы здесь неуместен. Жалкая проза, между нами говоря: один язык чего стоит. Вязкий, многословный».

«Вот как?» — сказал я холодно. Меня и забавлял, и бесил этот тон. Даже если он заглядывал в рукопись, не думаю, чтобы он мог всё разобрать, бóльшая часть написана от руки, почерк у меня мелкий. Небось, проглядел, пролистал, и готово дело, приговор вынесен.

«Может, вы присядете? Оставим эти церемонии — давай на ты».

«Куда же мне сесть, — возразил я, — ты занял моё место».

«Ничего подобного. Это моё место».

(То самое, на котором я сейчас сижу. Крутись, лента... Я ещё вполне...)

Усмехнувшись, я сказал:

«Насколько я понимаю, ты мой двойник, довольно распространённый сюжет, я бы даже сказал, банальный».

«А ты другого и не заслуживаешь. Вполне в твоём духе».

Я пропустил мимо ушей эту колкость. В жизни, сказал я, так не бывает.

«Всё бывает. В том числе и то, чего не бывает... Хорошо, что ты наконец-то вспомнил о том, что существует реальная жизнь».

«Вы хотите сказать... хочешь сказать, что у меня не все дома?»

«Отнюдь. Это значило бы, что и я спятил».

«Но всё-таки. Кто здесь настоящий, кто из нас существует на самом деле?»

Вместо ответа (а что он мог ответить?) незванный гость — а как ещё его назвать? — хмыкнул, поднял брови, покачал головой. И всё это с таким видом, точно он разговаривал с несмышлёнышем.

Я решил набраться терпения, объяснил, что мне трудно вести беседу с человеком, который считает, что он — это я. По чисто грамматическим причинам: какое местоимение надо употребить?

«Ego sum Imperator Romanus et supra grammaticam!»¹

Я пожал плечами.

«Говоришь, банальный сюжет... Забудь о литературе. Не я у тебя в гостях, а это ты, можно сказать, явился ко мне на поклон. Я — подлинник, а ты всего лишь дурная копия».

¹ Я римский император и стою выше грамматики (*фраза приписывается имп. Сигизмунду*).

«Вот что, — сказал я. — Убирайся». Думаю, каждый на моём месте почувствовал бы себя оскорблённым.

Ещё я хотел сказать, что не вижу необходимости продолжать дискуссию, да и час уже поздний.

«Ты всё равно не спишь».

«Ты в этом уверен?»

«Понимаю. Ты думаешь, что я тебе приснился. Как бы не так! Да ты должен меня благодарить, — сказал он. — Гордиться должен, что существует нечто высшее, чем ты, и в то же время часть тебя самого... Радоваться, чёрт подери, что я, наконец, здесь».

«Никто вас не звал!»

«А вот это ты уже напрасно».

«Позвольте спросить: чем это вы лучше меня?»

Произнеся это, — лучше сказать: прошипев, — я внезапно почувствовал головокружение, у меня это иногда бывает, — схватился за что-то, похоже, что потерял себя на какие-то считанные секунды, — но сейчас же овладел собой. Всё прояснилось. Я сидел в кресле за моим столом. А он стоял, нахохлившись, посреди комнаты, неряшливый, в старом халате, в полуистлевших шлёпанцах. И я почти испытывал к нему сострадание.

«Так, — сказал я. — На чём же мы остановились...»

Я листал его бездарную писанину.

«Чем я лучше, — повторил я. Наш странный разговор продолжался. — Да хотя бы тем, что у меня нормально работает желудок... Что, между прочим, при нашем сидячем образе жизни имеет немаловажное значение. Физиология, друг мой, великое дело! Одно дело — вымученная проза, когда третий день нет стула, и совсем другое, если вовремя опорожился. Прими слабительное».

«Уже принимал. Никакого результата... Послушайте, — сказал он, снова сбиваясь на “вы”, — ведь это уже совсем нехорошо».

«Что нехорошо?»

«Какое-то раздвоение личности. Это уже пахнет психиатрией».

Я не стал возражать, — зачем?.. А, чёрт... (*Шорох в магнитофоне*). Ничего, сейчас справлюсь.

(*Пауза, пустая плёнка*).

«...отклонились от темы. Посмотри, как ты живёшь. Ты опустился, крутом грязь. Кто-нибудь убирает твою берлогу?»

«Приходит одна».

«Небось, спишь с ней... Гони её в шею».

«А это, между прочим, не твоё собачье дело».

Мне пришлось строго заметить ему, что я грубостей не потерплю. Он пророчал:

«Но и ты тоже хорош».

Помолчали немного; я снова перебрал листки. Читать я всё это, конечно, не собирался, о прозе можно судить по одному абзацу. Можно было бы объяснить ему в двух словах, что такое настоящая проза, но зачем? Парень неисцелимо бездарен.

Усевшись поудобнее, я продолжал:

«Вот что я тебе скажу, братец. Ты называешь это преданностью искусству».

«Что называю?» — спросил он.

«Твой образ жизни. А на самом деле это самый отвратительный эгоизм. Дай мне договорить. Ты отвалил от себя всех своих друзей. Вынудил жену оставить тебя, и вскоре после этого больная женщина умерла. Ты бросил детей на произвол судьбы, их воспитывает бабушка. Которой тоже не так уж много осталось. Деньги, принадлежавшие не тебе, ты присвоил, захватил себе квартиру, ты, между прочим, не такой уж простачок, каким прикидываешься, ты... — тут я позволил себе смачное выражение — своего не упустишь, мимо рта ложку не пронесёшь! И всё это оттого, что мы-де рождены для вдохновенья, для звуков сладких, гениальный художник, великий писатель!».

Я впился в него глазами, надеялся пробудить в нём совесть, — куда там! — он насупился, нахохлился, поглядывал на меня волчьими глазами. Мрачно, с шумом втянул воздух в ноздри и отвёл глаза в сторону.

«Но искусство мстит! — воскликнул я, подняв палец. — Искусство мстит за подлянку! Вот результат, — я показал на пухлые папки и то, что лежало стопкой на столе. — Ну-ка живо, — приказал я. — Принеси какое-нибудь блюдо. Или поднос».

Он подчинился... вернее, я подчинился. Бесполезно, я думаю, пытаться объяснить, каким образом мы опять поменялись местами. Лёгкое головокружение, минутная потеря сознания... Впрочем, я и сейчас еле держусь... Короче говоря, я снова стоял посреди моего опоганенного кабинета. Авантюрист, самозванец, который и внешне, по-моему, вовсе не был так уж похож на меня, — мне даже подумалось, не разыгрывает ли меня кто-то, — ощерясь, сложил на подносе моё творение.

«Э, э! — закричал я. — Запрещаю! Не смей! Ты наделаешь пожар!»

Он поднёс к стопке листов зажигалку. Комната наполнилась дымом, моя проза пылала, он шуровал в костре, приподнимал горящие страницы чем-то подвернувшимся под руку, пепел хлопьями носился в воздухе; совершив это жуткое аутодафе, незванный гость потребовал тряпку. Я должен был убирать следы, выносить остатки, пришлось от-

крыть окно. Чёрная ветреная ночь ворвалась в мою обитель. Всё это время он сидел, развалившись в моём кресле, с чрезвычайно довольным видом.

С тряпкой в руках, утирая слёзы рукавом, я стоял посреди комнаты.

«Это ваша щётка?» — спросил я снова.

«Какая щётка?»

«Зубная, в ванной. Забирайте её и.. и чтоб вашего духу здесь не было...»

«Что это значит?» — сказал он надменно.

«А вот то и значит. Пошёл отсюда вон!» — завопил я. Моя борода трепыхалась от гнева и сквозняка. В сердцах я захлопнул окно.

«Та-ак, — медленно проговорил он. — Ты меня выгоняешь. А если я не уйду?»

Я швырнул тряпку в угол, машинально отёр ладони о халат.

Он поморщился.

«Ты бы хоть руки вымыл... Ну что ж, как будет угодно его сиятельству. Я ведь желал тебе добра. Я ведь только напомнил. Думал, может, у него проснётся совесть...»

И он задумался на минуту.

«Есть предложение. Давай расстанемся благородными противниками. Будь добр, не в службу, а в дружбу. Принеси там... из прихожей».

Тут надо бы удивиться, спросить, что ему надо. В крайнем случае сказать: ступай сам, если тебе нужно. И остаться, наконец, одному. О, как хотелось остаться одному! Сесть в кресло, обдумать случившееся. Ничего такого я не сделал, вынес что он просил.

«Я не умею фехтовать, — сказал я. — Никогда в жизни не держал...»

«Ничего, научишься. Вот это дага. Бери в левую руку. А в правую... Только, знаешь что? Надень что-нибудь поприличней».

Я вернулся, на мне были бархатные штаны до колен, чулки, туфли с пряжками, белая полотняная рубашка с рюшами на груди. По дороге я заглянул в ванную, мои седые кудри вокруг сверкающего черепа произвели впечатление на меня самого. Я благоухал духами. Вошёл — на нём был такой же костюм.

Бросили жребий. Я поймал на лету шпагу, брошенную мне.

Мы отсалютовали друг другу и встали в позицию, шпага в правой руке, кинжал — в левой.

Несколько раз мы скрестили наше оружие. Получалось недурно. Он выкрикивал фехтовальные термины, я молча парировал.

Он засопел, глаза его засверкали, и стало ясно, что игра превращается в бой.

С полной ответственностью заявляю, что у меня не было намерения убивать его. Кто бы он ни был. Я оказался сильнее и ловче. Мне удалось выбить у него из рук шпагу, мы сблизилась почти вплотную, и я ударил его наотмашь кинжалом в грудь. Он прошептал: «Ты убил меня — свою лучшую часть...» Падая, мой противник успел ткнуть меня своей дагой. Я пошатнулся и выронил шпагу.

Крутись, лента, крутись... Я уже почти не здесь. Я — где-то. Мне только нужно успеть договорить...

ТРИПТИХ О ВЕЧНОСТИ

I

Девушки

Дворжак, квинтет опус 81

Илга: латышское имя коснулось слуха одним безоблачным утром в Майори, бывшем немецком Майоренгофе, летом какого-то очень далёкого года. Тётя подрядилась ехать в качестве врача с пионерским лагерем на Рижском взморье. Домик с террасой, куда нас поместили, стоял над пляжем: шагнуть с крыльца, и уйдёшь по щиколотку в горячий песок. Зной струится с высот, как растопленное масло, в полусотне шагов море искрится и сверкает так, что больно смотреть. Поодаль, у выхода на улицу курортного городка, стоит другой дом, и девушка на крыльце, босая, в коротком платье, зевает и шурится от яркого света. Мать окликнула её, так я узнал, что её зовут Илга. Круглолицая, белорукая, складная, с уже наметившимися бёдрами, хотя вряд ли старше меня. Мне было 16 лет. Она меня не заметила. Я видел её один единственный раз.

При чём тут многоточие... Ясно, что ни при чём. Зачем я о ней рассказываю? Незачем. Странное свойство памяти: можно забыть имена человекаядных начальств, изгнать события великой эпохи, как теперь её называют, а мимолётная, ничего не значащая встреча впечатывается навсегда. Впрочем, я помню всё, в том числе и рассказы о том, чего не мог запомнить. Я помню свою мать. Моя мама в юности была красави-

цей. То была библейская, левантйская красота, которая быстро вянет, чтобы перейти к дочерям и потом повториться из рода в род до наших дней. Девушки сберегают то, что мужики теряют в закоулках веков. Такой была Суламифь, возлюбленная царя Соломона, и Рахиль, прапра-матерь царей, и Ревекка с кувшином на плече, так выглядела, может быть, и сама прародительница Ева. Мама была сиротой, и если верить никогда не опровергнутым слухам, пятнадцатилетней была взята в замок польского графа, местного феодала, человека разгульного и в конце концов промотавшегося; мой отец увёз её, вернее, выкупил у графа, отчего пострадала репутация нашей семьи в местечке. Дела давно минувших дней, о таких временах говорят — давно и неправда.

Красная Армия освободила воеводство от немцев. Катастрофа евреев была позади, и, казалось, ничего подобного уже не повторится; те, кто выжил, начали возвращаться в родные места. Но звериный инстинкт, древняя ярость, вошедшая в плоть и кровь, — не успела ещё закончиться война, — вскипела и поднялась вновь со дна народной души. Вас Гитлер недорезал! Надо было завершить его дело. Самый кровопролитный погром произошёл в Кельцах, недалеко от нашего местечка. Вскоре добрались до нас. Изуродованные трупы моих родителей, трёх сестёр и старшего брата лежали перед домом. Меня спасла соседка; мне было два года.

Разумеется, ничего этого я не помню, и, однако, помню всё. Ведь помним же мы египетский плен и шествие шестисот тысяч по пустыне, и разрушение храма, и вечно повторяющееся изгнание.

Ещё одно видение, фата-моргана, фантом, — но сперва глоток хорошего коньяку... Проезд в метро стоил 15 копеек, билет покупали в кассе. Контроль перед эскалатором. Но можно было сэкономить, я владел этим искусством в совершенстве. Вы протискиваетесь с толпой мимо одной контролёрши, а билетик протягиваете к другой, и — ступаете на лестницу, и едете вниз. Но главное — она, черноглазая девушка с повязкой на рукаве. Я искал её, боясь не застать, выходя к эскалатору из подземного коридора, где ещё сохранилась со времён первых воздушных налётов стальная рама герметических дверей: станция «Красные ворота» служила бомбоубежищем. Я помню её, эту девушку-контролёршу, словно видел на прошлой неделе, хотя фантазия, может быть, дополняет её сказочный облик. Тонкая шея, острый взгляд; и, кажется, выше меня ростом. Я встречал её несколько раз. Потом она исчезла.

Я часто вспоминаю мою мать. Это покажется странным, ведь к моменту её гибели мне, как уже сказано, едва исполнилось два года. Я ничего не знаю о женщине, спрятавшей меня, когда в местечко при-

шли польские солдаты и сброд, присоединившийся к ним. Я не помню отца, брата, сестёр, не знаю, как выглядел наш дом — вероятно, большой и благоустроенный, ведь отец мой был довольно состоятельным предпринимателем. Но мама — невероятно: мне кажется, я вижу её совсем юной, какой она давно уже не была в пору моего появления на свет. Прямой пробор, толстый скрученный на затылке узел, она вынимает шпильки, встряхивает головой, и густые чёрные волосы обнимают её плечи. Свет из окна окружает её, как нимб. Чёрные глаза склоняются надо мной, я пялюсь на неё из моей колыбели, потом начинаю плакать, она берёт меня на руки, ходит по комнате и поёт мне на языке, который я забыл.

Постепенно этот образ приобрёл мифические черты, но я забегая вперёд. Мне пошёл восьмой год, я был единственным, кто остался в живых; штетль, как назывались местечки, больше не существовал. Меня разыскала в детдоме и привезла в Москву дальняя родственница, у которой был свой зубокабинет. Тёте было за семьдесят.

Я окончил школу, собирался поступить в университет. Будущее стояло на пороге, как посыльный с букетом. Но тётя умерла. Оборудование кабинета было вывезено, вывеска рядом с подъездом нашего дома на Волхонке исчезла, квартиру заняли чужие люди. Никуда я не поступил, на приёмных экзаменах меня завалили, как можно было догадываться, из-за моих анкетных данных. Постоянной прописки у меня не было, жить было негде. Сколько-то времени я ещё проболтался в Москве, пока не пришлось отчалить.

Век революций, войн, погромов, концлагерей, таким он останется в истории, если история не прекратится. Но для меня, — вы сочтёте меня сентиментальным идиотом, — для меня, да, это был век девушек. Если что-то и могло заслонить каннибальские времена, то это они: нежные, смеющиеся, замечтавшиеся, погрустневшие, их было не так много, их невозможно забыть.

Вновь спрашиваю себя, зачем я затеял этот рассказ. Я не собираюсь излагать путаную историю моей жизни. Судьба евреев — скитаться; почти каждого настигает она рано или поздно. Обстоятельства швыряли меня по разным углам нашей огромной России, я переменял много профессий. Не об этом речь. Я давно уже американский гражданин, из моих окон виден океан.

Моей мечтой было поселиться в какой-нибудь глухомани, подальше от шума и многолюдства, не слышать ни польской, ни русской речи, не слушать радио, не читать газет, не вперяться ежевечерне в домашний экран. Я обретаюсь на острове, где жителей всего несколько тысяч: рыбаки, ремесленники, мелкие торговцы. Между прочим, здесь жила одна

известная писательница, не то француженка, не то бельгийка, поселилась, должно быть, с той же целью уединения. Вилла, где она умерла, стоит заколоченная недалеко от моего дома.

Могучие ели, клёны, дубы нависают над каменистым ущельем, и высоко над лесом, на голых утёсах пылает закат. Неширокий пролив отделяет нас от континента; последнее время, к великой моей досаде, на острове появилось много туристов; теперь собираются строить мост.

Так вот, стало быть, две или три недели после смерти тёти я прожил в старой квартире вместе с новыми жильцами; потом где-то ютился, пока милиция не выставила меня из столицы; за это время успел побывать в должности подсобного рабочего на почтамте. Импозантное здание на углу Чистопрудного бульвара и тогдашней улицы Кирова красуется до сих пор. Говорят, там теперь что-то другое; в моё время в просторном зале со стеклянной крышей находился Центральный почтамт, а на этажах вокруг — экспедиции другого почтамта, газетно-журнального: продукция доставлялась из типографий, сортировалась и рассылалась по всей стране.

Появилась барышня, все другие — там работали одни женщины — казались мне старухами. Она одна стояла за покатым столиком и регистрировала джутовые и бумажные мешки в особой ведомости. Вероятно, ей было не больше двадцати. Лоб и нос у неё были напудрены, брови подбриты и подрисованы, на губах алая помада. Усердно писала, склонив голову в беретике, из-под которого спускались подвитые снизу локоны. Через всё помещение от упаковочной экспедиции до люка, ведущего вниз, на платформу, шелестела лента транспортёра, я подтаскивал мешки, выкликал номера и бросал мешки на транспортёр. Я едва отваживался взглянуть на эту царевну. Как её звали, так и не узнал. Вскоре она исчезла; за ней и я.

Вернусь к моим пенатам, к благословенному острову у берегов штата Мэйн, к Дворжаку и спасительному напитку. Алкоголь отрезвляет, говорится в одном рассказе вышеупомянутой островитянки; кое-что из её творений мне попадалось, не могу сказать, что я был от них в восторге. «Алкоголь отрезвляет: несколько глотков, и я о тебе больше не вспоминаю». Но я-то помню — тебя, твой совокупный образ, вобравший всех. Казалось бы, щедрая природа, музыка, книги, скромное социальное пособие, которого мне вполне хватает, должны были избавить меня от душевного неурюстройства. Избавить от грызущей тревоги. Откуда она, эта тревога? Смешно сказать, меня одолевает чуть ли не метафизическая тоска. Угнетает бессмысленное струение времени. Абсурд истории, которая пожирает сама себя.

Или это гнёт прошлого, скорбь тысячелетий? Страх, что они доберутся досюда? Попробую объясниться, хоть это и нелегко. Ещё коньячку...

Время, какими бы метафорами мы ни пытались его обставить: кругооборот светил, колесо дня и ночи, текучая вода, сыплющийся песок, — время всегда одно и то же: оно поработает. Бесконечная смена событий одуряет, лавина эфемерных новостей валит с ног. Пускай мы избавлены (надолго ли?) от войны, — жизнь современного человека — это безостановочная суета и спешка, отчаянные попытки удержаться, не слететь с вращающегося круга. Стук колёс, уносящих тебя в будущее, имя которому — смерть; грохот состава, который ведёт слепой машинист. Но существует вечность.

Что такое вечность? Нечто сущее на самом деле или выдумка? Спор об этом никогда не будет решён, его и не надо решать; это лишь спор о словах. Существует некое переживание, и оно не обманывает. Чувство Вечного Настоящего, ослепительная догадка, что время — временно и этой временности противостоит нечто пребывающее.

Связать это чувство с верой? Сомнительное предприятие. Религия обещает личное бессмертие. Вечность вовсе не означает вечную жизнь.

Я как будто слышу это шамканье: Бог, религия, вера... Какая вера? Она сторела в печах. Унеслась с дымом в пустые небеса. Я не могу спорить с учёными богословами. Они станут вам в который раз доказывать, что Всевышний наделил человека свободой воли и, дескать, люди сами виноваты: выбрали не добро, а зло. Я же думаю, что всеильное и благое Верховное существо, допустившее гибель шести миллионов ни в чём не повинных людей, мало того, что дискредитировало себя в глазах жертв и тех немногих, кто уцелел. Оно поставило под сомнение своё собственное существование. Это было самоубийство Бога! Пускай теперь богословы и пастыри пытаются выгородить своего кумира.

И ещё одно: нас приучили мыслить «исторически». Смена эпох и царств; столетий, десятилетий; труха актуальности, которую ежедневно трясут газеты, новости, которые ежевечерне выплёвывает домашний экран, чтобы завтра забыть о них и схватиться за новые. Водоворот истории, вроде шума воды в сортире. История напоминает канализацию: было — слыло.

Как вдруг танец двух скрипок, виолы, виолончели и контрабаса, мгновенное счастья, нечаянная встреча, упругий, стремительный ритм, — и оживает забытое чувство. Я ударился в философию. А ведь дело идёт не об учёных абстракциях — о жизни! Что же это было: мгновенно вспыхнувшее, естественное для мужчины желание обладать юной женщиной? Не думаю. Юношеская влюблённость, ещё не сознающая себя плотским влечением? Может быть, — но и нечто иное.

Я стоял на вокзальной площади одного провинциального города Средней России, лет тридцать тому назад. Подъехал УАЗ, грузовик-

вагончик, стукнула раздвижная дверца, водитель разгружал вещи. Возле кабины стояла прелестная девушка, невысокая, плотно сбитая, в коротком коричневом платье из вельвета. Она посмотрела в мою сторону — о чём она думала? Я был для неё посторонним предметом. Наконец, она меня заметила, серые глаза вопросительно взглянули на меня, она как будто меня узнала, маленький бледный рот приоткрылся.

Подошёл водитель.

«Ты чего на неё уставился?»

Так, сказал я, ничего.

«Ну и вали отсюда».

Я обернулся уходя, ни машины, ни девушки больше не было.

II

Ульрика, или Спасённая добродетель

*Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen?*¹

1

Барышня, которую тайный советник увлёк за собой в бессмертие, была моложе его на полстолетия, скандальная влюблённость могла напомнить историю с работницей цветочной мастерской Кристианой Вульпиус, но тогда, тридцать пять лет тому назад, он сам был молод, возмущение веймарских дам ни к чему не привело, герцог, не чуждый подобным интрижкам, только посмеивался. Да и мамзель Вульпиус, круглолицая, пухленькая дочь народа, стала в конце концов госпожой фон Гёте. Теперь тайный советник был уже вдовцом, в Мариенбад приезжал лечиться, заодно пополнить свою коллекцию минералов. Некогда Богемия, согласно его негунической теории, находилась на дне океана, горы вокруг курортного городка были не что иное, как отложения морских солей.

Обыкновенно он останавливался в пансионе отставного прусского офицера Брёзике. Туда же приехала летом 1821 года дочь хозяина Амалия фон Левецов, вдова с тремя дочерьми. Старшая, 17-летняя Ульрика, только что вышла из французского пансиона, по-французски говорила охотней, чем по-немецки, ни одной строчки Гёте не читала. Состоялось знакомство. Старик и девушка сидят вдвоём на террасе, в виду

¹ Чего теперь мне от свиданья ждать? *Гёте*, «Элегия» (1823).

лесистых гор. Его превосходительство толкует о рудах и недавно вышедших «Годах странствий Вильгельма Мейстера», относится к малютке Левцов как добрый папаша, вернее, дедушка.

И в третий, решающий сезон 1823 года, как прежде, мамаша с дочерьми обитает в пансионе Брёзике. На этот раз там остановился сам герцог Карл-Август, теперь уже великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский. Гёте — напротив, в «Золотом голубе». Стояние у окна в ожидании, когда Ульрика появится на террасе пансиона; беседы, гуляния, поездки по окрестностям; весь Мариенбад видит их вместе.

Это история последнего поражения, миф о любви олимпийского Зевса к земной женщине Алкмене.

«Она была красивой?»

«Красавицей вряд ли. Худенькая немецкая девочка, ровесница пушкинской Татьяны, в белом муслиновом платье с завышенной талией, как тогда носили. Серые глаза, завитки светлых волос вокруг лба, шея царевны-Лебеди».

Есть несколько портретов, продолжал я, этот, где ей семнадцать, — самый известный. Есть ещё любительская гравюра: мать и три дочери, Ульрика с гитарой. Ну и, наконец, дагерротип конца века. Старуха в чепце стоит перед резным столиком с книгами и шкатулкой — если бы заглянуть, что там хранится...

Так, невинно беседуя, мы блуждаем по парку, сидим на скамейке. Почему зашёл разговор об этой девочке?

«В Марианске Лазне, так теперь называется Мариенбад, стоит памятник: Гёте и Ульрика Левцов. Там она совершенно не похожа на свои портреты».

«Вы там были?»

«Бывал. Между прочим, в прусских фамилиях на -ов буква w не произносится. Но мы по-русски привыкли так говорить: Вирхов, Бюлов, Левцов...»

«Вы хорошо знаете немецкий?»

«Так считается...»

«А сами вы тоже так считаете?»

«Нет. Язык неисчерпаем, Таня».

Пора возвращаться.

2

Я люблю этот дом. Можно сказать, чувствую себя здесь как дома. А в своём доме, в Москве, — нет, не чувствую. Особенно с тех пор, как я остался один, стены московской квартиры опостытели до такой

степени, что хоть беги на край света. К счастью, так далеко спастись не нужно. Я, конечно, не Бог весть какая важная птица, литературный ранг мой невелик, — у нас ведь всё по чинам, не хватает только мундиров и погон, — но так как я всё-таки числюсь писателем, состою в Союзе, я не только имею право обитать здесь, но могу даже выбрать удобное для себя время. Меня знают, обслуга улыбается мне как старому знакомому.

Обыкновенно я приезжаю, дождавшись лучшей поры — той, о которой сказано: очей очарованье. К сожалению, на этот раз не повезло: буквально на другой день разверзлись хляби. Я было отправился по обычному маршруту, к развалинам церкви, в рощу, и — вернулся промокший до нитки. Милая Глаша всплеснула руками. Ванна, липовый чай; до ужина провалялся в постели.

Можно считать, что это было дурным предзнаменованием. Теперь все глаголы придётся ставить в прошедшем времени: после того, что случилось, я твёрдо решил, что нахожусь здесь в последний раз. Остаётся подвести печальный итог; как говорили древние, *dicere et animam levare*, высказаться и облегчить душу.

Итак, если вернуться к тем дням... Я прочитал Тане что-то вроде популярной лекции из жизни германского поэта Иоганна Вольфганга фон Гёте. Прочёл, разумеется, не без задней мысли; сомнительная игра. А играть, между прочим, вовсе не хотелось. Но рассказ увлёк меня самого. А она? Не знаю. Мне казалось, что она просто терпит моё присутствие. Могу себе представить, что кто-нибудь, полистав эти странички, скажет: седина в бороду, бес в ребро. Щёлкнули по носу, так тебе и надо

Облегчить душу... о, нет, я знаю точно, что рана не закроется. Начнёт гноиться, и надо поступить так, как поступают хирурги: нековырять, а вырезать. Иссечь края и зашить. Вот мы этим и займёмся.

Вот моя комната. Книги, бумаги, кофеварка. Хаос кое-как набросанных мыслей, надо бы всё это привести в порядок. Не говоря уже о том, что заброшена моя работа, а между тем «Жизнь Гёте» должна быть сдана в издательство не позднее следующего квартала. Словари, справочники — всё наготове. Окно в слезах дождя... Казалось бы, лучшее время для занятий. Моя пишущая машинка, словно старая собака, выжидающе глядит на меня.

Собственно говоря, я и прежде наезжал сюда подчас не в лучшем расположении духа, с такой же неохотой листал свои бумаги, валялся на кровати, ждал, когда уютный дом исцелит меня. Похоже, моя жизнь крутится, как заевшая пластинка. Кстати — до чего заезженное сравнение. Теперь оно уже становится малопонятным: спросите любого школь-

ника, что такое патефон, он не ответит. Что такое примус, стиральная доска, чернильный прибор? Сколько слов нашего детства, юности, даже зрелых лет сдуло ветром.

Я стараюсь поменьше общаться с соседями, нынешних писателей откровенно презираю. В столовой сажусь у окна, один, и чувствую себя вельможей среди плебеев.

3

Некоторым решающим событиям жизни присуще одно свойство: их никто не ждал. Они никак не вытекают из предшествующих обстоятельств. В таких случаях принято ссылаться на судьбу; но что такое судьба? Скитаясь по округе, я натолкнулся на гуляющего папашу; разговорились; надо же было так случиться, чтобы они с дочкой оказались в доме одновременно со мной.

Не знаю, следует ли гордиться этим знакомством. Мне приходится по моей профессии иногда бывать в Германии, разумеется, Восточной, в так называемом первом социалистическом государстве на немецкой земле. Профессор N (ограничусь литерой на старинный манер) напоминает садового гнома, немцы любят ставить у себя под окнами эти фигурки из раскрашенной глины. Только вместо красного колпака на его седых кудрях сидит академическая ермолка. Профессор мал ростом, большеголовый, большеносый, в пышных лиловых усах и бородке клинышком, очень вальяжный, очень следящий за своей внешностью. Говорят, известный учёный, член-корреспондент и лауреат.

Не совсем понятно, почему он искал отдохновения от трудов в нашей сравнительно скромной обители, а не там, где положено поправлять здоровье генералам наук и искусств. Впрочем, и здесь бывают знаменитости: я, например, тут встречал Корнея Чуковского, которого на дух не переношу.

Как и я, профессор N предпочитает не ложиться после обеда; мы гуляем втроём. (Изредка вдвоём с Татьяной, как в тот день, когда я рассказывал ей об Ульрике.) Кажется, он обрадовался случаю найти если не вполне достойного, то по крайней мере терпеливого слушателя; а я? Теперь совершенно ясно: я искал возможность побывать с дочкой. Ради этого готов был выслушивать разглагольствованья папашы. Сейчас это модно, кое-что я уже слышал, читал машинописных труды на папиросной бумаге. От этой самодеятельности я, разумеется, далёк. Само собой, учёные заслуги профессора N принадлежат к другой области; философствование о судьбах России всегда было любимым занятием дилетантов.

В прежние годы я тоже немного фрондировал, подписал письмо с протестом, к счастью, без серьёзных последствий. Помню, был у меня однажды разговор с моим покойным дядей о цензуре: я возмущался, а он доказывал мне, что литературу нельзя пускать на самотёк. Руководство необходимо, партия должна воспитывать писателей и так далее. Потом умолк, поглядел на меня своими склеротическими глазами старого, всё повидавшего еврея и прибавил: «Ты что, не понимаешь, где ты живёшь?..»

Ещё бы не понимать.

Ах, не всё ли равно... И цену этому режиму мы прекрасно знаем; только я-то здесь причём?

Это я к тому, что профессор N, как-то уж очень скоро проникшийся доверием к моей персоне, сказал: «Вам как бойцу идеологического фронта будет небесполезно поразмыслить над...»

Идеологический фронт... Эта фразеология уже вышла из моды, но суть не изменилась. Мне стоило некоторого труда удержаться от возражений. Ничего обидного в этом определении профессор не видел; я, однако, почувствовал себя оскорблённым. Вот, значит, за кого он меня принимает. Я хотел сказать: не смешивайте меня с этой братией, я не писатель. Я переводчик, имею дело с текстами, до которых всем им, вместе с начальством, далеко как до звёзд. «Жизнеописание Гёте» — 800 страниц! — принадлежит западному автору, известному специалисту и отнюдь не члену коммунистической партии. Марксизмом здесь, я думаю, и не пахнет. Пробыть эту книгу стоило немалых трудов. Да и выйдет она вероятней всего с охранительным грифом «Для научных библиотек».

Всё это я мог бы ему выложить, но промолчал. Не то чтобы побоялся показаться диссидентом. Но в том-то и весь казус, что собеседник мой в некотором роде был прав. Да, государи мои, назовём вещи своими именами: идеологический фронт — это значит, что вы все куплены с потрохами. И я, разумеется, не исключение, хоть и воображаю себя невинной овечкой. Все — и писатели, и критики, и переводчики, и патриоты, и лизоблюды, и те, кто тщетно старается сохранить лицо. Беззаботное времяпровождение в санаториях и домах творчества вроде нашего. Приличные гонорары, свободный образ жизни. Не надо вставать ни свет ни заря, не надо бежать на работу, не надо толкаться в очередях... Кому мы всем этим обязаны? Начальству, которое сами же исподтишка браним. Сваливаем всё на «них», а на самом деле мы у них на содержании, как пышнотелая бабёнка у богатого купца.

Я воздержался от дискуссии с моим наставником, да он и не ожидал иного. Он привык не слушать, а говорить. Не было смысла и оспа-

ривать его отважное вторжение в историсофию. (О нём придётся сказать чуть ниже.) Я лишь осторожно осведомился: не противоречат ли его рассуждения Великому Учению? Мы вышли из ворот и приблизились к полуразрушенной церкви. Профессор-гном остановился.

«Вы имеете в виду ревизию марксизма-ленинизма?»

Я покосился на дочку — было приятно констатировать, что она скучает. Церковь стояла перед нами неммым укором, в ожидании ремонта, совершенно так же, как нуждалось в ремонте основополагающее учение.

5

«Отнюдь! — вскричал профессор. — Отнюдь не ревизия, но дальнейшее усовершенствование, дальнейшее обогащение новой постановкой вопроса. Новыми идеями! Видите ли, дорогой мой... Подчас альтернативу “или — или” бывает необходимо заменить синтезом: “и — и”, тогда окажется, что и альтернативы-то на самом деле никакой нет!»

Я снова украдкой бросил взгляд на Таню: поговорить бы с ней на другие темы...

«События нашего века требуют этого самым настоящим образом. Маркс жил сто лет тому назад. И Ленин умер больше полувека назад... Я имею в виду назревшую необходимость обновления нашего советского мировоззрения, насыщения нашей идеологии национальным содержанием. Ведь что получается? Война отстремела, великие жертвы были принесены, и не только на алтарь Отечества. Мы спасли Европу! Спасли весь мир... Россия поднялась на такую высоту, о какой никогда не мечталось, Россия стала второй, а может быть, и первой — мы ещё посмотрим! — мировой державой. А идеология? Почитайте наших умников — не сдвинулась ни на шаг, мы вернулись к старым баранам, вот и всё. Теория, кто спорит? — теория остаётся незыблемой, теория, сказал Ленин, непобедима, ибо она верна...»

Он таки основательно забаррикадировался. Мог не опасаться, что я на него наступчу.

«Но речь идёт о сегодняшнем дне, об идеологии, а идеология — это, знаете ли, вещь нешуточная. Становой хребёт нации!»

Я пролепетал: «Нас учили...»

«Знаем, как же. Надстроечная категория, а базис...»

«Экономика».

«Браво. Ставлю вам пятёрку. Но, знаете ли, экономика экономикой, а без духовного обновления нам не обойтись. Если говорить напрямую — без национальной ориентации. Мы должны осознать, кто мы такие».

Что это значит, спросил я.

«А то значит, что наша история началась не с Семнадцатого года. России, батенька, больше тысячи лет! Между прочим, уже Киевская Русь во многих отношениях обогнала Западную Европу. Это я говорю вам со всей ответственностью... Нам все уши прожужжали о нашей отсталости, догнать и перегнать, всё такое. Кого, спрашивается, догонять? Пора, наконец, осознать нашу особую роль в мире».

Признаться, я не подозревал, что эта галиматья аттестуется в известных кругах как выдающееся достижение отечественной мысли. Голос моего друга профессора, — не буду всё-таки называть его имя, — размеренный, хорошо поставленный голос опытного лектора, звучал в густеющих сумерках.

«Война столкнула нас лицом к лицу с Западом. Начался процесс, обратный тому, что совершается там у них уже несколько столетий и привёл, прямо скажем, к губительным последствиям... Вы упомянули об историческом материализме, тут, кстати говоря, тоже всё не так просто, учение еврея Маркса, что ни говори, пришло к нам оттуда... Но! Я вовсе не собираюсь подкапываться под теорию. Напротив, я делаю из неё решительные выводы... Да, конечно, экономические условия нашей жизни скромны по сравнению с западным благосостоянием — с так называемым благосостоянием. Но зато они освобождают нас от иссушающей погони за материальным преуспеянием. От власти капитала в её самом отвратительном выражении, поработившей западного человека настолько, что он забыл о вертикальном измерении бытия...»

«Папа, — жалобно сказала Татьяна, — может, я пойду?»

«Куда? — строго спросил профессор. — Ты помнишь, что сказал доктор: ежедневно гулять не меньше двух часов. И, кстати, тебе тоже не вредно послушать».

Он пояснил, что Таня этой весной окончила десятый класс (о чём я уже знал), врачи советуют не спешить с поступлением в институт, пусть отдохнёт годик. Тем более, что ещё не решено, куда она поступит.

6

Погода снова испортилась. Обитатели дома бродят по коридору, словно привидения, спускаются по скрипучей лестнице, из биллиардной доносится стук шаров — игра, в которой я не вижу абсолютно никакого смысла. Я поглядывал в окно, в своей комнате, и думал, к чему я всё это пережёвываю. Какой-то персифляж. Мне попросту не хватает чувства юмора, чтобы это заметить. Разве моё неуклюжее ухаживанье за этой девочкой — не пародия на любовь великого олимпийца? И, наконец, профессор с его откровениями. Читайте ста-

рых славянофилов, господа, вы всё это там найдёте в куда более талантливом изложении. В конце концов читайте Достоевского... Этот пирог давно съеден.

Я уже сказал, что не испытывал желания спорить с моим наставником. Да и что я мог бы ему сказать... Я не то и не другое, я вообще, можно сказать, обретаюсь в иных сферах. Не будучи ни в какой мере ненавистником моей страны, я не могу считать себя и патриотом, в будущее нашей родины не верю, не верю в «народ», стараюсь даже не употреблять эти скверно пахнущие слова. Родиться в России — злой рок, несчастье, но раз уж так получилось, надо терпеть. Делать своё дело, вот и всё. Между прочим, я никогда не испытывал желания покинуть страну.

Но в чём же, наконец, моя вера, есть ли у меня какая-нибудь вера? Я отвечаю: есть. Я верю в литературу. Флобер (я когда-то переводил его письма) говорил своему дорогому Ги: если то, что с тобой происходит, покажется тебе важным лишь поскольку это может стать материалом для литературы, если собственное существование никакой другой ценности для тебя не представляет и ты готов ради литературы пожертвовать всем, — тогда вперёд: пиши, печатайся!

Но я не писатель, я только перелagатель, переписчик древних пергаментов, наподобие средневекового монаха.

Я стою перед слезящимся стеклом, мысленно перед кем-то оправдываюсь, и вдруг спохватываюсь. Меня как будто осеняет: зачем я здесь? Рассуждаю о литературе, о том, о сём, а ведь на самом деле меня гложет иная забота. Это похоже на то, как бывает, когда смотришь в вагонное окно, следишь за бегущими навстречу деревьями, но они, эти деревья, — лишь то, что мелькает перед глазами; позади них, стоит только перевести взор, другой хоровод несётся следом за поездом вместе с тобой. Так другая, тайная мысль летела за мной, мысль о девочке, ещё не успевшей сбросить школьное платье. Стыд, и ужас, и какой-то не подобающий моим летам восторг...

Я искал случая остаться с ней наедине и в то же время боялся этого. Мне нужно было спрятаться за кого-то, нужен был третий — если не папаша, то его превосходительство Geheirat¹ фон Гёте. Я не знал, что я скажу Тане, осмелюсь ли. И вот, я выхожу после обеда, она стоит на крыльце одна. Папа неважно себя чувствует и остался дома. Что-нибудь серьёзное? Погода влияет, сказала она. Надо было ехать на юг, а не сюда. Но тогда бы мы не познакомились, возразил я шутя. Она колебалась, мы смотрели на небо.

Наметилось просветление. Как ни странно, это меня не обрадовало. Я почувствовал, что не готов к этому тет-а-тет. И загадал: если, сойдя

¹ тайный советник.

по ступенькам, она не откроет свой зонтик, значит, она и сама никогда для меня не раскроется. Старый циник, я почувствовал двусмысленность этой метафоры. Но тотчас загадал снова: если, сойдя с крыльца, она обернётся, значит, меня ждёт удача. Таня не обернулась. Мы двинулись по обычному маршруту через парк: я, скованный суеверием, возрастом, воспитанием, она, помахивая сложенным зонтиком. Вспоминая эту прогулку, я горько усмехаюсь: неужели так трудно было разомкнуть уста? Сказать, наконец, о том, что меня переполняет, найти простые человеческие слова? Моё сердце забилося, когда я подумал, подойдём к церкви, и будь что будет, остановлюсь и скажу... что я скажу? На моё счастье мы не успели дойти до цели, как снова полил дождь. А на другой день, за завтраком, произошло событие, погубившее все надежды.

7

В столовой появилось новое лицо. Рядом с дочерью за профессорским столом сидел молодой человек лет двадцати. Я дал себе слово не обращать на них внимания, не смотреть в эту сторону — и не смог совладать с собой. Гость был в новом, явно дорогом костюме, в белоснежной рубашке, в щёгольском галстуке. Темноглазый и темноволосый, аккуратно причёсанный, чтобы не сказать — прилизанный.

Допив кофе, я потащился к их столику. Якобы поздороваться. Мальчик был мне представлен: студент Института международных отношений, «и будем надеяться, — с хитренькой улыбкой прибавил профессор, — будущий член нашей семьи».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Таня покосилась на меня — мне почудилось в этом взгляде желание поставить меня на место. Но может быть, и другое: меня как будто испытывали. Такое предположение было, разумеется, смехотворным. Словно я тоже «кандидат». Я промолчал, да и она никак не реагировала на заявление профессора; все трое молча занялись яичницей.

А ещё вернее — это было обыкновенное, вульгарное бабье любопытство. Что я скажу, как поведу себя? Что ж, и на том спасибо. Я откланялся. До обеда сидел над бумагами, перелистывал толстый том, пытался вжиться в стиль и ход мыслей автора; так и не сдвинулся с места.

Сказать, что меня терзала ревность? Нет; просто чувство вдребезги разбитого существования. Таня ничего не говорила об этом женихе. Но почему она должна была мне докладывать. Кто я такой?

Безусловно, это была самая подходящая партия: сын богатых родителей, молодое поколение нового привилегированного класса, советская *jeunesse dorée*¹. Дорогой галстук, импортный костюмчик, причёска.

¹ золотая молодёжь (*фр.*).

И что это за институт, кого они там готовят, мы тоже прекрасно знаем. В такие учебные заведения принимают не каждого. Нужно как минимум иметь рекомендацию райкома комсомола и, разумеется, соответствующих родителей; сюда же и будущий тесть-академик.

В молчании, словно приговорённые к ежедневному ритуалу, мы брели, теперь уже вчетвером, по непросохшей песчаной дорожке, молодые люди впереди, мы с профессором следом, я делал вид, что внимаю его шамканью, и чувствовал, как растёт с каждым шагом расстояние между мною и этой семейкой, больше того — как далёк мне и чужд весь этот мир. Полностью с вами согласен, пробормотал я в ответ на какую-то сентенцию моего спутника, пропустив её мимо ушей. В эту минуту меня поразила убийственная догадка. Современная молодёжь: ведь они теперь не ждут совершеннолетия, не говоря уже о браке. Они «живут»! Отвратительное словечко, но ведь и «близки» звучало бы не лучше.

Профессор что-то говорил, а я не мог оторвать глаз от юной четы, стремясь уловить в Таниной походке, в том, как она ставила ноги, в едва заметном покачивании бёдер подтверждение моей проклятой проницательности. Есть такие специалисты, которые будто бы могут угадывать по походке, девушка или уже не девушка. Я стыдил себя — и не мог остановиться, рисовал одну сцену за другой; он и приехал, ясное дело, ради того, чтобы ночью Татьяна, дождавшись, когда папаша захрапит, неслышно, в наспех наброшенном халатике пробежала по коридору и юркнула в его комнату. Да о чём там говорить: наверняка и старый хрыч в курсе, чувствует, что ей не терпится, и делает вид, что уснул.

8

В августе костюмированный бал в кургаузе. Зал освещён плошками, на антресолях сидит оркестр, гости отплясывают модный вальс с подскоками. Что это такое?

Я беру её руку, престарелый скоморох, подпрыгиваю, неловко обнимаю её за талию, и мы делаем несколько туров. Всё трясётся: Гектор с Андромахой, Орлеанская дева с королём, турки, китайцы... Фрау фон Левцов, несколько расплывшая дама, в парике, в роскошном золотисто-зелёном платье с розовым бантом на шее, с подвесками в ушах до обнажённых плеч, — маркиза де Помпадур. Дочь Ульрика в наряде Лотты, пришлось-таки прочесть знаменитый роман; а кто же Вертер? Разумеется, его превосходительство. Бедняга Вертер застрелился, помнит ли об этом Ульрика?

«У нас в школе тоже хотели устроить маскарад».

Какой же наряд она себе выбрала?

«Никакой. Вечер отменили».

Почему?

«Отменили, и всё. Из моральных соображений».

Я нахожу это резонным — ибо тут произошёл эпизод совершенно невозможный, из ряда вон. По крайней мере, для тех времён. Надёжных документальных подтверждений нет, только слухи в письмах двухтрёх современниц. Почему же автор «Жизнеописания Гёте», серьёзный учёный, счёл возможным упомянуть эту сплетню? Очевидно, не находил её такой уж неправдоподобной. Оба, тайный советник и девушка, покинув зал, на минуту оказались одни в проходной комнате, через которую, опустив глаза, время от времени пробежали лакеи. Поцелуй, — кто был его инициатором?

«Я думаю, она», — сказала Таня.

«Ты уверена?»

Прижав ладони к пылающим щекам, Ульрика выбегает к гостям. Кажется, никто не заметил её отсутствия. Гёте исчез, не прощаясь.

Гёте советуется с врачом и получает заверение, что с медицинской стороны противопоказаний нет, напротив, брак будет только полезен. Посвящает в свой план великого герцога, старинного друга. Герцог в восторге и отложил на два дня поездку на военные манёвры в Берлин. В парадном мундире с лентой, при орденах, его светлость нанёс визит госпоже Левецов и вручил ей письмо Гёте. Тайный советник и министр просит руки дочери.

Со своей стороны монарх охотно поддерживает предложение. Будущей супруге Гёте обещана роль первой дамы веймарского двора и годовая пенсия 10 тысяч талеров на случай вдовства. Мать с младшими дочерьми получит во владение дом в столице герцогства.

Ответ мамы уклончив; на другой день будущая невеста не выходит из дому, не показывается на террасе. Внезапная новость: Амалия с барышнями уезжает. Записка от Ульрики: татан хочет провести остаток лета в Карлсбаде; о предложении его превосходительства ни слова. Гёте велит срочно паковать вещи и отправляется следом за женщинами. В Карлсбаде... Я умолкаю.

«Что в Карлсбаде?»

«Отказ».

Кто-то надоумил Ульрику написать свои воспоминания. Что могла помнить старая дама спустя три четверти века? Я прочёл Тане. Маменька ссылалась на то, что Ульрика слишком молода и пока ещё не выражает охоты выходить замуж. Этой охоты у дочери не появилось никогда. Сладостно-мучительный труд зачатия остался ей неведом. Фрейлейн Теодора Ульрика Софи фон Левецов, наследница крупного состояния, умерла в приюте Святого Гроба для пожилых незамужних дворянок, близ Тёплица, поздней осенью 1899 г. В этом году был отпразднован 150-летний юбилей Гёте. Ульрике исполнилось 95 лет.

В коротких, всего несколько страниц, воспоминаниях, сказал я, имеется рассказ о первой встрече в Мариенбаде, в пансионе Брёзике.

«Бабушка позвала меня к себе, а служанка сказала, что там у неё сидит пожилой господин, хочет меня видеть, мне идти не хотелось, я как раз занялась новым рукоделием. Когда я вошла к ним, в комнате находилась и моя мама, она сказала: это моя старшая дочь Ульрика. Гёте взял меня за руку, взглянул на меня дружелюбно и спросил, как мне нравится Мариенбад. Перед этим я провела год в пансионе, ничего не знала о Гёте, какой это знаменитый человек и великий поэт, но не чувствовала никакого замешательства перед таким любезным старым господином, никакой робости, как обычно со мной бывало при всяком новом знакомстве».

О матримониальном проекте:

«Великий герцог был очень милостив... Моя мать твёрдо решила, что не станет уговаривать нас выходить замуж. Всё же спросила меня, имею ли я такое желание, а я спросила, хочет ли этого она. Мама сказала, дитя моё, ты ещё слишком молода. (Между прочим, Ульрике уже 23 года.) Но предложение тайного советника — это большая честь, я не могу дать ответ, не спросившись у тебя, ты сама должна поразмыслить. На что я ответила, мне размышлять не надо, я люблю Гёте как отца, я бы ещё согласилась, если бы он был одинок и нуждался в моей помощи, но у него есть родня, он живёт с сыном и невесткой...»

И в заключение — загадочная фраза: «Keine Liebschaft war es nicht». Вполне равнодушной я всё же не оставалась. Примерно так можно перевести.

9

Эта ночь. Или — несколько тех, что слились для меня в одну непроглядную ночь? Просыпаясь, я спускаю ноги с постели, постепенно из мрака проступает переплёт окна. Идет дождь. Зажигаю лампу, ищущая таблетки.

Я должен, — прежде чем поставить точку, — упомянуть о главном: о страхе. Именно страх, неподдельный, безотчётный, — что-то случится, кто-то войдёт, принесут весть о несчастье, — страх перед старостью, одиночеством, провалом — источник моих переживаний. Значит, не страсть, не вожделение, не любовь, как её обычно понимают? Да, потому что страх — синоним моей любви.

Но лучше всё по порядку... После того, как я их увидел в столовой, после прогулки вчетвером мы не виделись целых два дня. Думаю, что профессор и Таня сознательно избегали меня. Я тоже старался им не

попадаться. На третий день случайно встретились на крыльце. Кто-то вышел следом за ней из дома, к счастью, это был не отец. Я боялся взглянуть, понимал, что она потеряла ко мне всякий интерес, но она медлила, щурилась, что-то разглядывала вдали; прошло несколько минут, она пробормотала: «Папа снова нездоров...» И мы сошли с крыльца.

Как ни странно, её молчание меня ободрило. Я заговорил — как бывает, когда шагают вдвоём всё равно куда, лишь бы не стоять на месте, — заговорил каким-то докторальным тоном, словно отвечая на её безмолвный вопрос.

«Видишь ли, Таня...» — я запнулся.

«Иногда хочется сломать клетку, которая называется действительностью. Природа придумала для этого сон. А человек изобрёл искусство. Пусть я не художник. Но когда я тебе рассказывал... разве это не было желанием преодолеть, разрушить постылую действительность?»

«Почему же постылую?» — возразила она.

Я понимал, что ухожу в сторону. Моя ахинея её не интересовала.

А где же, спросил я...

«Мой так называемый жених?»

Оказалось, что студент Международного института уехал. Утром, до завтрака.

«Вы поссорились?»

Она пожимает плечами, задумчиво покачивает головой: нет, откуда я взял?

«Ты говоришь — даже не завтракал».

Молчание.

«Извини, Таня, что я надоедаю тебе вопросами... Почему так называемый?»

Снова пауза.

«Папа хочет, чтобы я вышла за него замуж. Не сейчас, конечно... рано ещё об этом говорить... То есть я хочу сказать, Володя для меня слишком молод. Мне бы, конечно, лучше выйти за взрослого, опытного мужчину... А иногда я думаю, что вообще не выйду замуж, останусь старой девой вроде вашей Ульрики... Но, пожалуй, — сказала она, — я всё-таки соглашусь...»

«Из сострадания?»

«Володя меня любит. Вы, наверное, решили, что он из богатой семьи».

Гм, как это она догадалась?

«Он сирота. Отец не вернулся с войны. Мать умерла от голода в Ленинграде. Он вообще не москвич».

Помолчав, она добавила:

«Вы на папу не обижайтесь».

За что?

«Все эти его рассуждения. Не обращайтесь внимания. Он добрый, он и вас очень уважает... Я вам еще хотела сказать... Я сразу поняла».

Что, что она поняла?

«Я догадалась... когда вы рассказывали о Гёте».

Господи, конечно. Догадаться нетрудно.

«Но ты же понимаешь, — возразил я, — что я вовсе не собирался сравнивать себя с...»

«Разве? — Мне послышалась в её вопросе лукавая нотка. — А мне-то как раз показалось!»

«Эта история кончилась ничем, — сказал я. — Если не считать...»

«Если не считать чего?»

«Мариенбадской элегии. Там, конечно, имя возлюбленной не упоминается, но это о ней».

«Вы описали её словно какую-то дурочку».

«Гёте думал о ней иначе».

«Я тоже...»

Начал накрапывать дождь... Я люблю эти места, люблю Подмоскovie, единственный родной мне уголок посреди огромной, бесприютной России. И вот мы стоим друг перед другом, одни на усыпанной иглами лесной тропе, и я гляжу на неё, как потерянный, и знаю, что от этого разговора зависит теперь вся моя жизнь.

«Этой ночью, — проговорил я, — мне приснилось, что ты пришла ко мне. А может, не приснилось? Скажи мне, Таня, что это не был сон».

Она смотрит вдаль. Влага блестит на её волосах. Я пробормотал:

«Так, значит, ты колеблешься. А папа настаивает».

Она возразила:

«Он нас не торопит. Я же говорю, мы слишком молоды. Володя студент, а я ещё даже никуда не поступила. Папа говорит: он честный, он хорошо учится, из него выйдет толк, я ему помогу. Папа хочет, чтобы я вышла за русского. А то кругом одни евреи».

«Одни евреи, — сказал я. — Какой ужас».

«Так что мы можем подождать...».

«Современная молодёжь предпочитает не ждать, а? Что ты скажешь?».

Мы двинулись дальше.

«Ты промокнешь, — сказал я, — нам надо вернуться».

Она посмотрела на небо. «Мы тоже...» — и умолкла. Я взглянул на неё.

«Вы говорите, современная молодёжь. Так вот, я вам скажу... Только не презирайте меня. Мы тоже однажды попробовали».

Я растерялся. Вот как, проговорил я.

«Да».

«И что же?»

«Ничего».

«Как это, ничего?»

«Так... Не получилось. Он ничего не умеет, а я тем более».

«Таня, — сказал я и словно прыгнул с вышки в воду. — Выходи замуж за меня».

10

«Вольдемар Иосифович», — она назвала меня по имени и отчеству. До сих пор я звался просто Владимиром.

«Раз уж мы решили договорить всё до конца...» — сказала Таня.

«Да, — отвечал я. — Насколько это возможно».

«Вы, как это называется, сделали мне предложение. Папа хочет, чтобы я согласилась выйти за Володю. Это называется помолвка. Папа хочет, чтобы всё было как в доброе старое время. А если я вам скажу, что наоборот? Что он как раз этого и не хочет!»

«То есть как?»

«Я вам не рассказывала про маму. Моя мама умерла. От рака, два года назад... Она была его студенткой, родила меня, когда ей было столько же, сколько мне сейчас. Раньше её портрет стоял у папы на столе. И он всегда говорил, что моя мама похожа на меня. Не я на неё похожа, а она на меня... Потом как-то раз вечером мы сидели, было уже поздно, он стал рассказывать, как они познакомились... Какое это было счастливое время. И как он всё потерял, когда её не стало. Всё, всё — он даже пристукнул кулаком. Конечно, известный учёный и всё такое, за него любая бы вышла замуж, но он больше не женился. И не женится. Он тогда вечером говорил, наверное, целый час... Я на следующий день не пошла в школу, он уехал в академию, я встала, вижу, кабинет открыт, и портрета на столе больше нет».

«Вечером он приезжает, какой-то суетливый, растерянный, Дуся (это наша домработница) подаёт ужин, он говорит, что не голоден, жалутется, что ему надоели все эти совещания, он хочет заниматься своей работой, а не сидеть в президиумах... Я у него спросила, куда девался мамин портрет».

«Вот такие дела, — сказала она, — Вольдемар Иосифович».

«Ты меня звала иначе», — заметил я.

Она рассеянно кивнула.

«Мы с твоим женихом тёзки».

«Женихом? Какой он жених... Я поняла, что отец нарочно оставил дверь открытой... Чтобы я видела... Он ничего не ответил, пошёл в ка-

бинет, я за ним, он выдвинул средний ящик и достал мамину фотографию в рамке. Мама была красавицей, глаз не оторвать. Зачем же было её прятать? Затем, говорит, что теперь ты у меня. То есть он хотел сказать, что я на неё похожа, он и прежде так говорил, когда мама была ещё жива. Но я почувствовала, что он имеет в виду что-то другое. Повернулась и ушла».

«Как-то раз он меня спрашивает — когда уже появился этот Володя: он тебе нравится? Я говорю, красивый мальчик. — Значит, он тебе нравится. — Не знаю, говорю я. — И ты бы вышла за него замуж? — Я говорю: я об этом никогда не думала. Глупый разговор. Мой папаня говорит: значит, так — ты выскочишь за него замуж, а отца бросишь на произвол судьбы. Хорошо зная, что у отца никого, кроме тебя, нет. Что он будет по вечерам ходить взад-вперёд по комнатам и думать о тебе, а ты в это время... Что ж, говорит, я не против, мне твоё счастье дороже...»

«Я было возмутилась, но вдруг почувствовала, как в воздухе пронеслось: он ко мне близко не подходил, но я учуяла. Он был пьян! По крайней мере, заметно выпил. Этого с ним никогда не бывало. Я сказала: тебе вредно! Ты сам говорил, что не терпишь пьяных. Он ответил — очень холодно: ошибаешься, моя милая. Я не пьян. Я просто хотел у тебя спросить, только не отвечай сразу. Я хочу, чтобы ты... ну да. Чтобы ты стала как мама. Моей женой, разве это так странно?»

III

Мэри, или Обещание

Глава первая

*Дали слепы, дни безгневны.
Облака плывут.*

Кто это написал? — Не знаю. — Нет, ты помнишь: Блок. «В теремах живут царевны, не живут — цветут». Но как можно жить с этими стихами, когда вокруг нищета и разор? Какие терема? Когда разбитая армия-победительница возвращается эшелонами калек, ветераны, стоя на костылях, торгуют самодельными зажигалками на Тишинском рынке, безногие протискиваются, скрипя колёсиками своих тележек, в проходах пригородных поездов, слепые поют военные песни и просят на выпивку? Когда хрипящих, оскаленных, с раздутыми эмфиземой боками лагерных лошадей бьют наотмашь дубинами, чтобы столкнуть с места вагонку с брёвнами на лесозаготовках?..

Смех, да и только.

Но я была царевной и смотрела заставки. — Ошибаешься, милочка: это царица смотрела заставки, буквы из красной позолоты. — Но это было, было.

Я была княжной Мэри в амазонке и сидела боком в дамском седле, я обмерла, когда он выехал из зарослей, в горской мохнатой шапке, в тёмно-бурой черкеске и белом бешмете, с кинжалом на поясе.

«Боже мой, черкес!»

«Ne craignez rien, madame, — сказал я, усмехнувшись, — не пугайтесь. Я не более опасен, чем ваш кавалер».

Жить в России — и читать эти книжки, и твердить волшебные строки — как это соединить? Да никак. Как связать времена жизни... Связать невозможно. В крошечной тьме, проснувшись, я зажигаю лампу, на часах начало седьмого; я сижу на моём ложе, одеяло на коленях, и созерцаю свои голые ноги. Из безвременья вынырнуть в земное время — для этого тоже требуется время. Я скитаюсь по комнатам. Холодный душ, примитивная гимнастика. Рассвет отказывается наступить, всё ещё не прошло ночное оцепенение, кофе не готов, а тем временем время уходит. Жизнь уходит, Мэри! Собрать непослушные мысли, как бывает, когда ноги разьедаются на обледенелом асфальте, и кто-то шлёпнулся там впереди, сполоснуть посуду после скудного завтрака, — жизнь уносится прочь, если я хочу что-нибудь записать, то когда же, как не сейчас. Пустынный экран — пустыня мозга. Вот оно, коварство письма, двойное предательство электроники и литературы: выстукиваешь букву за буквой, одну фразу за другой — и не узнаёшь себя. Бесплодность попыток выразить себя: ведь «я» — это всего лишь тот, кто говорит о себе: я.

Но позвольте — какой компьютер в первую зиму после войны, какая литература... часовня. Рядом огромное здание неизвестного назначения заслонило старый павильон метро. Прочь отсюда. Куда же? Я сбрасываю ночной халат, они меня ждут, пять минут до начала сеанса, толпа всё ещё теснится перед входом, лишнего билетика не найдётся? Зал полон, протискиваемся между рядами, наши места, моя двоюродная сестра впереди, я плюхнулся посередине, за мной, запыхавшись, на ходу разматывая шарф, ты, рыжекудрая Мэри; серым дождём шелестит полотно, и вот он, блестящий, как финифть, миф нашей жизни: вот она! In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine!¹ Ночью, ах, как не хочется быть одной... Прелестная Марика Рёкк, Девушка моей мечты, писклявый голосок, и ножкой дрыг-дрыг.

¹ Шлягер 40-х годов.

Глава вторая

Кто теперь помнит эту Марику Рёкк... Сегодня канун западного Рождества, Европу завалило снегом. Рейсовые самолёты не поднимаются с аэродромов, поезда застыли на заснеженных путях, остановилось движение на автострадах, девушки из Автомобильного клуба, в меховых капюшонах, пробиваются к застрявшим в дороге, разносят одеяла и горячий бульон, светает, сиреневый снег, бледно-лиловое небо, и глаз не отведёшь от волшебного театра зимы, не различишь, где тротуар, где проезжая часть. Отойти от окна. И взад-вперёд по комнатам, в серомолочном сумраке моего одинокого жилья.

Я вызвал тебя накануне вечером из виртуального ничто, словно из потустороннего мира, по адресу в Сан-Диего, — знаю, что ты уже давно в Америке, жива ли ещё? Увижу, как ты сидишь за столом под большим оранжевым абажуром, у родителей моей сестры, никого давно уже нет на свете, и вот я включаю экран, колеблясь и любопытствуя, как ты выглядишь, с тайным сознанием, что я-то не изменился. Ведь я живу во всех временах. Передо мной твоё страшное лицо, крашенные волосы, седые у корней, мешки под глазами, ты что-то говоришь, я догадываюсь по шевелению губ: кто это? Блок?

Разумеется, я узнал её, и она меня узнала, хоть и с трудом, — я могу это объяснить тем, что компьютер искажает черты.

Сегодня последний Адвент, во мгле мерцают огромные цифры, халдейские знаки Нового года, сияют звёзды Давида, пурга раскачивает гирлянды цветных лампочек в центре города, где вознеслась огромная ель, — о Tannenbaum, о Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter¹, — и вся площадь заставлена лавчонками с мишурой, подарками, сувенирами, толпится народ, торгуют дымящимся глинтвейном; давно уже наступило другое столетие, но я всё ещё не привык к новым цифрам; я стою у окна, мне только что исполнилось семнадцать; продлилась война до осени, я был бы призван и убит в последних боях, как те, в Берлине за день, за час до перемирия, но эта мысль меня несколько не занимает, война забыта, на занятиях я в отцовской шинели, чтобы не выставлять напоказ заплаты на ягодицах, впрочем, и на них наплевать; на чём же, стало быть, мы остановились? Я сворачиваю на улицу Фрунзе. Мой отец ещё помнит старое название — Знаменка, я шагаю по левой стороне, вот и окно на первом этаже. Дом с колоннами, импозантный вход, обманчивый ампир. На самом деле там обыкновенные коммунальные квартиры.

¹ Немецкая рождественская песенка.

«Ты помнишь, как я приходил вечерами, ты сидела за столом под абажуром. Ты переселилась к моей сестре, потому что в вашем доме нарушено отопление и то и дело отключают свет».

Разумеется, она помнит.

«На стене висит фотография: девочки в школьной форме, и сестра, и ты среди них».

«Десятый класс».

«Жизнь была колючая, и мы это знали, мы сами были часть этой жизни, а между тем всё ещё не выбрались из детства».

Там, в Америке, через тысячу лет, она улыбается кислой старческой улыбкой.

«Я окончил школу раньше, чем полагалось, ты и моя сестра были на год старше меня...»

Она кивает: на целый год. В этом возрасте это много. Её губы шевелятся, мне кажется, она хочет возразить: как давно это было! Разве то, что мы стареем, не доказывает, что никакой вечности не существует?

«Да, да... — бормочу я, чтобы не слышать. — У нас настоящая русская зима. Всё бело».

А у них в Сан-Диего, ведь это почти уже Мексика, жара выше тридцати. В доме с колоннами топили, в комнате было тепло, уютно, над столом оранжевый абажур. Декабрь, я стою у окна — кто такой, собственно, этот «я»? Писатель; знает ли она об этом? И мне полагалось бы поразмыслить, действительно ли тот, от чьего имени я говорю, я сам. Писание вытесняет меня, я превращаюсь в местоимение, мои реплики — литература, вот что значит быть сочинителем слов. Но все эти материи ей неинтересны. Ей не приходит в голову, что мы играем в ту же игру. Сидим и пишем друг другу записочки. Письмо — как маска с прорезью для глаз. Особенный способ разговаривать друг с другом, где это я и не я, где многое позволено, волнует и увлекает.

Незнакомец хочет узнать, что Вы о нём думаете.

Ответ Мэри: *Не скажу.*

Кто Вы такая? Я бы хотел узнать Вас поближе. Назначьте мне свидание.

Какой шустрый. И ещё какая-то восхитительная чушь.

У меня, говорю я, есть замысел, не сердись: мне хочется написать о нашей неумирающей молодости, какими мы были тогда, — смех, да и только. Я думаю, это невозможно. И всё же тянет восстановить все подробности, дух упоительного времени, а больше всего — твой взгляд. Помнит ли она?

Внезапно её лицо исчезло, экран погас. Её больше нет. Так я и знал: её уже нет в живых!

Я слышу её дыхание.

«Послушай, Мэри...»

Почему, собственно, её так прозвали?

«Моя мама обожала Лермонтова, в детстве была влюблена в Печорина. И я тоже... до пятнадцати лет. А потом разлюбила».

«Но княжне Мэри, кажется, тоже было пятнадцать лет...»

«Я думаю, шестнадцать. Княгиня говорила о замужестве...»

Я ударил лошадь плетью и выехал на дорогу, спокойный, победительный, в черкеске, с кинжалом на поясе...

«Почему разлюбила?»

«Не помню. Наверное, оттого, что это была безответная любовь. А мне хотелось любви настоящей. Но зато, — прибавила она, — в США моё имя пришлось очень кстати».

Глава третья

Наконец-то мне стало ясно, чего я хочу, а ведь так просто — переклестить синапсы в мозгу, и мы уже в другом веке, в другой стране. Тот, кто ищет восстановить себя во всей цельности, собрать, как бусы, сорвавшиеся с нитки, времена жизни в единое, колышущееся, живое, как плазма, Время, — вот он перед тобой, на твоём экране в Сан-Диего.

Ты помнишь, на Пушкинской площади, на крыше дома «Известий» световую газету: последние известия, буквы бегут и пропадаают, фразы одна за другой возникают и уносятся в ничто, а на самом деле одни и те же лампочки по очереди вспыхивают и гаснут, разве это не образ неподвижно струящейся вечности?

Игра была прервана, записочки скомканы, тётя кормит меня ужином, десятый час, я стою посреди комнаты в чёрной железнодорожной шинели моего отца. Смешно сказать: я этого обещания ждал весь вечер. Ради этой минуты приходил ненастным вечером из университета в дом на улице Фрунзе. Я стою, не застегивая шинель, не опустив воротник, руки в карманах, особенно этот поднятый воротник придаёт мне молодецки-независимый вид, и, взглянув на тебя, я вижу, как ты на меня смотришь. Опустив голову, ты смотришь исподлобья, не отрываясь, таинственным, что-то сулящим взглядом, — что же он мог означать, как не то, что она знает о моих чувствах, отвечает на них? Я шагаю к метро, и всё ещё вижу этот взгляд тёмно-медовых глаз, какие бывают у рыжеволосых женщин, — он впечатался в мозг, — вот тебе наглядный пример остановленного времени, тот самый миг вечного настоящего; больше

нет прошлого, нет и будущего, женщина пробудилась в тебе, ищет испытать — неважно на ком — магнетизм своего взгляда. Так значит, я со своим воображением, с этим театром мужественности — лишь подвернувшийся случай? И я сбегаю вниз по ступеням и вдыхаю тёплый и спёртый запах, искусственный воздух подземных коридоров, и навстречу несётся ветер и гул из туннеля.

Этот взгляд...

И всё это — каждый раз, когда мне пора уходить, я стою, не застёгиваясь, не опуская воротник шинели, мужественно-ироничный, мальчишески-беззаботный, и твой взгляд, Мэри, летит за мной следом, и меня осеняет: от меня ждут продолжения, игра должна к чему-то привести. С этой изумительной догадкой я выбежал из подъезда с колоннами: оказалось, уже зима, в окнах мерцают огоньки новогодних ёлок, снег сыплется в конусах света под тарелками фонарей, и на круглом щите едва различишь эмблему метрополитена.

В комнате посветлело, метельные облака пронесли над городом изгнания; лень одеваться, я стою у окна в домашнем халате, и думаю обо всём сразу: о доме с претензией на ампир, о теремах и царевнах, о том, что надо спешить — сеанс вот-вот начнётся, и кто-то всё ещё топчется под огромным, во весь фасад фанерным щитом с пляшущей Марикой Рёкк, а вдруг в последний момент кто-нибудь прибежит продать билетик, а мы тем временем протискиваемся втроём между рядами. В отчаянии я думаю о том, что Вечное Настоящее, быть может, пригодилось бы в литературе, ведь я всего лишь сочинитель слов, — а в жизни мы прикованы к времени и влачимся вместе с ним; пресловутая вечность — не более чем поэтическое изобретение, философический конструкт, — да, меня тянет философствовать.

.....

Поразительно, что, глядя на тебя, я не знаю, как ты одета, я только и вижу рыжие волосы и этот взгляд; вокруг туман... Ты всё ещё живёшь на улице Фрунзе, мама умерла, отец не вернулся из ополчения, сгинувшего в лесах под Вязьмой, зимой сорок первого. Ты сидишь весь вечер, не вставая из-за стола, я даже не могу сказать, какого ты роста, надеюсь, не выше меня, ничего не знаю о твоей фигуре, и странно, что она меня не занимает. Только взгляд!

«Но ты же в концов увидел. Ты должен был увидеть».

Словно опомнившись, компьютер возвращает её старое, неузнаваемо-узнаваемое лицо, ты, наверное, не решаешься спросить, говорит она, сколько мне лет, впрочем, ты и так знаешь, я ведь старше тебя на

целый год. Сейчас это не имеет значения; всё не имеет значения, — но тогда? Догадался ли ты, что я — это я вся и что 18-летняя девчонка — это женщина. Но, послушай, — там, в далёком будущем, она оглядывается, — у меня гостят внуки, когда они приезжают, в доме всё вверх дном... что я хотела сказать: ты должен мне помочь с бельём... Ты никогда не бывал у меня? От дома сестры, как выйдешь, налево, к Арбату: пройти по Фрунзе мимо сквера и нашей школы. Крестовоздвиженский переулок, первый направо.

Глава четвертая

Путешествие в прачечную: я несу пустой чемодан и корзину — через двор, под арку ворот, по переулку налево, она торопится следом, я повис, уцепившись за штангу, одной ногой на подножке трамвая, рядом и надо мною другие, кто-то обхватил меня, чтобы удержаться, — вот откуда «трамвайная вишенка страшной поры». За мутным стеклом в окне вагона её глаза ищут меня, она там в тёплом шерстяном платке, юная бабушка. Трамвай тормозит, но сходить с подножки нельзя ни в коем случае, местечко, где уместилась нога, тотчас будет занято, толпа колышется на остановке, нет уж, извольте ждать следующего трамвая — и два увешанных гроздьями пассажиров вагона тяжело трогаются с места, визжат колёса, зелёные искры сыплются с дуги, трамвай сворачивает на конечное кольцо, я стою, мешая вываливающимся, спрыгивающим, жду, когда ты покажешься на площадке, чтобы принять у тебя корзину и чемодан. *Царевна смотрела заставки.* «Царица, а не царевна!» Интересно всё-таки, кто стирал им исподнее, кто крахмалил рубахи?

Мы поднимаемся по лестнице, я тащу чемодан и корзину с бельём, *отдых напрасен, дорога крута. Вечер прекрасен, стучу в ворота.* Господи, причём тут Блок? А вот при том. Мы вваливаемся в полутёмный коридор коммунальной квартиры. Комната с широким окном, зимний подслеповатый день, двор, заваленный снегом, который свозят из переулка. *Терем высок, и заря замерла...* а в Сан-Диего жара — тридцать градусов и плещутся воды залива. Мэри, как всё это соединить?

«И не надо. Невозможно».

Нечего тут разводить философию, говоришь ты или хочешь сказать оттуда, из-за океана, за тысячу вёрст и лет. Усталая, в зимнем пальто ты присела в уголке, сбросив бабушкин платок на плечи, встряхиваешь медью волос. Отчего же нельзя соединить?.. Ещё разок проверить, все ли вещи на месте, прошлый раз одной рубашки, самой красивой, с

кружевами, не досчиталась. Чистое выглаженное бельё разложено на кровати, на табуретке. Мы разворачиваем и ставим ширму. В смутном предчувствии чего-то, что должно, наконец, произойти, я слышу изда-лека стук моего сердца. А ведь если подумать, протереть глаза, — что тако-го особенного произошло?

В крошечной тьме зажечь лампу, седьмой час в начале. Посидеть, спустив голые ноги, из беспамятства вынырнуть в земную сумятицу, пройтись, пошатываясь со сна, по комнатам. Кофе клокочет в старой кофеварке, и вся жизнь впереди.

.....

...А вот я тебе сейчас докажу, как легко всё сцепляется, ведь в мозгу нет отдельных ячеек — фолиант памяти хранят все клетки со-вместно, отчего бы не прогуляться по главной улице, той, что, оста-вив позади Манежную площадь, Исторический музей и выезд на Красную площадь, течёт вниз мимо Телеграфа к Триумфальной площади, впрочем, уже успевшей стать площадью имени лучшего, талантливейшего.

Стоп. В двух нижних полуэтажах помпезного гранитного дома светится американский коктейль-холл, наимоднейшее словечко, знак эфемерной дружбы с бывшим союзником. Уже вот-вот будет произнесена речь в Фултоне, вот-вот грянет напоминание о капита-листическом окружении, но «кок» ещё манит призрачными огня-ми. Мы с тобою там не были, Мэри, и никогда не будем, и всё-таки можешь мне поверить, можешь считать это выдумкой, грёзой ни-щих: входим.

Минуя презрительного швейцара в чёрно-золотом одеянии, не удостоив взглядом подскочившего гардеробщика, вступаем в область предания, я в тройке шикарного покроя, великолепно сидящей на мне, манжеты с запонками, галстук неопишуемой расцветки, ты — на тебе голубое, искрящееся платье с квадратными плечами, рыжие во-лосы сзади подвиты внутрь, как у Марики Рёкк, декольте узким мы-сом вдаётся в расщелину полуприкрытых грудей, вокруг лебединой шеи цепочка с медальоном в ямке между ключицами, крохотная су-мочка через плечо на длинном ремешке. На тебя оглядываются. Мерцает стекло фужеров. За столиками сидят мертвецы. Официант склонил над нами лаковый череп с пробором. «Привет, Паша», — произносишь ты бархатным каким-то, грудным и неузнаваемым го-лосом и заказываешь «полярный со сливками».

Она добавила: «Два. Мне покрепче».

Тут, наконец, я заметил, что это вовсе не Мэри. «Как вас зовут?» — спросил я растерянно.

Она удивлена. «Меня?»

«Но ты же знаешь — Мария; здесь меня зовут Мэри. Хотя по-настоящему моё имя другое».

Я хотел спросить: какое?

«Не скажу. С каких это пор ты говоришь мне “вы”?»

«Конечно, Мэри, просто я тебя не узнал...»

«Вообще-то, если по-русски, ко мне все обращаются на ты, так здесь принято. Как по-английски: у них там все на ты... Да кому я это говорю, ты ведь писатель, — сказала она, посасывая через соломинку коктейль, — тебе должно быть это известно...»

Какой писатель, хочется мне возразить, когда это ещё будет... «Ты знаешь английский язык?» — спросил.

«Немного. Здесь это необходимо».

Глава пятая

После двух-трёх глотков, я почувствовал, как тонкая струйка выстрелила в мозг. «Мэри, — сказал я, — это ты или не ты?»

Она оглядывала зал. Кто-то помахал ей рукой, она рассеянно кивнула.

«Кто я такая... — промолвила она. С верхнего полуэтажа донеслась струнная музыка, постукивание маленького барабана. Тусклое освещение залило чертог, лица гостей смешались в неразличимую массу. — Кто такая, — повторила она, — могу тебе объяснить, чтобы между нами не оставалось неясности... Я, конечно, не твоя возлюбленная, хотя... и она может стать такой же, как я, почему бы и нет? Каждая девушка мечтает о лёгкой жизни. Так вот, я и есть такая девушка. Вот только не вижу моей напарницы — кажется, у неё регулы... Одним словом, я то, что называется девушка для развлечений. Тебя не смущает это слово — девушка? Между нами — только не выдавай меня... — мне уже тридцать. Хотя выгляжу я на десять лет моложе, ведь правда? Скажи, что это правда, утешь меня...»

«Но я, — продолжала она, — чтобы ты знал, с кем имеешь дело, я — высший сорт. Ко мне может подойти не каждый. Только мистер с толстым бумажником. В “Национале” за мной закреплён постоянный номер».

Я досасывал остатки из высокого стакана, она спросила: «Хочешь повторить?» Паша вырос как из-под земли.

«Медленной, — сказала она, — и делай паузы между глотками». Она смотрела на меня, влюблёнными глазами, не мигая, и, клянусь, это была Мэри. Это был её взгляд, когда она сидела за столом, а я стоял посреди комнаты в расстёгнутой шинели с поднятым воротником, перед тем как уйти.

«Ошибаешься, мой друг. А впрочем, какая разница... Я всё думаю, не поехать ли с тобой, ты мне нравишься... Ты мне ужасно нравишься».

В чём же дело?

«Не могу!»

«Почему?» — спросил я тупо. Она рассмеялась.

«Потому что у тебя нет денег!» И тут я с ужасом вспомнил, что у меня в самом деле нет ни гроша. Сколько может стоить это питьё? Зачем я только сюда притащился... Я ощупываю, обхлопываю себя в поисках несуществующего кошелька.

«Не волнуйся, — Мэри махнула ладошкой, — мы это уладим».

Она продолжала:

«Но дело не в этом. Я не могу с тобой остаться, потому что ты — это ты, а я... сама не знаю, кто я. Алкоголь на меня не действует, просто выпивка позволяет понять кое-что... Неужели ты не видишь, что вся эта сволочь, — она обвела глазами столики, — это не люди, а какие-то призраки. Открой дверь, ветер дунет, и от них ничего не останется... Я не могу с тобой, — сказала Мэри, — потому что ты дитя. Ну, ну, не обижайся. Ты ведь ещё ни разу не был с женщиной».

«Откуда это известно?» — проворчал я.

«Тут и гадать нечего, по тебе видно. Как ты себя ведешь. Как ты на меня смотришь... Да и твоя мордашка, не сердись. На тебе всё написано, малыш! Я желаю тебе успеха с твоей Мэри, только знаешь... Лучше чтобы она осталась такой, какая есть. То есть я хочу сказать, лучше будет, если у вас ничего не будет...»

Она швырнула что-то на стол. И мы вышли в морозную ночь.

Глава шестая

Мы успешно штурмуем трамвай, удалось, вознеся пустую корзину, втиснуться на площадку, я остался внизу и протягиваю ей над головами чемодан, тоже пустой. Ухватившись за штангу, стою у подножки, одна нога касается земли, другая нога на ступеньке. Медленно, тяжело, стряхивая пытающихся уцепиться, ковчег отчаливает от пристани, и на каждой остановке его осаждают новые толпы. Зато обратный путь легче.

Притиснутый к стеклу, я стерегу багаж на задней площадке, Мэри где-то в вагоне, рельсы бегут у меня из-под ног, трамвай шарахается из стороны в сторону, колёса визжат на поворотах из переулка в переулок; я несу вещи с бельём — чемодан и корзину, она поспешает следом в палатке с вытертым мехом, обязанная старой шерстяной шалью крест-накрест; мы бредём до поворота в Крестовоздвиженский переулок, мы вступаем во двор, поднимаемся по каменным ступенькам, где поколения жильцов оставили круглые вмятины. Дверь в лохмотьях войлока, дощечка с фамилиями — кому сколько звонков. В полутьме она ищет ключ от английского замка.

Моя помощь больше не нужна, Мэри занята разборкой белья, ещё раз — всё ли на месте, мне пора идти; не поднимая глаз от раскрытого чемодана, равнодушным тоном она спрашивает, не опоздаю ли я на занятия во вторую смену. Я не двигаюсь с места. Она занята бельём. Воздух как будто тяжелеет, сгущается сумрачный день.

Вздохнув, она вытягивает из-за шкафа старинную, странную вещь, матерчатую загородку на деревянных ногах, вместе мы раздвигаем створки, осторожней — шаткое сооружение вот-вот повалится, и вообще — зачем это? Для чего понадобилась ширма? Она таки рухнула. Мы давимся смехом, приключение разрядило атмосферу. А дальше, что произойдёт дальше? Я поспешно допиваю кофе. Если я хочу что-нибудь записать, то это можно сделать только сейчас. Ополоснуть посуду, включить аппарат. Светится пустынный экран.

Вся моя жизнь со мной, прошлое, будущее — какая разница, всё едино, *оттуда* я вспоминаю своё будущее. Мне пора уходить. Чистое глаженое бельё лежит стопками на кровати, на старом продавленном кресле. *В теремах живут царевны, не живут — цветут.* При условии, однако, что они одеты.

Там, за ширмой, она что-то делает, высунулась голая рука, я подаю ей то одно, то другое, она там прыгает на одной ножке и чуть было не уронила ширму. Так и случилось бы, если бы я не подскочил. Э, э! Чур не глядеть.

Разумеется, не догадался бы — не хватило бы смелости — заглянуть туда, но тёмное чувство говорит мне — ты как будто не против.

Монитор опустел, нас обоих поглотила электронная бездна, я стучу по клавишам компьютера, хватаюсь за ненадёжную ширму — как бы для того, чтобы не дать ей упасть, но мои пальцы разжимаются, рушится загородка, и мы стоим друг перед другом. Всё — как было, и всё по-другому; ошеломив на мгновение нас обоих, твоя нагота раскрепостила тебя и меня. Мы свободны, мы — те, кто есть на самом деле.

Глава седьмая

*И опять, в безумной смене
Рассекая твердь,
Встретим новый вихрь видений,
Встретим жизнь и смерть.*

Ты совлекаешь с себя древнерусский наряд, чтобы надеть чистое исподнее и облачиться вновь, я всё ещё топчусь на пороге, гремят салюты, с треском рассыпаются падающие звезды, жёлтые, красные, зелёные, — армия возвращается с победой, белозубая, в пилотке набекрень, в шинели без хлястика, на костылях, прыжками стук-стук; прошлое, будущее — не всё ли равно? Я не умею тебе объяснить, Мэри, что же всё-таки случилось в этот глухой день поздней зимы, но ты сама, слепым чутьём, постигаешь, что произошло. Кто-нибудь усмехнётся. Скажет: подумаешь, событие, увидел барышню, какова она есть. Тебя загородили сенные девушки. Двое стягивают с тебя длинную холщёвую рубаху, третья несёт свежую, ещё одна держит наготове запону, девичий прямоугольный отрез с застёжками. Поверх запоны наденут на царевну вышитый наверхник с просторными рукавами. Рыжие вьющиеся волосы подхвачены лазерной лентой, на тебе венец.

Дай-ка мне... ты протягиваешь из-за ширмы голую руку. Нет, не та. Она хочет надеть другую рубашку. Я перебираю стопку белья. Опять не то. Бр-р, ей холодно. Стылый гниловатый день, конец зимы. Надо было ехать куда-то к чёрту на рога, на Абельмановскую заставу. С прачечными было туго.

.....

Мне хочется спросить, помнит ли она.

После некоторого молчания: «Помню».

«Что ты помнишь?»

«Я всё помню».

«Ты волновалась?»

«Да, очень».

«Ты себя когда-нибудь рассматривала?»

«Где?»

«В зеркале, где же ещё».

«У нас не было зеркала — такого, чтобы можно было увидеть себя всю».

«Зеркало в шкафу».

«У нас его не было. Вообще это было тогда трудно. И к тому же я стеснялась».

«Стеснялась самой себя?»

«Да».

«Тебя волновала твоя нагота?»

«Да... очень».

«Как же это получилось?»

«Что ты меня увидел? Не знаю».

«Но ты этого хотела», — сказал я.

«Сама не знаю... Что-то было такое, как будто меня кто-то принуждал. Как будто это было необходимо. А я сопротивлялась».

«Тебе было стыдно?»

«Нет. Страшно. И в то же время что-то зудило: а вот возьму и покажусь».

«Это было твоё решение».

«Не моё. Что-то такое во мне было. Как будто прыгнуть в воду. Страшно — и тянет. Я думаю, — проговорила она, — это было наше общее наваждение».

«Скажи, Мэри... Для тебя было важно, чтобы это был именно я, то есть именно я тебя увидел, — или неважно, кто, лишь бы мужчина».

Она засмеялась — там, за тысячи километров от меня: «Какой мужчина — ты был всё ещё ребёнок».

«Тебе не приходило в голову, что всё это — что мы были одни и я увидел тебя, — что это может кончиться...»

«Этим самым? Конечно. Только мне совсем не хотелось. И потом, где? Не на полу же. На кровати стопки белья. — Она смеётся. — А тебе?»

«И мне не хотелось. Я об этом совсем не думал».

«Но я тебя провоцировала. Это было испытание».

«Это было... не знаю, как это назвать».

.....

Мэри, что с тобой? Ты молчишь. Я слышу твоё дыхание. Или мне показалось? Я отодвинул ширму. Или ты её задела. Или она сама повалилась. Ты успела отвернуться, стоишь спиной ко мне. На тебе ничего нет. Ты — сама, какова ты есть, какой тебя создали твои предки, длинная череда, и, может быть, ещё кто-то; и сам я, наконец, понимаю, что я — это я и больше никто, не просто тот, кто говорит о себе: я; и мы с тобой наедине, и между нами только твоя узкая спина, тусклое золото волос, девические опущенные плечи. Глухой, бездыханный день, похожий на вечность, и то, чего я ещё никогда не видел: ложбинка между лопатками, хрупкая талия, расцветшие бёдра и нежные ягодицы. Ты подни-

маешь тонкие руки к затылку, чтобы подхватить упавшие волосы, я вижу под мышками рыжие завитки, ты произносишь неожиданно низким, грудным голосом неясные слова, что-то вроде *сюда нельзя* — как если бы это было сказано на древнеславянском, на греческом, на египетском языке, в переводе на русский — останься, не шевелись, смотри на меня! И, как во сне, в заэкранной вечности, я послушно беру её за плечи и поворачиваю к себе.

Я думаю, что могу сейчас записать нечто самое важное о себе, только сейчас и больше никогда, потому что моё «сейчас» — это и клокочущий кофе, и стояние у окна, бесцельное шаганье по комнате из угла в угол, и твоя комнатка в Крестовоздвиженском, где ты прячешься за ширмой; я думаю, что в ту минуту, когда я, наконец, тебя увидел, когда ты стояла спиной ко мне, когда повернулась или я тебя повернул к себе, я постиг то, что философ называет абсолютным настоящим. Причиной этому была твоя нагота: сбросив всё, что было на тебе, — одежды царевны, костюм всадницы, — ты лишилась тайны, чтобы облечься в новую тайну.

В теремах живут царевны. Я хотел тебе объяснить, Мэри, — в том-то и дело, что они живут вечно. Для них нет будущего, для них есть только одно настоящее. Я постиг это хитрое устройство времени, которое не уничтожает себя, как бегущие над крышей во тьму буквы световой газеты, нет, но попросту отступает, уступает место непреходящему, настоящему; я это понял, когда увидел тебя всю, и твои губы всё ещё шевелились, как бы желая сказать: уходи, сюда нельзя, — я понял, что обрёл это утраченное, казалось бы, навсегда сознание вечности. Ты стоишь, опустив руки, рыжие волосы упали тебе на глаза, и полдень длится без конца.

РУССКИЙ СОН О ГЕРМАНИИ

Тот, кто отважился

Минувший век (сейчас мы это отчётливо видим) был веком расцвета и краха всеобъемлющих историософских доктрин; вместе с ними рухнуло то, что в разные времена называлось Божьим промыслом, самодвижением абсолютного духа или историческим разумом. История предстала как царство абсурда, её «смысл» свёлся к нагромождению непредвиденных обстоятельств, нелепых случайностей, торжеству зла.

Случай спас Гитлера 8 ноября 1939 года, когда диктатор покинул мюнхенский зал «Бюргерброй» за восемь минут до того, как адская машина, изготовленная столяром Георгом Эльзером и замурованная в основание столба, разнесла в щепы трибуну. Случай спас фюрера 13 марта 1943 г. в военном самолёте, на пути из штаба армейской группы «Центр» под Смоленском в ставку в Восточной Пруссии. Две бутылки со смесью тетрила и тринитротолуола не взорвались. Случай позволил Гитлеру избежать смерти через восемь дней, 21 марта, на выставке трофейного вооружения в берлинском Цейхгаузе. Взрывное устройство лежало наготове в кармане у сопровождавшего свиту вождя штабного офицера Кристофа Герсдофа, но Гитлер спешил и неожиданно ретировался.

Капитан Аксель фон дем Бусше-Штрейтхорст вызвался взорвать себя и фюрера во время демонстрации новых моделей форменной одежды для армии, но за день до покушения вагон с экспонатами был разбит при воздушном налёте. Лейтенант Эвальд Генрих фон Клейст предполагал расстрелять Гитлера во время совещания в Берхтесгадене; по случайному поводу охрана в последний момент не пропустила Клейста на виллу. Ротмистр фон Брейтенбух не сумел выполнить своё намерение убить Гитлера, так как был задержан ээсовцами из-за какого-то пустяка.

Случай — слепое божество истории; если бы, говорит Паскаль, нос Клеопатры был чуть длиннее, римская история сложилась бы по-другому. Можно спросить, что изменилось бы, если бы одно из задуманных покушений увенчалось успехом. Изменилось бы многое. И даже если бы планы заговорщиков осуществились 20 июля 1944 года, ход истории бы сместился.

Когда полковник Штауфенберг, подъехав к вахте внутреннего опецления «Волчьей норы», увидел, как за деревьями взвилось облако дыма, услышал гром взрыва, успел заметить, что кто-то бежит с носилками к бараку для совещаний, — у него не осталось ни малейших сомнений в том, что Гитлера разорвало в клочья. Только благодаря случайности каннибал остался жив.

Летом предпоследнего года войны расправиться с Гитлером и его режимом собирались уже не одиночки: это был разветвлённый комплот, в котором, кроме высших офицеров, участвовали дипломаты, юристы, теологи, священники, представители знати и выходцы из среднего класса. Существовал подробный проект переворота. Два мозговых центра — кружок Гёрдлера в Берлине и Крейсауский кружок графа Мольтке в Силезии — разработали планы будущего политического устройства страны. Заговорщики надеялись заключить мир и спасти отечество от окончательного разгрома. Напрасно: Германия была обречена. Планы оккупации, расчленения страны, территориальных уступок Сталину и т.д. не подлежали пересмотру. И всё-таки бойня кончилась бы на десять месяцев раньше, убитые не были бы убиты, уцелели бы города. Облик послевоенной Европы был бы несколько иным.

Но было ещё одно обстоятельство, и оно делает историю 20 июля трагедией большого стиля. Была особая побудительная причина, заставившая однорукого полковника подложить портфель с бомбой под стол совещания в «Волчьей норе». На эту причину указывает название книги, о которой здесь пойдёт речь: *Eine Frage der Ehre*, «Вопрос чести».

Историк и публицист Кристиан граф фон Кроко(в), старинный померанский дворянин, после войны потерявший родовое поместье и проживающий в Гамбурге, принадлежит к тем, кто первыми выступил за признание границы на Одере-Нейссе как условие примирения с Польшей. Биография полковника Штауфенберга вышла в серии «Книги для следующего поколения». Это не первое жизнеописание Штауфенберга; о людях 20 июля написано много; небольшая по объёму книга Крокова сообщает не так уж много нового, её преимущество — сжатость, прекрасный стиль, ценные подробности. Автору интересен и важен моральный аспект всей этой истории — вопрос сохранения человеческого достоинства в преступном государстве.

Скажем по возможности кратко о герое книги. Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауфенберг, родившийся в 1907 году, принадлежал к швабскому роду, который восходит к началу XIV века. Штауфенберг был воспитан в аристократических традициях свободы и дисциплины. Несмотря на слабое здоровье, он избрал традиционное для своей среды военное поприще; муштра, постоянные упражнения, конный

спорт и незаурядная сила воли превратили его в крепкого, физически отлично подготовленного офицера. Штауфенберг был высок, строен, мужествен; отличная выправка, отменные манеры. В юности вместе со своим братом Бертольдом он был членом кружка Стефана Георге и сохранил на всю жизнь любовь к этому эзотерически-выспреннему поэту, наделённому даром предвидения, близкому к настроениям, которые можно аттестовать как профашистские. В 25 лет Штауфенберг женился. Брак был счастливым, родились три сына и две дочери — младшая через полгода после смерти отца.

Чтобы сделать военную карьеру после 1933 г., а тем более в годы войны, членство в нацистской партии не требовалось. Клаус Штауфенберг никогда не состоял в её рядах, он держался старинного правила: немецкий офицер исполняет свой долг, защищая отечество, политика — не его дело. По-видимому, Штауфенберг долгое время верил, что в Третьей империи можно сохранить достоинство, делать своё дело и оставаться вне политических дрызг. Он был пылким, романтическим патриотом и профессиональным военным. В январе 1933 года, когда Гитлер стал рейхсканцлером, Германия имела 100-тысячное войско без современного вооружения и без воздушного флота; через пять лет она стала сильнейшей военной державой Европы. Невозможно было не заметить, что дело идёт к большой агрессивной войне. Но потери и унижения, причинённые Версальским договором, были слишком болезненны, чтобы идея реванша не привлекла очень многих. С другой стороны, была ликвидирована безработица и существенно повысился уровень жизни. Гитлер аннексировал Австрию, присоединил под лозунгом «домой в рейх» все или почти все области с немецким населением, договорившись со Сталиным, захватил значительную часть расчленённой Польши. Наконец, был поставлен на колени Erbfeind, наследственный враг — Франция: условия капитуляции были продиктованы в Компьенском лесу, там, где в ноябре 1918 г. пришлось заключить унижительное для Германии перемирие, и даже в том же самом железнодорожном вагоне. Всё это не могло не произвести впечатления — и не только на войак.

Штауфенберг участвовал в польском и французском походах, затем был откомандирован на Восток. Летом 1941 года, почти день в день с вторжением Великой армии Наполеона в 1812 г., вермахт напал на Россию. Последний товарный состав с поставками сырья и продовольствия для Германии проследовал в третьем часу самой короткой ночи через Брест-Литовск на территорию генерал-губернаторства; через сорок пять минут войска, засевшие вдоль границы, под гром и свист артиллерии, в мертвенном сиянии повисших в небе осветительных ракет,

покинули свои позиции. Армия двинулась всей трёхмиллионной группой по трём главным направлениям фронта протяжённостью в две тысячи четыреста километров.

Вначале, как известно, война была чрезвычайно успешной. Чуть ли не в первые недели сдалось в плен несколько миллионов красноармейцев (общее число советских военнопленных к исходу войны составило 5,7 млн.). Была захвачена уйма вооружения, оккупирована громадная территория. К концу сентября фронт проходил от Ладожского озера до Азовского моря, были заняты Киев, Смоленск, Новгород, блокирован Ленинград. Рано ударившие холода сковали грязь на дорогах, что способствовало дальнейшему успешному продвижению; пали Харьков, Курск, Вязьма, Калинин; вскоре передовые части группы «Центр» оказались в пятнадцати километрах от Москвы. Взять Москву не удалось, как не удалось закончить к зиме и всю кампанию. Здесь не место рассматривать вопрос, почему Гитлер не победил в первые же месяцы. Заметим только, что многое оказалось неожиданным для немецкого командования. Красная Армия показала себя отнюдь не такой слабой, как представлялось после неудачной агрессии СССР против маленькой Финляндии. Тяжким сюрпризом была умело организованная партизанская война на занятых территориях. Людские ресурсы России казались неисчерпаемыми; советские военачальники не щадили солдат. Поражали масштабы этой страны. Во Франции продвижение на 400–500 километров само по себе уже означало победу. В России, сколько ни отступал противник, в тылу у него оставались огромные пространства. Кроков цитирует одно из военных донесений: «Vor uns kein Feind und hinter uns kein Nachschub» (Перед нами не видно врага, а позади нас нет подвоза). Снабжение огромного фронта становилось всё труднее. Состояние дорог — ниже всякой критики. Советское командование, продолжая автор книги, совершило ошибку, ввязавшись в открытые бои с превосходящими силами врага в приграничных районах, вместо того, чтобы использовать преимущество России — колоссальную глубину её тыла, как это сделали в 1812 году главнокомандующий Барклай де Толли и продолживший его тактику Кутузов. Это стоило Красной Армии неисчислимых потерь. Но и для немцев гигант на Востоке, якобы готовый пасть к ногам фюрера, оказался ловушкой.

Когда, при каких именно обстоятельствах талантливый, чрезвычайно исполнительный и неутомимый штабист сделался врагом нацистского вождя и режима, сказать трудно; уже в 41 году от Штауффенберга слышали такие выражения, как «коричневая чума». Но прежде, считал он, нужно выиграть войну. Такова была эта странная логика: сперва одержим победу, а потом покончим со сволочью. В дни сталинградской

катастрофы настроение было уже иным. На вопрос фельдмаршала Манштейна (которого Штауфенберг пытался склонить к участию в заговоре), что делать с фюрером, Штауфенберг ответил: «Убить!».

Тем временем он получил очередное повышение и в начале 1943 г. был переведён с Восточного фронта в Северную Африку, в танковый дивизион на должность первого штабного офицера. Африканский корпус Роммеля, остановленный в октябре под Эль-Аламейном, на границе Ливии и Египта, войсками фельдмаршала Монтгомери, отступал на запад. Дивизион вёл отчаянные бои, горящие танки представляли далеко видимую цель для самолётов. Штауфенберг ездил от одного подразделения к другому и, стоя в открытом автомобиле, отдавал приказания. В открытом поле близ Меццуну, в пятидесяти километрах от побережья, 7 апреля 43 года машину атаковал на бреющем полёте американский бомбардировщик. Штауфенберг, успевший выскочить из машины, был тяжело ранен.

Из полевого лазарета он был переправлен в Тунис, оттуда в Италию и, наконец, доставлен в Мюнхен, в клинику на Лацареттштрассе. Штауфенберг лишился правой руки, двух пальцев левой руки и левого глаза. Он научился самостоятельно одеваться и даже завязывать шнурки от ботинок. После трёхмесячного лечения он возвратился в строй — в чине полковника, на весьма ответственном посту начальника штаба ОКВ — Управления верховного командования вооружённых сил в Берлине. Управление находилось на Бендлерштрассе (ныне улица Штауфенберга) и носило неофициальное название «Бендлер-блок». Сейчас туда водят туристов.

Шеф Штауфенберга генерал Фридрих Ольбрихт был главной фигурой военного антигитлеровского заговора, разработал детальный план восстания (под кодовым названием «операция Валькирия») и, зная о настроении Штауфенберга, устроил его новое назначение в Бендлер-блоке. Была налажена связь с людьми Гёрдлера и Мольтке. Было ясно, что совершить переворот невозможно, не обезвредив Гитлера. Времена, когда он появлялся перед народом, давно прошли; теперь фюрер скрывался под надёжной охраной в альпийской крепости Берггоф или в лесах Восточной Пруссии, в «Волчьей норе».

Проникнуть туда могли только военные. Но совершить покушение на главу государства, да ещё в критический момент, когда отечество с трудом отбивается от врага, наступающего с трёх сторон? Для офицера, первой и второй заповедью которого были верность и повиновение, это означало нарушить военную присягу. Не говоря уже о том, что убийство, вдобавок связанное с гибелью других, противоречило христианским убеждениям участников заговора. На это Штауфенберг, взявший на

себя главную задачу, ответил так: *Пора, наконец, приступить к делу. Тот, кто отважится на такой поступок, должен отдавать себе отчёт в том, что скорее всего он войдёт в немецкую историю как изменник родины. Но, отказавшись, он станет изменником перед лицом своей собственной совести.*

Он мог воспользоваться тем, что время от времени был обязан присутствовать на обсуждениях военного положения у вождя. Наступил 1944 год. То и дело приходилось откладывать задуманное. Дважды Штауфенберг приезжал в Бергтоф с бомбой в портфеле. В середине июля Гитлер прибыл в «Волчью нору». Ставка находилась в шести километрах от аэродрома. Её окружали три заградительных зоны. Три контрольных поста проверяли каждого въезжающего и выезжающего. Собственно «норой» был подземный бункер фюрера; семиметровое бетонное покрытие гарантировало безопасность при воздушном налёте на случай, если бы местонахождение главной штаб-квартиры стало известно английским лётчикам. Поодаль от бункера находились помещения для адъютантов и барак, где большую часть занимала просторная комната в пять окон с массивным, шестиметровой длины столом на двух тумбах. Барак был деревянный, крыша бетонирована, стены проложены стекловатой.

Уже на следующий день после приезда Гитлера Штауфенберг, отвечавший за состояние резервной армии, которую предполагалось использовать в случае вторжения русских на территорию рейха, был вызван на совещание в ставку. Сохранилась фотография, сделанная 15 июля: фюрер направляется в барак, перед ним склонился кто-то, справа с папкой для бумаг ждёт генерал-фельдмаршал Кейтель, слева, вытянувшись по-военному, стоит 37-летний полковник граф Шенк фон Штауфенберг. Ему остаётся жить пять дней, Гитлеру — девять месяцев. Покушение и на этот раз сорвалось. Но спустя несколько дней Штауфенберг получил приказ вновь явиться для доклада в четверг 20 июля.

Он прибыл в «зону I» в 11 час. 30 мин., имея при себе портфель-папку с документами для доклада, в сопровождении адъютанта, оберлейтенанта Гефтена, который нёс второй портфель, где в двух бумажных пакетах лежали тетриловые бомбы, каждая весом в килограмм, с детонатором, рассчитанным на взрыв через тридцать минут после включения. Вылезая из машины, Штауфенберг велел шофёру ждать: в 13 часов он должен возвратиться на аэродром.

Выяснилось, что совещание переносится на полчаса раньше; фюрер намеревается встретить прибывающего с визитом в Берлин итальянского дуче Муссолини. Это означало, что времени на включение

взрывчатого устройства остаётся впритык. Вместе с Гефтенем Штауфенберг вышел в отдельную комнату. Один пакет успели переложить в портфель графа, когда в каморку неожиданно заглянул дежурный фельдфебель. Второй пакет остался в сумке адъютанта. Искалеченной левой рукой, помогая себе зубами, Штауфенберг с помощью специально изготовленных щипцов вскрыл ампулу с кислотой, вставил в предохранительный штифт и соединил с капсулом-детонатором. После чего с портфелем под мышкой вошёл в комнату для совещаний. Обсуждение уже началось. Гитлер стоял перед большой картой, разложенной на столе, он был близорук и склонился над картой, слева от него Кейтель, справа основной докладчик генерал Хейзингер. Всего присутствовало 24 или 25 человек.

Штауфенберг стал позади фюрера, портфель поставил на пол, приклонив к одной из тумб. Затем, под предлогом, что ему нужно срочно позвонить по телефону, вышел из комнаты. Входить и выходить во время совещаний было обычным делом, никто не обратил внимания на его исчезновение.

Взрыв произошёл в 12 час. 42 мин. Автомобиль с Клаусом Штауфенбергом и адъютантом Гефтенем благополучно миновал контрольный пост первой зоны, был пропущен через второй пост, перед третьим, наружным постом остановлен. Произошла заминка. Изувеченный полковник с Рыцарским крестом на шее, с чёрной повязкой на глазу и пустым рукавом, с внушительным видом вышел из кабриолета. Штауфенбергу удалось по телефону уладить мнимое недоразумение. С поднятым верхом понеслись через лес к аэродрому, по дороге адъютант выбросил из окна второй, неиспользованный пакет с бомбой. Впоследствии он был найден поисковой группой.

На Бендлерштрассе ожидали вестей из «Волчьей норы» руководители заговора: Ольбрихт, генерал-фельдмаршал Вицлебен, командующий армией резерва генерал Фромм и другие. В начале второго часа — самолёт с Штауфенбергом ещё находился в воздухе — поступила телефонограмма из ставки от генерала Фельгибеля (посвящённого в заговор): «Случилось нечто ужасное, фюрер жив». В 15 часов «Хейнкель-111» приземлился в Берлине. С аэродрома Штауфенберг сообщил, что Гитлер убит. Был подан сигнал к началу операции «Валькирия». Но вслед за этим из ставки снова сообщили о счастливом спасении вождя. Заговорщики колебались. Наконец, Штауфенберг, задержавшийся на аэродроме, прибыл в Бендлер-блок и объявил, что своими глазами видел, как диктатор погиб. Восстание началось. Штауфенберг по телефону отдавал приказы. Начальники военных округов и дислоцированных вокруг столицы учёбных и резервных частей получили депешу о том, что

«правительство империи, с целью поддержания правопорядка, объявило чрезвычайное положение», исполнительная власть передаётся командованию вермахта во главе с Вицлебеном.

Между тем Кейтель (он уцелел при взрыве) подтвердил по телефону из «Волчьей норы», что фюрер остался жив, отделавшись лёгкими повреждениями. Тогда Фромм решил повернуть дело иначе: он объявил, что арестует Штауфенберга как изменника родины. Поначалу это не удалось, Фромм сам был арестован заговорщиками. Но ненадолго. Спустя некоторое время ситуация изменилась. Ночью, в четверть первого, при свете автомобильных фар, расстрельная команда вывела во двор Клауса Штауфенберга и ещё нескольких человек. Последний возглас однорукого полковника был, по одним сведениям, «Да здравствует святая Германия!», по другим — «Да здравствует Германия без фюрера!». Если можно говорить о людях, сумевших восстановить престиж истории, то он — один из них.

Похороны дракона

*У меня хранится документ, подписанный
вами триста восемьдесят два года назад.
Этот документ не отменён... Там стоит под-
пись: Дракон.*

Евг. Шварц

1

Мы начнём несколько издалека. По разным поводам, не имеющим отношения к теме этой статьи, я просматривал материалы о Волго-Вятском регионе, читал рассказы туристов о ландшафтах и достопримечательностях Костромской и бывшей Горьковской, ныне Нижегородской области, о лесах, куда некогда бежали раскольники, о плавании на байдарках по Унже, по Луху, по Керженцу. Увлекательная литература! В Воскресенском районе Нижегородской области, неподалёку от села Владимирского, расположено легендарное озеро Светлояр. Кое-где сохранились остатки скитов. Путешественник может посетить старинный монастырь в Макарьеве, увидеть крестный ход и старушек, трогательно блюдущих древние обычаи.

Лет сорок назад старушки были молодками из нищих деревень, числились колхозницами и промышляли любовью и водкой, которую носили солдатам-охранникам. Только об этом они не помнят. Никто, ни местные жители, ни туристы не вспоминают о том, что некогда здесь существовало обширное феодальное княжество со своим сувереном, вассалами, слугами, дружиной и крепостными. Княжество носило кодовое название ИТЛ «АЛ», иначе Унженский исправительно-трудовой лагерь, в просторечии Унжлаг. Оно было основано в тридцатых годах, сперва состояло в подчинении НКВД, а потом — ГУЛЛП, Главного управления лагерей лесной промышленности Министерства внутренних дел.

Кого и от чего исправлял Унжлаг, сказать трудно, однако известно, что его обитатели выполняли важную народнохозяйственную задачу:

поставляли высокоценные сортаменты — рудничную стойку, авиасосну, авиафанеру, шпальник и прочие — для угольных шахт, где работали крепостные других княжеств, для военных заводов, где заключённые выполняли задачи, поставленные перед оборонной промышленностью, для других лагерей, строивших в тайге и тундре города и железные дороги. Составы доставляли лагерную продукцию по железным дорогам в северные гавани, там заключённые грузили его на океанские пароходы — лес шёл на экспорт в чужие страны.

Размеры Унжлага были сравнимы с небольшой западноевропейской страной; он и сам был в своём роде государством, верным подобием Большого государства. Чтобы добраться от столицы лагеря Сухобезводное в Горьковской области до крайнего северного лаготделения в Костромской области с его головным лагпунктом Пбёж, надо было ехать по лагерной железной дороге всю ночь. Найти эту железную дорогу нельзя было ни на одной карте — как и весь Унжлаг. Топонимы, восходящие ко временам татаро-монгольского ига, — Колевец, Керженец, Лапшанга, Белый Лух — были названиями лагерных пунктов и подкомандировок. Где бродили лоси и медведи, где скрывались раскольники, там заключённые прорубали просеки, выволакивали на себе баланы из хлюпающей трясины, прокладывали усы — деревянные круглолежневые дороги для вывоза древесины, строили сторожевые вышки и проволочные ограждения для оцеплений, после чего армия строителей коммунизма вгрызалась в тайгу. Сколько людей лежит среди болот на полях захоронения, неизвестно, ныне опубликованная официальная статистика не внушает доверия. Великие князья, начальники центрального управления лагеря, сменявшие друг друга на протяжении десятилетий, — некий старший лейтенант внутренней службы Ф. Автономов, какой-то Ф. Озеров, полковник Г. Почтарёв, инженер-майор Г. Иванов, майор Г. Щербakov, полковник Н. Алмазов, ещё кто-то — покоятся в своих могилах. Дела давно минувших дней, история.

2

Можно вывесить над храминой истории предупреждение: *кто старое помянет, тому глаз вон*. Кому охота вспоминать о верёвке в доме повешенного? История не преодолевается — она отменяется. Можно даже говорить об историческом процессе истребления истории. Нам приходилось видеть разнообразные проявления этого процесса, от выборочного выскабливания имён и событий до систематического переписывания прошлого, от подтасовок до мифологизации.

Монструозный всадник перед зданием Исторического музея — не символ ли совсем недавней истории, превращённой в великодержавный миф?

Что такое история?

Услышав этот детский вопрос, профессионал-историк пожмёт плечами. Объяснит, что историческое знание есть именно знание, а не сказка, что оно предполагает задаваемый современностью вопрос, изучение источников и методически безупречный ответ. Но писатель (чья профессия — дилетант) смотрит на дело иначе. Напомнит, что древние считали историю не наукой в нашем нынешнем понимании, а искусством: хоровод муз, ведомый Аполлоном, замыкает муза истории Клио.

Мы получили историографию из рук античных историков, всем известно, что её лучшие образцы — это прежде всего образцовая проза. Речь Перикла над телами павших, как её передаёт Фукидид; рассказ Тита Ливия о переправе армии Ганнибала через Рону; сумрачный пафос Тацита. Но не только историография древности. Возьмёте ли вы характеристику Цезаря у Теодора Моммзена или историю Жанны д'Арк, с её «состраданием к Франции» у Мишле, или рассказ Ключевского о девочке из захолустного Цербста, которая стала матушкой-государыней Екатериной Второй, или портретные главы «Немецкой истории XIX и XX вв.» Голо Манна: что это, как не образцы высокоталантливой художественной словесности. «Лишь историография создаёт историю, — говорит Себастьян Гафнер («В тени истории», 1985). — История не есть реальность, история — это отрасль литературы».

Но ведь история, скажут нам, всё-таки не вымысел беллетриста, а нечто такое, что было на самом деле, о чём свидетельствуют документы, материальные памятники, археологические находки. История есть совокупность фактов, выстроенных в хронологическом порядке. История растолкует, почему то, что случилось, случилось так, а не иначе; разъяснит закономерности исторического развития. Чтобы окончательно закрепить за собой статус науки, история нуждается в фундаментальных концепциях, в общей теории. Всякая теория не только объясняет, но и прогнозирует; освещённый теорией, как ночная дорога — фарами автомобиля, исторический процесс в самом себе содержит собственное предопределение; история есть научно обоснованная судьба.

3

Мы знаем такие теории — или, по крайней мере, слышали о них. Одну из самых знаменитых книг только что ушедшего века открывает заявление: «Здесь впервые делается попытка предопределить исто-

рию». Шпенглер заблуждался, он не был первым, такие усилия уже предпринимались. Историософские концепции, попытки подобрать ключ к истории человечества, претензия истолковать прошлое с единой точки зрения и на этом основании предсказать будущее — всё это было и до автора книги, которая в русском переводе не совсем точно, но эффективно называется «Закат Европы». Несчастье в том, что книга предсказала закат самих этих концепций.

Среди них — надо ли напоминать? — схема, предложенная в блестяще написанной, вышедшей в Брюсселе в 1848 году брошюре под названием «Коммунистический манифест». Вся прежняя история человечества, сказано там, была историей борьбы тех, кто, владея средствами производства, ничего не производит, и тех, кто производит, но ничем не владеет. Последним классом собственников является буржуазия, последний класс неимущих — пролетариат. Растущее противоречие между трудом и капиталом будет рано или поздно разрешено — чем раньше, тем лучше. Класс тунеядцев загнивает, дни буржуазии сочтены; пролетарская революция сметёт стяжателей и эксплуататоров и установит бесклассовое общество. На смену царству необходимости придёт царство свободы.

Автор «Заката Европы» явился со своим трактатом-пророчеством спустя семьдесят лет. Подобно Марксу и Энгельсу, он всё знает заранее. Но Маркс пророчил человечеству лучезарное будущее. Историософия Шпенглера дышит смертью. История общества есть история смены культурных организмов, в главных чертах они повторяют друг друга. Но, как и биологические организмы (ближайшая аналогия — растения), культуры самодостаточны, замкнуты в себе и — ничего не поделаешь — располагают ограниченным сроком жизни: возрастают, цветут, вянут и умирают. Истории известно восемь культур: египетская, греко-римская, индийская, китайская и другие; последняя, западноевропейская, иначе фаустовская, доживает свои дни. На очереди девятая, ещё не состоявшаяся, русско-сибирская культура. Что ж, спасибо и на этом.

4

Здесь можно упомянуть ещё несколько универсальных доктрин, например, выдвинутую незадолго до Шпенглера, но оставшуюся малоизвестной схему истории как цепи колец-звеньев: каждое звено замкнуто и вместе с тем связано с предыдущим и последующим. Имя автора этой теории — Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф — знакомо каждому, кто занимался классической филологией. Не забудем и Константина Леонтьева, предвосхитившего кое-что из развитого впоследствии Шпенг-

лером. Каждая цивилизация, по Леонтьеву, переживает один и тот же циклический процесс созревания, цветущей сложности, старческого смесительного упрощения и умирания. Такова судьба Западной Европы, то же в конце концов ждёт и Россию. «Странное суеверие XIX века, — заметил по этому поводу С.С. Аверинцев, — согласно которому заимствованные из естественных наук сравнения немедленно приобретают силу доказательства в науках социальных».

Остаётся добавить к этому перечню — кого же? — Гитлера с его расово-кровавой историософией, как она представлена в хаотическом сочинении «Моя борьба». Здесь снова, уже в совершенно карикатурном исполнении, решающим аргументом служит биология. В главе XI первого тома, «Народ и раса», говорится, что железным законом всего живого является размножение, равно как и неравенство видов; при этом разные виды не смешиваются. То же самое — народы и расы, для которых «кровь» служит определяющим фактором. Всё живое утверждает себя не в смешении, если же таковое случается, последствия гибельны. «Исторический опыт даёт этому бесчисленные доказательства... при всяком перемешивании крови арийцев с низшими расами в результате наступает конец носителей культуры». История человечества — это история борьбы, высшие противостоят низшим, раса, призванная побеждать и править миром, — германцы, раса, подлежащая искоренению, — евреи, и так далее.

5

Отцом всего этого систематизирующего и пророчествующего философствования был, разумеется, Гегель. Его диалектика и его историческое мышление, покорившее и поработившее девятнадцатый век, покоились на вере в исторический разум. Божественный промысел уступил место самодвижению мирового духа. Иудейская стрела приняла вид дорожного указателя с надписью «Прогресс».

Но мы помним, что нашёлся ум, который не поддавался соблазну и соращению. Это был Артур Шопенгауэр, родившийся на десять лет позже Гегеля. Не более ста экземпляров его главного сочинения, выпущенного в конце 1818 г., было продано в первые полтора года, тираж пролежал ещё пятнадцать лет без движения и пошёл в макулатуру. Время Шопенгауэра ещё не наступило. Он объявил цикл лекций в Берлинском университете, это был вызов: по настоянию философа лекции были назначены на те же часы, когда читал свой *Hauptkolleg* (академический курс) ординарный профессор Гегель. Двести пятьдесят студентов слушали Гегеля. Шопенгауэр вошёл в аудиторию, где сидело пять человек.

Известно, какого мнения он был о Гегеле: шарлатан! Его система — ложь, абсурд, если она так популярна, то виноваты в этом ослы-профессора, и — «не современникам, не соотечественникам, — человечеству вручаю я ныне завершённый труд мой, в уверенности, что оно оценит его значение». Этим скромным заявлением было предварено спустя четверть века второе издание трактата «Мир как воля и представление», теперь уже двухтомного.

Никакого разумного плана, никакого прогресса франкфуртский мыслитель не находит в истории; никакой закономерности, если не считать законом бесконечную смену масок на одном и том же кровавом карнавале. В великой и жалкой драме человечества меняются только декорации и костюмы.

Eadem, sed aliter — по-другому, но та же. Вот девиз истории, вот единственный урок, который можно из неё извлечь. Та же в смене эпох и событий, — подобно тому, как всегда равна самой себе в круговороте объективаций безначальная, беспричинная, иррациональная сущность всего сущего — чёрное пламя мира: воля.

6

И всё же: так хочется думать, что «всё не напрасно»! Хочется говорить о борьбе прогрессивного с ретроградным, о постепенном росте благосостояния, о совершенствовании человека, о построении справедливого общества. Идёт ли человечество к какому-то финалу или кружится по замкнутой кривой? Какая из двух моделей исторического процесса верна: иудейская стрела или греческий круг? Либо, на худой конец, сопряжение двух чертежей, спираль Гегеля: кругами, но всё выше и выше?

Историософские построения обладают свойством, которое сближает их с романами. Они заражают нас чем-то лежащим по ту сторону логики. Вдобавок они обладают насильственной тотальностью. Они всеобъемлющи и просты, потому что дают единый ответ на множество вопросов, предлагают окончательную разгадку.

В 1933 году, после нацистского переворота, 48-летний Эрнст Блох бежал в Швейцарию, оттуда перекочевал в Америку, где написал свой главный труд «*Das Prinzip Hoffnung*» (Принцип Надежда), одну из самых завораживающих книг XX века. Огромное — 1600 страниц — сочинение представляет собой и философский трактат, и род рапсодии; может напомнить книги Ницше, но Блох отнюдь не следовал Ницше, своим учителем он считал Маркса.

После войны он вернулся, причем не в Западную, а в Восточную Германию, занял кафедру в Лейпциге. Он был превосходным лектором, блестящим говорунном, одним из тех, кто живёт в замкнутом мире идей, похожем на роскошный заоблачный замок. Над этим замком реял флаг «первого социалистического государства на немецкой земле». Президент ГДР Вильгельм Пик наградил Блоха орденом. Вскоре, однако, начались неприятности, профессор оказался строптивым, был отставлен от должности, кончилось тем, что он снова эмигрировал — в Федеративную республику, куда же еще. Здесь вышел в свет его труд.

Философия Блоха представляет собой попытку соединить Гегеля с утопией иудаизма — Царством Божьим на земле — и привести всё вместе в единую систему с помощью диалектического материализма. Человек победит социальное отчуждение, и тогда — что тогда? Гигантский опус, обетование надежды, заканчивается такими словами:

«Человек всё ещё живёт в своей предыстории, собственно говоря — даже до сотворения мира, подлинного мира. Настоящая Книга Бытия пишется не в начале, а в конце — когда общество и бытие станут радикальными, то есть — буквально — доберутся до самых корней. Корень же истории есть трудящийся человек, творящий, преобразующий и перешагивающий наличные данности. И когда он овладеет собой и утвердит себя и своё достоинство без всякого отчуждения, не уступая своих прав, в реальной демократии, — вот тогда в мире возникнет нечто такое, что, мнится, осталось в детстве, земля, где никто ещё никогда не бывал: родина».

7

За всем этим слышится какой-то плач. Блоха давно нет в живых, нет многих и славных, их ученики и наследники сидят вокруг пепелища. Праздник утопической мысли отшумел, и нужно довольствоваться скучной обыденщиной, суровой прозой. Скучно жить в обществе, где задают тон не мечтатели и пророки, а бизнесмены. Тошно просыпаться утром в понедельник, когда за окнами брезжит двадцать первый век. И это ещё хорошо, если ждёт обыденное существование...

Дело не только в том, что прогноз Маркса и Энгельса — или какой-нибудь другой — провалился. Дело идёт о крушении веры в исторический разум. Метаисторические построения исходили из постулата, что в истории кроется некий смысл, *ratio*, *Sinn*, *raison*. Этот смысл, эту разумную необходимость они должны были открыть и продемонстрировать. Иначе говоря, *оправдать* историю.

Что такое оправдание? Обоснование целесообразности, закономерности, справедливости. Что такое смысл?

Первый стих Четвёртого евангелия: *εν αρχη ην ο Λογος*. О том, что означает (в этом контексте) греческое слово Логос, написаны фолианты. Обычное объяснение — Слово и/или разумный Смысл. В русском толковом словаре говорится: смысл — это внутреннее логическое содержание, значение, постигаемое разумом. По Людвигу Витгенштейну, смысл мира должен лежать вне мира. Выходит, что он *навязан* миру, изначально лишённому смысла?

Последнее толкование как будто обесценивает историософию. Ведь и Маркс, и Шпенглер, и кто там ещё, хотели убедить нас в том, что смысл истории не есть нечто привнесённое извне, но лишь расшифровка того, что содержится в ней самой. Смысл имманентен истории. Какой же?

Никакого, ответил пророк мировой воли, но приходится возразить и Шопенгауэру. История не вечно одна и та же, и, например, эпоха, в которой нас угораздило родиться и жить, демонстрирует кое-что новое. За спиной у нас уже не девятнадцатый век, а двадцатый, с ним пришло то, о чём не ведали прежде. Явились концентрационные лагеря. Явилось тоталитарное государство. Народились «массы» (прежде называвшиеся народом), для которых вездесущая пропаганда, лживая по определению, оснащённая новейшей технологией массовой дезинформации и всеобщего оглушения, заменила религиозную веру. Почувствовалось повсеместное присутствие тайной полиции. Расцвёл культ ублюдочных вождей. Оказалось недостаточным одной мировой войны, разразилась вторая. Ничего подобного никогда не бывало. Апокалиптические разрушения, астрономические цифры жертв. Стало возможным в считанные минуты уничтожить с воздуха целый город, плоды труда и культуры многих поколений. Стало возможным, руководствуясь безумной теорией, истребить в короткий срок, с помощью специально сконструированных газовых камер и печей, шесть миллионов мужчин, женщин, детей и стариков. И так далее... Что здесь было логически обоснованным, закономерным, предсказуемым?

О, да: для всего нашлись объяснения. Всему были свои причины. Всё было тщательно обдуманно и расчислено. Построено на рациональных основаниях, распланировано, бюрократизировано, санкционировано идеологией, выдающей себя за науку, оснащено изумительными достижениями техники. Но за этой техникой и наукой, логикой и организацией скрывается пустота — чёрный провал. Двигаясь назад по цепочке причин, следствий, оснований для поводов и причин для причин, мы в конце концов наталкиваемся на абсурд.

История, говорит Эмиль Чоран, обречена на саморазрушение, и добавляет: «Дьявол — это полномочный представитель демиурга... ангел, на которого возложена грязная работа вершить историю». Ближайшей иллюстрацией может служить отечественная история: стоит только оглянуться на последние 8–10 десятилетий. Сгнившая монархия и безумная мировая война четырнадцатого года, в которую ввязалась, Бог знает ради чего, Россия. Военное поражение и спровоцированная войной революция — возмездие за обветшалый, изживший себя политический и социальный строй, месть ничем не желавшему поступиться правящему классу. Октябрьский переворот, этот российский термидор, гражданская война, ещё яростней, ещё ожесточённей, чем мировая. Голод, разруха, массовое бегство за границу; новый порядок, рядом с которым старые времена стали казаться каким-то потерянным раем. Чернь, дорвавшаяся до власти, режим бессмысленных жертв, опустошений культуры, злодеяний неслыханных в русской истории, отнюдь не образцовой по части христианской человечности.

Есть любопытная страница в «Размышлениях о мировой истории» Якоба Буркхардта: он делит исторические события на счастливые и несчастные. Это деление более или менее удаётся, пока речь идёт о древности, о Средних веках, даже о Новом времени. Но чем ближе к современности, тем решить труднее, слишком часто последствия противоположны тому, что ожидалось. Слишком часто историк сталкивается с тем, что можно назвать коварством истории. Не говоря уже о самих участниках событий: ведь никто так плохо не знает своё время, как тот, кто в нём живёт.

На этом фоне победа в войне 1941–1945 гг. выглядит единственным событием, по-настоящему достойным того, чтобы им гордиться. Счастливым? Да, конечно. Страшно подумать, что стало бы со всей страной, со всеми нами, если бы не победа. И всё-таки... Тот, кто помнит 9 мая 1945 года в Москве, эти счастливые толпы, песни, танцы на улицах, объятия, слёзы, это небывалое и никогда больше не повторившееся чувство, что всё страшное позади, всё прекрасное впереди, тот, у кого этот день, как у меня, всё ещё стоит перед глазами, — будет, наверное, возмущён, если ему станут возражать. Если скажут, что победа мало чем отличалась от поражения, — может быть, самого страшного за всю тысячелетнюю историю нашей страны. Ибо это победа была оплачена ценой, сопоставимой с той, которую заплатил агрессор за своё нападение, и повлекла за собой последствия, каких мало кто ожидал.

Вот она, дилемма Буркхардта, никак не решаемая, а вернее, решаемая так, что лучше бы её не предлагать вовсе. Тогда, в мае 45-го, газеты называли Сталина Спасителем с большой буквы — он отождествил себя с Христом.

Война, докатившаяся до Москвы и Сталинграда, закончилась в Берлине, на Эльбе и в Северной Италии. Война привела к расчленению Третьей империи, дала возможность отхватить изрядный кусок Польши, аннексировать Восточную Пруссию, создать послушные Советскому Союзу тоталитарные режимы в государствах Восточной и Центральной Европы. В конце концов она превратила СССР во вторую великую державу. Кто спорит? Но это был триумф разбитого и обескровленного победителя.

Многие десятилетия война была спасительным якорем пропаганды. Можно было с успехом списывать на войну все долги. Сославшись на военные трудности, оправдывать все ошибки и преступления. Победителей не судят!

Нам говорили, что колоссальные жертвы, принесённые ради победы, оправданы победой, что в конце концов никакая цена не была слишком высокой, жертвы неизбежны, необходимы. Не вернее ли будет сказать, что гибель миллионов людей была нужна по понятиям советского режима и его вождя, не знавшего иных методов решения военных задач; что жертвы оказались непомерны не только потому, что страна испытала небывалое в её истории нашествие, но и потому, что в стране существовал этот режим и страной управлял Сталин. Абсурд нашёл своё воплощение, свою персонификацию.

Многие задавались вопросом, почему удалось победить. Причин, разумеется, много, но один из ответов — потому что военачальники не щадили солдат. Жестокость высшего руководства не знала границ. Американцы, даже немцы по возможности берегли живую силу. Советские командиры, от высших до низших, знали: невыполнение приказа грозит опалой, трибуналом, смертью. Выигрыш должен быть достигнут ценою любых жертв. Такой подход был основан на молчаливом — и, разумеется, спорном — допущении, что другим способом, не столь дорогой ценой одолеть врага бы не удалось. Шапками закидаем! Людские ресурсы России неисчерпаемы. Они, однако, оказались почти исчерпаны. И мы знаем, что последствия демографической катастрофы не изжиты до сих пор.

Вождь, не имевший военного опыта и образования, надел погоны маршала, а затем стал генералиссимусом, полагая, что таким способом он сравняется с Суворовым; на самом деле он оказался в одной компа-

нии с генералиссимусом Чан Кайши и диктатором крошечной Доминиканской республики генералиссимусом Трухильо. Вождь объявил себя «величайшим полководцем всех времён и народов» — буквально так же именовался Адольф: *größter Feldherr aller Zeiten*.

Правитель, облечённый всей полнотой власти, должен нести и всю полноту ответственности. Этот спаситель объяснял неудачи первых военных месяцев внезапностью нападения, и никто не смел возразить, что неожиданность и неподготовленность как раз и были самым оглушительным свидетельством его военной и политической несостоятельности. Недолговечная дружба с нацистской Германией была одним из его самых печальных просчётов, не говоря уже о постыдности этой дружбы. Узнав о вторжении, он исчез, и почти две недели никто не знал, куда он делся. Этот полководец ни разу не был на фронте. Многие и сегодня думают, что он выступил 7 ноября 1941 года на параде перед войсками, которым предстояло отправиться на фронт. Парад состоялся, но то, что было показано в кино, — Сталин в шинели на трибуне мавзолея, — было инсценировкой в студии.

Лживая пропаганда (другой не бывает) убедила народ и самого вождя в том, что от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее. Один просчёт повлёт за собой другой. К концу декабря сорок первого года немцы оказались в Химках — сейчас это район Москвы. Врага удалось отогнать. Но вождь приказал наступать на всём гигантском фронте от севера до юга, и результат был прискорбен. Весной верховный главнокомандующий отдал приказ о новом большом наступлении на Юге; кончилось тем, что вермахт опрокинул Красную армию и на всех парах понёсся по степям к Кавказу и Волге. Неисчислимое множество молодых солдат погибло в последние дни войны в Берлине только потому, что город, заведомо обречённый, лишённый подвоза и задыхающийся в дыму пожаров, надо было взять непременно к 1 мая. Надо было рапортовать вождю, что знамя Победы водружено над рейхстагом. Почему именно над рейхстагом? Опустевшая руина, бывший парламент, который в гитлеровском государстве не играл никакой роли, почему он должен был выглядеть как конечный пункт и символ победы, почему не подлинное сердце нацистского режима — помпезная Имперская канцелярия?

10

Сова Минервы расправляет крылья на закате. Мы, конечно, не умней и не проникательней наших отцов, но у нас есть то преимущество, что мы пришли позже. И наша оглядка на военное и послевоенное

прошлое не может не отличаться от стереотипа, которое пропаганда усвоила трём поколениям советских граждан. Триумф оказался мало отличим от поражения еще и потому, что ни в малейшей степени не оправдались надежды и ожидания, связанные с победой. Напротив: её результатом было новое ужесточение режима. Ни о каких реформах не могло быть и речи. Вождь известил свой народ о том, что капиталистическое окружение сохраняется, — это была условная формула, сигнал к возобновлению террора. Растущий, как на дрожжах, аппарат тайной полиции поглощал всё новые институты власти — военные, идеологические и хозяйственные. Тайная полиция переросла сама себя. Эта универсальная организация выполняла и сыскные, и следственные, и псевдосудебные, и карательные функции, служила инструментом тотального контроля и устрашения и одновременно рычагом экономики. Органы безопасности гребли рабочую силу из лагерей советских военнопленных и в бывших оккупированных областях; для той же цели был изобретён указ о «расхищении социалистической собственности» и использован на всю катушку: 25 лет и 5 «по рогам». Поезда с заключенными непрерывно поставляли трудовые контингенты для концлагерей. Ничего другого, чтобы заставить людей работать, режим придумать не мог, принудительный труд в той или иной форме вытекал из его природы, был условием его существования. Тотальная пропаганда превзошла все прежние достижения. Воспевание вождя приняло характер массового безумия. Ещё далеко было до агонии режима, до гниения заживо в семидесятых и восьмидесятых годах, и всё же это было началом конца.

Спустя полвека после смерти Иосифа Сталина мы спрашиваем, что осталось от вождя. Осталась память о победе, которую он приписал себе. Остались сочинения, поражающие убожеством мысли и языка. Остались воспоминания о нищете и голоде, о двадцати миллионах расстрелянных, замученных, погибших на этапах, умерших в концлагерях и ссылках. Осталась толпа почитателей, с морковными знамёнами, с нестареющим портретом на палках. Остались сапоги.

11

Забуть, забыть этот кошмар... Кто старое помянет... Вот тайная подоплёка всеобщего желания отгородиться от прошлого утешительной мифологией, откреститься от монстра, враждебного человеку, — от истории.

У истории есть фактотум, мальчик на побегушках; для краткости назовём его политикой. На фоне живой, реальной жизни, той жизни, которой живёт каждый нормальный человек, политика представля-

ется чем-то мнимым. Но фантом обладает неслыханной мощью. Эта мощь и власть чудовищно раздулась за последние сто или сто пятьдесят лет. Никогда ещё политике не удавалось так успешно побеждать живую жизнь.

Никогда прежде зловещие абстракции — История, Нация, Держава — не вмешивались так беспардонно в жизнь каждого человека, не норовили сесть с ним за обеденный стол и улечься в его постель. Никогда человеческие ценности не были до такой степени девальвированы, никогда стоимость человеческой жизни не падала так низко. В девятнадцатом столетии говорилось об отчуждении человека-производителя от производства. В двадцатом произошло отчуждение человека от истории.

Политики заботятся о человеке. Так они, по крайней мере, говорят. Об этом они твердят на трибунах и в телестудиях. Что из этого получается, хорошо известно. Под натиском политики ваше существование, ваши заботы, чувства, любовь, семья, всё, что по-настоящему ценно и дорого, что составляет реальную жизнь человека, — не стоит равным счётом ничего. С человеческой точки зрения частная жизнь и есть подлинная жизнь. С точки зрения истории и политики она значит не больше, чем жизнь дерева в тайге. Лагерные электропилы валят деревья одно за другим. Топоры обрубают верхушки и ветви, корилки сдирают кору. Лагерные лошади выволакивают голые стволы с делянок на лесосклады. Зелёный убор стораёт на кострах. Остаются кладбища пней и поля чёрного праха.

12

Перед лицом истории вы ничто. Вы абсолютно бессильны. Вы, как муравей в щелях и трещинах лживой, политизированной, притязающей на статус общеобязательного национального достояния истории. Она преследует вас повсюду: помпезными памятниками на улицах, парадированием войск, болтовнёй домашнего экрана, газетной дребеденью, купленной на корню публицистикой и псевдолитературой.

— Что вы хотите сказать? — не понял мистер Дизи.

Он сделал шаг вперёд и остановился, челюсть косо отвисла в недоумении. И это мудрая старость? Он ждёт, пока я ему скажу.

— История, — произнёс Стивен, — это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться. («Улисс».)

Говорят, Джойс, услышав о том, что началась мировая война, сказал: а как же мой роман?.. В книге, действие которой укладывается в

один единственный день, четверг 16 июня 1904 года, рассказывается о блужданиях по городу некоего агента по рассылке рекламных объявлений; Леопольд Блум — дублинский еврей, совершенно незначительная личность, но за спиной у него тень бессмертного скитальца Одиссея. Книга представляет собой реализацию тезиса, приведённого выше: история как кошмарный сон; и хорошо бы, наконец, от него пробудиться.

Легко сказать!

Игнорировать историю? Но семена, сыплющиеся на жернова, не могут «игнорировать» мельницу. Бежать? Из своего века не убежишь.

И вдобавок нам твердят, что мы жили или живём в «великое время». Были ли когда-нибудь невеликие времена?

Возможно ли (прежде это удавалось) связать то, что больше не связывается, соединить два времени, историческое и человеческое, найти волшебное уравнение литературы — нечто сравнимое с физическим соотношением неопределённостей Гейзенберга?

Что делать литературе, которая в конце концов ничем другим не занята, ничем другим не интересуется, как только индивидуальной, тайной, внутренней жизнью человека, — литературе, для которой нет великих и малых и слезинка ребёнка дороже счастья человечества, не говоря уже о том, что и счастье-то оказалось мнимым?

Как всякое искусство, литература существует ради самой себя, другими словами — ради человека. Литература абсолютна: человеческая личность — вот её абсолют. Человек не как представитель чего-то, будь то профессия, социальный слой, общество или нация, — но прежде всего человек сам по себе, «просто так», хоть он и живёт — где же ему ещё жить? — в своём веке, а иногда и в «своей стране». Хоть и ходит в наручниках, хоть и приковали его к себе общество и государство, и сочли его своей собственностью. Фет, на вопрос, к какому народу он хотел бы принадлежать, ответил: «Ни к какому».

Если художественная литература несёт какую-то весть, то лишь эту: человек свободен. Он свободен не потому, что он этого хочет (чаще всего не хочет). Но потому, что он так устроен. Такова природа существа, наделённого индивидуальным сознанием; литература же, по выражению Сузан Зонтаг, есть воплощённое сознание. Человек заперт в своей свободе. Человек постольку человек, поскольку он свободен; литература напоминает ему об этой — иллюзорной, как может показаться, — свободе.

Литература есть воплощение его достоинства — в этом её скрытый пафос. В этом, может быть, и её последнее оправдание. То, чего не добились религия, чему не смогла научить гуманистическая философия, — взваливает на свои плечи художественная литература.

Твердить, посреди сумасшедшего дома истории, об абсолютном приоритете человеческой личности? Это звучит риторически. Между тем это то самое, чем наше скромное ремесло занималось со времён Гомера. Писатель живёт в своём времени — и вопреки ему. Литература не аполитична, она *над*-политична. В старом романе Виктора Гюго, читанном в детстве, командир отряда санкюлотов грозно спрашивает женщину, которая бежит, подхватив детей, спасается куда-то: ты с кем, гражданка? С Революцией или со старым режимом? Я с моими детьми, отвечает она. Я с тобой, говорит писатель. Литература есть последнее убежище человечности. А великие исторические и патриотические задачи оставим журналистам.

Ута, или Путешествие из Германии в Германию

Один саксонец умер, попал на тот свет. Апостол Пётр ему говорит: «Иди вон в то здание, поднимешься на третий этаж, по коридору налево, комната номер такой-то. Там скажут, куда тебя определили». Он пошёл, отыскал комнату, стучится, никакого ответа. Снова постучал — никакого ответа. Потом кулаком. Потом разбежался, вьшиб дверь — а там стоит Иисус в славе. «Что, — говорит, — не мог подождать?»

Один солдат дезертировал, его поймали, привели в палатку к королю. Король ему говорит: «Как же это ты, сукин сын. Вот, — говорит, — прикажу тебя повесить». Солдат отвечает: «Ваше величество, дела-то наши плохи. Вот я и решил, лучше сбегу, пока не поздно». Старый Фриц подумал и говорит: «Знаешь что. Завтра у нас решающее сражение. Проиграем — побегим вместе».

Одна американка захотела увидеть Бисмарка, приезжает в Берлин, сидит в рейхстаге с переводчиком на местах для публики. Железный канцлер произносит громовую речь, стучит кулаком. «О чём это он?» Переводчик молчит. Бисмарк по-прежнему мечет громы и молнии. «Что он говорит?» — «Терпение, мэ, — отвечает переводчик, — я жду глагола».

Немецкий фольклор

1

В Гессене, в небольшом городе Бебра, ничем не замечательном кроме того, что здесь находится важный железнодорожный узел, я выхожу из вокзала и жду своих друзей, пожилую чету из Рура. Дело происходит в 1989 году. Обед на скорую руку в Гельзенхаузене, после чего ка-

тим к границе. С двух сторон от дороги стоят столбы, выкрашенные в государственные цвета. Краска несколько облупилась. Мало кто помнит историю этих цветов. Во время освободительной войны против Наполеона мундир лютцовских стрелков, черный с красными отворотами и золотыми пуговицами, носил павший в бою под Гадебушем двадцатидвухлетний Теодор Кёрнер, автор воинственных стихов, которого Вересаев ставил выше Дениса Давыдова.

Итак, бывшая германо-германская граница... По существу границы уже нет. Жёлтая полоса наискось пересекает шоссе. Сразу за полосой начинается другой асфальт, выщербленный, кое-как залатанный. Машина подпрыгивает. Разница двух миров даёт себя знать в первую же минуту.

Холмистая местность, сколько хватает глаз, перегорожена сеткой, видны остатки проволочных ограждений, запретная полоса, уходящие к горизонту сторожевые вышки. Справа от шоссе железная дорога, тоже защищённая сеткой. Тишина и безлюдье, словно мы въехали в загадочную зону из фильма Тарковского. Мы на территории государства, которое внезапно исчезло.

Мы в Тюрингии. Пока ещё, согласно прежнему административному делению, это называется «округ Эрфурт». Но уже чья-то рука зачеркнула слово «округ» и начертала: Thüringen. За холмами начинаются рощи, «страшный Тюрингский лес», как сказано у Новалиса. С севера подступает Гарц, откуда шёл пешком, с палкой и котомкой, геттингенский студент Гейне, направляясь в Веймар, и слушал «шум ручьёв и птичий звон». Увы, ничего больше не слышно. Это кажется непостижимым приехавшему из Западной Германии, молчание ошеломляет, и в дальнейшем, если не считать ворон и воробьёв, наблюдение наше подтвердилось. Птицы покинули этот край, как некогда гномы уходили из обнищавших стран, — чтобы вернуться, когда благоденствие восстановится.

2

Старый товарищ, которому разрешили съездить за границу, написал о своём впечатлении от Германской демократической республики: «Теперь мы знаем, как вы живёте». Я смотрел на это запустение и вспоминал его письмо. Конечно, для нас не было тайной, что уровень жизни в Западной Германии относился к уровню жизни в ГДР примерно так, как жизненный уровень ГДР относился к уровню жизни в Советском Союзе. Немецкий сателлит был прижитым на стороне детищем восточного великана. И всё же степень этого родства, масштабы бедствия — оказались для всех неожиданностью.

Государство Ульбрихта и Хонеккера слыло образцовой социалистической страной. Когда говорили, что эксперимент повсеместно провалился, следовало возражение: а Восточная Германия? Сообщалось, что она даже входит в первую десятку передовых стран мира. Люди рассказывали, что в ГДР нет очередей. В ГДР есть все продукты. В ГДР чистота и порядок.

Чистота и порядок, о, Господи... Но ведь в конце концов вовсе не обязательно, чтобы всё было вылизано. Переехав через Рейн в районе Страсбурга, замечаешь, что на другом, французском берегу не подстрижена трава, торчат ключья бурьяна. А что сказать об Италии, Греции? Но тут вы из Германии приезжаете в Германию. И оказывается, что даже Германию можно было превратить в свинарник.

В Лейпциге, проезжая мимо чёрных от копоти домов по широким, тускло освещённым улицам, вдыхая запах бурого угля, которым здесь отапливаются все жилища, думаешь о том, что когда-то, должно быть, это был очень красивый город. На месте рухнувших балконов торчат ржавые консоли. Нет ни одного жилого здания, которое не взывало бы о помощи. В центре города попадаете на глаза табличка: в этом доме квартировал студент Александр Радищев. Памятник старины, охраняемый законом. Берегитесь, возле памятника стоять небезопасно. А напротив громоздятся уже, так сказать, официальные руины — после войны прошло почти полвека. Вас, однако, ожидает испытание похуже: новые районы. Вы спрашиваете прохожего, как проехать, и в ответ слышите охотное и подробное, как в России, объяснение на забавном саксонском диалекте. Центральная улица-дорога в квартале новостроек называется *Heiterblickallee*, то есть аллея Весёлый Взгляд. Мрачные серо-коричневые блоки, груды мусора. Почти нет магазинов, нет кафе, сумрачно. Аллею, радующую взгляд, пересекает улица Платанов, где нет ни одного дерева, вообще ни единого кустика, да и улицей назвать её невозможно.

Веймар. Как не побывать в Веймаре? Автомобиль с западным номерным знаком, качаясь и подпрыгивая, въезжает в старинную, славную столицу крохотного великого герцогства Саксен-Веймар-Эйзенах. Останавливаемся на пустыре под названием «улица Фридриха Энгельса». Неужели «Федя» обитал и здесь? Впрочем, колеся по стране, привыкаешь к повсеместному присутствию этих друзей. Точно так же вас преследует повсюду, на юге и на севере, во всех городах и даже в самых дальних деревушках, незабвенный Эрнст Тельман. Третий избранник судьбы, везде оставивший своё имя, — Отто Гротеволь. Вылезаем. Напротив, по другую сторону дороги, высится старый и облезлый, словно памятник средневековья, новый дом из шлакоблоков. Мимо, с громом,

вздыхая прах, катит брезентовый фургон с надписями по-русски. На тротуаре, вернее, там, где когда-то был тротуар, стоит офицер в травянисто-зелёном кителе и разлтых штанах, — для меня, который год живущего вдали от родины, зрелище ошеломительное. Подойти и заговорить? Но я как-то стесняюсь. Минуту спустя едет ещё один фургон, и ещё один. Для маленького городка поразительно массивное братское присутствие.

3

Всё это, конечно, «западный» взгляд, а чего же, собственно, ожидали? Могло быть и хуже. Вы думали, что грязь и беспхозяйственность несовместимы с образом жизни, с психологией этого народа, но нет, это тоже Германия. Правда, русскому гостю бросилось в глаза, что вывески учреждений и магазинов — буквальный перевод с «советского». Например: «Продукты» или «Товары первой необходимости». Ведь на Западе товары второй необходимости считаются такими же необходимыми, как и первой.

Выясняется, о, стыд, что кроме этих речений, кроме партийной терминологии и ритуальных приветствий (*mit tschekistischem Gruß*, с чекистским приветом!), аляповатой героической живописи на стенах и в залах официальных учреждений, тайной полиции с её армией «информантов», созданной по образу и подобию Старшего Брата, кроме залитых бензином и смазочным маслом, загаженных территорий, на которых располагались советские войска, — почти полувековая оккупация ничем не обогатила эту страну. Выясняется, правда, и другое: некоторые старые традиции, вопреки всему, не исчезли. Станным образом не удалось уничтожить сельское хозяйство, не выкорчевана церковь, всё ещё жива прусская и протестантская мораль.

Как бы то ни было, это всего лишь первые впечатления. В один из дней мы останавливаемся в Дрездене у пожилой вдовы, в сумрачной квартире с высокими потолками и шкафами, на которых громоздятся пыльные чемоданы, с коридором, забитым рухлядью. Похоже на Москву тридцатых годов; и так же, как в моём детстве нашей соседкой была старушка, о которой говорили, что прежде ей принадлежала вся квартира или даже весь дом, так и дрезденская хозяйка некогда была домовладелицей. После 1949 года в ГДР была установлена низкая квартплата. Бедняки получили возможность жить в нормальных квартирах. Как не благословить государственный социализм! Но на мизерные деньги, взимаемые с жильцов, владельцы не могли содержать дома, поэтому им было милостиво разрешено

подарить свои дома государству. Что, однако, не решило проблему. Таково объяснение обвалившихся балконов, разрушенных подъездов, вонючих лестниц и всего остального.

Старая дама кисло улыбается, произносятся даже какие-то обломки русских слов. Во всех учебных заведениях ГДР русский язык был обязательным предметом. Но и среди молодых людей мне не посчастливилось встретить ни одного, кто сумел бы произнести хотя бы одну фразу по-русски. Ничего удивительного, наши сверстники в СССР тоже почти все учили в школе немецкий, и результат тот же.

Как все, она потрясена внезапными переменами и, кажется, не жалеет о прошлом. Как все, ненавидит «товарищей». Вообще с языком здесь происходит что-то похожее на то, что приключилось с немецкой речью после войны: рухнувший режим оставил после себя искалеченный словарь. Целый слой запачканных слов, которыми невозможно пользоваться. Слово *Genosse* зафиксировано в памятниках литературы за много веков до возникновения рабочего и социалистического движения. Сколько времени должно пройти, прежде чем это слово восстановит своё звучание и значение? Но в том-то и дело, что с правлением товарищей дело обстоит так же просто, как и с коммунизмом в России.

4

Кто-то бросил крылатую фразу: Германия становится северной и протестантской. Со времён Реформации и Тридцатилетней войны население бывшей Средней Германии, которая стала после 1945 года Восточной, почти исключительно является евангелическим. Эти земли, за исключением Саксонского королевства, раньше, чем западные приобретения Пруссии, были объединены под прусским владычеством. Слово «пруссачество» (*Preußentum*) вызывает привычные отрицательные ассоциации. «У других государств есть армия, — сказал Мирабо. — В Пруссии у армии есть государство».

Но, может быть, стоит вспомнить, что кроме деспотизма и палочной дисциплины, существовали прусские добродетели. Существовал Старый Фриц — Фридрих Великий, чей портрет нарисован в «Войне и мире», он носит там имя старого князя Николая Болконского. В семидесятих годах XVIII столетия Фридрих II принял участие в разделе Польши, отхватив изрядный кусок. И, как это ни горестно признать национальному самолюбию, под прусским королём польскому хлопю жилось лучше, чем под шляхтой.

Кто он такой, *der Alte Fritz*?

Маленький, подвижный, как ртуть, не знающий покоя и отдыха, уверявший всех, что сон — это привычка, от которой можно отучиться, и спавший четыре-пять часов в сутки, король-солдат и полководец, метавшийся от одной границы к другой во время Семилетней войны против обступивших Пруссию со всех сторон войск Большой коалиции, — но также *roi charmant*, обворожительный король, философ, писатель, поэт, музыкант и композитор, чьи произведения исполняются до сих пор, скептический вольнодумец, капризный деспот, вельможа, писавший и говоривший по-французски лучше, чем на языке своих подданных, реформатор и законодатель, истинный основатель прусской Германии, которому, однако претило всё немецкое, — всё, кроме немецкого, точнее, прусского чувства долга. «Король есть первый слуга государства». И, разумеется, каждый чиновник, каждый офицер, каждый юнкер. Это государство слуг и начальств, в котором неслыханная даже для века Просвещения веротерпимость — отнюдь не тождественная политической терпимости — сочеталась с иерархическим и верноподданническим духом, государство, устроенное на военнодисциплинарных началах и вместе с тем по-своему справедливое, где мужик мог подать в суд на помещика и выиграть процесс, суровое государство, где нет места коррупции, воровству и самоуправству. Государство, которое заслужило того, чтобы помянуть его добрым словом, хотя бы потому, что оно оставило в наследство сегодняшним гражданам Германии туповато-педантичную и достаточно занудную, но честную немецкую бюрократию.

5

Прибавьте к этому протестантскую этику с её представлением о труде как исполнении религиозного долга, с традицией скромного, почти скаредного, чуть ли не аскетического образа жизни, — какого-то унылого героизма. Кочуя по городам и весям вчерашней Германской демократической республики, ловишь себя на еретической мысли. Да, навязанный извне, лживый и бесчеловечный строй; говорили одно, делали другое, стреляли по собственным гражданам, то и дело — недели не проходило — пытавшимся бежать из своей страны любыми способами, по воде и по воздуху, через контрольные посты, сквозь запретные полосы, сквозь ряды проволочных заграждений, по которым пущен ток. И всё же эта страна была не только слугой и союзником главного брата. Не только старательным учеником, государством-тенью, где всё, от облика и образа жизни рядовых граждан до верхних ступеней власти, воспроизводило в уменьшённом виде Советский Союз. Но она была и потомком

Пруссии. Так стареющий правнук вдруг оказывается похожим на портрет прадедушки. Через голову нацистского рейха (у которого ГДР, само собой, тоже многому научилась) она протянула руку в восемнадцатый век, и оттуда, как из могилы, высунулась и пожала честную длань геноссе Эриха Хонеккера старчески-сухая, цепкая рука Старого Фрица.

Честную? Я снова вспоминаю разговоры с пожилой дамой из Дрездена, с научным работником в Восточном Берлине, с женой сельского пастора из области Уккермарк на севере Бранденбурга, с деревенским учителем в Рудных горах.

«У нас был не настоящий социализм».

«Позвольте... но где вы видели настоящий социализм?»

«Это не имеет значения. Важно, что *у нас* его не было».

Все эти люди были более или менее единодушны в своём отношении к рухнувшему строю. Их, однако, возмущали не столько принципы этого строя, сколько то, что они не выполнялись как следует. Негодование было вызвано тем, что в правительство затесались воры и взяточники.

В отличие от русского языка, по-немецки слова «кормило» и «кормушка» не звучат так похоже. Спросите рядового человека в России. Он забыл, что такое кормило, и скажет, что сидеть у кормила — это и значит сидеть возле кормушки. Коррупция верхнего эшелона в бывшей ГДР оказалась для граждан ужасным открытием. Странный народ! Даже если не все исповедовали — по крайней мере, в душе — марксистско-ленинское вероучение, они всё-таки считали своих жалких и изолгавшихся руководителей, этих вождей, устроивших для себя жизнь в общем-то не лучшую и не худшую, чем жизнь верхушки в других социалистических странах, — людьми долга. Они всё ещё думали, что живут в стране пусть не самой благоустроенной и либеральной, но возглавляемой властителем, который подаёт пример истовой службы государству. То, что в России никогда никого не удивляло и не удивляет, — что страной правит продажное жульё, — для них было неслыханным потрясением.

6

«...Особо упорное ядро демонстрантов вновь и вновь пытается воспрепятствовать рассеянию демонстрации и нацелить шествие на объекты партии, государственного аппарата, а также служебно-административные объекты Министерства Госбезопасности... В Ростке и Лейпциге ситуация перед служебными объектами МГБ время от времени обострялась. Небольшие группы провокационно настроенных демонстрантов по-

вторно вызывали инциденты, разжигали толпу посредством хоровых выкриков против МГБ, в том числе и с намерением спровоцировать сотрудников Органов Безопасности на неконтролируемые действия. Также и в других городах имели место перед объектами МГБ подстрекательские выкрики типа: “Сожгите этот дом”, “Свиньи из Штази, выходите”, “Бей их” или “По вас плачет верёвка”. Вследствие этого возникла значительная опасность для Государственной Безопасности и общественного порядка. Кроме того, установлено, что организаторы демонстраций, частью при поддержке церковных сил, всё больше переходят к тому, что захватывают инициативу в свои руки... Подпись: *Милке*.

Таково было одно из последних донесений генсеку Хонеккеру бывшего министра «штази», то есть Staatssicherheit, госбезопасности, — этого волшебного пароля всех деспотических режимов. Органы безопасности в опасности! Пятнадцатого января 1990 г. несколько тысяч человек вломилась в здание Главного управления «штази» на улице Норманнов в Восточном Берлине. Помещение взял под охрану гражданский комитет. В блоке VIII, центре всего комплекса, на стеллажах протяжённостью 18 тысяч метров стояли папки с делами на 6 миллионов подданных страны. Почти сорок процентов её 16-миллионного населения.

В саксонской столице мы остановились у бетонной стены, которую сплошь покрывают непочтительные надписи, те самые подстрекательские выкрики. Ворота, куда ещё недавно по ночам въезжали глухо закопаченные фургоны с врагами народа, а днём — бронированные лимузины с чинами главного государственного ведомства, распахнуты настежь. На заднем дворе громоздятся пустые железные стеллажи и картотеки без карточек. Рабочие выносят мебель, письменные столы, за которыми восседали эти крысы.

Штурм и крах цитадели — это символ и традиция европейских революций. Всю нашу жизнь мы видели дивный сон: несчётная толпа запрудила площадь Дзержинского, как некогда парижане — площадь Бастилии. Мужчины и женщины, и ветхие старики, и мальчишки, облепившие памятник, не спускают глаз с молчаливых, мрачных рабочих, которые что-то там делают, разматывают бикфордов шнур. Сейчас крепость взлетит на воздух. Сейчас... В этот момент меня кто-то будит.

7

Но и 89-й, и 2 октября 1990 года давно позади. Одиннадцать союзных земель «старой» Федеративной республики должны были взять на себя заботу о пяти новых землях: Бранденбурге, Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Ангальт и Мекленбурге — Передней Померании. Насту-

пили хмурые будни. Как и Советский Союз, ГДР была государством, хотя и державшим своих подданных в чёрном теле, но — содержавшим их. Теперь редко какое учреждение обошлось без «фактора 2» — необходимости сократить обоз сотрудников по крайней мере вдвое. Редко какое промышленное предприятие оказалось вообще жизнеспособным. То, что, как выяснилось, вся страна ГДР была банкротом, который рано или поздно слетел бы с копыт и без всякой революции, не утешало: ведь как-то работали, что-то зарабатывали, не говоря уже о привилегированной верхушке. И, наконец, это чувство, что у тебя отняли биографию... Восторг сменился унынием, уныние — возмущением. Начались демонстрации, в Галле канцлера Гельмута Коля забросали тухлыми яйцами.

Казалось — или могло показаться, — что братание с процветающим соседом сулит Восточной Германии огромные преимущества по сравнению с другими странами бывшего Восточного блока, коллегами по разбитому корыту. Так-то оно так. А вместе с тем барьер оказался слишком высок, прыгая, можно сломать шею. Куда спокойнее было бы «догонять» какую-нибудь Португалию.

«В Египте мы сидели у котлов с мясом...».

То, что принято называть гражданской и экономической свободой, означает отказ от утопических надежд. Вот цена, которую западное человечество платит за современный образ существования. Потому что свобода личности — это бремя взрослого человека; а мы привыкли считать себя подростками, привыкли быть ими. Потому что свобода для населения, жившего, вопреки заверениям о самом передовом и прогрессивном строе, в прошлом веке, означает внезапный отказ от провинциальности, и это всё равно что вывернуть с просёлочной дороги на гремящую и свистящую от проносящихся на огромной скорости лимузинов, смертельно опасную магистраль: некуда деваться, нужно лететь самому.

8

От Берлина до атлантического побережья Португалии приблизительно такое же расстояние, как от Берлина до Уральских гор. Если, воткнув в Берлин ножку циркуля, провести на карте Европы окружность радиусом в две тысячи километров, то в неё впишется весь или почти весь континент. Другими словами, Берлин — это географический центр Европы.

Чуть ли не на другой день после объединения начались разговоры о том, не перенести ли столицу в Берлин. Сейчас вопрос давно решён.

Всё же любопытно вспомнить доводы сторон в споре, который в конечном счёте представлял собой столкновение двух государственных концепций — централизма и федерализма. Оставить столицей провинциальный Бонн значило в большой мере подтвердить верность федералистскому устройству, союзу самоуправляющихся земель и городов, традиционному для Германии. Однако хочется быть «как все». Самая большая по населению в Западной Европе, экономически мощная страна с высоким международным престижем должна, не правда ли, иметь и соответствующую столицу. Берлин — это вертикальное измерение. Бонн — горизонтальное.

Выдвигались и более конкретные соображения. Берлин был столицей Германии после её объединения в 1871 году. До этого он несколько веков был главным городом Бранденбурга и Пруссии, столицей курфюрстов и королей, а ведь Прусское королевство в конце концов и возглавило объединение немецких государств. В Берлине жили великие писатели, мыслители, художники, музыканты, архитекторы, с Берлином связаны блестящие эпохи немецкой науки, — а что такое Бонн? Но дело не только в многовековом преемстве. На наших глазах Берлин пережил нечто не имеющее аналогий. Берлин стал символом расколотой Германии. Почти полвека три бывших западных сектора — три четверти города — были островком демократии в тоталитарном мире, анклавом Запада на порабощённом Востоке. Берлин был городом Стены. Берлин стал центром незабываемых событий, грандиозных манифестаций, неслыханного восторга, когда люди плакали и обнимались на огромной площади перед Бранденбургскими воротами, когда тысячные толпы повторяли: «Мы — народ! Мы — один народ!..». Наконец, после того, как обе части страны воссоединились, признание Берлина общенациональным центром должно означать, что бывшая Восточная Германия — не приёмлыш, а равноправная часть страны. Таковы были доводы в пользу Берлина.

Кандидатура Бонна казалась мне, однако, не менее убедительной. Перенос столицы — дорогое удовольствие. Кроме того, передислокация на восток означает, хотим мы этого или не хотим, известный геополитический сдвиг. Если когда-то Берлин был действительно географическим и экономическим центром Германии, то сейчас, после потери Восточной и Западной Пруссии, Восточного Бранденбурга, Силезии, Познани, Восточной Померании, Берлин находится на окраине страны. Берлин напоминает не только о прусской славе, он напоминает о прусском милитаризме. Что касается Бонна, то не такое уж это захолустье. Бонн — один из древнейших рейнских городов, вдвое старше Берлина: он был заложен ещё римскими легионерами. С тринадцатого века Бонн

был резиденцией кёльнских курфюрстов. Бонн — родина Бетховена. В Бонне был принят Основной закон Федеративной республики; Бонн — это колыбель и столица немецкой демократии. Он удачно расположен, обладает прекрасной системой коммуникаций, в Бонне всё налажено, в Бонне спокойно и уютно. И, наконец, разве так уж плохо, что резиденцией президента и правительства является небольшой город?

Что такое Берлин? Город, который, может быть, станет столицей XXI века, подобно тому как Париж, по выражению Вальтера Беньямина, был столицей XIX века. Но в наших воспоминаниях это город последних дней войны, цитадель врага, это флаг над рейхстагом, картины, которые и сейчас стоят перед глазами. А где-то в далёком детстве — весёлые строчки Маршака: «Идёт берлинский почтальон, последней почтой нагружён. На куртке пуговицы в ряд, как электричество, горят!»

9

Поедем в Наумбург. К юго-западу от Лейпцига, в долине реки Зале лежит городок, знаменитый своим собором. Если бы понадобилось назвать, допустим, пятнадцать величайших архитектурных сооружений средневековой Европы, то среди них, вместе с готическими храмами Франции и Испании, вместе с соборами в Бамберге и Вормсе, с московским Кремлём и церковью Покрова-на-Нерли, был бы наумбургский четырёхбашенный романо-готический собор с двенадцатью фигурами его учредителей.

Вы, конечно, слыхали о них, видели их в альбомах, а портал, не правда ли, вам хорошо знаком по копии в Московском музее изящных искусств. В латинской грамоте 1249 года за подписью здешнего епископа упомянуты *primi ecclesiae nosrtae fundatores*, «первооснователи нашей церкви». Мастеру из Майнца поручено увековечить их память. Основатели жили за двести лет до того, как была составлена грамота, следовательно, собор возведён в одиннадцатом или в десятом веке.

Каменные статуи в рост человека стоят на высоких карнизах, окружая сзади заалтарное пространство, так называемый западный хор. Мы глядим на них снизу вверх. Об этих людях сохранилось немногим больше сведений, чем о самом ваятеле, чьё имя осталось неизвестным. Они живут не столько в истории, сколько в искусстве. Искусство дарит бессмертие малозначительным деятелям, оставляя в тени великих. Полукругом стоят мейссенские и остмаркские графы Зиццо, Конрад, мечтательный Вильгельм, похожий на миннезингера; далее Дитмар, прикрывший нижнюю часть лица щитом, на котором начертано: *comes occisus*, то есть «убиенный граф», он и в самом деле погиб на поединке.

За ним мрачный, как туча, Тимо фон Кистриц, о котором известно, что он получил пощёчину от соперника и жестоко отомстил ему. Застывший с открытым ртом, точно поражённый внезапной мыслью, Дитрих фон Брена, две одинокие дамы — Гепа, благородная вдова с покрывалом на голове и раскрытой Библией, и грустная Гербурга — и две владетельные четы: слева Герман и Реглиндис, справа Эккегард и Ута.

Маркграфиня Ута фон Балленштедт стоит рядом со своим глуповатым супругом, слегка отгородившись приподнятым воротником плаща, устремив задумчиво-вопросительный взгляд в пространство. Это поразительный образ совсем молодой женщины, — говорят, она рано умерла, — в чьей позе и осанке соединены достоинство и робость, насторожённость и едва уловимое кокетство. И я подумал, что ради одной Уты стоило совершить всё моё путешествие.

Еврей в этой стране

Ответ на анкету журнала «Nota bene» (2005)

Даже тот, кого не интересует ни история Германии, ни судьба евреев, будь он немец, еврей или всякий другой житель этой страны, не мог бы пройти мимо того, что вы называете особой немецко-еврейской исторической связью: газеты и радио постоянно уделяют внимание этой теме, книжный рынок выбрасывает на прилавки магазинов всё новые публикации, в школах детям рассказывают о лагерях уничтожения, недели не проходит, чтобы телевидение не демонстрировало новые или старые документальные и художественные фильмы о нацизме и Голокаусте. В центре Берлина воздвигнут грандиозный Мемориал Катастрофы евреев. Публичное отрицание Голокауста в Германии уголовно наказуемо. Гитлеровский «тысячелетний рейх», просуществовавший 12 лет, не может и не должен быть забыт — для нынешнего населения Федеративной республики это азбучная истина.

Отсюда, между прочим, вытекает, что «еврейского вопроса» в том виде, как его формулировали пятьдесят или шестьдесят лет тому назад, как его понимают сегодня националисты в России, — в Федеративной республике не существует.

Вклад евреев — классиков немецкой поэзии и прозы, немецкой музыки, философии, науки известен более или менее каждому, но было бы странно, если бы кто-нибудь сегодня попытался изобразить их как инородное тело в духовном наследии этой страны. В последние годы в Германию массами устремились евреи из бывшего Советского Союза — этот факт примечателен.

Из сказанного, однако, не следует, что в Германии вовсе не осталось следов антисемитизма. Неприязнь к евреям или тем, кого считают евреями, недоверие, подозрительность, тайный страх — слишком старые и укоренённые комплексы в странах, где христианская церковь веками воспитывала или подпитывала юдофобство, чтобы можно было утешать себя мыслью, что они, наконец, близки к окончательному исчезновению. Поучение Библии о козле отпущения (Левит, гл. 16) обращено против самих евреев; я полагаю, что психологическая потреб-

ность в таком козле, равно как и успокаивающее совесть убеждение, будто евреи «сами виноваты» в своих бедах, сохранится всегда; во всяком случае, на наш век его хватит.

Возвращаясь к Германии, замечу, что повышенная насторожённость немецкого общества ко всему, что может напомнить настроения, подготовившие трагедию еврейства в нацистской Германии и захваченных ею странах, подчас приводит к тому, что даже относительно безобидные проявления антипатии к евреям влекут за собой последствия, которые стороннему наблюдателю могут показаться неадекватными. Политический деятель, который осмелится высказаться в подобном роде, заплатит за это своей карьерой. Мы бывали свидетелями таких эпизодов.

Но на политическом горизонте присутствуют и такие группировки, как, например, неонацистская NDP («национальная немецкая партия») — нынешний наследник других, похожих на неё мелких политических партий, время от времени появлявшихся и исчезавших за последние десятилетия. Так как и эта партия, и её предшественники по своей малочисленности и слишком малому числу сторонников никогда не были сколько-нибудь серьёзной политической силой, то собственно политической опасности они не представляют. Никто не дискутирует с этими людьми; демократия вынуждена их терпеть; за ними наблюдают ведомство охраны конституции и полиция. Опасения вызывает другое. Небывалый военный разгром, гибель городов и культурных памятников, потеря значительной территории, изгнание одиннадцати миллионов немцев из Восточной Пруссии, Восточного Бранденбурга, Познани, Силезии, Судетской области, наконец, положение изгоев в семье европейских народов — не могли не остаться глубокой, до сих пор плохо зарубцевавшейся раной в душах старшего поколения. На этом играют неонацисты. Этим отчасти объясняется сочувствие, чаще всего не афишируемое, которое они находят у некоторых, к счастью, немногих избирателей.

Вы просите меня ответить на несколько вопросов, касающихся лично меня. Я эмигрировал из России в тогдашнюю Западную Германию в начале 80-х годов. Я благодарен этой стране за то, что она приютила меня и мою семью и предоставила нам возможность построить новое существование. Я отношусь к немецкому народу с симпатией. Если я выбрал Германию как страну изгнания, то потому, что я с молодых ногтей был связан с немецким языком, литературой и музыкой. То, что некогда называлось духом германской культуры (*deutscher Geist*), не было для меня пустым звуком. Я не мог и не могу понять людей, противопоставляющих русскую культуру духу и культуре дру-

гих стран, не могу принять этот принцип: либо — либо. Общаюсь ли я с немцами? Разумеется; и не могу представить себе мою жизнь здесь вне этого общения. У меня есть друзья в этой среде; я довольно много печатался в немецкой прессе, выпускал книги; через жену моего сына я приобрёл немецких родственников. Прожив в Баварии 28 лет, я ни разу не сталкивался с проявлениями антисемитизма, направленными против меня или моих близких.

Один из заданных Вами вопросов — чувствую ли я себя в Германии как в своей стране, как в чужой стране или как в стране враждебной. Помню ли я о том, что это страна еврейской Катастрофы?

Ответ отчасти в том, что я уже сказал. Я родился в России, провёл там больше пятидесяти лет своей жизни. Нигде, кроме Советского Союза, я до моего отъезда не бывал. У меня не было никаких иллюзий насчёт моих перспектив в другой стране, и в самом деле, натурализоваться в 50 лет невозможно. Но я хорошо помню свою жизнь в России. Помню и настроение последних месяцев накануне эмиграции, — настроение человека, который чувствует себя абсолютно ненужным, чужим и лишним на родине, которого выталкивают, предлагая — прямо или косвенно — изгнание как альтернативу повторному аресту; настроение, когда нечем больше дышать, когда говоришь себе: куда угодно — лишь бы вон отсюда. Когда, наконец, думаешь о том, что у твоего сына здесь нет никакого будущего — ему предстоит пройти то же или почти то же, что прошёл ты.

Что и говорить, судьба эмигранта — не из тех, которым можно позавидовать. Может быть, правильней было бы сказать, что в Германии я чувствую себя менее чужим, в меньшей степени не дома, чем в России или где бы то ни было.

Помню ли я о гибели шести миллионов евреев, — ещё бы не помнить. Но даже если бы хотелось забыть, не вспоминать, не думать об этом, — память прошлого, которая здесь жива, вероятно, больше, чем где-либо, вернула бы меня к этому прошлому. Добавлю, что и в России у меня было, насколько я мог судить, гораздо более полное и подробное представление о том, чем был немецкий национал-социализм, нежели у многих принадлежавших к интеллигентному кругу, — о простом народе и говорить не приходится.

Всё это подводит нас к вопросу об истоках и причинах нацизма, о том, что называли немецкой судьбой. Разумеется, я могу об этом рассуждать лишь как дилетант-самоучка; дилетантизм — это профессия писателя. И всё-таки.

Говорить о национальном характере любого народа трудно, его можно почувствовать, но не определить; в Германии ответ осложнён

традиционным регионализмом, наследием многовековой раздробленности. Переезжая из одной федеральной земли в другую или даже сравнивая небольшие области, вы видите, как пестра и многолика эта страна, как разнообразна её природа, как сильно разнятся диалекты. С другой стороны, находясь в центре Европы (у сегодняшней Федеративной республики больше соседей, чем у любой другой страны мира, кроме России), этот народ впитал в себя разнородные свойства, усвоил разные обычаи. Всё же у меня сложилось некоторое представление об общенациональных чертах немцев. Немецкая музыкальность едва ли может найти себе равных; с нею тесно связана черта психической конституции, обозначаемая трудно переводимым словом *Innerlichkeit* (обычный перевод — самоуглублённость; я бы перевёл: немецкая задумчивость о мире).

Можно ли настаивать на том, что эти или другие национальные черты помогли Гитлеру придти к власти или даже предопределили победу национал-социализма? Не больше и не меньше, чем утверждать, что качества русского национального характера способствовали победе большевиков. Точно так же, как мы не можем утверждать, что тоталитарный режим там и здесь был чём-то случайным, свалившимся с неба. В любом случае — об этом то и дело приходится напоминать — отделить «национальные» факторы от социальных и экономических невозможно. Речь идёт не об оправдании, оправдывать совершённые преступления само по себе преступно. Речь идёт о понимании. Проблема остаётся жгучей и для нас. Но мы пришли позже, и это обязывает нас взглянуть на страшную историю минувшего века шире и с разных сторон.

Вас интересует, видят ли мои немецкие друзья и собеседники во мне еврея? Безусловно. В первую очередь, однако, если не говорить о чисто личных отношениях, я для них — представитель русской культуры и литературы. Той культуры и литературы, которая в Германии — предмет давнего традиционного почитания. Сам я хотел бы ощущать себя космополитом в лучшем смысле этого слова, в том смысле, который вкладывал в это слово Гёте. Но для меня это невозможно. На вопрос, кто я такой, я могу ответить: я еврей и русский интеллигент. Я не вижу здесь противоречия, такое сочетание достаточно традиционно.

Последний вопрос — об Израиле. Для каждого еврея, где бы он ни жил, существование демократического еврейского государства есть по меньшей мере утешение. Не сочувствовать этому государству, не интересоваться его судьбой, не опасаться за его выживание — невозможно. Я

не чувствую себя достаточно компетентным для того, чтобы подробно обсуждать актуальную ситуацию Израиля, идеологию и политику его лидеров. Одно могу сказать: террор дискредитирует и, в сущности, отменяет любые лозунги. Они больше ничего не стоят. Они становятся дымовой завесой. На знамёнах палестинского терроризма все фразы о национальном освобождении, борьбе с сионизмом, американским империализмом и т.п. — вздор.

Дым Отечества

Из выступлений по радио

Я получил несколько писем от незнакомых людей из разных мест бывшего Советского Союза. Пишут об одном и том же: помогите выехать, помогите поселиться в Германии. Вероятно, такие воззвания приходят не только ко мне.

Образ Германии изменился. Ещё недавно это была страна, которую не любили, которой боялись, к которой питали открытую неприязнь, если не злобу. Объединение двух частей Германии вновь вызвало опасения на Западе перед растущей силой этой страны, но примечательно, что советское население эти чувства уже не разделяло. Образ Германии переменялся настолько, что теперь в ней видят чуть ли не самое симпатичное государство в Европе. Во всяком случае, это относится, насколько мы можем судить, к людям молодого поколения.

Дело, однако, не столько в этой стране, сколько в той, которую хотят покинуть. От хорошей жизни не побежишь. Можно понять, почему соблазн эмиграции вдруг предстал как спасительный выход не перед одиночками — неудачниками, отщепенцами или искателями приключений, а перед массой рядовых людей; почему они поняли, что им нечего терять, — и вспомнили о земляках за границей, до недавнего времени никого не интересовавших. Я бы не удивился, даже если бы получил послание от какого-нибудь работника ОВИР с просьбой помочь устроиться в Германии. Что говорить, — почти у каждого из нас, живущих здесь, остался муторный осадок от времён, когда нас вышибали, когда садисты, сидевшие в бесчисленных учреждениях, измывались над нами, как только могли, когда тобою владела одна мысль — поскорей унести ноги, когда от всех друзей и знакомых осталась маленькая кучка тех, кто пришёл тебя проводить. Но не о нас речь. Дело идёт о людях, которые теперь живут вроде бы в свободной стране: никто их не держит и никто не гонит вон. Но оставаться там им больше не вмоготу. Так, по крайней мере, им кажется.

Конечно, теперь, когда ворота открылись, западный мир манит к себе; конечно, это связано с привычным чёрно-белым взглядом на мир: если «у нас» всё ужасно, то «у них» — всё прекрасно.

Впечатления гостей, повидавших Германию, как будто подтверждают этот взгляд. После отравленного дыма Отечества они вдыхают чистый воздух страны, где как будто не существует житейских трудностей. Города, залитые светом, роскошь витрин. Нет этого вечного разора, поваленных заборов, развалившихся домов. Нет очередей. Не видно хулиганья. Не слышно ругани. Вежливая полиция, чистые улицы и прекрасная еда.

Погоуляв день-другой по такому раю, гость из России уже не слышит того, что ему осторожно пытаются объяснить хозяева: что жизнь за границей отнюдь не так легка, какой она кажется, что надо прожить в чужой стране многие годы, прежде чем ваше существование кое-как наладится, что все эти блага оплачены нелёгким трудом, да и то если вам удалось найти работу. Ему как-то трудно привыкнуть к мысли, что славную русскую поговорку «работа не волк, в лес не убежит» здесь придётся позабыть. Он не может усвоить ту очевидную истину, что в богатой стране неограниченный выбор благ ограничивается вашими весьма скромными возможностями и что оборотная сторона и даже условие этого богатства — необходимость экономить на всём. Приезшему человеку трудно представить себе, что все эти сады Семирамиды мгновенно повернутся к нему другой, прозаической стороной, когда он захочет превратиться из туриста в беженца.

Те, кто меня слышит по радио, подумают, что я задался целью отговорить моих корреспондентов от намерения поднять паруса. Это не так или не совсем так. Ясно, что когда бросаешь дом, покидаешь родину, вопрос не сводится к простому балансу потерь и выгод. Это всё равно что бросить женщину, с которой прожил всю жизнь. Никаких советов никто вам не даст. И ни один арбитр не в состоянии переубедить человека, который понял, что ему надо развестись. Правда, новые эмигранты, в отличие от нас, не поставлены перед жестокой необходимостью порвать с прошлым окончательно и навсегда: дверь за ними не захлопнулась, они могут даже какое-то время проживать в двух странах. Они могут вернуться. Кроме того, они делают более или менее свободный, самостоятельный выбор. Можно подумать, можно и отложить решение. Эмиграция стала модой, русские писатели, живущие за рубежом, охотно дают интервью для отечественной прессы, и сама эта пресса со вкусом обсуждает ситуацию изгнания. Но, кажется, тому, кто подумывает поднять якорь, эти обсуждения ничего не дают. Реальная, повседневная жизнь на чужбине остаётся для него тайной — как и для самих журналистов.

Шестнадцатая статья Основного закона Федеративной республики гласит (перевожу её слово в слово): «Ни один немецкий гражданин не может быть выдворен за границу. Политически преследуемые лица пользуются правом убежища».

К этому краткому тексту, который, собственно, и дал в своё время вашему слуге право поселиться в Германии, можно присовокупить статью 105 Конституции Свободного государства Бавария — федеральной земли, откуда мы ведём эту передачу: «Иностранцы..., преследуемые за границей и бежавшие в Баварию, не могут быть изгнаны или высланы обратно».

Этот закон был принят после войны, когда у всех перед глазами была судьба немецких эмигрантов из гитлеровского рейха, мыкавшихся по всему свету, и когда само собой подразумевалось, что в страну могут прибыть только политические беженцы — например, из соседних коммунистических стран. Да и мало кто выражал желание поселиться в проклинаемой всеми, разрушенной и обрубленной Германии. С тех пор всё изменилось. Отделить преследуемых от тех, кто просто устал от нищеты и грязи в своих странах, нелегко; во всяком случае, ясно, что огромное большинство прибывающих — это не политические, а так называемые экономические эмигранты. Но просто так в демократической стране человека не вытолкнешь, идёт бюрократическая процедура; пока суд да дело, эмигрантов пытаются как-то расселить, выдают им минимальное пособие; всё это тянется месяцами, канцелярии перегружены, чиновников не хватает, — в этом можно убедиться, заглянув, например, в Мюнхене в учреждение, называемое *Auslanderamt* (ведомство по делам иностранцев): коридоры забиты людьми.

В стране идёт многомесячная дискуссия: партии не могут договориться о том, как справиться с этим натиском, не поступаясь принципами демократии и обыкновенной человечности. Этот натиск, впрочем, испытывает вся Западная Европа — островок относительного благосостояния в огромном обездоленном мире. Если бы мы сейчас, завели разговор о новом переселении народов, которое происходит у нас на глазах, это завело бы нас слишком далеко. Между тем поступили сообщения о безобразных взрывах ненависти к иностранцам, которые добиваются права убежища. Речь идёт о группах люмпенизированных подростков и всякого отребья, полиция воюет с ними, общественность пытается успокоить ни в чём не повинных иностранцев, федеральный президент посещает эмигрантские общежития, тем не менее, пятно ложится на всю страну.

Существует несколько предложений: изменить формулу Основного закона, ужесточить контроль на границах (это в наше-то время!), ввести квоту для эмигрантов, как в Америке, составить список государств, где заведомо нет преследований. Попробуйте-ка составить такой список. Пока что все стороны, правительство и оппозиция, согласны только в одном: что нужно ускорить бюрократический процесс проверки, имеет

ли данное лицо право получить убежище. На этих днях бундестаг обсуждает проект закона о шестинедельном сроке. Сейчас отказ получают не менее 95 процентов приезжих.

Итак, что ответить моим корреспондентам? Что жить в чужой стране нелегко? Что в особенности советскому человеку, приученному к государственной опеке, на первых порах приходится несладко? Что не так-то просто найти для себя нишу, привыкнуть к новым обычаям, приобрести новых друзей, жить в стихии другого языка и овладеть этим языком? Они это знают и без меня. Что сказать человеку, который спрашивает, стоит ли ему жениться? Если колеблешься — значит, не стоит.

Русский сон о Германии

1

Некий 18-летний помещик прибыл в своё имение в одной из северо-западных губерний Европейской России, дело происходит, как удалось вычислить (Ю.Лотман), весной 1820 года. Он прискакал верхом, его багаж прибыл заблаговременно. Молодой барин вернулся из чужих краёв, одет по-европейски.

...По имени Владимир Ленский,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привёз учёности плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри чёрные до плеч.

Портрет русского романтика, скроенного на немецкий лад. Нетрудно представить себе его внешность: на нём белая рубашка с широким отложным воротником, открывающим шею, длинные локоны, как у Новалиса, спускаются на плечи. Ленский — питомец геттингенского университета, в то время одной из самых либеральных высших школ Западной Европы, и, разумеется, поэт; то, как характеризует его поэзию Пушкин («Он с лирой странствовал на свете; /Под небом Шиллера и Гете /Их поэтическим огнём /Душа воспламенилась в нём... /Он пел разлуку и печаль, /И нечто, и туманну даль... /Он пел поблекший жизни цвет»), и прощальное письмо к Ольге Лариной довершают его облик. Как и положено романтическому поэту, Ленский гибнет — правда, не от туберкулёза, как певец Голубого цветка, а на дуэли.

Важно отметить, что это не только литературное воплощение конкретного типа молодого человека, типа, который появился в русском

дворянском и образованном обществе первой четверти XIX столетия. За образом пылкого, наивно-восторженного, отметающего прозаическую действительность, мечтательного и несурзкого Ленского вырисовывается образ Германии, каким его рисовали себе в России. Пушкинское определение страны, откуда юный поклонник Канта вывез чёрные кудри и вольнолюбивые мечты, — «туманная», — имеет некоторый обобщённый смысл. Черты этой русской Германии сохранились надолго.

2

«Мы, Пётр Первый, Царь и протчая... избрели за благо Брауншви́г-Люнебургского тайного юстицрата Готфрида Вильгельма фон Лейбница за его Нам выхваленные и от Нас изобретённые изрядные достоинства и искусства такожде в Наши тайные юстицраты определить и учредить... понеже Мы известны, что он ко умножению математических и иных искусств и проиыскиванию гистории и к приращению наук много вспомоши может, его ко имеющему Нашему намерению, чтоб науки и искусства в Нашем государстве в вящий цвет произошли, употребить. И Мы для вышеупомянутого его чина Нашего тайного юстицрата годовое жалованье по тысячи ефимков [или] альб[ертусов] определить изволили».

Именной указ от 1 ноября 1712 г., по которому 66-летний ганноверский философ, математик, физик, инженер, юрист, лингвист и придворный историограф был зачислен на русскую службу с пенсией в 1000 талеров, весьма пригодившейся Лейбницу, когда несколько лет спустя двор во главе с новоиспечённым английским монархом переехал в Лондон, а старик остался доживать свои дни в захолустном Ганновере, — один из ранних и малоизвестных документов, подготовивших вклад немецкой мысли в европеизацию огромного государства на Востоке. Русский царь познакомился с Лейбницем в том же году на курорте в Бад-Пирмонте. В бумагах Лейбница, поданных на имя Петра, имеется подробный план развития просвещения и науки в России и чертёж Волго-Донского судоходного канала.

Три последних столетия политическая и культурная история нашей страны тесно связана с историей Германии. Основание первого русского университета и Академии Наук — в большой мере заслуга немецких учёных; в дальнейшем все университеты в России были организованы более или менее по немецкому образцу. Наука и образование, торговля и ремёсла, государственная администрация и бюрократия, вооружённые силы и военное дело — во всех этих областях выходцы из Германии сыграли выдающуюся роль. Династия Романовых,

вскоре после кончины Петра I угасшая по мужской линии, во второй половине XVIII века пресекается и по женской; со смертью Елизаветы Петровны (1762) императорский дом, хотя и носит по-прежнему имя Романовых, становится Гольштейн-Готторпским. Начиная с эпохи Петра, все русские царицы, за единственным исключением, были немками; самая знаменитая среди них — это, конечно, София-Фридерика-Августа, принцесса Ангальт-Цербтская, на шестнадцатом году жизни прибывшая в Санкт-Петербург «с тремя мешками старых платьев» в качестве приданого, как пишет Ключевский, и свергнувшая своего супруга Петра III, чтобы стать императрицей, «матушкой государыней»; Екатерина II замечательно усвоила русские обычаи, русский образ жизни, русский язык, но так и не научилась говорить без акцента. Прусская придворная лексика сохранялась в России до конца монархии. Количество немецких научных, технических и военных терминов, вообще слов немецкого происхождения в русском языке огромно. Некоторые из них живут в русском языке после того, как они давно исчезли из немецкого.

Знать следовала примеру монархов. Родовитый московский барин Иван Яковлев вывез из Штутгарта 16-летнюю дочь мелкого чиновника Генриетту Луизу Гааг, в России ставшую Луизой Ивановной, и придумал для своего незаконнорожденного сына фамилию Герцен. Гвардейский офицер и помещик Афанасий Шеншин вернулся из Дармштадта с молоденькой беременной Шарлоттой Беккер, которую он увёл от мужа (по некоторым сведениям, выкупил); сын «Лизаветы Петровны» стал Афанасием Фетом.

Длительное и многообразное влияние было бы невозможным без человеческих контактов, без регулярного притока иностранцев в Россию. В XIX веке в Россию переселилось примерно полтора миллиона выходцев из немецких земель. Фигура немца-музыканта, учителя, ремесленника, мастера-умельца, мелкого торговца — привычная и обязательная принадлежность российского помещного, провинциального и столичного быта. Русская литература трансформировала эту фигуру в традиционный образ — лучше сказать, в галерею так или иначе варьируемых образов, то и дело воскресающих в произведениях русских классиков.

3

Но прежде вспомним ещё одну персонификацию русской Германии — носителя старинного, громкого аристократического имени, в котором автор «Войны и мира» изменил одну букву.

«...Отворялась громадно-высокая дверь кабинета, и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика с маленькими сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими блеск умных и молодых блестящих глаз».

Князь Николай Андреевич Болконский, отставной екатерининский генерал-аншеф, впавший в немилость при императоре Павле, безвыездно живёт посреди своих крепостных, в окружении челяди, вдали от столиц, в занесённой снегом усадьбе, где, однако, не предаётся безделью. Он считает, что все человеческие пороки порождены двумя причинами — праздною и суеверием — и ценит две добродетели: деятельность и ум. С раннего утра он занят: пишет мемуары, погружён в математические выкладки, работает на токарном станке, копается в саду, руководит работами в своём имении, где постоянно что-то строится. Превыше всего старый князь блюдет дисциплину, сам подаёт пример и требует от окружающих неукоснительного исполнения раз навсегда заведенного порядка.

Разумеется, мы в курсе дела, да и в свете старого князя называют за глаза *le roi de Prusse*. Нетрудно узнать прообраз Болконского. Умный, желчный, деспотичный, неутомимо-деятельный, капризно-взбалмошный старик, порой невыносимый, всегда обаятельный, — почти пародия на Старого Фрица. И всё же не пародия: Толстой не скрывает своей симпатии к нему, в то время как эпизодические образы «настоящих» немцев в романе скорее несимпатичны. Что ещё важнее, князь Болконский-старший — вовсе не фигура подражателя: это чрезвычайно цельный и органичный для тогдашнего русского общества образ. Не зря он противопоставлен искусственным людям — актёрам придворного круга и высшего света, вроде лощёного князя Василия Курагина и его детей.

Конечно, ко времени, когда создавался роман, живые прототипы Болконского давно вымерли. Но осталось жить и сохранило притягательность то, чем в более общем смысле является этот образ: русское зеркало Германии, точнее, Пруссии.

В другом, более раннем произведении Льва Толстого, автобиографической трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность», на первой же странице читателя встречает лицо с немецким именем и русифицированным отчеством. Повествователя связывают с домашним наставником и воспитателем Карлом Ивановичем сложные чувства; в жизни подростка немец-учитель занимает куда более важное место, чем родители.

«Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы.

Он сидит подле столика... в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, чёрная круглая табакерка, зелёный футляр для очков, щипцы на лоточке. Всё это так чинно, аккуратно лежит на своём месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадёшься наверх, в классную, смотришь — Карл Иваныч сидит себе один на своём кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались...»

4

Учитель Карл Иванович Мауэр возглавляет хоровод немецких персонажей русской художественной литературы классического века; все они похожи друг на друга, все отражают и одновременно формируют привычное представление о Германии и традиционный образ немца в русском культурном сознании.

Это почти всегда добрые и одинокие старики-бедолаги, в молодые годы приехавшие в Россию в надежде поправить свои дела, но так и не добившиеся успеха, старательные, чудаковатые, смешные, склонные к сентиментальной риторике, идеалисты, книжники и музыканты. Прожив много лет в чужой стране, они всё ещё дурно говорят по-русски; это объясняется тем, что их наниматели, русские аристократы, владеют немецким; музыканту или учителю из Германии приходится изъясняться по-русски только со прислугой, да и сам он, в сущности, слуга. Жизненный путь этого персонажа — отражение реальной ситуации большинства немецких уроженцев в тогдашней Российской империи, но, конечно, здесь не обходится без известной стилизации. (Мы оставляем в стороне немецких крестьян-колонистов, прибывших в Россию в XVIII в. и образовавших устойчивые национальные анклавы на Нижней Волге и Украине. Их присутствие почти не оставило следов в русской литературе. За рамками этой статьи остаются и «остзейцы» — немецкие прибалтийские дворяне, постоянно пополнявшие ряды бюрократии и офицерства и в большинстве своём русифицированные до полной самоидентификации с Россией).

«Христофор Теодор Готлиб Лемм родился в 1786 году в королевстве Саксонском, в городе Хемнице, от бедных музыкантов... Он

уже по пятому году упражнялся на трёх различных инструментах. Восьми лет он осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством... На двадцать восьмом году переселился он в Россию. Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из чванства...» Через семь лет хозяин Лемма разорился, немец остался ни с чем. «Ему советовали уехать; но он не хотел вернуться домой нищим из России, из великой России, этого золотого дна артистов...»

Тургенев, который любил предварять рассказ о своих героях подробными биографиями, не делает исключения и для папаша Лемма. Действие романа «Дворянское гнездо» происходит в 1842 году, Лемму 56 лет, по тогдашним понятиям это уже старость. Вдобавок он выглядит старше своих лет — следствие невзгод и разочарований. В России его зовут Христофор Фёдорович. Как и прежде, он беден и одинок.

Не случайно он саксонец — земляк Баха и Генделя. Лемм — учитель Лизы Калитиной, дворянской дочери, в которую он тайно влюблён и которой преподносит духовную кантату собственного сочинения под титлом «Только праведные правы», с посвящением: Für Sie allein.

В губернский город возвращается из-за границы помещик Лаврецкий. Однажды ночью, после решающего объяснения с Лизой, герой романа слышит игру на рояле из верхних окон небольшого дома, где проживает Лемм.

«Звуки замерли, и фигура старика в шляфроке, с раскрытой грудью и растрёпанными волосами, показалась в окне... Лаврецкий проворно взбежал наверх, вошёл в комнату и хотел было броситься к Лемму; но тот повелительно указал ему на стул, отрывисто сказал по-русски: “Садитесь и слушать”; сам сел за фортепьяно, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного...»

Наконец-то, первый раз в жизни, старого музыканта посетило подлинное вдохновение, и он создал нечто великое.

5

В последние десятилетия XIX века обе страны, мучительно ощущавшие свою отсталость, переживают капиталистический бум. Германия поворачивается к русскому соседу другой личиной: теперь это уже не лоскутная провинциальная страна карликовых княжеств, затхлых полусредневековых городков, почтовых рожков, романтических туманов, страна сентиментальных мечтателей, заоблачных философов, пухленьких золотоволосых девушек в белых передниках, загадочно-гротескных гофмановских персонажей, гномов и фей. Перед

нами могущественная империя, победительница привыкшей к победам Франции. Достоевский, который, в отличие от Тургенева и Толстого, был выходцем из мещанской среды, усвоившем её предрассудки, в своих романах чаще всего изображает немцев — как и поляков, как и французов, о евреях и говорить нечего, — в весьма неприглядном виде (единственное исключение — доктор Герценштубе в «Братьях Карамазовых»), зато в «Дневнике писателя», оценивая политическую обстановку в Европе конца 70-х годов, явно берёт сторону Германии. Князь Бисмарк — «гений», объединённая Германия, ставшая главной политической силой на европейском Западе, с народонаселением, которое превысило население якобы вырождающейся Франции, — эта Германия — ныне естественный и достойный союзник России.

Одно дело — немцы в России, другое — там, за польскими клеверными полями и болотами. По-прежнему русское сознание не свободно от идеализации немецкого соседа, но теперь она приняла другую форму: немцы — дисциплинированный, хозяйственный, скаречно-скупой, сухо-расчётливый народ; немцы — это химики, инженеры, изобретатели, знаменитые врачи; «немец в Гамбурге Луну выдумал»; все технические новшества, машины, приборы, инструменты, очки, лекарства, всё, что делается из стали, от зольингенских ножей и вилок до железнодорожных рельс и артиллерийских орудий, — всё оттуда, из Германии. И всё это каким-то образом сочетается с позднеромантической немецкой музыкой и новой философией — музыкой подавляющей мощи и философией воли к власти. Германская мысль предстаёт как чарующий и опасный соблазн. В писаниях Ницше русскую публику околдовывает и устрашает весть о сверхчеловеке; в произведениях русских писателей появляются ницшеанские мотивы; Рихард Вагнер, которого Достоевский называет «прескучнейшей немецкой канальей», находит в России горячих поклонников.

Можно удивляться тому, что до сих пор мало обращали внимание на черты близости у создателя «Кольца» и «Парсифаля» — и автора «Братьев Карамазовых». Сходство прослеживается и в биографии (мелкобуржуазное происхождение; запутанная ситуация в родительском доме — неясность отцовства и ранняя потеря отца у Вагнера, неясная смерть отца, по-видимому, казнённого своими крепостными, у Достоевского; раннее, хронологически совпадающее участие в революционном движении и политическое преследование — бегство Вагнера, объявленного политическим преступником, из Дрездена, арест, смертный приговор и заменившая его каторга Достоевского), и в эволюции мировоззрения (от революционной утопии к монархизму, почвенничеству и шовинизму), и, наконец, в творчестве. Монах в миру Алёша Карамазов напоминает юношу Парсифаля, Грушенька — Кундри.

Иронический вираж истории в первой четверти двадцатого века состоял в том, что страна, добрых полтора столетия дававшая приют немецким искателям счастья, сделалась в свою очередь страной исхода. В конце 1918 года в немецких лагерях для военнопленных Первой мировой войны находилось свыше миллиона русских солдат и офицеров, и хотя значительная часть их довольно скоро возвратилась на родину, навстречу им в Германию повалили толпы граждан рухнувшей Российской империи. Для многих из этих беглецов Германия, недавний враг, отнюдь не была чужой и чуждой страной: интеллигенты учились до войны в немецких университетах, немало дворянских семейств было связано родственными узами с немецкими княжескими домами. Последний русский царь приходился, как известно, кузеном последнему кайзеру; официальный претендент на российский трон, великий князь Кирилл Владимирович обосновался, правда, ненадолго, в Кобурге.

Центром русской диаспоры в Германии стала прусская столица, где в 1922–23 гг. насчитывалось 360 тысяч новопривывших выходцев из России, — приют известных писателей, местонахождение многочисленных русских книгоиздательств, редакций журналов и газет, литературных клубов и т.п., не говоря уже о торговых и банковских конторах, учреждениях бытового обслуживания, пансионах, ресторанах. Так называемый Русский Берли первой половины двадцатых годов — особый анклав русской литературы.

Но вот что любопытно: к русскому представлению о Германии и немцах эти годы ничего или почти ничего не прибавили. Образ Германии в русской сознании занимал, как мы видели, весьма важное место на протяжении всего XIX столетия, до тех пор, пока дети этой страны приезжали и селились в России в качестве не слишком многочисленного экзотического меньшинства. Теперь же, когда появилась возможность непосредственного и многостороннего контакта, возможность познания немецкого характера *ex fonte et origine*, когда русская литература поселилась в Германии, — образ немца исчез или почти исчез из литературы. Персонажи с немецкими именами, если и появляются время от времени в качестве эпизодических лиц, на страницах эмигрантских рассказов и романов, не выдерживают сравнения с полнокровными фигурами немцев у классиков русской литературы. Это уже не живые лица, а манекены.

Немцы Русского Берлина в лучшем случае присутствуют на заднем плане как нейтральный элемент обстановки. Как люди они совершенно не интересуют автора; кажется, что они и не заслуживают внимания;

чаще же всего русский писатель, будь то Алексей Толстой, Владимир Набоков или Виктор Шкловский, относится к местным жителям с плохо скрываемым презрением. Очевидно, что Германия утратила для него привлекательность.

Причины этого понятны, они коренятся в тенденции — свойственной всякому изгнанию — к инкапсуляции. Русская духовная элита во главе с писателями, та самая интеллигенция, для которой Западная Европа была издавна «страной святых чудес» теряет к ней всякий интерес, увидев её вблизи, вынужденная обосноваться в этой стране грёз, вдобавок далеко не в самый счастливый момент её истории.

7

Деградация немецкого образа наблюдается и в метрополии. Два обстоятельства способствуют превращению литературного мифа в политический плакат. Гулкое, разнёсшееся по всей Европе эхо русской революции, кризис либеральных ценностей, социальный кризис и радикализация рабочего и социал-демократического движения на Западе, прежде всего в Германии, на родине Маркса и Лассалья, — с одной стороны. С другой — превращение «первого в мире государства рабочих и крестьян» в закрытую страну, где вместе с другими гражданскими свободами отменена свобода передвижения, где любые не регламентированные сверху, неконтролируемые контакты с иностранцами пресечены. Под лозунгом пролетарского интернационализма государственная пропаганда декретирует общеобязательные представления о том, кто и как живёт в других странах. Всё ещё живая вера молодёжи в марксистско-ленинскую догму, мировую революцию, близкое светлое будущее и т.п. облегчают индоктринацию. Идеология куёт новый образ немца и Германии.

Этот образ прост, как плакат. Двойной, двуликий образ: справа немецкий фабрикант пушек и производитель боевых отравляющих газов, какой-нибудь Крупп или заправила концерна ИГ Фарбениндустри, с голым бычьим черепом, в монокле, похожий на гротескных персонажей Георга Гросса; слева — немецкий рабочий. Под красным знаменем Германской компартии, на котором красуется лобастый профиль вождя трудящихся и угнетённых всех стран, сжимая древко мускулистой рукой, в пролетарской кепке и рабочем фартуке, вслед за товарищем Тельманом, топчя тяжёлым народным сапогом фашистскую нечисть, с «Интернационалом» и песней о Красном Веддинге на устах, немецкий «пролет», механический человек на шарнирах, демонстрирует всегдашнюю готовность придти нам на помощь — нам, Советскому Сою-

зу, — если империалисты посмеют на нас напасть. Под пером советских писателей этот образ может обрести более или менее реалистическими аксессуарами, но в принципе остаётся одним и тем же — идеологической конструкцией. Впрочем, и он занимает сравнительное скромное место в новом культурном сознании подданных огромной страны, защищённой от внешнего мира рядами колючей проволоки, страны, которая сама себе — целый мир.

8

А затем сон о Германии превращается в кошмар. В свою очередь, кошмар становится явью.

Через три четверти часа после того, как последний товарный состав с минеральным сырьём и продовольствием, — поставки по договору о советско-германской дружбе, — проследовал через Брест-Литовск на территорию «генерал-губернаторства» и далее в рейх, на исходе самой короткой ночи в году, войска, засевшие вдоль границы, под гром и свист артиллерии, в мертвенном сиянии повисших в небе осветительных ракет, покинули свои позиции. Наступило 22 июня 1941 года. Трёхмиллионная тевтонская рать двинулась на Россию по трём главным направлениям фронта протяжённостью в 2400 километров.

В панике первых дней и недель, едва успев оправиться от неожиданности, вся советская пропагандистская машина должна была повернуться на 180 градусов. Спешно сконструировать новую версию действительности, изобрести новую систему аргументов и новую фразеологию. Если вначале кое-кто ещё вспоминал марксистские клише, то уже к началу июля, к моменту, когда вождь, пребывавший в неизвестности, собрался с силами и выступил по радио, вся привычная терминология была отброшена. Отныне манихейская пропаганда утвердилась на двух столпах: светлая безгрешная Россия и царство зла — Германия; священный русский патриотизм и образ исконного врага — немца. Народу разъяснили, что немцы всегда, вечно угрожали России; вспомнили и о славянских землях на западе, захваченных немцами, и о победе наших великих предков на льду Чудского озера, и Первую мировую войну; припомнили всё что было и чего никогда не было.

В ходе оборонительной, а затем и освободительной войны, сплотившей народ, чувства, подогреваемые пропагандой, были очень быстро усвоены массовым сознанием. Новый миф о Германии заслонил все прежние стереотипы. Новый образ немца был окрашен в два цвета: то были цвета страха и ненависти. Быстрое продвижение вермахта вглубь страны произвело ошеломляющее впечатление, породив панический

страх перед мощью и организованностью завоевателя. С известными оговорками можно даже сказать, что миф о немцах как высшей расе нашёл в России, по крайней мере, в первые месяцы войны, встретил странное сочувствие. Вскоре он окончательно уступил место мифу о немцах как о самом ужасном народе на свете. Психология военной страды не знает нюансов. Константин Симонов написал стихи, разошедшиеся по всей стране, под заголовком «Убей немца!».

Так убей же хоть одного.
Так убей же его скорей.
Каждый раз как увидишь его,
Каждый раз его и убей!

Никто уже не вспоминал о том, что «немец» был классовым врагом или классовым союзником, помещиком или крестьянином, капиталистом или рабочим, фашистом или антифашистом.

*

Всё, о чём здесь шла речь, принадлежит прошлому. Из империи зла Германия превратилась в нынешнем российском массовом сознании в страну, возбуждающую удивление, зависть и чуть ли не вождевание. Длинные очереди желающих переселиться в Федеративную республику перед воротами немецкого посольства в Москве говорят об этом достаточно красноречиво. Разумеется, новый образ Германии и немцев не свободен, как и во все прежние времена, от иррационально-мифологического обрамления. Анализ публикаций на немецкие темы в российской массовой печати мог бы дать в этом смысле интересные результаты, но он выходит за рамки этой статьи. Новый сон о Германии всё ещё снится. Подождём, когда спящий проснётся, чтобы расспросить его, что он увидел.

Конец утопического века

(О книге И. Феста)

«Динамит — это цветок, открывающий небеса».

Это красивое изречение принадлежит немецкому философу Эрнсту Блоху. Что оно означает?

Разрыв снаряда впереди над вражескими позициями может напомнить солдату, лежащему в окопе, гигантский чудовищный цветок. Взрыв потрясает воздух — кажется, что разверзнутся небеса.

Но речь идёт не об этом. Динамит — это символ революции. Нужно взорвать всю старую, уродливую и несправедливую жизнь, «сумасшедший дом общественного устройства», как выразился когда-то Роберт Оуэн, классик утопического социализма, — ликвидировать одним ударом социальную несправедливость. И тогда раскроются небеса, наступит рай на земле.

А вот ещё одна фраза, хорошо знакомая всем, кто сдавал экзамены по марксизму-ленинизму: «Насилие — это повивальная бабка всякого старого общества, когда оно беременно новым».

Двести лет назад, под стенами Бастилии, под гул и топот парижской толпы, началась эпоха массовых революционных движений, пророков светлого будущего и народных вождей, обещающих немедленно, завтра же воздвигнуть храм всеобщего благоденствия. Для этого требуется немного: повесить на фонарях аристократов, уничтожить эксплуататоров, перераспределить богатство. И вот сейчас, через двести лет после Великой Французской революции, в огромной мере предопределившей ход европейской истории, мы подводим итог целой эпохе утопических программ, обетов и разочарований.

Небольшая книжка Иоахима Феста, о которой пойдёт речь, так и называется: «Развеянный сон. Конец утопического века».

Эта книга интересна не только тем, что она подводит итог целому историческому периоду, но прежде всего тем, что она очень точно описывает настроение, которое сегодня широко распространено в Германии и прежде всего среди немецкой интеллигенции: уны-

ние, охватившее бывших марксистов, растерянность так называемого левого лагеря, самодовольство консервативного крыла, общее чувство отрезвления, сознание того, что мы живём в обществе, которое распрощалось с иллюзиями и может обещать своим гражданам лишь постепенное совершенствование демократических институтов. Теперь даже буржуазная эпоха кажется романтической юностью. Человечество повзрослело, развитые страны мира избрали путь технологического модернизма; отказ от утопии, по мысли автора, — цена этого возмужания.

Два слова о самом авторе: публицист, историк и эссеист Иоахим Фест, которому сейчас 66 лет, приобрёл популярность своими работами о национал-социализме — книгой «Лицо Третьей империи» и особенно двухтомной биографией Гитлера, выпущенной в 70-х годах. Почти двадцать лет Фест является соиздателем влиятельной консервативной газеты «Frankfurter Allgemeine». Из других произведений этого автора я выделил бы этюды, посвящённые ключевым фигурам немецкой культуры — Вагнеру, Томасу Манну. Новой книге Феста присущи качества его прежних сочинений: литературное изящество, умение увлечь читателя блеском и простотой изложения, иногда граничащей с некоторой упрощённостью.

Слово «утопия», означающее в буквальном переводе с греческого «место, которого нет», изобретено в XVI столетии, но со временем изменило свой смысл. В наши дни это чуть ли не бранное слово. Между тем мечта о справедливом обществе владела человечеством задолго до того, как Томас Мор написал свою книгу о счастливом острове, где не ведают ненависти и нищеты. Достаточно вспомнить Платона с его утопией идеального государства философов, где, между прочим, отменена частная собственность. Много веков спустя Прудон произнесёт свою знаменитую фразу: «Собственность — это кража!». Олигархия собственников — вот где корень зла.

Идеологи так называемого научного коммунизма старательно подчёркивали разницу между историческим прогнозом Маркса и Энгельса и утопическими проектами их предшественников, от Томаса Кампанеллы, автора знаменитой книги «Государство солнца», и до утопистов XVIII–XIX веков: графа Сен-Симона, Шарля Фурье и других; сюда же можно отнести Чернышевского. Все помнят формулу Ленина: три источника марксизма — это английская политическая экономия, немецкая идеалистическая философия и французский утопический социализм. То, о чём пророчествует «Коммунистический манифест», — уже не мечта, а подлинная наука о грядущем. Пролетарская революция неизбежна; правота марксизма обес-

печена его научной непогрешимостью, подобно тому, как устойчивость валюты обеспечена запасом золота в стране. Законы истории неумолимы. Тот, кто разгадал эти законы, может смело смотреть в будущее: он знает, что произойдёт с человечеством. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.

Для Иоахима Феста, автора обсуждаемой нами книги, учение Маркса бессильно, потому что оно неверно. С этой точки зрения «научный коммунизм» — такое же иллюзорное построение, такая же утопия, как и фаланстер Фурье. Фест указывает на общую для всех социальных утопий Нового времени мифологическую основу: ветхозаветный образ избранного народа, шествующего под предводительством Моисея через пески к обетованной земле. В коммунистической утопии Маркса и его последователей в России — убеждённых атеистов — эта основа просматривается с удивительной чёткостью: избранный народ — это рабочий класс, Ленин — новый Моисей; что же касается самого Маркса — незримого вожакого, то он, очевидно, выполняет в этой новой версии Книги Исхода функции Всевышнего.

Однако центральная тема Феста — это крах утопии. Взошедшая, как на дрожжах, в условиях реального кризиса европейского общества, подогреваемая войной и нищетой, социальными и национальными обидами, утопия завладевает сердцами миллионных масс, превращается в идеологию радикальных партий, в конечном счёте становится мощным двигателем истории. Утопия приобретает агрессивные и воинственные черты. Теперь это не что иное как идеология тоталитарного государства. Победив в революционной борьбе, чудовище не насыщается; оно начинает пожирать свой собственный народ. Оно лишает своих граждан всех свобод, отнимает у них всякую инициативу. И тогда становится понятно, почему эта якобы реализовавшаяся утопия не в состоянии исполнить то, что она обещала. Потому что, в конечном счёте, она игнорирует человеческую природу. И она рушится, демонстрируя собственную нежизнеспособность.

В книге Феста говорится о провале двух утопических проектов нашего времени; можно согласиться с автором, что это — главный итог двадцатого века. Итог, что и говорить, положительный, исторически необходимый — и вместе с тем не такой уж радостный. Ибо речь не только о позорном конце двух тоталитарных монстров. Речь идёт о крушении великой мечты.

Мы сказали: два монстра. Как и следовало ожидать, автор книги о «развеванном сне» включил в список обанкротившихся мессианско-утопических идеологий немецкий национал-социализм. Не станем

вдаваться в несколько надоевший спор о том, насколько велико было сходство или несходство коммунизма и нацизма, Советского Союза и гитлеровской Германии. Для Иоахима Феста важен общий для обеих идеологий утопический знаменатель. Но если коммунизм призывал разрушить старый мир во имя лучезарного будущего, когда история, в сущности, прекратится, то с нацизмом дело обстояло сложнее. Его утопия находилась одновременно и позади, и впереди истории. Вот что пишет об этом Фест: «Агрессивная утопия национал-социализма, который впитал в себя многообразные, произвольные, расплывчатые и сентиментально окрашенные воспоминания о вчерашнем дне, не была обращена только к прошлому. Его глашатаи уверяли, что они хотят восстановить мировой порядок, расшатанный христианством, просвещением, индустриализацией и либерализмом. Отсюда проповедь возврата к земле, к здоровому крестьянству, заклинания о крови и почве, первобытные ритуалы и древнегерманские судилища, весь этот маскарад с освящением знамён, вся эта мистика смерти, словом, жажда вернуться в докультурное состояние и выпадение из всякой истории. Но одновременно с этим, противореча самому себе, нацизм обнаружил безудержное футуристическое честолюбие. Самые большие корабли, самые быстрые самолёты, моторизация народа — во всём этом он видел свою особую заслугу и превозносил техническое превосходство своего государства».

По разным причинам гибель нацизма подняла акции коммунистической утопии. Даже когда с Советским Союзом уже было всё ясно, когда всему миру стало известно, какой ценой был построен в этой стране государственный социализм, что представляет собой в действительности этот социализм, — поборники утопии всё ещё утешали себя тем, что Сталин искажил замечательную идею. Другие верили в так называемый Третий путь — между социализмом и коммунизмом.

Между тем развитые страны вступили в эпоху, которую можно назвать уже посткапиталистической. Социология Маркса устарела, его предсказания потеряли смысл. Настал день, когда рухнул и блок социалистических стран во главе с Советским Союзом. Рухнула — так, по крайней мере, считает Иоахим Фест — последняя великая и чарующая утопия.

«С закатом утопических систем, — заключает он свою книгу, — систем, которые привели в действие небывалые силы, но и породили слепоту, страх и злодеяния, — кончается многое. Рассыпается в прах необозримое наследие теорий, умствований и ожиданий, наследие опьянения, бегства от жизни и утешения. Никто не ведаёт, что придёт ему на смену».

Праздник утопической мысли окончился. Пора собирать разбитую посуду, обломки чаш, испитых до дна. За окном брезжит хмурое утро нового века. Можем ли мы, однако, утверждать, что утопизм как общественное настроение окончательно исчерпал себя? Это означало бы глубокое постарение человечества. Нет, я так не думаю. И разве не бросается нам сегодня в глаза, что даже вполне трезвая концепция рыночного предпринимательства на западный манер принимает в бывшем Советском Союзе — стране провалившейся с треском утопии — новые утопические и чуть ли не мессианские черты?

Нечаянное будущее

Ответ на анкету газеты «Die Zeit» (2001)

Главный и, похоже, единственный заслуживающий внимания результат, к которому пришла футурология — наука о предсказании будущего, — есть осознание того, что будущее непредсказуемо. Всякая Общая Теория Гадания, если таковая будет создана, должна будет исходить из того, что вероятность осуществления пророчеств тем выше, чем мягче язык, на котором они формулируются. В отличие от традиционных — и более удачливых — предсказательных систем, будь то гадание по внутренностям животных, по звёздам или на кофейной гуще, футурология пользовалась более жёстким языком, иначе говоря, выдавала конкретный прогноз будущего, чем и объясняется её крах. Достаточно вспомнить предсказания о нашем времени, которые делались полвека назад, чтобы вполне в этом убедиться. Дело не в том, что то или иное пророчество не сбылось, дело в том, что в эти десятилетия произошло нечто ни одному пророку не снившееся.

И всё же реальность будущего, уверенность в том, что завтрашний день в каком-то смысле уже существует, нужно лишь суметь угадать его невидимое присутствие, — становятся всё осязаемей; афоризм Петера Вейса «Denke daran, dass heute morgen morgen gestern ist» звучит тем тривиальней, чем стремительней уносится прочь наша жизнь, чем лихорадочней темпы развития общества, чем быстрее будущее становится настоящим, настоящее превращается в прошлогодний снег.

Рассмотрим два коронных тезиса: 1) биологические науки в недалёком будущем радикально вмешаются в природу человека, окончательно дискредитируют религию, опрокинут традиционную мораль; 2) вся область духа, уже теперь оттеснённая на обочину научно-техническим и биотехническим прогрессом, потерпит решительное фиаско, если не вовсе окажется ненужной роскошью. Результат того и другого — суперцивилизированное варварство.

Пожалуй, аналогии можно отыскать в историческом прошлом, на которое взирает с таким презрением дух нового сциентизма. «Общее поучение», прилагаемое к третьей книге «Начал» Ньютона, гласит:

«Изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не может произойти иначе как по намерению и во власти могущественного и премудрого Существа». Наука XVII века отнюдь не ставила своей целью низложить Бога, — упаси Бог! Напротив, она верила, что наблюдение и опыт убедительнее, чем умствования схоластов, доказывают величие и мудрость Творца. Тем не менее в мире, который Лейбниц именовал *horologium Die* (часовым механизмом Бога), Всевышнему нечего было делать: часы, однажды пущенные в ход, шли сами собой. Триумф позитивных наук, если не биологических, то таких, как математика, механика и астрономия, заставил в ужасе отшатнуться духовную культуру и гуманитарное знание, как их понимали в те времена, — поразительное сходство с нашим временем.

При всём нашем скептицизме приходится, размышляя о будущем, опираться на всё тот же метод скомпрометированной футурологии, — экстраполяцию. История науки убеждает, что прогресс науки с некоторых пор становится неудержим. Можно по-разному использовать её достижения, замедлить или ускорить их продвижение, можно употребить их во зло — чем дальше, тем эффективней, — остановить научное исследование невозможно. Другой урок прошлого, не принятый во внимание творцами универсальных историософских построений, состоит в том, что малозначительные на первый взгляд, почти не замеченные современниками открытия подчас преображают общество радикальней, чем войны и социальные революции. Достаточно сослаться на открытие электромагнитной индукции или изобретение двигателя внутреннего сгорания.

Что противопоставить этим соображениям, в сущности, укрепляющим наш пессимизм? Я не верю в то, что религии удастся отстоять традиционную мораль, и не верю, что мораль спасёт от угасания традиционную религию. Ещё меньше можно рассчитывать на то, что немногие острова духа, которые всё ещё удаётся защитить против агрессии рынка, вновь займут подобающее им место в жизни общества и рядового человека. Но я знаю — как всякий прошедший школу естествознания, — что человеческий организм чрезвычайно консервативен. Повидимому, не меньше ста тысяч лет прошло с тех пор, как человек прекратил свою биологическую эволюцию, — к счастью, как выясняется. Представители всех известных нам цивилизаций биологически ни на йоту не отличаются от нас. Этот консерватизм, это упорство жизни, вечно изменчивой и всегда одной и той же, даёт право надеяться, что человек сумеет по крайней мере отстоять свою физическую природу от всех попыток её перекроить.

Человек за бортом

Арамейское предание гласит, что вечный дух нигде не останавливается. Он идёт от дома к дому, из страны в страну, из одного века в другой и не знает покоя. Как вдруг что-то происходит, и он не может идти дальше. Он стоит перед домом, а из окошка на него смотрит старик, житель этой деревни. Старик спрашивает: что случилось? Я устал, отвечает дух-скиталец. Не могу больше идти. Может, тыпустишь меня к себе? Так они смотрят друг на друга, если только можно смотреть на духа, у которого, как известно, нет ни облика, ни абриса, — и молчат. Отчего же, говорит старик, можно и пустить. Только плохи твои дела, если ты не в силах больше двигаться; ты будешь греться и отсыпаться, но перестанешь быть духом и превратишься в такого же немощного старца, как я, которого ждет, не дождётся смерть. Нет, тебе нельзя сидеть на месте.

Поговорим о музе дальних странствий, о духе скитальчества, который внезапно пробуждается в человеке и порой охватывает толпы людей. Мы видим эти толпы на домашнем экране: люди карабкаются через стены посольств, не обращая внимания на выстрелы, у них одна цель, единое желание — бежать, куда угодно, и чем дальше, тем лучше; в Албании повторяется то, что немного времени назад происходило в Восточной Германии; люди обнимаются и плачут от радости, кочевая жизнь, эмиграция — кажется счастьем, о котором нельзя было и мечтать.

Слово *emigrare* встречается у римских писателей классической поры и означает всего лишь выселиться; но уже Цезарь употребляет выражение «выселиться из дому» в смысле уйти в изгнание, покинуть родину, а у Цицерона можно встретить оборот «эмигрировать из жизни», то есть умереть. В Средние века латинский глагол *emigrare* приобретает смысл внешнего насилия: изгнать. Это — о нас. Чтобы оставить отечество, мало внутреннего импульса, нужно, что тебя вытеснили или попросту выгнали вон.

Ибо мы говорим о политической эмиграции из несвободных стран, об эмиграции, причины которой — политический гнёт, пре-

следования, угроза ареста, тотальная слежка, невозможность самосуществования и самовыражения, материальные невзгоды и страх за детей, принадлежность к дискриминированному национальному или религиозному меньшинству — столь серьёзны, что изгнание может, в самом деле, выглядеть, как подарок судьбы. Скольким людям вспоминается счастливый день, когда им разрешили уехать, счастливую растерянность: словно кончилась война или получено миллионное наследство.

Но вот этот день уже позади, беженцы из «народной» Албании, похожие на погорельцев, с какими-то жалкими узелками, некоторые босиком, ковыляют по трапу на итальянский берег или, как эмигранты из СССР, щурясь от солнца, взлетают из самолета в Тель-Авиве, в Вене, ещё где-нибудь, куда кого забросила судьба, несут на руках детей, ведут старух, цепляются друг за друга, боясь потеряться в этом абсолютно новом для них мире. И тут впервые до них доходит с неопровержимой ясностью простая мысль, которую они гнали от себя прежде: что эмиграция есть отказ от какого-то существенного условия жизни, нечто вроде физической инвалидности. И все трудности адаптации, которые им предстоит одолеть: язык, климат, незнакомая бюрократия, непривычная кухня, социальная неполноценность эмигранта, тысячи мелочей, отличающих образ жизни в демократической стране от жизни в их прежней стране, — суть лишь внешние знаки этого основного лишения; какого же?

В том-то и дело, что на этот вопрос нет конкретного ответа. Долгие годы эмигрант, уже давно освоившись в новой стране, будет чувствовать себя инвалидом; но какой именно орган потерян — сказать невозможно. Бывшая родина ограбила его, как только могла; государство присвоило себе имущество, жильё, пенсии многих сотен тысяч людей; по крайней мере, в моё время задача многочисленных инстанций, которые надо было obeжать за несколько последних дней, заключалась в том, чтобы отомстить изменнику как можно больнее, отбить у него всякие сожаления о том, что он покидает родину, и прежде всего — обобрать его до нитки, — но об этих потерях эмигрант не жалеет. Пропала библиотека, мебель, квартира? — ну и Бог с ними. Уничтожены плоды всей жизни, всё, что наработал, надрываясь многие годы, вычеркнуты, выскоблены специальными усилиями власти все следы твоего пребывания в этой стране, — пускай. Человеку за бортом до всего этого уже нет никакого дела. Спросите советского политического или национального эмигранта в Европе, в

Америке, е Израиле или в Канаде, хочет ли он возвратиться? Из ста человек девяносто пять пожмут плечами, остальные пятеро улыбнутся. И даже писатель, чьё интервью недавно было помещено в московской газете под броским заголовком «Я бы вернулся», едва ли сказал это всерьёз, — если только заголовок попросту не был придуман редакцией.

Воспоминания о родине полны горечи, как воспоминания о злой жене, с которой мыкался, мыкался и в конце концов, к великому облегчению своему, развёлся. Так в чём же дело? Что именно он потерял?

Я знал людей, которые всё же пытались ответить. Подумав, они говорили: я потерял близких. Я расстался с друзьями. Я лишился той особой, трудно определяемой словами, совершенно особой атмосферы человеческой близости, теплоты и взаимопонимания, которая, пусть в тесном кругу друзей и знакомых, но постоянно окружала меня в России, я лишился того, что может быть только в России и чего я уже нигде больше не найду. Да, близкие уходили, друзья могли меняться, иные предали меня; но атмосфера оставалась той же.

Он тоскует по тому, что в классической психологии обозначается термином *Geborgenheit* — «укрытость».

В самом деле, при всех невзгодах на родине он чувствовал себя в гнезде, пожалуй, даже как бы в материнской утробе. Это чувство было по ту сторону всяких политических соображений, всякого государственного патриотизма, это чувство было почти физиологическим; он его не замечал. А теперь он родился на свет. Он вылетел из гнезда. Надо вести самостоятельную жизнь. Он стал взрослым.

В глубине души он понимает, что все разговоры о возвращении несерьёзны. Даже если бы ему всё вернули, даже если бы государство попросило у него прощения, наказало бы его мучителей, выплатило ему компенсацию за причинённый ущерб, даже если бы могущественное и вездесущее учреждение торжественно обещало никогда больше не вмешиваться в его жизнь, — он не смог бы вернуться к прежнему существованию, как невозможно вернуться под материнское крыло. Ибо он стал взрослым.

И ему становится понятной загадка эмиграции; он начинает постигать то общее, что объединяет беженцев из Германии тридцатых годов, советских эмигрантов нашего времени или беглецов из сегодняшней Албании, постигать, что вообще отличает эмиграцию из закрытых, несвободных стран от огромного числа людей во всём мире, переезжающих из одной страны в другую. Парадокс закрытого общества состоит в том, что оно неизбежно становится материнской поч-

вой эмиграции. Оно воспитывает дух бегства и бунта, своеобразного восстания подростков против опеки жестокого отца, и вместе с тем внушает каждому страх перед самостоятельностью, перед широким миром, перед свободой и ответственностью. Несвободное государство преследует своих граждан, но и опекает их на каждом шагу, обволакивает своей принудительной заботой; исподволь, с младых ногтей, оно приучает их к той особой укрытости, которая необходима детям, и хотело бы, чтобы человек остался дитятей до конца своей жизни. Но каждый ребёнок хочет стать взрослым. Эмиграция — это расставание с детством.

ИМЕНА

Человек: семантический портрет (В.В.Налимов)

В Москве вышла книга, достойная большего внимания, нежели то, которое она к себе привлекла: я говорю о монографии Василия Васильевича Налимова «Спонтанность сознания». Может быть, слово «монография» здесь не вполне уместно, ибо это не только научный труд, но и философский трактат — пожалуй, даже философско-мифологический; самая тема этой книги с трудом вмещается в рамки позитивной науки, хотя автор привлекает для своих рассуждений и аппарат математики, и данные нейрофизиологии, и представления современной лингвистики, и теорию информации, и многое другое.

Скажем прежде всего несколько слов о нём самом.

В.В.Налимов родился в Москве незадолго до революции; его отец был этнографом, выходцем из народа коми. В юности Налимов слушал лекции Павла Флоренского, избрал своей профессией физику, на 26-м году жизни был арестован и провёл в лагерях и ссылке почти двадцать лет. В годы, когда я имел счастье общаться с ним, он заведовал лабораторией математического моделирования эксперимента при Московском университете. Это были времена, изящно именуемые эпохой застоя, и вместе с тем годы подспудной, но чрезвычайно интенсивной философской работы — умственного движения, сейчас уже малопонятного, охватившего и людей старшего поколения, и студенческую молодёжь. Это движение не было откровенно оппозиционным, вообще не носило политического характера, хотя и развивалось параллельно с диссидентством; не было оно и восстанием против официальной философии диалектического материализма — по той простой причине, что философия эта не считалась достойным противником: это был мертвец, которого просто оставили в покое.

Слишком очевидно было, что и наука, и отвлечённая мысль далеко ушли вперёд и в разные стороны; появились новые дисциплины, с Запада, словно из серебристого тумана, наплывали целые материи, для которых попросту не было места на архаической карте марксизма-ленинизма. Я мог бы назвать целую группу людей, сме-

лых, подчас странноватых, но всегда нетривиальных умов, людей, регулярно появлявшихся на тогдашних философских сборищах, докладчиков на вечерах в научно-исследовательских институтах и научных городках, диспутантов на так называемых школах теоретической биологии, людей, которые персонифицировали это духовное движение и заряжали его новыми, неслыханными идеями. Среди них был Василий Васильевич Налимов.

В те годы стали известны статьи, а затем и книжки Налимова, с трудом пробивавшиеся в легальную печать, выходявшие в свет по какому-то недоразумению, продиравшиеся сквозь колючую проволоку цензуры подчас с немалыми потерями, и всё же добравшиеся до читателя, — тексты, написанные ёмким энергичным русским языком, от которого публика давно отвыкла; от этих текстов, насыщенных электричеством и озоном, кружилась голова. Здесь достаточно будет упомянуть книгу «Вероятностная модель языка», выпущенную даже двумя изданиями.

С тех пор — я говорю главным образом о второй половине 70-х годов — утекло много воды. Иных уж нет, а те далече. Профессор Налимов уже немолод. Корпус его сочинений весьма велик, несколько книг вышло в Америке, множество работ напечатано в разных странах. Но, быть может, *opus magnum*, главный и обобщающий труд — ещё впереди. Может быть, он уже близок к завершению, — этого мы не знаем.

Мировоззрение В.В.Налимова не имеет характера строго систематизированного, замкнутого в себе учения; пользуясь выражением Карла Ясперса, можно было бы сказать, что это не *Philosophie*, а *Philosophieren*, не философия, а философствование. В этом смысле Налимов наследует традицию русской философии Серебряного века и, пожалуй, западноевропейского экзистенциализма; но лишь в этом смысле. То, что уводит Налимова прочь не только от вышедших из моды философов-экзистенциалистов второй трети нашего века, но в гораздо более широком смысле от основной гуманистической линии западной философии, от той линии, которая восходит к тезису Протагора: «Человек — мера всех вещей», и той традиции, которая вдохновляется словами Гёте: «Высшее счастье детей земли — личность», — то, что, повторяю, делает Налимова откровенно враждебным этой традиции, — это его стремление взломать границы человеческого «я», разрушить этот замок, где царит суверенная человеческая личность, единственная и несомненная реальность, и выйти в разрежённый простор, в надличностное космическое сознание. Не зря он питает давнишнюю симпатию к так называемой трансперсональной психо-

логии. Не скрою, что мне всегда мерещилась в подобной тенденции определённая опасность. Помню наши споры на эту тему. Но давайте рассмотрим его мысль по порядку.

В построениях Василия Васильевича Налимова можно выделить три компонента.

Первый — это вероятностная ориентация его философии. Вероятность как модус бытия, как способ существования всех вещей и одеяние истины. Вероятностное мышление, сознаём мы это или нет, вообще говоря присутствует во всей нашей жизненной и житейской практике. Случай правит жизнью, но в вероятностной упаковке, поэтому мы учитываем события и ситуации, вероятность которых велика, и склонны игнорировать то, что маловероятно. Прекрасный пример профессиональной сферы, где все представления носят вероятностный характер, — мышление врача-диагноста: картина болезни складывается из симптомов, ценность которых неодинакова. Она измеряется вероятностью их появления при данном недуге. С помощью известной в математической статистике теоремы Бейеса, английского богослова и математика XVIII века, Налимов создаёт вероятностную модель языка. Каждое слово имеет конкретное значение и вместе с тем обладает безграничным семантическим полем, то есть может приобретать самые неожиданные смыслы и оттенки смыслов в зависимости от контекста. Почему же мы понимаем друг друга? Понимание задаётся условиями языковой игры; в каждое мгновение этой игры — общения собеседников — мы сужаем фильтр, который пропускает нужные значения данного слова и не впускает в сознание все другие.

Свои представления о языке Налимов распространяет на сознание: это — второй компонент его философии. Наше сознание дву-природно: оно одновременно является дискретным и континуальным. С одной стороны, оно продуцирует обособленные, дискретные представления о вещах — образы действительности, каждый из которых имеет своё имя, своё обозначение. С другой стороны, сознание континуально, то есть зыбко, текуче, непрерывно, его невозможно исчерпывающе описать в жёстких «атомарных» понятиях. Внимание Налимова привлекают исторические памятники, религиозные течения и традиции, где особым образом культивировалось мерцающее мышление: такова западная и восточная эзотерика, гностицизм, византийский исихазм, дальневосточный дзен-буддизм. Его интересуют также изменённые состояния сознания, сон и гипноз, экстазы мистиков и эффект психоделических препаратов, — состояния, при которых шатаются стены человеческого «я».

Так возникает третий круг представлений, которому главным образом и посвящена книга «Спонтанность сознания». Наше сознание замкнуто нашей личностью, границы моего мира, как сказал Людвиг Витгенштейн (одно из важных для В.В.Налимова имён), — это границы моего языка. Но вместе с тем сознание человека подключено к континуальным потокам, к пространству надличностного сознания. Сознание больше самого себя, и этот вывод обусловлен вторым свойством языка — его континуальностью, безбрежностью смыслов. Функция человеческого сознания собственно и состоит в том, что оно порождает смыслы, превращая действительность, о которой мы ничего не знаем, в Текст, который мы способны прочесть.

1982

Стефан Цвейг

Полвека назад в курортном городке Петрополис неподалёку от Рио де Жанейро, в доме № 34 по улице Гонсальвеса Диаса покончил с собой в возрасте шестидесяти лет всемирно известный писатель Стефан Цвейг. Это случилось в ночь на 23 февраля 1942 года. Наутро никто не вышел к завтраку, в полдень дверь спальни всё ещё была закрыта. Прислуга забеспокоилась; вызвали полицию. На кровати лежали двое: тщательно одетый Цвейг и его жена, тридцатитрёхлетняя Лотта. Оба приняли огромную дозу снотворного.

На столе лежало несколько запечатанных конвертов и отдельно — письмо для передачи городским властям:

«Я ухожу добровольно, в твёрдом уме и памяти, но прежде хочу исполнить последний долг — выразить свою глубокую благодарность прекрасной стране, предоставившей для меня и для моей работы столь гостеприимное убежище. С каждым днём я всё больше любил эту страну и нигде не смог бы лучше построить заново свою жизнь после того, как мир моего родного языка для меня погиб, а Европа — моя духовная родина — истребила сама себя.

Но когда тебе шестьдесят, нужно иметь много сил, чтобы начать всё сначала. А мои силы за многие годы бесприютных странствий исчерпаны. Поэтому я счёл правильным вовремя, честно прекратить эту жизнь, в которой самой высокой радостью был для меня духовный труд и наивысшим благом — личная свобода.

Всем моим друзьям привет! Пусть они увидят рассвет после долгой ночи. У меня не хватило терпения, и я ухожу первым».

Цвейг был не единственным писателем немецкого языка, кто спасся от нацизма, но не выдержал изгнания. В середине тридцатых годов в Швеции застрелился публицист и поэт Курт Тухольский. В эмиграции покончили с собой Эрнст Толлер и Вальтер Газенклевер. Спасаясь от гестапо, в глухих Пиренеях наложил на себя руки эссеист, философ и культуролог Вальтер Беньямин. Каждый из них унёс с собой свою собственную, глубоко личную тайну, но у всех было нечто общее.

Один из друзей Стефана Цвейга, видевший его накануне смерти, рассказывает о поездке в Рио на карнавал. Цвейг хотел ещё раз увидеть знаменитое народное празднество, которое он описал в книге «Бразилия,

страна будущего». За завтраком в отеле гости прочли в газете сообщение о том, что англичане оставили Сингапур. На второй странице стояло: «Немецкое наступление в Ливии. Цель — захват Суэцкого канала». Ни о каком веселье больше не могло быть речи, — писатель и его жена покинули пляшущий город и вернулись к себе; через неделю их не стало.

Долгая ночь войны и фашизма, успехи вермахта на всех фронтах, в России и в Африке, слухи о готовящемся вторжении на Британские острова, — конечно, всё это было только фоном для случившегося; причины были сложнее. Однажды принятое решение повсюду ищет и находит доводы в свою пользу, и самоубийство — лишь заключительный росчерк пера в длинной, с трудом поддающейся расшифровке рукописи, которая называется человеческой жизнью. Но, как это бывает у крупных писателей, личная судьба сплелась с историей. Говоря о человеке, мы вспоминаем его эпоху и наоборот: время предстаёт перед нами в созданиях его фантазии и в его собственном облике. Цвейг не зря ощущал свой жизненный финал как финал «вчерашнего мира» — так называется книга его воспоминаний, — это был финал Австро-Венгерской империи и её рафинированной многонациональной культуры, финал буржуазной Европы, финал прекраснородушного гуманизма, чопорной морали, прочного и благоустроенного быта, гибель «европейской республики духа», гражданином и патриотом которой был Цвейг, финал и крах самой веры в историю, будто бы направляемой высшим разумом.

Стефан Цвейг был сыном текстильного фабриканта, по рождению и воспитанию принадлежал к так называемому хорошему обществу, никогда не знал материальной нужды и, в сущности, прожил счастливую, удавшуюся жизнь. Он окончил венский университет, общался чуть ни со всей литературной, художественной и музыкальной элитой австрийской столицы в её самую блестящую пору — мы говорим о начале века — и довольно быстро добился признания как писатель. Мало того: в годы между двумя мировыми войнами Цвейг был едва ли не самым знаменитым беллетристом немецкоязычного региона и больше, чем какой-либо другой австрийский или немецкий автор, переводился на другие языки. Читатели и особенно женщины представляли себе писателя по образу и подобию героев его новелл — и, пожалуй, не без основания. «Твои вещи — это ведь только треть твоей личности», — заметила ему однажды первая его жена, Фридерика. Цвейг не был кабинетным писателем-домоседом вроде Томаса Манна или одиноким, погружённым в себя визионером, как Франц Кафка. Скорее это был человек, жадный до жизненных впечатлений, страстный, непостоянный, влюбчивый, светски-обольстительный и привыкший к любовным победам.

Многочисленные фотографии сохранили внешний облик темноглазого щеголя в выхолненных усах, с гладко зачёсанными на пробор волосами, сверкающими бриолином.

Цвейг много путешествовал, побывал в 1928 году и в СССР, чему способствовала дружба с Максимом Горьким и необычайная популярность Цвейга у русской публики: уже к этому времени в Ленинграде вышло десятитомное собрание его сочинений с предисловием Горького. Цвейг мало интересовался политикой, никогда не был поклонником Маркса; в Советскую Россию его влекло сочувственное любопытство. Как водится, ему демонстрировали достижения нового мира; он ходил, смотрел, улыбался, восхищался. Много позже, в книге «Вчерашний день, воспоминания европейца», о которой мы упомянули, он рассказал о странном эпизоде. После шумной встречи со студентами в Москве, вечером, в своём номере в гостинице, иностранный гость обнаружил у себя в кармане письмо без подписи, на французском языке: «Не верьте тому, что Вам говорят. Знайте, что многое от Вас скрывают. Люди, которые говорят с Вами, чаще всего говорят лишь то, о чём разрешается говорить. За всеми нами следят, в том числе и за Вами. Переводчица докладывает о каждом Вашем слове. Ваш телефон подслушивается...»

Из обширного наследия Стефана Цвейга — он писал и прозу, и пьесы, и стихи, был автором трёх романов, два из которых не закончены, оставил дневник, переводил с французского, английского, итальянского — нужно выделить новеллистику и биографии.

Люди старшего поколения помнят новеллы Цвейга — «Амок», «Смятение чувств», «Жгучая тайна», «24 часа из жизни женщины», «Улица в лунном свете», «Письмо незнакомки», которыми они зачитывалась в юности. Врач, служивший в голландских колониях, отказался сделать аборт богатой англичанке, забеременевшей от любовника, но влюбился в неё сам и преследует её. Она умирает в жалкой хижине от кровотечения, вызванного неумелым вмешательством. Обезумевший от любви доктор сопровождает её гроб на корабле в Европу и по дороге сбрасывает его в море. Ни о чём не подозревающий подросток делает страшное открытие: его мать, уважаемая светская дама, изменяет отцу со случайным знакомым. Студент снимает комнату в доме профессора и неожиданно проводит ночь с его женой. В смятении он хочет уехать, и тут оказывается, что сам хозяин питает к молодому человеку не совсем обычные чувства. Неизвестная женщина одержима любовью к иному аристократу, а он, в свою очередь, жертва другой страсти — игры в рулетку... Таковы сюжеты некоторых новелл, каждая из которых — история внезапного и скандального вожделения, подземного огня, который бушует под покровом благопристойности, под турнюра-

ми добродетельных буржуазных дам и плотно застёгнутыми сюртуками солидных господ; вырвавшись наружу, он сжигает весь этот лицемерный мирок. Цвейг, испытавший сильное влияние Достоевского и Фрейда, не был рефлектирующим интеллектуальным писателем, его герои не ведут философских бесед, он сам признавался, что не питает интереса к абстракциям. Точно так же не интересуют его и эксперименты с техникой повествования. Зато он любит то, что называется «копаться в чувствах». Его искусно написанные, пряные, взвинченные и не лишённые мелодраматизма новеллы — сюда можно отнести и похожий на большую новеллу роман «Нетерпение сердца» — в полной мере отдают дань модному в его время утрированному психологизму.

Заслуженный успех принесли Цвейгу биографические книги. Он написал их великое множество, и некоторые из них оказались долговечней его беллетристики. Жизнеописания знаменитых людей, живших в самые разные эпохи, были объединены в циклы («Три мастера: Бальзак, Диккенс, Достоевский», «Певцы своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой», «Борьба с демоном: Гёльдерлин, Клейст, Ницше») или выходили отдельными книгами («Мария Стюарт», «Мария-Антуанетта», «Жозеф Фуше», «Магеллан», «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» и многие другие). К ним примыкает и замечательная серия исторических миниатюр «Звёздные часы человечества». Крылатое выражение, придуманное Цвейгом.

Что такое человек в лабиринте истории? Можно ли ещё говорить о свободе личности перед лицом безликих, анонимных и жестоких сил? Подлинным вероисповеданием Цвейга, человека, равнодушного к религии, будь то европейское христианство или религия отцов — иудаизм, была уверенность в том, что история бессмысленна: вопреки всему, история движется к великой цели, а для этого она нуждается в деятельном и просвещённом индивидууме; именно он даёт ей оправдание и смысл. Эта цель — духовная свобода, ибо за кулисами войны и мира, политики и экономики скрывается подлинный режиссёр всемирно-исторического спектакля — *Weltgeist*, мировой дух. Звёздные часы человечества — это те немногие мгновения, когда оно непосредственно следует велениям духа, и его посредниками оказываются личности, на которых в эту минуту опустилась его рука.

Стефану Цвейгу, этому благородному, но запоздалому отпрыску девятнадцатого века, было суждено увидеть величайшее посрамление мирового духа, — так, по крайней мере, он воспринял события тридцатых годов, Вторую мировую войну и ночь Европы. И он ушёл, не дождавшись рассвета.

Рембо, или Спящий в долине

Существует абсолютная шкала поэзии. Существуют абсолютные стихи, — например, такие, как «Гимн Афродите» — единственное дошедшее до нас полностью стихотворение греческой поэтессы Сапфо, некоторые оды Горация, некоторые вещи из «Западно-восточного дивана» Гёте, «Песнь о вещем Олеге» Пушкина или «Незнакомку» Блока. Абсолютным стихотворением я считаю следующий сонет Артюра Рембо: он называется «Le Dormeur au val», то есть «Спящий в долине». Подстрочный перевод не передаёт его волшебства, его гармонии и его жестокости, — но всё же даст о нём некоторое представление:

Вот зелёная пуща, где распеваёт ручей, где цепляются к травам его серебряные лохмотья, солнце льётся с гордых высот, вот лощина, где пузырятся его лучи.

Молодой солдат, без каски, с открытым ртом, утонув затылком в синих влажных листьях, спит, он раскинулся в траве под облаками, бледный на зелёном ложе, под ливнем света.

Из цветов торчат его сапоги, — он спит. Улыбаясь, как улыбается больное дитя, он видит сон. Природа, согрей его: ему холодно. Его ноздри не вздрагивают от пряных запахов. Он спит под солнцем, спокойно, положив руку на грудь. В правом боку у него — две красных дыры.

Стихотворение «Спящий в долине» помечено октябрём 1870 года, вне всякого сомнения, оно подсказано впечатлениями франко-прусской войны. Седьмого октября 16-летний Рембо во второй раз бежит из дому. Он идёт пешком из Французских Арденн, переходит бельгийскую границу, снова оказывается во Франции, во фронтовой полосе, где его задерживает полевая жандармерия. Это лишь начало его странствий, которые продлятся ещё два десятилетия, до самой смерти.

Жан-Артюр Рембо умер ровно сто лет назад. У французов нет единого и бесспорного национального поэта наподобие Данте в Италии, Гёте в Германии, Пушкина в России. Вместо абсолютного монарха — череда князей: Гюго, Бодлер, Аполлинер... Быть может, Рембо — вели-

чайший поэт Франции. Но это фигура, которая не встраивается ни в какие ряды и обоймы. Рембо называли изгнанным ангелом, его сравнивали с Прометеем: не бог, не дьявол, но и нечто большее, чем человек.

Он родился на северо-востоке Франции в городке Шарльвиль в 1854 году. Его воспитала мать, сухая, надменная и деспотичная дама, дочь крестьянина; отец был офицером, целыми месяцами где-то пропал, затем вовсе бросил семью. К пятнадцати годам Рембо прочёл уйму книг и был в своём классе чемпионом по сочинению латинских стихов, он даже получил премию на академическом конкурсе школьников за поэму «Югурта», написанную гекзаметрами. В мае 1870 года он послал свои французские стихотворения маститому поэту Теодору де Банвилю, а в августе, накануне последнего учебного года, сбежал из дому. Доехав зайцем до Парижа, он был снят с поезда, посажен под замок, его гимназический учитель выручил его и привёз к матери. Через десять дней Рембо снова исчез; об этом побеге мы уже говорили.

Несколько позже стало ясно, что уже в это время он достиг вершин мастерства. О стихах этого подростка, таких, как «Бал висельников», «Первый вечер», «Моё бродяжничество», «В зелёном кабачке», «Роман», «Спящий в долине», в наше время существует огромная литература. В следующем, 1871 году, в феврале, бросив лицей, он скрывается из дому в третий раз, две недели болтается в Париже и возвращается пешком, голодный и оборванный, в глубоком унынии; кажется, что свобода его обманула. Он ничего не делает, целыми днями сидит в кафе, пьёт и читает книги об алхимии и каббале. Тринадцатого и пятнадцатого мая им были написаны «Письма ясновидящего», так принято называть два тесно связанных друг с другом текста, адресованных учителю Изамбару и одному общему знакомому. Это своего рода эстетический манифест; там говорится о том, что поэт должен взломать границы своей личности: поэт — это тот, кто наделён даром сверхъестественной прозорливости; поэтому он становится голосом неведомого и непознаваемого, медиумом вечности. Для этого он должен изобрести новый язык. В истории европейской поэзии этот документ знаменует отказ от субъективной лирики, переход от романтизма к символизму.

Считается, что весной или летом 1871 г. Рембо прочёл «Цветы зла» Шарля Бодлера, умершего за четыре года до этого. Некоторые стихи свидетельствуют о влиянии Бодлера или, лучше сказать, о преемстве; к ним относится одно из самых могучих и загадочных творений Рембо — написанная классическим александрийским стихом и вместе с тем головокружительно новаторская поэма «Le Bateau ivre», «Пьяный корабль».

Спускаясь вниз по рекам, которых никому не перейти, я больше не повиновался команде. Краснокожие с криками целились в матросов, стрелы пригвоздили их, голых, к мачтам, на которых развевались мои выпела...

Мне было всё равно, что станет с экипажем, неважно, что я вёз, фламандское зерно или английские ткани. Когда умолкла вместе с матросами вся эта суета, реки выпустили меня на простор...

В буйном плеске прибоя, глухой, как мозг младенца, я понёсся вперёд!..

...Я видел звёздные архипелаги! Острова в небесах, чьё безумие распахнулось навстречу пловцу! Не в эти ли бездонные ночи ты спишь, уходя в изгнание, о мощь грядущего, миллион золотых птиц?..

Но верно, что я слишком много плакал! Как надрывают сердце утренние зори! Жестокость лун и горечь солнц!.. И если я ещё жажду вод Европы, так ведь это — лужа, чёрная и холодная, где в благоуханных сумерках печальный ребёнок, присев на корточки, пускает кораблик, хрупкий, словно майская бабочка...

На исходе лета или в самом начале осени того же года Рембо получил письмо от Поля Верлена, которому послал незадолго до этого «Пьяный корабль» и другие только что написанные стихотворения, в том числе знаменитый сонет «Гласные», где звуки языка уподобляются цветам спектра. Верлен писал: «Приезжайте, дорогая великая душа...» В конце сентября Рембо снова явился в Париж.

К этому времени Парижская коммуна уже разгромлена. Великий пир поэзии и свободы, о котором грезил в провинциальном городке Рембо, остался где-то позади, а может быть, его никогда и не было. Рембо очутился среди маленьких стихотворцев, доморощенных кабацких гениев, бесконечных претенциозных словопрений об искусстве. Единственной по-настоящему великой фигурой в этом полуподвальном мирке был Верлен, добрый и слабовольный человек, очень скоро подпавший под власть демонического юноши, который вдобавок стал его любовником.

Сохранился рисунок Верлена: мальчик в короткой куртке и узких брючках, с бантом на шее, длинноволосый, в шляпе и с трубкой в зубах. Надпись: «Артюр Рембо, июнь 1872 года».

Разумеется, у Рембо нет ни копейки в кармане, и ему негде жить. Верлен готов помочь ему, чем может, но надменный Рембо отвергает всякое покровительство. Всё же он поселяется у Верлена, который живёт с женой, детьми и родителями жены. Бесконечные шатания вдвоём по злачным местам, где собирается литературная богема, пьянство и скандалы, тут-то и даёт себя знать необузданный нрав Рембо; не обхо-

дится дело и без наркотиков. Такая жизнь продолжается до лета 1872 г. Рембо, которому идёт восемнадцатый год, пишет свои последние стихи. В начале июля он пропадает из Парижа вместе с Верленом.

Приятели всплывают в Лондоне. Что они там делают, на какие средства существуют, трудно сказать. Матильда Верлен грозит своему непутёвому мужу разводом. Наступает сырая зима, и на Рождество, бросив 28-летнего друга, Рембо смывается домой, в Шарльвиль.

История взаимоотношений с Верленом, судорожный роман, которому посвящены короткие зашифрованные тексты в небольшом прозаическом сборнике «Пребывание в аду» (Рембо называет себя «инфернальным супругом»), — это, кажется, самая известная часть его биографии. После Нового года он возвращается в Лондон, остаётся с Верленом до весны, потом уезжает в местечко Рош неподалёку от Шарльвиля, где у матери Артюра есть деревенский дом; там и было написано «Пребывание в аду».

Ближе к весне Верлен каким-то образом оказывается в Арденнах, в деревне Жеонвиль, поблизости от друга. Происходит встреча, Верлен умоляет Рембо не бросать его, и вот они снова в Лондоне. Затем роли меняются: третьего июля 1873 года Верлен убегает от «инфернального супруга». Рембо мчит в порт — Верлен уже отплыл. Верлен добрался до Брюсселя. Рембо пишет ему отчаянное письмо: «Вернись, вернись, единственный друг. Клянусь, я буду вести себя хорошо... Вернись, мы обо всём позабудем, Какое несчастье, что ты принял всерьёз все мои глупости. Все эти два дня я проплакал... Вернись, все твои вещи на месте... А хочешь, я сам к тебе приеду?..» И, не дожидаясь ответа, Рембо 10 июля прибывает собственной персоной в Брюссель. На улице происходит безобразная сцена: пьяный Верлен стреляет в друга. Раненого в руку Рембо увозят в больницу, а Верлена ведут под руки в полицейский участок. Бельгийский суд приговаривает Верлена к двум годам тюремного заключения.

Через неделю, выписавшись из больницы, Артюр Рембо пешком вернулся во Францию, к матери в Рош. Здесь он закончил «Пребывание в аду». Судьба этой рукописи была следующей: осенью Рембо, оказавшись снова в Брюсселе, передал её одному издателю, но не мог с ним расплатиться. Книжку никто не покупал. Рембо махнул рукой на эту затею, воротился в Шарльвиль; считалось, что рукопись пропала, — кажется, он её сжёг, а издатель будто бы уничтожил все печатные экземпляры. Через 28 лет собиратель редких книг Леон Луссо обнаружил эти экземпляры в подвале типографии, но помалкивал о своём открытии ещё полтора десятилетия; о книге стало известно только в 1915 году.

Следующим и последним произведением Рембо были «Озарения», сборник коротких, необычайно ярких прозаических фрагментов, как и «Пребывание в аду», с трудом поддающихся расшифровке. Часть из них, возможно, фиксирует видения, посетившие автора под действием гашиша. Это отвечает поэтической и жизненной программе Рембо: чтобы выйти за грань познаваемого, поэт должен расстроить все свои чувства. Между тем с октября 1873 до весны 1874 г. о нём ничего не известно. Затем он появляется в Лондоне, на этот раз в обществе Жермена Нуво, малозначительного поэта и достаточно сомнительной личности. Живут, перебиваясь с хлеба на воду. Весной или летом Рембо заболел, он вообще не отличался крепким здоровьем. Нуво бросает его на произвол судьбы, но, к счастью, на помощь приезжают мать и сестра. Поправившись, Рембо впервые в жизни устраивается на работу у предпринимателя, который держит извоз, но отпрашивается домой на рождественские каникулы и больше не возвращается.

Теперь он собирается заняться «делом», учит языки, хочет окончить среднюю школу. В январе 1875 года он получает место домашнего учителя в Штутгарте, в Германии, тут к нему неожиданно приезжает Верлен, только что вышедший из бельгийской тюрьмы; короткая встреча заканчивается бурной ссорой. Больше они никогда не виделись.

За Рембо как будто захлопнулась дверь. Дальнейшая жизнь была тоже достаточно пёстрой, но к его творческой биографии она уже не имеет отношения. На двадцать первом году жизни Рембо перестал писать, перестал вообще интересоваться литературой. Во Франции растёт его поэтическая слава, Верлен пишет о нём, издаёт его стихи, но Рембо, по-видимому, даже не знает об этом. Рембо непрерывно странствует, лишь изредка на короткое время возвращается к матери в Шарльвиль или в Рош и снова исчезает. Весной 1876 года он зачем-то собрался в Россию, но в Вене ограблен и арестован как нищий; выслан во Францию. Побыв немного дома, уехал в Голландию, завербовался в колониальную армию, прибыл на остров Ява и через три недели дезертировал. В следующем году он появляется в Гамбурге, потом кочует где-то в Швеции с бродячим цирком. Оттуда через Францию на египетском корабле плывёт в Александрию; тяжелобольной, высажен в Италии; несколько позже оказывается на Кипре, лежит в тифозной горячке. Новая идея — разбогатеть. Рембо становится коммерческим агентом в Абиссинии, торгует харарским кофе, а также оружием для Менелика II. Эфиопский царёк, оспаривающий трон у негуса, обманывает француза, из проектов нажиться на войне ничего не получается. Так Рембо прожил в Африке десять лет.

Можно предполагать, что весной 1891 года у него появились первые признаки злокачественной опухоли правого бедра. По дороге домой он попадает в больницу Непорочного зачатия в Марселе. В документах он значится как «негоциант Рембо». Ему ампутируют правую ногу. Кое-как оправившись, на костылях он добирается до Роша, строит планы женитьбы, возвращения в Африку, но принужден снова, сопровождаемый сестрой, ехать в больницу в Марсель. Здесь он умирает 10 ноября 1891 года в возрасте 37 лет.

...Солдат без каски, с открытым ртом, спит в траве под облаками. Из цветов торчат его сапоги... Природа, согрей его: ему холодно! Его ноздри не вздрагивают от пряных запахов. Он спит, положив руку на грудь... В правом боку у него — две красных дыры.

Канетти¹

Мать разговаривает с сыном. «Это правда, — спрашивает мальчик, — что ты умрёшь, когда тебе будет тридцать два года?» — «Правда, сынок». — «Ты обязательно должна умереть?» — «Обязательно». — «Я не могу без тебя жить», — говорит мальчик. — «Тебе придётся привыкнуть». — «А когда это будет?» — «Этого я не могу тебе сказать. Это тайна». — «Сколько тебе сейчас лет?» — «Не спрашивай. Я же сказала: это тайна».

Человек по имени Пятьдесят — это значит, что ему положено прожить пятьдесят лет, — идёт по улице. Кто-то швыряет в него камень. «Да как ты смеешь...» — «А вот так, захочу и брошу», — отвечает малолетка с кирпичом в руке. «Вот я сейчас пойду, — говорит человек по имени Пятьдесят, — и расскажу всё твоим родителям». — «Плевал я на родителей». — «Или пожалуюсь учителям». — «Нет у меня никаких учителей». — «Разве ты не ходишь в школу?» — «А зачем?» — «Но ведь надо учиться». — «А зачем мне учиться, мне и так хорошо». — «Странный ты парень, — говорит Пятьдесят. — Как тебя зовут?» — «Меня зовут Десять».

Два молодых человека, одного зовут Двадцать Восемь, другого Восемьдесят Восемь, жалуются на скуку жизни. Раньше можно было убить обидчика на дуэли. А теперь ничего ни от кого не зависит. Всё предопределено. И тот, кому предстоит прожить 88 лет, чувствует себя ещё более несчастным, чем тот, который не доживёт до тридцати.

Пьеса-притча Элиаса Канетти «Люди с ограниченным сроком» была впервые поставлена в Англии в 1956 году. В этом спектакле слово «смерть» не произносится. Люди говорят о «мгновении». Цивилизация достигла наивысшего уровня, в обществе установлен идеальный порядок: правительство заранее определяет для каждого человека его «мгновение». Каждому новорождённому вешают на грудь запечатанную капсулу с датой смерти. О том, сколько ему положено жить, говорит его имя. Но точный день и час, когда наступит «мгновение», знает только он. Таким образом, в этом обществе уничтожен страх смерти, кото-

¹ Все цитаты в переводе автора статьи.

рый есть не что иное, как страх неизвестности. Будущее известно. Это создаёт совершенно новую социальную иерархию: хозяевами жизни становятся те, кому нечего терять.

В пьесе «Люди с ограниченным сроком» скрещиваются несколько тем, занимавших Канетти всю его творческую жизнь: тема деспотической власти, тема агрессивной толпы, освободившейся от страха возмездия, тема смерти и тема долголетия. Канетти говорил, что он непременно доживёт до глубокой старости. Он скончался почти девяностолетним в 1994 году.

Элиас Канетти происходил из семьи сефардских евреев; его предки, изгнанные из Испании королевским эдиктом 1492 года, бежали в Турцию и унесли с собой староиспанский язык ладино, который был родным языком и маленького Канетти. Городок Руцук на болгаро-румынской границе в низовьях Дуная, где в 1905 году родился Канетти, входил в состав доживавшей свои последние годы Османской империи. После смерти отца, состоятельного коммерсанта. Мать с тремя детьми уехала в Лозанну, затем семья обосновалась в Вене. Канетти учился в Австрии, Швейцарии и Германии, он окончил венский университет, защитил диссертацию по химии. Среди важных событий его юности было знакомство с Исааком Бабелем в Берлине, в летние месяцы 1928 г.

Канетти был моложе Бабеля на десять лет. В книге воспоминаний «Факел в ухе» он рассказывает об этой дружбе.

Десять лет спустя Австрия была присоединена к рейху. Под звон колоколов, в открытой машине, нацистский вождь въехал в Вену. Осенью тридцать восьмого года Канетти эмигрировал в Париж, оттуда перебрался в Лондон. Там и прошла вся его остальная жизнь.

Но английским писателем он не стал. Почему? Этот вопрос задал однажды Элиасу Канетти ныне покойный немецкий романист Хорст Бинек. Вот что ответил Канетти:

«Я всегда писал по-немецки и ни на каком другом языке писать не буду... Некоторую роль в этом сыграла гордость. Видите ли, я не мог допустить, чтобы Гитлер или кто-нибудь другой решал за меня, на каком языке мне писать... Восьми лет я научился немецкому и с тех пор всё больше вращался в этот язык. Когда пришлось уехать из Вены, я увёз с собой мой немецкий, как пращурь мои увезли с собой испанский. Быть может, я единственный литератор, в котором так тесно соединились языки двух великих изгнаний».

К какой национальной культуре принадлежит Канетти? Порой великие реки разделяются на несколько рукавов. Литература немецкого языка существует, если не считать маленькой Швейцарии, Итальянского Тироля, миниатюрного Великого княжества Лихтенштейн, в виде двух

главных потоков — германского и австрийского. При этом она демонстрирует любопытную закономерность. Так называемое национальное величие — отнюдь не гарантия великой литературы; скорее наоборот.

Эпоха величайшего взлёта немецкой поэзии, философии, музыки совпадает со временем, когда Германии как единого государства не существовало; что касается австрийской немецкой литературы, то её расцвет приходится на два последних, предсмертных десятилетия Дунайской монархии. Пример Австро-Венгрии, этого гротескного государства, осмеянного Робертом Музилом, поучителен, он говорит о том, что общество, сознающее свою обречённость, порождает особо утончённую и вместе с тем универсальную, преодолевающую национальный эгоизм культуру. Можно вспомнить о том, что нечто похожее происходило и в России: Серебряный век совпал с закатом двухсотлетней петровской державы.

Судьба бросала Канетти из одной разваливающейся империи в другую, но его писательское призвание определилось в Вене; мировоззрение Канетти испытало влияние знаменитого венского публициста Карла Крауса, его литературным учителем был пражан Франц Кафка, он дружил с Брохом и Музилом, его соотечественниками и современниками — философ Людвиг Витгенштейн, врач Зигмунд Фрейд, композитор Густав Малер, поэт Райнер Мария Рильке и художник Оскар Кокошка; он дышал тем особым воздухом Вены и Австрии первой трети нашего века, который сделал будто бы умирающую австрийскую культуру пророчицей будущего.

Первая книга Элиаса Канетти остаётся его самым значительным произведением: это 500-страничный роман «Ослепление». В разговоре с Хорстом Бинеком Канетти рассказывает, как возникло «Ослепление».

Моя серьёзная литературная работа началась в двадцать девятом году, когда, побывав во второй раз в Берлине, я вернулся в Вену и решил ничем, кроме литературы, не заниматься. У меня был план написать Человеческую комедию сумасшедших — восемь толстых романов. В каждом был свой главный герой, человек, стоящий на грани безумия и вместе с тем — феномен времени. Один был религиозным фанатиком, другой — полусумасшедшим изобретателем, третий коллекционером, четвёртый книжным червём, пятый свихнулся на идее бессмертия и так далее. Я хотел осветить действительность как бы косым лучом... Я убеждён, — добавляет Канетти, и эти слова можно считать его литературным кредо, — что описать наш мир традиционными средствами художественного реализма невозможно; слишком раздробилась, слишком далеко ушла во всех направлениях эта разбегающаяся вселенная.

Канетти написал только один роман. Книга была издана в 1935 году, удостоилась похвалы Томаса Манна, но, в общем, прошла незамеченным. Почему, спрашивает Бинек.

Канетти отвечает:

«Вы думаете, это так уж важно? Авторы, которыми я восхищался, Кафку и Музиля, тогда тоже читали очень немногие. Зато успехом пользовались другие писатели, которых я от души презирал... Видите ли, я дал себе зарок никогда не публиковать того, что не выдерживает испытания на прочность. Во всяком случае, я стремлюсь к этому. Прочной может быть только хорошая проза. Я отношусь к читателю серьёзно, больше всего мне хотелось бы, чтобы меня читали через сто лет».

В романе «Ослепление» читатель попадает в мир, где каждый человек сидит под замком в клетке собственного существования; обращаясь к другому, он, в сущности, говорит лишь с самим собой. Это в самом деле разбитый и разлетевшийся в разные стороны мир. И когда вы видите одновременно все его осколки, всех этих людей, не способных общаться, не понимающих друг друга, вам кажется, что вы попали в дом умалишенных. В книге появляется и психиатр, но недуг главного героя — не столько медицинское, сколько социальное и даже метафизическое помешательство.

Учёный отшельник, китаист Петер Кин нанимает к себе экономку Терезу Крумхольц. Её обязанность — стирать пыль с двадцати пяти тысяч книг, среди которых обитает профессор. Тереза — грубая и хитрая баба, сумевшая втереться к нему в доверие. Довольно скоро ей удаётся женить его на себе. Став хозяйкой, она беззастенчиво помыкает Кином и в конце концов выживает его из книжной крепости. Кин знакомится с гротескным карликом Фишерле, мошенником и вором, который мнит себя величайшим шахматистом мира. Комлот хищников — Фишерле, Тереза и привратник Пфафф — окончательно обирает профессора. Из Парижа приезжает брат Кина, специалист по душевным болезням, который сам смахивает на своих пациентов; его терапевтический метод состоит в том, чтобы вжиться в бредовый мир больного. (Заметим, что это напоминает реально существовавшую экзистенциалистскую школу в психиатрии с её лозунгом: врач обязан научиться мыслить психопатологически.) Сам того не желая, брат подсказывает окончательно свихнувшемуся Кину выход из тутика. Это — смерть в огне, грандиозное аутодафе. Кин сжигает себя вместе с книгами.

При желании можно видеть в этой истории притчу о крушении разума, оторванного от действительности, о судьбе культуры, замкнутой в

себе, или что-нибудь в этом роде. Но я могу представить себе критика, который увидит в книге нечто совсем другое. Проза, подсказывающая однозначное толкование, редко оказывается принадлежностью большой литературы.

Выпустив свой первый и единственный роман, Канетти посвятил следующие двадцать лет работе над сочинением небеллетристического жанра. Тем не менее, «Масса и власть» — не только теоретический трактат, но и шедевр прозы. Разумеется, её автор был не единственным, чьё внимание в нашем веке приковал феномен толпы, массовая психология и массовидное поведение. Но в книге Канетти человеческая масса, будь то «двухголовое стадо» болельщиков на стадионе или толпа, наэлектризованная речами фашистского демагога, пришедший в движение человеческий фарш, плебс, одинаковый во все времена и под всеми широтами — в Древнем Риме, на исламском Востоке или в Германии тридцатых годов, — масса, которую описывает Канетти, — не только предмет социологического исследования. Это грандиозный художественный образ.

Мало сказать, что масса и ее сублимированный прообраз — народ — порабощены мифами. Масса ими живёт. Она их воплощение. В книге есть глава, которая называется «Массовые символы наций». Под массовым символом подразумевается образ, впечатавшийся в воображение народа, объединяющий национальную массу и господствующий над её сознанием. Этот образ — ядро национального мифа; он может быть подсказан природой страны, порождён историей народа или укоренившимся национальным обычаем. Национальный символ англичан, по мнению Канетти, — море и капитан на мостике корабля. В Голландии массовый национальный символ — это плотина, у швейцарцев — горы, у французов — революция, у евреев — шествие по пустыне. Если можно постулировать существование национально-коллективного бессознательного, то это его архетип. Вот абзац, посвящённый Германии:

Массовым символом немцев было войско. Но оно было нечто большее, чем просто войско; это был марширующий лес. Ни в одной современной стране не сохранилось столь живое чувство леса, как в Германии. Стойкость и стройность вертикальных стволов, их густота, их масса наполняют сердце немца глубокой и таинственной радостью. Он и сегодня ищет укрытия в лесу, где жили его пращуры, и чувствует себя заодно с деревьями... От дерева к дереву, дальше и дальше взгляд погружается в нескончаемую глубь. Но каждое отдельное дерево выше человека и всё растёт, прибавляя себе богатырскую высь. Его несокрушимая устойчивость подобна стойкости воина. В лесу, где чаще

встречаются деревья одного вида, кора их, которую можно сравнить с бронёй, напоминает однообразные мундиры воинского подразделения... То, что другим казалось в войске бесчувственным и холодным, для немца хранило жизнь и лучезарность леса. Здесь он ничего не боялся; в строю он чувствовал себя в безопасности. Прямызна и упорство деревьев были образцом для него самого. Мальчик, которого тянуло из тесного жилища в лес — помечтать, побыть одному, — переживал в лесу чувство новобранца. В лесу уже стояли навтыжку, на боевом посту другие, верные, честные, стойкие, каким и он хотел стать, — один к одному, друг за другом... Не следует пренебрегать этим ранним влиянием лесной романтики на немцев. Они впитывали её с сотнями песен и стихов, и лес, о котором там говорилось, назывался германским лесом.

Каковы бы ни были амбиции автора, это текст не научный (для которого язык — лишь орудие сообщения), а литературный. Он стремится свести воедино традиционные мотивы немецкого романтизма, его ключевые слова и образы, ставшие почти заезженными; недаром вы как будто слышите хрестоматийные строки Йозефа Эйхендорфа: *Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben?* («Кто тебя, о дивный лес, на крутой горе построил?..») Бросается в глаза и другое. Национальный символ, притязающий на вневременность, хранит недвусмысленный отпечаток времени, когда создавалась «Масса и власть», жуткой и завораживающей эпохи марширующих сапог и кроваво-красных знамён. Стал бы писатель сегодня настаивать на пристрастии немцев к воинской символике?

В списке отсутствует Россия. Вслед за Канетти, что могли бы мы предложить в качестве русского национального символа? Я думаю — дорогу.

Элиас Канетти, который стал известным писателем лишь после того, как в 1981 г. ему была присуждена Нобелевская премия, писал свои книги медленно и всю жизнь как бы запаздывал: нередко его вещи печатались через много лет после их создания. Но настоящая литература, как сова Минервы, распахивает крылья вечером; дело в том, что литература обладает качеством долговременности и увековечивает эпоху, когда она, эта эпоха, уже позади.

Эрнст Юнгер, или Прелесть правизны

1

«...А все же свидание удалось! Водружена вежа. Вольфрам Дүфнер постучался в дверь, я думал, что нам пора уезжать, но было еще совсем темно. Он крикнул: «Комета!» Я выскочил с полевым биноклем — Галлей стоял в небе, как семьдесят шесть лет тому назад, когда я видел его в Ребурге, вместе с моими родителями, сестрой и братьями»¹.

Весной 1986 года писатель Эрнст Юнгер отправился в Малайзию, чтобы второй раз увидеть комету Галлея, которая движется по вытянутому эллипсу, пересекая околосолнечное пространство каждые 76 лет. В следующем, 1987 году вышли путевые записки Юнгера под названием «Дважды Галлей».

Юнгер живет в местечке Вильфлинген, в Южном Вюртемберге, в доме бывшего лесничества, среди книг, экзотических сувениров — хозяин объездил весь мир — и одной из крупнейших в мире коллекций жуков. Он признанный в научном мире энтомолог, его именем названо несколько описанных им видов жесткокрылых (а также бабочек, моллюсков и простейших). Он сидит с папироской в саду, каждый день совершает пешие прогулки, каждое утро садится за письменный стол. Это человек небольшого роста, стройный, почти молодой, седой как лунь. Автор романов, рассказов, дневников, афоризмов, эссеист и философ, бывший капитан вермахта, классик немецкого языка и живая история Германии, Юнгеру сто один год².

2

Этот человек застал в живых Ницше, Ибсена, Чехова, Золя, Марка Твена. Ему шел шестнадцатый год, когда умер Толстой. Он был

¹ Здесь и далее все цитаты даются в переводе автора статьи.

² Эссе было написано в 1996 году, за два года до смерти Эрнста Юнгера — прим. ред.

современником Джойса, Пруста, Музиля, Кафки, Томаса Манна. Он был также современником Ленина. Некто Гитлер приходился ему почти ровесником.

Ветхие старцы, древние старухи — дети в сравнении с ним. Он старше множества знаменитостей, давно сошедших со сцены, он пережил две мировые войны, несколько революций, нацизм, коммунизм, видел властителей, о которых помнят только историки, и государства, от которых остались обломки. При нем был изобретен самолет, построен танк, расщеплен атом, при нем появились автомобили, телефон, электрическое освещение, радио, он жил во времена, когда дамы носили турнюры и кринолины, мужчины — высокие воротнички и нафабранные усы. Четыре эпохи немецкой истории: монархия, Веймарская республика. Третья империя, Федеративная республика — часть его биографии и в той или иной мере часть его творчества.

Он выпустил около полусотни книг, о нем существует труднообозримая литература на многих языках и почти ничего — на русском. Некоторых античных авторов мы знаем лишь по цитатам, дошедшим до нас. Примерно так можно читать Юнгера по-русски: несколько заковыченных фраз в нескольких обзорах западной литературы. Короткая глава о Юнгере в академической «Истории литературы ФРГ», принадлежащая Ю. Архипову, написана с нескрываемой ненавистью.

3

Семнадцать лет, в последнем классе реального училища, начитавшись приключенческой и колониальной литературы, Юнгер приобрел у старьевщика за 12 марок вышедший из употребления револьвер и сбежал из родительского дома. Во Франции он завербовался в Иностраный легион и был отправлен в учебную роту в Алжир. Служить в легионе он не собирался, это был лишь способ добраться до Африки. Вместе с приятелем Юнгер покинул казарму, был найден спящим в стоге сена, арестован; тем временем пришла телеграмма из Германии от отца, успевшего принять свои меры: «Французское правительство распорядилось о твоём увольнении». Блудный сын вернулся домой в тусклый городок Ребург близ Ганновера, где отец его, химик, содержал аптеку; а летом следующего, 1914 года началась мировая война.

Первого августа Юнгер записался в армию добровольцем, кое-как сдал школьные экзамены и до декабря проходил срочное обучение в стрелковом полку принца Альбрехта в Ганновере; на другой день после Рождества полк выступил на Западный фронт в Шампань.

«Студенты, школяры, подмастерья, мы оставили все, за короткие недели подготовки слились воедино, в одно большое тело, охваченное восторгом. В эпоху, когда никому ничего не грозило, мы тосковали о чем-то необычайном, рискованном, героическом. Пришла война и опьянила нас. Под дождем из цветов выступили мы в путь, хмельные от запаха роз и крови. Война предстала перед нами как нечто великое, мощное и праздничное. Она казалась нам единственным делом, достойным мужчины, веселой перестрелкой на заросших цветами, забрызганных кровью лугах... Ах, только бы туда, только бы не сидеть дома!» («В стальных грозах»).

4

Рейх выставил на обоих фронтах 200 дивизий. Почти сразу был достигнут оглушительный успех: в начале сентября армия приблизилась к Парижу. Была оккупирована нейтральная Бельгия, на востоке две русские армии, вторгшиеся в Восточную Пруссию ради спасения Франции, окружены и разбиты. Казалось, победа — дело двух-трех недель. Но затем наступление на Западе захлебнулось. Войска зарылись в землю, качалась позиционная война.

«Вместо чаемой опасности — грязь, изнурительный труд и бессонные ночи... А еще хуже — скука, которая выматывает солдату нервы сильнее, чем близость смерти» («В стальных грозах»).

В апреле 1915 года, в Лотарингии, под ураганным огнем 20-летний Юнгер был ранен, получил отпуск, по совету отца записался курсантом в военную школу, летом вернулся на фронт в чине прапорщика. Накануне знаменитой битвы на Сомме, стоившей обеим сторонам одного миллиона убитых, Юнгер был вновь тяжело ранен, это спасло ему жизнь: его взвод был уничтожен под Гиймоном. Возвратившись, он был ранен еще несколько раз, стал лейтенантом, командовал ударной ротой и прославился на всю дивизию своей фантастической смелостью; получил Железный крест I класса и Рыцарский крест дома Гогенцоллернов; в августе 1918 года последнее, четырнадцатое по счету, тяжелое ранение под Камбре в Северной Франции закончило войну для Юнгера. В госпитале он получил от командира дивизии телеграмму о том, что кайзер пожаловал ему орден *Pour le Mérite* (За заслугу). Редчайшая, чрезвычайно престижная награда, учрежденная Фридрихом Прусским в 1740 году; с тех пор ее получило считанное число храбрецов.

Юнгер с детства был книгочеем, на фронте не расставался с книгами. В декабре 1917 года он пишет брату Фридриху Георгу (впоследствии известному поэту и эссеисту), что читает «преимущественно русских: Гоголя, Достоевского, Толстого». Но в его сумке лежит и «Тристрам Шенди», и пособие по энтомологии; сидя в блиндаже, ночуя в деревнях, он читает Ницше, Шопенгауэра, стихи Рембо, огромную поэму Ариосто «Неистовый Роланд». Наконец, всю войну, в окопах и в госпиталях, Юнгер вел дневниковые записи.

Эти записи, обработанные после войны, вышли в свет в 1920 году в «самоиздании», то есть самиздате, за счет автора, вернее, за счет отца, под названием «В стальных грозах».

Книга-первенец, которую до сих пор называют в числе его лучших достижений; книга, пополнившая — или даже открывшая — длинный ряд более или менее известных произведений европейских писателей-фронтовиков о Первой мировой войне. Но от тех из них, которые, в частности, были переведены в Советском Союзе, от книг Дюамеля, Ремарка, Барбюса, забытого ныне Людвиг Ренна, от военных страниц «Путешествия на край ночи» Селина, от романов писателей «потерянного поколения», она отличается и своим тоном, принесшим автору не вполне заслуженную славу певца войны, и авторским «мы», каким оно вырисовывается в «Дневнике командира ударной части» (подзаголовок книги Юнгера).

Вот любопытная оценка этой книги, сделанная самим писателем много лет спустя, во втором томе заметок «Семьдесят — мимо» (1981): «В стальных грозах»... Прощание воина с войной-игрой гомеровских героев, с их славой. Он все еще верит, что сможет выстоять перед натиском титанических сил; он видит лишь новые средства ведения войны, но не вселенскую власть, которая ворочает ими. Он сменил цветной мундир на серую робу. Солдат, пока жив, сделался незаметным, невидимым для врага; убитый — стал неизвестным солдатом. Он все еще хочет приноровить традиционный этос к миру огня. Но там царят другие законы. Птица Феникс в стальном оперении: теперь она называется — самолет».

Сейчас уже мало кто помнит одно любопытное обстоятельство: на исходе Первой мировой войны Германия вновь стояла накануне победы. Никогда военно-стратегическое положение не казалось та-

ким блестящим, как в первые месяцы 1918 года. На востоке армия занимала линию от Эстонии до Ростова-на-Дону, на западе фронт проходил далеко от границ рейха. Брест-Литовский мир дал возможность перебросить на Западный фронт дополнительные силы. Весной немцы прорвали фронт в Арденнах; было решено закончить войну одним ударом. За этим последовало еще два броска. Снова, как в первые месяцы войны, войска докатились до Марны. Но затем наступательный порыв истощился. На помощь французам и англичанам пришли американцы. Германия была измочалена четырехлетней войной и блокадой. Голодало не только население в тылу, но и воюющая армия. Силы иссякли, страна была обречена.

Когда в мае 1919 года союзники продиктовали новому республиканскому правительству условия мирного договора, он вызвал гнев и отчаяние. Договор предусматривал потерю имперской территории, на которой проживала десятая часть населения страны, — потерю трех четвертей запасов железной руды, четверти запасов угля и одной шестой посевных площадей. Германия лишилась всех своих заморских колоний. Все заграничные вложения подлежали конфискации. Все главные реки страны были интернационализированы, был отнят торговый флот и так далее. Плюс миллиардные контрибуции.

Юнгеру повезло, он вернулся с войны живым, с руками и ногами. Тому, кто хотел бы оживить в своей памяти *другой* образ войны, достаточно было взглянуть на гравюры Отто Дикса. Но и реализм автора «Стальных гроз» («Задача этой книги, — говорится в предисловии, — объективно рассказать о том, что переживает солдат и командир на большой войне... и что он о себе думает») нисколько не уступал, например, реализму Эриха Марии Ремарка, чей роман «На Западном фронте без перемен» (1929) пользовался колоссальным успехом. Книга Ремарка вечером 10 мая 1933 года на площади перед оперным театром в Берлине одной из первых полетела в огонь под зычный возглас: «Против морального разложения нации, оплевывания фронтового прошлого и боевого товарищества!» Книг Юнгера на этом костре не было.

Он не «оплевывал» мировую бойню. После первого успеха Юнгер выпустил еще три книги о мировой войне: «Бой как внутреннее переживание» (1922), «Роца 125» (1925), «Огонь и кровь» (1926). Эти книги в самом деле противопоставили его большому числу авторов-фронтовиков, обличавших войну с левых, интернационалистических, анархических или пацифистских позиций. Юнгер несомненно и определенно находился «справа». Тем не менее он не влился в когорту писателей-ландскнехтов, тех, кто в самом деле пытался вос-

славить войну, как, например, автор известного в свое время романа «Заградительный огонь вокруг Германии» Вернер Боймельбург, ставший нацистом.

7

Нам, дожившим до нового *fin de siècle*, уже не так легко представить себе, каким обвалом цивилизации была для европейцев первая в истории мировая война. Семьдесят миллионов человек надели военную форму. На фронтах было убито 10 миллионов и 20 миллионов ранено. Рухнуло четыре империи. Война положила конец эпохе, начавшейся после французской революции, вызвала кризис либерально-демократических институтов, поставила под вопрос достоинство демократии в целом; война воспринималась как гибель цивилизации и вместе с тем как ее чудовищный рекорд.

Невиданная концентрация военной техники, новые виды вооружения, совершенно новый облик войны — «материальные сражения». Художественная и мемуарная литература 20-х годов пыталась переварить этот опыт. Ее главной проблемой была ситуация рядового человека на войне — в траншеях, на полях, в госпитале, в плену.

Война проиграна. Но ее смысл, с точки зрения Юнгера, не в победе, и ничто не может отменить того, чем она была: великой инициацией и самоосуществлением автора как человека и мужчины.

Война в ранних книгах Юнгера не осмысливается как кульминация социального, идейного или политического кризиса, как сведение национальных счетов, столкновение империалистических амбиций или что-либо подобное. Война — это грандиозное стихийное событие, только роль стихийных сил здесь выполняет техника. Дьяволу техники противостоит человек, который защищен только своей шинелью — и мужеством. Бой возвращает человека к первичному, «элементарному» переживанию мира, но и предписывает ему единственно подобающую роль — сохранить достоинство, выдержку, самообладание. Устоять во что бы то ни стало.

Юнгера причисляли к «нигилистам», духовным детям Ницше с его героическим отчаянием и попыткой утвердить человеческое достоинство ни на чем, — ведь Бог умер, — и повалилась вся система буржуазных ценностей. За что схватиться? Поиск ценностей в деморализованном мире — быть может, главная тема всей новой западной литературы. В 20-х годах — и тут мы покидаем собственно военную тему — речь пойдет уже не о фронтовых книгах — Юнгер нашел свой идеал в так называемом новом национализме.

Этот национализм питался мужской гордостью, офицерским высокомерием, горечью поражения, зрелищем униженной и разоренной, сошедшей с рельс родины, отвращением к шаткой веймарской демократии. Отталкиванием от демократии вообще.

«Новый» национализм. Сегодня он не выглядит свежим товаром. Он издает знакомый удушливый запах. Новых идеологий не бывает, как не бывает новых сюжетов или новых способов любви. Идеологии постоянно воспроизводятся, используя разные маски и терминологические наименования. Набор идеологий ограничен.

Дело, однако, обстоит не так просто; не идеология выбирает писателя, но писатель поддается соблазну идеологии — либо сопротивляется ей. Идеологии и философии предшествует психология. Одно дело философия, другое — этот щеголеватый, детски-неустрашимый, не чуждый мужского кокетства офицер-картинка, каким он выглядит на многочисленных фотографиях 20-х, 30-х, 40-х годов. Писатель, чья муза — опасность, чей пароль — действие. Жизнь как высокая авантюра. Психологический тип, к которому тяготел Эрнст Юнгер, который он культивировал в себе, был тип, сложившийся к началу 20-х не только в Германии. Назовем его так: воин-эстет.

По другую сторону фронта воевал и был убит через месяц после начала войны другой волонтер воинственного национализма, Шарль Пеги, принадлежавший, правда, к среднему поколению: ему был 41 год. Но Андре Мальро, впоследствии сражавшийся против фашизма и нацизма, — почти ровесник и в каком-то смысле двойник Юнгера: та же героика и тот же авантюризм, то же навязчивое желание быть мужчиной и человеком действия, оставаясь созерцателем и эстетом. Тот же *стиль*.

К этой когорте принадлежит и граф Анри де Монтерлан — блестящий красавец, на год старше Юнгера, как и он, солдат Первой мировой войны, романтический националист в полусредневековом, полуфашистском вкусе, спортсмен, искатель приключений, убивший себя на склоне лет. Пожалуй, уместно вспомнить Пьера Дриё ля Рошеля, романиста и публициста, ушедшего школьником на фронт и раненного под Верденом, донжуана в жизни и в политике, который некоторое время колебался между коммунизмом и националсоциализмом, с восторгом взирал в Нюрнберге на «марш отборных отрядов, в черном с головы до ног», стал коллаборационистом и тоже покончил с собой. Сюда же можно причислить «князя» Габриеле д'Аннунцио, автора «Гимнов великодержавной Италии» и командира отряда националистов, захватившего

в 1919 году югославскую Риеку; впоследствии — личного друга дуче. Есть нечто общее с этими персонажами у графа Антуана де Сент-Экзюпери, человека противоположных политических и нравственных убеждений. И наконец, еще один собрат международного ордена рыцарей-эстетов, представитель литературы, где этот тип был совсем не популярен: путешественник и волонтер мировой войны, расстрелянный в 1921 году, — Николай Гумилев.

В разное время эти люди выступают под знаменами разного цвета, но, конечно, мы имеем дело не с политиками. В лучшем случае это политические романтики. Холодные и отважные в жизни, мало склонные к юмору, они на самом деле опьянены. Война, как мы помним, породила «потерянное поколение» (*lost generation* — словечко Гертруды Стайн). Но люди, подобные Юнгеру, вернулись с особым хмельным блеском в глазах — пьяные вином войны. Только на самом деле это было не вино, а наркотик. Не зря Юнгер впоследствии экспериментировал с эфиром, гашишем, мескалином, ЛСД. Романтизм таит в себе прелесть наркотика и очарование галлюциногена. Так они становятся наркоманами радикальной идеи: чаще правой, иногда левой. Бюргерская умеренность и ее политический эквивалент — либеральная демократия — представляются им бесцветными, пресными.

9

После войны Юнгер несколько лет носил форму рейхсвера, затем стал студентом, изучал зоологию в Лейпциге и Неаполе, женился, писал книги и статьи, редактировал журналы с выразительными названиями: «Штандарт. Еженедельник Стального шлема», «Арминий. Боевой орган немецких националистов», «Сопrotивление», «Атака» и т. п. Фронтонные связи сблизили его с союзом ветеранов «Стальной шлем» и с так называемой Консервативной революцией, о которой здесь нужно сказать несколько слов.

Термин возник позже и может вызвать недоумение. Какая же это революция, если она консервативная? Течение это не было представлено ни политической партией, ни литературным кружком. Идеологи Консервативной революции нередко тянули в разные стороны, вообще были очень разными людьми. Понятия, которыми они оперировали, — государство, народ, нация, культура, — толковались весьма прихотливо, с изрядной долей мифотворчества. Список этих людей открывает Артур Мёллер ван ден Брук, автор историософского трактата «Третья империя», выпущенного в 1923 году. Под Третьей империей подразумевалась грядущая Германия, новое общенациональное и авторитарное го-

сударство, которое придет на смену своим предшественникам — Священной Римской империи и монархии Гогенцоллернов. Мёллер ван ден Брук не дождал до времен, когда брошенное им слово стало названием гитлеровского режима, и неизвестно, как он отнесся бы к этому режиму; в 1925 году он покончил с собой.

Среди других трубадуров Консервативной революции мы находим Освальда Шпенглера, который после «Заката Европы» развивал свой вариант спасения — «пруссский социализм»; но переворот тридцать третьего года не сделал его сторонником нового режима, он отверг его заигрывания и успел вовремя умереть — в 1936 году. Зато Карл Шмитт, крупнейший государствовед и правовед, запятнал себя симпатиями к нацизму. Национал-большевик Эрнст Никиш угодил после переворота в концлагерь. Писатель и публицист Эдгар Юнг был убит.

10

Два цвета времени окрасили Консервативную революцию — черный и красный. Двойными были источники вдохновения этих революционеров-реакционеров. Немецкий романтизм XIX века и «философия жизни», включая Ницше, — с одной стороны. С другой — горестная действительность послевоенных лет, раненое национальное самолюбие, легенда об «ударе в спину», экономический крах, инфляция, потрясение всех основ.

Война не сделала этих людей противниками насилия, и поражение не отбило у них охоту воевать. Напротив, главное и окончательное сражение было впереди. Но речь шла не о том, чтобы вновь схватиться с наследственным врагом — Францией. Консервативная революция целилась в собственное государство — Веймарскую республику. У всех консервативных революционеров был общий враг — либеральный образ мыслей. Ненависть к коррумпированной демократии объединяла эту пеструю компанию.

Редкий случай в истории — сыновья были не левее, а правее отцов. Никаких попыток вернуться к «доброму старому времени»! С ним раз и навсегда покончено. Старики обанкротились. С ними не о чем разговаривать. Речь идет о новом, грозном и неслыханном будущем страны, которое будет воздвигнуто на фундаменте «национальных ценностей». Национализм был общим знаменателем, мощным и темным стимулом Консервативной революции.

Она нагроулила понятие нации харизматическим содержанием: «нам» принадлежит великая историческая миссия. Если сегодня перечитать некоторые программные тексты, написанные выпревшим, не-

выносимо цветистым языком, нашпигованные такими словесами, как «битва», «опьянение», «кровь», «дух», «почва», «раса», «судьба», такими выражениями, как «кратер войны», «северный демон», «имперский народ», «единство веры и воли», «грядущее тысячелетие германской судьбы», если наугад выхватить из сочинений консервативных революционеров такие цитаты, как фраза Шпенглера: «Народ есть союз мужчин, осознавших себя единым целым; без этого чувства нет народа», или следующий пассаж Эрнста Юнгера: «Новое мироощущение... есть не что иное, как воля увидеть и воссоздать жизнь в аспекте судьбы и крови. Это воля новой аристократии, которую сотворила война, отбор отважнейших, чей дух не сломит никакое оружие в мире; тех, кто чует свое призвание к господству», — если расшифровать эту мрачную риторику, взглянуть на нее сегодняшними глазами, вывод будет однозначным. Как бы ни сложилась судьба каждого из них, эти люди звали к фашизму. Хотели они этого или нет, но они расчищали дорогу Гитлеру.

Они оснастили немецкий национал-социализм броскими формулами, подарили ему звучный язык, а подчас и трескучий пафос. Они стали голосом многочисленных правых группировок, ненавидевших республику и общими усилиями похоронивших ее.

11

Разумеется, все это дела давно минувших дней. И если мы уделили столько места раннему Юнгера, то отчасти потому, что до сих пор — спустя три четверти века — в Германии ему не могут простить некоторых из его тогдашних выступлений. «Ледяной сластолюбец варварства» — как выразился Томас Манн. Многократно обсуждался вопрос, был ли Юнгер на самом деле профашистским писателем. Тут невозможно не вспомнить о двух книгах Юнгера, написанных накануне нацистского переворота: «Рабочий» (1932) и «Тотальная мобилизация» (вышла в свет в 1934-м). Обе книги возвестили о наступлении эры тоталитаризма. Тем не менее они исключают однозначный ответ.

Трехсотстраничное эссе «Рабочий» (которому Мартин Хайдеггер посвятил специальный семинар во Фрейбургском университете) может напомнить некоторые известные сочинения, вышедшие между 1918 и 1930 годами, книги, в которых выразилось совершенно новое и особое настроение; книги пророческие и апокалиптические. «Закат Европы» Шпенглера, «Дух утопии» Эрнста Блоха, «Дух как противник души» Людвиг Клагеса, «Звезда искушения» Франца Розенцвейга. Можно было бы назвать еще несколько трактатов в этом роде. Можно говорить об особом — философско-музыкальном, полунаучном, полупрапосидиче-

ском — жанре. В этих объемистых томах, восхитивших публику блеском стиля и смелостью обобщений, каким-то призрачным сиянием, есть то, что хочется назвать насильственной тотальностью. Они притязают на самый широкий охват истории и поработают читателя своим авторитарным тоном и языком, навязывают ему под видом философского дискурса некую соблазнительную и опасную мифологию. В них есть Rausch — то самое «опьянение», которое сделалось паролем эпохи. В исторической перспективе они представляют собой поздние цветы немецкой классической философии, пахучие продукты ее разложения.

12

Тотальная мобилизация Юнгера не соответствует привычному значению этого выражения, а его Рабочий мало похож на реального рабочего человека, которому чаще всего не до высоких материй и выпрених слов.

«Не о том речь, что к власти приходит новый политический или социальный класс, а речь идет о том, что сферой власти сознательно и разумно овладевает новый тип человека, не уступающий прежним великим персонификациям истории. Вот почему мы отказываемся видеть в Рабочем всего лишь представителя нового сословия, нового общества, новой экономической системы; либо он ничто, либо нечто куда более значительное, а именно — воплощение суверенного, наделенного особой свободой образа, который следует самоличному призванию и повинуется собственному закону...» («Рабочий»).

Времена анархической свободы, либеральных иллюзий, сентиментального уюта прошли. Мир вступил в военно-индустриальную эпоху, наступили железные будни. Новое общественное устройство основано на трудовом братстве, дисциплине, техническом прогрессе. Будущее принадлежит Рабочему и Солдату, двуединому субъекту тотального созидательного процесса и одновременно его воплощению; их общая задача — «преобразование пространства».

Две черты этого философствования бросаются в глаза. Первая — неожиданное совпадение с героикой социалистического строительства и тотальным планированием в СССР. Государство Рабочего оказывается идеализированным проектом пролетарско-социалистического государства, уже построенного (или якобы построенного) в Советской России, Вторая черта существенней. Правофланговый тотальной мобилизации, труженик войны и солдат труда, подозрительно напоминающий живого робота, не является, однако, инструментом какого-то надчеловеческого прогресса. Он не слуга машины, хотя и живет среди молний, в свисте и

грохоте механизмов. Смысл его деятельности не в том, чтобы приумножать материальные блага, построить рай на земле, возвести гигантскую гидроэлектростанцию или что-нибудь такое. Рабочий — не объект истории. Но он и не ее субъект. В утопическом рабочем государстве истории нет. Рабочий и воин — это *тип поведения*. Нравственность и политика вынесены за скобки. Мы возвращаемся к тому, что представляется истинной политикой и моралью Эрнста Юнгера, по крайней мере, первой половины его творческого пути: к стилю.

13

Когда вспоминаешь все, что произошло, хочется отшвырнуть ногой гнусные книги и куском угля крест-накрест перечеркнуть физиономии авторов, которые поскрипывали лакированными сапогами, попивали прохладное бургундское и совершенствовали периоды своей прозы в то время, когда другие подышали в лагерях. В то время, когда Бенямин принял яд, чтобы не попасть в когти гестапо при попытке перейти границу в Пиренеях. Когда Дитрих Бонгёффер был расстрелян в концлагере Флоссенбург. Когда густой черный дым валил из трубы Освенцима. Когда, как сказано в одном стихотворении Брехта, разговор о деревьях кажется преступлением, потому что он заключает в себе молчание о погибших. «Сады и улицы» (1942, одна из дневниковых книг Юнгера) — разве это не разговор о деревьях?

Однажды он записал: «Цензура воспитывает утонченность стиля, как дуэль — утонченность нравов». Но бывают эпохи, когда эстетизм оборачивается варварством, а от изящного слога мутит и выворачивает наизнанку. Тому, кто вернулся из крысиного ада, знакомо чувство отворачивания, которое вызывают ряды элегантно переплетенных томиков в книжном шкафу: кажется, что эти поэты-эстеты, эти квартиранты башен слоновой кости предали тебя.

Будем, однако, справедливы. Ретроспективный взгляд находит в сочинениях Юнгера 30-х годов не панегирик эпохе, а скорее ее диагноз.

Он продолжал печататься и после переворота; путешествовал, выпускал путевые записки. Юнгер не написал ни одной строчки в угоду новой власти, не опубликовал ни одного текста, в котором можно было бы распознать присутствие официальной идеологии. Делались попытки привлечь его на сторону режима; ничего не вышло. «На всякий случай» (кто не с нами, тот против нас!) он был подвергнут домашнему обыску. Этим, однако, неприятности ограничились. Имеется датированный сентябрем 1936 года архивный документ, из которого следует, что гестапо наблюдало за Юнгером. Тем не менее его оставили в покое — слишком

высок был престиж автора «Стальных гроз» и кавалера ордена Pour le Mérite. Вероятно, сыграло роль и то, что у Юнгера были влиятельные друзья «наверху».

С присущей ему холодной надменностью он отклонил предложение вступить в перекрашенную на новый лад Прусскую академию литературы. Поселил в своем доме жену и сына арестованного друга Эрнста Никиша. У Юнгера не было иллюзий относительно того, в каком государстве он теперь живет.

«Я сидел в большом кафе, играл оркестр, вокруг скучали хорошо одетые посетители. Мне понадобилось вымыть руки, я вышел через дверь, занавешенную красным бархатом, в заднее помещение, но заблудился в коридорах и на лестницах и в конце концов оказался в другом крыле здания, в элегантно убранных, но запущенных покоях... Очевидно, там шли работы, в углу медленно поворачивалось колесо с трансмиссией, раздувались и опадали кузнечные мехи. Высунувшись из пыльного окна, я увидел заросший и одичавший сад. Там было что-то вроде кузницы: при каждом движении мехов сноп искр вылетал из горящих углей, на которых лежали раскаленные докрасна, диковинного вида инструменты; каждый поворот колеса приводил в движение какие-то странные механизмы. На моих глазах сюда приволокли двух посетителей кафе, мужчину и женщину, и стали срывать с них одежду. Они отбивались, и я подумал: «Пожалуй, они еще могут откупиться, пока у них есть дорогие вещи». Но то, что ткань кое-где была разодрана и виднелось голое тело, показалось мне дурным знаком. Мне удалось незаметно ретироваться, я вернулся в кафе. Сел за свой столик, но оркестранты, кельнеры, красивое убранство предстали передо мной уже в другом свете. Я понял, что гости испытывали не скуку, а страх» («Авантюрное сердце», 1929; 2-я редакция, 1938).

14

В 1939 году вышел в свет роман Юнгера «На мраморных скалах».

«Одно побочное обстоятельство, а именно риск предприятия, стало предметом толков — меня самого оно занимало в небольшой степени, ибо уводило от существа дела, выдвигая чисто политическую сторону на передний план. То, что текст мог звучать как вызов, я и мой брат понимали не меньше, чем внутренний рецензент, да и сам руководитель издательства, которому публикация книги тотчас доставила неприятности. Уже через неделю рейхслейтер Булер доложил о ней Гитлеру, однако последствий не было... Тем временем я находился уже на Западном фронте и, сидя в бункере, читал рецензии в газетах, не-

мецких и иностранных, где политический аспект тоже более или менее подчеркивался... То, что «сапужок годится на разную ногу», стало понятно довольно быстро».

В самом деле, «На мраморных скалах» (мы процитировали предисловие автора к позднему переизданию) — единственное, почти незамаскированное антинацистское произведение, которое появилось легально в гитлеровской Германии; если угодно, блестящий документ внутренней эмиграции. При желании в нем можно было даже найти вполне актуальные параллели. Но эту тоненькую книжку можно прочесть и по-другому: как притчу о гибели цивилизации под натиском варварства.

Восхитительный горный и лесной край, где живет и наслаждается жизнью талантливый трудолюбивый народ, оказался во власти свирепого Лесничего. До сих пор он скрывался в своих владениях. Мало-помалу его присутствие начинает ощущаться как разлитый повсюду яд. Страх перед Лесничим и его ордами развязывает низменные инстинкты. Порча нравов ширится, как эпидемия. Народ созрел для рабства. Тщетно аристократия пытается спасти страну. Сволочь выходит из лесов, начинается гражданская война, и все рушится.

Невозможно понять, когда и где происходит действие; в книге нет истории, нет и живых характеров — это не реалистический и не психологический роман, а скорее роман-аллегория. Немногочисленные персонажи воплощают не столько социальные или психологические типы, сколько типы поведения. Книга написана изысканной ритмизованной прозой — порой не без риска впасть в красоту — и заставляет задуматься над вопросом, который кажется нам существенным для понимания феномена Эрнста Юнгера в целом.

15

Это все тот же вопрос о стиле.

Из дневниковых записей автора можно узнать о том, что сначала роман назывался иначе; новый заголовок — «На мраморных скалах» — отсылает к месту действия: уединенный домик, где живет рассказчик, стоит на береговом склоне под защитой сверкающих белых скал, за которыми, далеко на севере, начинаются леса. Вместе с тем это название прочитывается как символ, а может быть, и как некая формула творчества. «В нем выражено единство красоты, величия и опасности...».

Еще одно высказывание — из предисловия к «Излучениям», собранию дневников Юнгера (1941–1945):

«Безупречно построенная фраза обещает нечто большее, чем удовольствие, которое она доставит читателю. В ней заключено — даже если язык сам по себе устареет — идеальное чередование света и те-

ни, тончайшее равновесие, которое выходит далеко за ее словесные пределы. Безукоризненная фраза заряжена той же силой, которая позволяет зодчему воздвигать дворцы, судьбе различать тончайшую грань справедливости и неправды, больному в момент кризиса найти врата жизни. Оттого писательство остается высоким дерзанием, оттого оно требует большей обдуманности, сильнее искусства, чем те, с которыми ведут в бой полки...».

Какая велеречивость! И какая вера в могущество слова...

Критика отмечала парадокс «Мраморных скал»: отвратительные сцены войны, жестокости и разрушения описаны торжественным и чарующим слогом, который начинает подчас раздражать своей почти нарочитой гармонией, избыточной музыкальностью, каким-то неуместным великолепием. Можно предположить, что сам писатель отдавал себе в этом отчет. Не забудем, что это человек, которому несчетное число раз приходилось глядеть в глаза смерти; человек, выдавший виды. Почему же он не избрал путь, соблазвивший столь многих, путь «разгребателей грязи», отважных реалистов, тех, кто не гнушается называть вещи своими именами, кто предпочитает описывать гнусную действительность в адекватных ей формах, ее собственным помойным языком?

Потому что достоинство художника состоит в том, чтобы не поддаваться этой действительности, миссия художника — укротить ее. Потому что совершенная фраза побеждает тиранию. Проза требует абсолютного слуха. Стиль (а не идеология) переживает века. Стиль — это спасательный круг, за который можно схватиться. Это способ выстоять. Стиль, может быть, и есть последняя, высшая ценность. Некогда было сказано: стиль — это человек. Об Эрнсте Юнгере можно сказать обратное: человек — это стиль.

16

На рассвете 1 сентября 1939 года крейсер «Шлезвиг-Гольштейн» открыл огонь по польской крепости Вестерплатте в устье Вислы; рейх начал войну. Май следующего года — начало активных операций на Западе. Сохранилась фотография: 45-летний капитан Эрнст Юнгер (успевший получить еще одну награду за храбрость при спасении раненого) верхом на коне, во главе своей роты, въезжает во Францию. Некоторое время спустя Юнгер обосновался в парижском отеле «Рафаэль» неподалеку от Булонского леса: он прикомандирован к штабу командующего оккупационными войсками по Франции, его обязанности — почтовая цензура, подготовка документов плана «Морской лев» (неосуществленный проект вторжения на Британские острова), канцелярская война, которую командование ведет с партийными инстанциями.

Несколько офицеров высокого ранга составляют кружок интеллектуалов, где на равных правах принят капитан с бриллиантовым крестом на шее; здесь свободно обсуждают военную и политическую ситуацию; для этих людей Юнгер пишет программное сочинение, в конце войны нелегально распространявшееся в Германии под названием «Мир. Слово к молодежи Европы и молодежи мира». Служба не слишком обременяет Юнгера. У него есть друзья в Париже, он в приятельских отношениях с известными французскими писателями и художниками. Среди его знакомых не только коллаборационисты, но и участники Сопротивления. Вслух об этом не говорится.

«Тревога, налеты. С высокой крыши «Рафаэля» я видел, как дважды поднялось над Сен-Жермен-де-Пре мощное облако взрыва и на большой высоте уходили английские эскадрильи. Задача — разбить мосты через Сену. Способ и порядок операций, парализующих подвоз продовольствия в город, указывают на пронизательный ум. При второй атаке, в лучах заката, я поднял бокал бургундского, в котором плавали ягоды клубники. Город со сверкающими на солнце башнями и куполами лежал передо мной во всем своем великолепии, словно цветок, раскрывшийся навстречу смертельному оплодотворению» («Второй парижский дневник», 1943).

17

Приведенный пассаж — один из часто цитируемых текстов Юнгера; эстет с бокалом вина перед жутким зрелищем бомбежки — словно бряцающий на лире Нерон при виде горящего Рима — воистину благодарная тема для критики. Два слова о жанре произведения, откуда извлечена эта цитата.

«К числу моих добрых дел принадлежит, может быть, то, что я кого-то вдохновил вести дневник. Как бы то ни было, дневник всегда представляет ценность — личную и архивную. Вдобавок он удовлетворяет внутреннюю потребность обозначить путь. Здесь присутствует и нечто сакральное; человек — наедине с собой. Хорошо, когда писать дневник начинают рано, еще лучше — когда его доводят до конца, до самой смерти» («Второй парижский дневник»).

«Достигнут библейский возраст. Довольно странно для того, кто в юности не чаял дожить до тридцати» («Семьдесят — мимо»).

«Siebzig verweht» — так называются четыре выпущенных к настоящему времени тома дневниковых записей, они начаты в 70-летнем возрасте. Но уже первая книга, «В стальных бурях», как мы помним, была обработкой фронтового дневника. Вот еще несколько книг аналогичного жанра: «Авантюрное сердце», «Сады и улицы», «Приближения. Нар-

котические сны», «Первый парижский дневник», «Заметки с Кавказа», «Второй парижский дневник». Некоторые из них, как уже сказано, ранее были объединены под заголовком «Излучения».

Литературный дневник, в сущности, представляет собой протест против литературы, против самой сути художественного творчества — его условной, игровой природы. Как хозяйка, которая устала нравиться, уходит к себе, чтобы отдохнуть от гостей, так писатель, автор дневника, хочет остаться наедине с собой, быть самим собой и больше никем.

Таковы дневники Томаса Манна, чепыре пакета с надписью рукой автора по-английски: «without any literary value» («литературной ценности не представляют»). Таков знаменитый дневник Андре Жида — но уже в меньшей степени: написанный вроде бы только для себя, он является замечательным памятником литературы; ибо писатель подобен фригийскому царю Мидасу, у которого все, к чему он прикасался, превращалось в золото.

Дневниковые (в том числе путевые) записи Юнгера — это литературные тексты в полном смысле слова: они накапливаются, отшлифовываются и выпускаются в виде книг. И более того. Дневники Юнгера, которые ныне составляют несколько тысяч страниц, — возможно, лучшее из всего, что он написал.

18

Для читателя в России могли бы представить особый интерес записи, которые Юнгер вел зимой 1942 года во время инспекционной поездки на Восточный фронт (в общем корпусе дневников они занимают небольшое место). Как все дневники этих лет, они были опубликованы после войны.

«...В Ворошиловке я переночевал в здании НКВД, огромном, как все, что принадлежит ведомству полиции и тюрем. Мне отвели комнатку со столом, кроватью и, самое главное, с невыбитыми оконными стеклами... Перед рассветом прибыл в Белореченскую, разглядывал, стоя на перроне, сверкающие созвездия. Поразительно, как тотчас и на новый лад они пленяют душу, когда приближаешься к царству страданий... После обеда я присутствовал при допросе 19-летнего русского лейтенанта. Девическое лицо с нежным, еще не бритым пухом. На мальчике зимняя шапка-ушанка, опирается на палку. Сын колхозника, учился в техникуме, перед тем как попасть в плен, командовал ротой гранатометчиков. Вид и движения крестьянина, ставшего слесарем; руки еще не забыли, как обращаться с деревом, но уже привыкли к железу. Разговор с офицером, который вел допрос: балтийский немец; Россия, по его словам, похожа на крынку молока, с которого сняли сметану. Новый слой еще не образовался или не имеет прежнего вкуса... Спрашивается, про-

ника ли безликая технизация в глубины индивидуума, поразила ли она плодоносный слой народа? Я бы ответил: нет, судя по впечатлению, которое производят лица и голоса людей в этой стране».

«У женщин, особенно у девушек, голоса не то чтобы мелодичные, но приятные. В них скрыта сила и веселость; кажется, что слышишь глубокую звенящую струну жизни. Похоже, что государственные преобразования прошли мимо этих натур... Впрочем, штабной врач рассказывал мне, что при медицинских осмотрах большинство этих девушек оказались нетронутыми; это можно заметить и по лицам, их как будто окружает серебряное сияние. Это не свет активной добродетели, но скорей отраженный, как свет луны. Пытаешься угадать, где же то солнце, что вызывает эту веселость».

«Рождество. Утром возвращение в Куринскую... На деревянном мосту провалилась лошадь и зависла в упряжи над пенным потоком. Какому-то унтер-офицеру удалось снизу перерезать постромки. Лошадь рухнула в воду и кое-как добралась до берега. Выше по течению я обнаружил два трупа, один был раздет до кальсон. Он лежал на дне ручья, и его посиневшая грудная клетка выпирала между камней. Правая ладонь подсунута под затылок, словно человек спит. Затылок в крови. С другого, видимо, пытались стащить гимнастерку. Огнестрельная рана в области сердца. Мимо тянутся вереницы горных стрелков с тяжелыми рюкзаками, горцы-носильщики с амуницией, провиантом, мотками проволоки, облепленные глиной, с небритыми лицами, лошади — точно огромные крысы, вываленные в грязи. Раненых на плотах переправляют через поток и грузят в санитарные машины с тщательно замазанными красными крестами. И над всем этим гремит репродуктор пропагандной роты: «Тихая ночь, святая ночь». Время от времени его заглушают грохот орудий и могучее эхо в горах».

«Вечером в штаб-квартире праздник Нового года. К сожалению, мое настроение отравлено разговорами, которые стали уже чем-то обычным. Генерал Мюллер рассказывал о чудовищно постыдных делах службы безопасности после взятия Киева. Туннели с ядовитым газом, куда въезжают целые составы с евреями. Пока что это только слухи, но что убийства действительно совершаются в огромном масштабе — несомненно. И меня начинает тошнить от мундиров, погон, орденов, от вина, от оружия, от блеска всей этой жизни, которую я так любил... Старая рыцарственность, дававшая власть и силу дворянству еще в войнах Наполеона, даже еще в минувшую войну, — испустила дух. Нынче войну ведут технари. Что ж, человек достиг-таки состояния, о котором его давно предупреждали, которое описал Достоевский... Теперь он глядит на ближнего, как на вошь, как на нечисть...» («Заметки с Кавказа»).

«Дочитал «Уединенное». Замечательно у Розанова родство с Ветхим Заветом: например, он вкладывает в слово «семя» в точности ветхозаветный смысл... Сперматический, семенной характер Ветхого Завета вообще, в противовес пневматичности, духовности Евангелий. Розанов скончался после 1918 года в монастыре; говорят, он умер голодной смертью. О революции он заметил, что она потерпит крах, так как более не дает никакой пищи мечтам. Рухнет все ее здание. Есть нечто привлекательное в том, что свои беглые заметки, род духовной плазмы или что-то похожее на становление тканевых структур, он набрасывает на досуге, перебирая коллекцию монет или валяясь на пляже» («Второй парижский дневник»).

19

Единственный сын Юнгера, семнадцатилетний Эрнстль, был арестован государственной тайной полицией за антинемецкие разговоры. Об этом тоже можно прочесть в дневниках. Одноклассники якобы слышали, как Эрнстль сказал: если нам удастся заключить перемирие, то придется повесить Книёболо.

Отцу удалось добиться отмены смертного приговора. Мальчик был отправлен в штрафную роту и погиб в Италии.

«Книёболо. Многие, не исключая его врагов, находят в нем некое демоническое величие. Если это так, то это величие стихийно-примитивное, земляное, бесформенное и лишенное высоты и достоинства личности... Карло Шмид говорил, что немцам не хватает физиогномического чутья. Человек с внешностью, которую не в состоянии сделать привлекательной ни один художник и фотограф, человек, коверкающий родной язык, сумевший собрать вокруг себя толпу бездарностей... и все же во всем этом скрыта какая-то затягивающая загадка» («Второй парижский дневник»), «Книёболо», комбинация немецкого слова *knien* — стоять на коленях, и итальянского *diabolo* — дьявол, — так назван в парижских дневниках Гитлер.

В середине лета 1944 года бои с наступавшей Красной Армией шли уже у границ с Восточной Пруссией. На западе высадившиеся полтора месяца тому назад союзники находились на подступах к Нанту и Руану, на юге генерал Александер приблизился к Флоренции.

Запись от 21 июля; «Вчера вечером стало известно о покушении. И без того критическое положение обостряется до крайности. Покушение якобы совершил граф Штауфенберг... Мое мнение, что в поворотные моменты инициативу берет в руки древнейшая аристократия, подтверждается. Судя по всему, этот акт повлечет за собой неслыханную

расправу. И еще трудней будет носить маску. Впрочем, я давно пришел к убеждению, что террористические акты мало что могут изменить, а главное, не принесут ничего хорошего...»

Бомба, оставленная в служебном портфеле полковником Шенком фон Штауфенбергом, взорвалась во время совещания в «волчьей норе» — главной ставке фюрера в лесах Восточной Пруссии. Несколько человек было ранено. Среди хлопьев стекловаты, которой были проложены стены барака, обломков мебели и осколков стекла сидел в разодранных брюках Гитлер, на левом локте у него оказался кровоподтек, барабанные перепонки лопнули. Придя в себя, он забормотал: «Так я и знал. Кругом изменники...»

Среди участников заговора были знакомые и друзья Юнгера; его непосредственный начальник, командующий силами вермахта во Франции генерал Штюльпнагель, успел в Париже окружить здания полиции, гестапо, СД и СС; когда стало ясно, что переворот не состоялся, он выстрелил себе в голову, потерял зрение, был подвергнут лечению и слепым повешен. Юнгер не был непосредственным участником заговора. Он был «лишен права носить оружие», проще говоря — уволен из армии.

20

Юнгер демонстративно отказался заполнить анкету комиссии по денацификации и до 1949 года не имел права печатать свои произведения в Германии, не разрешалось даже цитировать их в печати. В 1950 г. он поселился в Вильфлингене.

С этого времени и до самых последних лет он опубликовал немало новых книг: фантастические романы, близкие к жанру антиутопии, эссеистика, дневники. «Subtile Jagden» (труднопереводимое название, что-то вроде «Деликатной охоты»; 1967) — том полувоспоминаний-полуразмышлений об охоте за бабочками и жуками, о грибах, травах, блужданиях по немецким лесам и энтомологических экспедициях в экзотические уголки Земли. Повесть «Прибытие на Годенхольм» (1952) написана под впечатлением от знакомства с Альбертом Гофманом, швейцарским химиком, который синтезировал ЛСД, и опытов с «раздвигающими границы сознания» галлюциногенами. Как встарь, Юнгера отличает тяга к опьянению и холодный экстаз, посреди которого, как воин на поле боя, пребывает непоколебимый интеллект. Юнгер — типично «мозговой» писатель, но живущий в эпоху пострационалистическую, когда разум утверждает себя, так сказать, в неустанном саморазвечении. Многократно отмеченная, постоянная черта Юнгера — хо-

лодноватая отчужденность наблюдателя. С годами его слог усыхал, освобождаясь от красоты, не теряя элегантности, и, можно сказать, что этот живой — все еще живой! — классик стал прозаиком скорее французского, чем немецкого типа. Недаром его больше, чем на родине, чтят по другую сторону Рейна. Короткие фразы, простой синтаксис (если при чтении фразы вслух у вас перехватывает дыхание, значит фраза плохая, учил Флобер), латинская дикция, энергия, ясность. Примером может служить виртуозно написанный маленький криминальный роман «Рискованная встреча», о котором кто-то сказал, что его сочинил Мопассан, прочитавший Сименона.

Все же стихия, где этот ум чувствует себя в наибольшей степени *à l'aise*, — медитативно-философская проза. Было бы непосильной задачей суммировать мировоззрение Юнгера в немногих словах; проще — что и делалось не раз — наклеить на него несколько удобочитаемых этикеток. Биологизм, неоплатонизм. Мир живой природы многократно, как в зеркалах, отражен в истории: в них просматривается некоторая общая конструкция. Это мир бесконечных самоподоблений, вечных образцов и их воспроизведений. В аналогиях угадывается единый космический ритм, единый замысел, лишенный, однако, первоисточника, который его замыслил. Присутствие Гераклита, Шеллинга и особенно Новалиса дает себя знать в отточенных, подчас нарочито энигматичных и всегда доставляющих эстетическое наслаждение фрагментах Юнгера.

Мы сказали — классик. Но Эрнст Юнгер отнюдь не памятник самому себе, не бесспорный и хрестоматийный, облитый глазурью классик, как, например, Томас Манн. Каждый новый юбилей Юнгера — повод для очередного сведения счетов. Для одних он слишком аристократ, старый соблазнитель и не пожелавший исправиться антидемократ, для других — что-то вроде Пифии. Внеидеологическая рецепция Юнгера начинается лишь в последние десятилетия.

Да это и понятно: Юнгер, как мы старались показать, — фигура в высшей степени сложная. Он принадлежит не одной, а многим эпохам, и его век был одновременно и веком Гитлера, и веком Сталина, веком Эйнштейна и Томаса Манна. А потому нельзя оценивать Юнгера только под одним углом зрения.

Могут спросить, чем интересен этот автор для русского читателя. В самом общем смысле — тем же, чем интересна и поучительна судьба Германии в XX веке, страны, у которой так много общего с Россией. От национализма, от настороженного противостояния миру — к европеизму — этот путь, пройденный Юнгером, предстоит проделать и многим представителям культурной элиты нашего отечества. Вместе с тем Юнгер — живая, зеленеющая ветвь мощной традиции, от которой не вправе отторгиваться русская мысль.

В этой статье было уделено некоторое внимание стилю Эрнста Юнгера. С годами — лучше сказать, с десятилетиями — дух и направление его книг, как мы видели, изменились. Стил в основных чертах остался прежним. Этот стиль — идет ли речь о повествовательной прозе, дневниках или путевых записках — отличается изумительной концентрацией, доступной разве только поэтам, в значительной мере утраченной с крушением античной культуры и письменности, со смертью древних языков. Юнгер приучает своего читателя додумывать сказанное автором и опускает все лишнее, само собой разумеющееся и тривиальное; мысль писателя напряжена и эллиптическая, его «мыслеобразы» кажутся загадочными, как могут быть загадочными древние афоризмы или стихи, которые покоряют чем-то мерцающим и неоднозначным, чем-то параллельным логике.

Стил Юнгера ставит вопрос о гуманизме. Это не привычный для русского культурного сознания популистский гуманизм, взывающий к старым заветам служения народу, родине и т. п. Юнгер — индивидуалист и одновременно гражданин мира — титул, который с гордостью носил Гёте. Но мир, в котором живет наш современник Юнгер, уже не тот мир, в котором он сам вырос, воевал, стал писателем, не говоря уже о мире Гёте. Это мир апокалиптический. И тут перед нами раскрывается некий секрет Юнгера. Быть может, доминанта его творчества. Высшая задача литературы в дегуманизованном мире — отстаивать честь одинокой человеческой личности, стоять насмерть, как подобает мужчине. Историк Голо Манн сказал однажды о Юнгере, что он отдает приказы читателю, как офицер — солдатам. Это не так. Но Юнгер в самом деле не болтает, не фамильярничает с публикой и не стремится быть голосом народа — это слово вообще отсутствует в его лексиконе. В безупречной законченности его пассажей есть нечто вызывающее, — ведь в современной литературе, и немецкой, и, конечно, русской, определенно преобладает нелитературная стилистика. И все же: высоко дисциплинированный слог Юнгера воспринимается как эквивалент человеческого достоинства в мире, где это достоинство попорно как никогда прежде.

Наконец, Юнгер — это просто писатель, читать которого — удовольствие.

Сам о себе он сказал так: «Мой внутренний политический мир подобен часовому механизму, где колеса движутся навстречу и как бы вопреки друг другу; я и южанин, и северянин, и немец, и европеец, и космополит. Но на моем циферблате стоит полдень, когда стрелки сходятся».

КРИЗИС ЭРОТИКИ

Писатель в языке и традиции

Речь по случаю присуждения Русской премии (2009)

Приезжая в Москву, я слышу вокруг себя русскую речь, и она вызывает у меня двойственное чувство.

Это родной, материнский язык и в то же время не совсем родной.

Он кажется мне испорченным, но это живой, современный русский язык, и я должен признаться, что я на нём уже не говорю.

Никто, может быть, не относится к родному языку так ревниво, как писатель, ушедший в изгнание. Язык не портится, когда его хранят в холодильнике; эмиграция — это холодильник.

Проблема, однако, достаточно сложна: что значит сберечь язык, отстаивать его чистоту и неприкосновенность? Идея, не чуждая нам, как и нашим предшественникам, русским политическим эмигрантам 20-х и 30-х годов прошлого века. Их, как и нас, порой ужасал жаргон метрополии. Но язык, всякий язык, постоянно меняется, язык не может не меняться, — деградируя, одновременно развивается и на ходу меняет оттенки и знаки: то, что культурным людям сегодня кажется вульгарным, спустя одно-два поколения становится нормой. Борхес любил повторять: «Мы говорим на диалекте латинского языка». Грязный жаргон римского простонародья, язык гостей Тримальхиона, ломаная латынь провинций — предок современных высококультурных романских языков, а отнюдь не золотая латынь Цезаря и Цицерона.

И всё же, всё же... Мы не можем пересоздавать язык, который течёт мимо нас, как вечная и никому не подвластная река, между тем как мы сидим на берегу, удим рыбку или зачерпываем горстями, чтобы совершить омовение. Но ведь и твёрдый берег был когда-то текучей стихией; мы сидим на этой окаменелости языка, голыми ступнями болтая в воде. Мы не можем по своей прихоти пересоздавать язык. Но портить язык, плевать в этот поток мы можем, что и происходит каждодневно в эпоху газет и телевидения, в царстве журнализма. Остаётся лишь верить в постепенное, со временем, самоочищение языка, наподобие процесса самоочищения рек.

Награда, которой я удостоен, присуждается писателям, чье призвание и утешение — беречь и пестовать русский язык как неотъемлемое достояние мировой культуры, и я горжусь тем, что причислен к ним. Я благодарю жюри и всех присутствующих.

Апология нечитабельности

О романах и романах

Некий знатный молодой человек встретил на постоялом дворе прелестную и распущенную девчонку, влюбился в нее, она его без конца обманывает, но он не может ее оставить; она увлекает его в сомнительные авантюры, под конец он ее теряет.

Некий студент вступил в связь с женщиной старше его на десять лет, она пожертвовала для него всем: детьми, благосостоянием, положением в обществе, но ее привязанность тяготит его, он не может отделаться от любовницы; наконец, она умирает, он находит в ее бумагах неотправленное письмо к нему, последнее доказательство великой, единственной, самоотверженной любви; эту любовь он потерял.

Один ловкач придумал способ разбогатеть. Он скупает у помещиков за бесценок умерших крепостных, все еще числящихся живыми, чтобы получить от казны ссуду для мнимого переселения несуществующих крестьян на якобы приобретенную землю; мошеннику удается выдать себя за порядочного человека, в конце концов его разоблачают.

Девушка выходит замуж за провинциального врача, заурядного человека, ей скучно с ним, скучно в захолустном городке, она мечтает о романтической любви, заводит любовников, но они оказываются пошляками, она запутывается в долгах и кончает жизнь самоубийством.

Два человека сидят на скамейке, к ним подсаживается иностранец; оказывается, это дьявол...

Некто Леопольд Блум встает утром, жарит себе на завтрак свиную почку...

*

Ничто не может сравниться с чтением романов, ничто не может заменить чтение романов. Вы открываете книгу и ждете, что вам расскажут «историю». Действующие лица непосредственно, минуя слух и зрение, входят в ваше сознание, заселяют вашу память наравне с людьми, существовавшими на самом деле, и можно было бы писать мемуары

о встречах с выдуманными персонажами. Они живы, потому что они выдуманы. Если бы они повстречались с вами в реальной жизни, они не были бы так интересны. Жизнь — это черновик литературы.

Прототипы литературных героев, какая-нибудь Дельфина Кутюрье, которая вышла замуж за сельского врача, завела любовников и отравилась,— не больше, чем тени за спиной у героев и героинь. Это происходит оттого, что персонажи литературы выдуманы по определенным правилам. Вы не сможете сочинить роман, делая вид, что никаких правил не существует; роман заставит вас подчиниться его законам. Действующие лица ведут себя, следуя литературному этикету. Замечательная черта «Истории кавалера де Гриё и Манон Леско», «Адольфа», «Мертвых душ», «Госпожи Бовари», «Мастера и Маргариты — сочетание жизненной правды с чрезвычайно строгим повествовательным этикетом, не исключая «Улисса», самого противозаконного и самого литературного из всех романов.

Жизнь подчинена литературной конвенции, не менее деспотичной, чем система конвенций, принятых в обществе: литературный этикет правит героями, как социальный этикет — реальными людьми; литература всегда основана на молчаливой договоренности пишущего и читающего, сюрпризы, подстерегающие читателя, — один из пунктов этого договора. Условность господствует и над повествователем, и над читателем; и когда вы рассказываете о случае из жизни, и когда вы пытаетесь пересказать прочитанный роман, вы следуете его канону.

*

История многолетней связи Адольфа и Элленор подана в чрезвычайно компактной форме, как бы уложена в футляр. Если всякое сообщение состоит из того, что сообщается, и того, что подразумевается, то здесь сообщение составляет одну десятую — остальное додумает сам читатель. Тем не менее эта история врезается в память сильнее, чем то, что можно прочесть о долгой и мучительной связи Констанана с мадам де Сталь.

Внешность героев не описана. Быта нет: что едят, где живут, как одеваются, как путешествуют — все опущено. Не видно ни слуг, ни посторонних лиц, ни народа, единственный фон — дворянское общество, знакомое читателю, везде более или менее одинаковое; на этом фоне пять действующих лиц, из них трое — отец Адольфа, исполнитель его поручений и граф П., у которого находится на содержании героиня,— остаются на заднем плане. Зато тщательно анализируются чувства главного героя. Он не прочь выставить напоказ свою самоотверженность, на

самом деле он эгоист и трус. При этом он догадывается, чего он стоит, и презирает себя. Все повествование освещено холодным, безжалостным сиянием — это свет ума. Жизнь абсурдна и в то же время чрезвычайно логична. Поэтому она умопостигаема. Никаких тайн не существует для романиста. Все поступки действующих лиц безупречно мотивированы. Над всем господствует социальный рок — правила поведения, диктуемые обществом, не подлежащие пересмотру, и таким же строгим правилам следуют стиль и построение романа. Литературный этикет идеально соответствует сословному этикету, благородство стиля разоблачает задрапированное приличиями неблагородство героя. Роман состоит из десяти коротких глав. Язык пушкинский вплоть до буквальных совпадений.

*

Как и проза Пушкина, роман «Адольф» (вышедший в 1816 г.) — все еще дальше эхо классической латинской прозы, а в ближайшей ретроспективе — наследство века Просвещения; это аристократическая проза: ясная, сдержанная, суховато-элегантная и логичная; но уже через каких-нибудь 13–15 лет проза начинает разбухать, заявляет о себе буржуазный интерес к вещам, к быту, появляются многостраничные, грузные, как их автор, романы Бальзака с подробнейшими описаниями улиц, комнат, одежды. В России «Мертвые души», даже незаконченные, впятеро длинней «Капитанской дочки» — самого объемистого из пушкинских романов.

Правила поведения автора в условном пространстве романа, как и правила, по которым эти правила время от времени нарушаются, — это и есть в конечном счете то, что принято называть дворянским, мещанским, модернистским или постмодернистским романом. Авангард во всех его разновидностях выставляет литературные условности напоказ, пародирует и разрушает их с тем, чтобы тотчас воздвигнуть на их месте новую конвенциональность.

*

Условность необходима и в разговоре о романе; договоримся, что этот термин можно употреблять в трех значениях. В узком смысле роман — это литературный жанр: «замкнутое, протяженное и законченное в себе повествование о судьбе одного лица или группы лиц». Определение Осипа Мандельштама («Конец романа», 1928). В более широком смысле под романом подразумевается традиция европейской нар-

ративной прозы последних четырех или пяти столетий; подобно своему музыкальному аналогу — симфонии, роман — дитя Западной Европы, изобретение Нового времени, хотя «Сатирикон», сочиненный при Нероне, и «Золотой осел», который лицеист Пушкин предпочитал речам и трактатам Цицерона, можно тоже с некоторой натяжкой назвать романами. Наконец, в самом широком смысле роман есть синоним повествовательной прозы вообще.

Хотя статья Мандельштама трактует новую ситуацию, возникшую в XX веке, мысль автора привязана к историко-эволюционной модели прошлого века. Именно этот век сохраняет значение эталона, к нему приурочены высшие достижения. Центральный тезис статьи: так как роман — это повествование о судьбе личности, то существует прямая связь между эволюцией романа и ситуацией человека в данную историческую эпоху. «Мера романа — человеческая биография». Расцвет романа в девятнадцатом столетии связан с новой ролью личности в истории, с возможностями выдвижения и успеха; пример подан Наполеоном. Напротив, XX век — эпоха массовых движений, социальных катаклизмов и военных катастроф, обесценивших человеческую личность. «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз... Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман... немислим без интереса к отдельной человеческой судьбе».

Вывод подсказан названием статьи: близящийся крах романа.

*

Лет через двадцать с небольшим Натали Саррот как будто присоединяется к этому разговору. Но теперь аргументация (в нашумевшей статье «Эра подозрений») носит сугубо литературный характер. Критики все еще стараются нам внушить, будто роман — это жизнеописание героев: только такой писатель достоин звания романиста, который лепит «живые лица». Если это так, то прощай, роман! Он сам накликал свою гибель. Ибо литературный персонаж, так называемый образ, изжил себя; от него осталась тень; художественную прозу больше не интересуют жестко очерченные, социально детерминированные и действующие по сюжетным схемам герои. В жизни таких героев нет, а есть зыбкая, хаотическая, мерцающая, непредсказуемая человеческая психика. Жизнь покинула искусственные повествовательные формы, роман дошел до своих границ, его история закончена.

Век догорел. Что осталось от предсказаний?

*

Спор о романе никогда не прекратится, потому что это спор о самой литературе; потому что роман был и остался центральным событием художественной литературы. Смерть романа означала бы смерть литературы. Мандельштаму казалось, что «Жан-Кристоф» Ромена Роллана — последний всплеск европейской повествовательной традиции. Между тем за расцветом французского и русского романа XIX века наступает в XX веке расцвет немецкого, английского, северо- и латиноамериканского романа. Саррот спрашивала, какая вымышленная история может соперничать с документами сегодняшней действительности, но слова Толстого о том, что альков всегда будет самым важным сюжетом литературы, так же справедливы, как и в прошлом веке. Как и прежде, роман занят судьбой личности, как и прежде, молчаливо исходит из того, что нет ничего более ценного, чем личность, какой бы беспомощной и бесправной она ни выглядела в век мировых войн, преступных государств и концентрационных лагерей. Роман не просто реабилитирует частную жизнь человека, роман воскрешает человека. Если, как думал наш поэт, XX век вышиб рядового европейца из его биографии, то роман возвращает ему биографию, возвращает ему лицо и личное достоинство. Тезис «роман жив, пока жива личность» надо перевернуть: до тех пор, пока жив роман, будет существовать человеческая личность.

*

Случилось другое. Роман не умер, но вымирают читатели романов. Фраза о том, что каждый вновь родившийся житель планеты становится читателем Толстого и зрителем Шекспира, выглядевшая и прежде красивым преувеличением, сегодня может вызвать улыбку. На самом деле каждый новый гражданин Земли становится зрителем телевизионных сериалов. Тут приходится говорить не то чтобы о смерти литературы, но о литературе без читателей или по крайней мере без массы читателей. За тысячи лет существования литературы у нее не было врага коварней, чем домашний экран.

Все самое плохое, кажется, уже сказано про Бычий глаз (выражение Жана Кокто), добавить можно немного. Считается, что телевидение даже обновляет интерес к литературе: после очередной экранизации классического романа растет число продаж, передача о книжной ярмарке увеличивает наплыв посетителей, беседа с писателем напоминает публике о том, что эта профессия все еще существует. Если бы про-

гремевший роман испанца Хавьера Мариаса «Сердца моего белизна» предварительно не стал предметом обсуждения в популярной программе Второго немецкого телевидения «Литературный квартет», книгу никто бы не купил. И все же литература катастрофически проигрывает в соревновании с экраном. Экран крадет время у потенциальных потребителей литературы. Экран развлекает бесплатно или почти бесплатно, а книги дороги. Экран отучает от чтения, так как предлагает упрощенные версии культуры, истории, психологии, мифологии — чего угодно; ясно, что читать современные романы утомительней, чем смотреть телевизионную дребедень.

*

Преимущество телевидения состоит в том, что оно обладает неограниченными возможностями отрицательного совершенствования. Бычий глаз ничего не требует от зрителя, кроме того, чтобы его включили; десятки, если не сотни, телевизионных каналов предлагают зрителю всё — все темы и жанры. Это значит, что телевизионное сообщение обречено на неуклонное сморщивание. Так как высшая цель состоит в завоевании рынка — как можно больше зрителей, как можно выше «коэффициент включаемости», — приходится трещать обо всем понемногу. Пространство для сообщений сужается. Общий удел всех медиа: всё меньше места в журнале и газете, и все меньше времени для радиопередачи и передачи в телевизионной студии. Сообщение становится все более схематичным; сокращаясь, упрощается.

Исключение делается для священных коров. Репортажи о футбольных матчах и вездесущая реклама — их не замай.

Телевидение (что и происходит на наших глазах) вынуждено неуклонно снижать свой уровень. Телевидение опускается не потому, что нет талантливых авторов и более или менее культурных редакторов, а потому, что выжить можно только ценой деградации. «Потребитель требует!» На самом деле это порочный круг. Телевидение выращивает свою аудиторию, вроде того как откармливают животных на убой. Между тем караван, бредет своим путем.

*

Искусство бредет своим путем. Договоримся, что существует искусство и существует мусор. Самоокупаемость — знак плохой литературы, в этом пришлось убедиться и писателю в России. Положение дел таково, что, когда книга расходуется в тысячах экземпляров, вероятность того,

что это хлам, весьма велика, в сотнях тысяч — можно не глядя выбросить ее в контейнер для макулатуры. Она будет переработана для печатания новых книг, так что рыночная словесность окупает себя, можно сказать, вдвойне.

Литература, которая заслуживает этого названия, остается уделом чудаков и неудачников, людей, подозрительно напоминающих того умельца, который был представлен Александру Македонскому: искусный мастер сумел уместить на пшеничном зерне всю «Илиаду». Полюбовавшись зерном, властитель вернулся к своим занятиям, но заметил, что человек все еще стоит на пороге. Царю вполголоса объяснили, что мастер ждет вознаграждения. «А,— сказал Александр,— конечно! Пусть ему выдадут мешок пшеницы, дабы он и впредь мог упражняться в своем замечательном искусстве».

*

Некогда знаменитая речь Гуго фон Гофманстала, произнесенная незадолго до смерти, называлась «Литература как духовное пространство нации»; но в одном письме, вскоре после крушения Австро-Венгрии, он признавался: «Мы все осиротели». Имелось в виду нечто вполне прозаическое: нас, писателей и поэтов, некому больше содержать.

Слишком редко в обзорах истории литературы говорится о финансировании творчества. Крах дунайской монархии, мировая война, инфляция положили конец изумительному цветению духа в трех столицах империи — Вене, Праге и Будапеште, отняв у блестящей литературы ее опекуна, богатую и просвещенную буржуазию.

Музилю принадлежит любопытный текст под заголовком «Я больше не могу». Он сообщает, что гибнет от нищеты; нация бросила своего романиста на произвол судьбы. В начале 30-х годов в Берлине образовалось Общество Роберта Музиля: несколько состоятельных предпринимателей выразили готовность выплачивать автору «Человека без свойств» ежемесячное пособие, с тем чтобы он и впредь мог упражняться в своем искусстве — закончить гигантский роман. Сам писатель считал, что оказывает честь членам Общества, позволяя им содержать Музиля, и проверял, все ли аккуратно платят взносы. После нацистского переворота Общество Роберта Музиля распалось, жертвователи были евреи, им пришлось покинуть страну.

Русский Серебряный век, весь этот пышный предзакатный расцвет, подобно расцвету искусства и литературы в обреченной Австро-Венгрии, был оплачен меценатами. Литература нуждается не столько в

читателе, сколько в покупателе. Литературе нужен читатель, который не только имеет терпение ее читать, но и средства, чтобы ее кормить. Мы озираемся в поисках этого читателя — его больше нет.

*

С тех пор как двор и знать — традиционные кормильцы — вымерли, функцию покровителя свободной словесности переняла просвещенная буржуазия. Когда классический буржуа, в свою очередь, сошел со сцены, наследника, по известному выражению Адорно, не осталось.

Кто же остался? Бюрократия и массовое общество.

Почти полвека тому назад появившаяся в «Плейбое» в шестидесятых статья-манифест Лесли Фидлера «Переступите границу, засыпьте ров» (о которой мне уже приходилось писать) попала, что называется, в точку. Пора покончить с противостоянием элитарной и массовой культуры, с пренебрежительным отношением к тривиальной литературе. Долой писателей-снобов, квартиранты башен слоновой кости, девиз современной литературы — коммуникация, проще говоря, доступность; ее наиболее перспективные жанры — вестерн, научная фантастика, fantasy, порнуха. Стиль, «уровень»? Все это лишилось смысла.

По Сеньке и шапка. Каков поп (поп-искусство), таков и приход. Массовое общество не может не производить товаров широкого потребления, не может не тиражировать пошлятину в доселе невиданных масштабах, не может не культивировать литературу низкого пошиба; массовое общество обладает колоссальной репрессивной мощью и подавляет все, что не отвечает его стандартам.

*

Но караван идет. Происходит ли сближение, смешение, которое постулировал Фидлер? Массовое общество покупает способных писателей, заставляя их плясать под свою дудку, критика прославляет произведения, которые довольно скоро оказываются поддельным товаром, и все же культура — или мы заблуждаемся? — располагает механизмами самоочищения, подобного самоочищению рек. Утверждение, что ров засыпается сам собой оттого, что серьезная литература будто бы заимствует у рыночной литературы ее приемы и достижения, рассчитано на простаков; напротив, при ближайшем рассмотрении оказывается, что масскульт паразитирует на культуре высокого уровня. Тривиальная литература подбирает крохи, упавшие с высокого стола, тривиальная литература и есть не что иное, как выродившаяся классика: заросли папоротника, некогда бывшие лесами.

*

Хотя в России, кажется, мало кто читал статью Фидлера, программа капитуляции перед варварством здесь получила признание и воплощена в жизнь.

Смешно говорить о возвращении к национальным корням и духовным началам: дороги назад из массового технизированного и коммерциализованного общества нет ни для несущихся вперед с возрастающей скоростью развитых стран, ни для тех, которые поспешают следом, глотая пыль. Советская власть собиралась строить коммунистическое общество, а на самом деле взрыхлило почву для массового общества. Это и есть самое важное наследство, которое она оставила. Будущее, не снисшедшее ни Марксу с его апелляцией к пролетариату, ни Достоевскому с его истовой верой в народ.

*

Конечно, то, что осталось после СССР, не может быть квалифицировано как развитое современное общество. Но архаическим обществом его тоже не назовешь. Я полагаю, что мы окажемся ближе к истине, если назовем российский вариант массового общества (и массового сознания) люмпенизированным. Никто не ведает, что получится из этого социального варева; во всяком случае, в нем до последнего времени тон задавала разбогатевшая полукриминальная чернь.

Вкусам и потребностям этого потребителя отвечает разнообразность литературного этикета, которую можно назвать антиэтикетом. По недоразумению или ради шика его величают постмодернизмом. Великий и неумирающий язык нашел для него более подходящее обозначение: *стёб*.

«Не дергайся. — Ты что, за дурака меня держишь? — Вот-вот поминки в кабаке кончатся, они все и припрутся сюда. — На мои гуляют. — Обобрали, подонки. — За телефонное знакомство с качественным клиентом две тысячи зеленых. — Все кадры женского пола в восторге. — Когда поработаешь с сексом, весь спектр свойств человеческих предстанет. — Этот гад слинял. — Муська его по-крупному отшила. — Карьерно озабоченная женщина. — Радующие глаза окружающих облегающие свойства материи «джерси». — Гелена сглатывает новый кусок пиццы. — Муська продралась без особого напряжения сквозь громадный конкурс. — Подхватив неподъемную сумку, побрела к Курскому вокзалу перекантоваться до утра. — На вокзал-то ты как подзалетела, беби? — Хмурый взгляд не сулил консенсуса. — Муська прита-

щила его, уже изрядно поддавшего, в свою снятую в хрущевке комнату. — Муське нравилась мощная безальтернативность секса. — Постоялец полез на нее. — Их сближение обрело постоянство».

Фразы выбраны наугад из романа, помещенного в респектабельном «Новом мире». Несчастье в том, что стёб тривиален. Могут возразить, что этот жаргон используется для характеристики героев и их среды, но стёб давно уже не является орнаментальной речью, не служит художественным приемом, стилизацией, сказом. Стёб выполняет функции нормативного языка, его специфическая экспрессия выдохлась; как средство для создания *couleur locale* он истрепался. Ощущение вульгарности как особого налета вроде плесени на куске хлеба пропадает; говорящий на стёбе больше не чувствует, что он говорит на искаленном языке. Люмпен-интеллигентский жаргон, поработивший даже даровитых писателей, конечно, не случайное поветрие, он — порождение люмпенизированного общества, его сиплый литературный голос. Писатель, который хочет быть современным и «услышанным», должен писать на стёбе. Существуют признанные мастера этой школы, лидеры и гроссмейстеры стёба. Литературный критик, пишущий о таких писателях, должен доказать, что он владеет стёбом. Стёб-литература не может существовать без стёб-критики, стёб-публицистики и, похоже, без стёб-литературоведения.

*

Представление о литературе, которую творит сам язык — писатель есть лишь медиум,— давно стало почтенным общим местом, и новые парафразы шиллеровского *die Sprache dichtet*, в лучшем случае только освежают ее. Иосиф Бродский говорит в Нобелевской речи о «диктате языка»: поэт знает, что «не язык является его инструментом, а он — средством языка». Отдав должное красоте и глубокомыслию этого высказывания, подумаем о его опасности.

Спустился на одну ступеньку с мистических высот. Я подозреваю, что писатель становится писателем лишь тогда и постольку, когда и поскольку он научается владеть собой, ощущать себя сувереном, а не посредником или чьим-то «голосом». Но он живет в языке, — это значит, что он обязан свернуть шею языку. Писатель вынужден воевать с языком, противостоять его диктату и диктатуре, подобно тому как он противостоит гнусному времени.

В большей мере чем тезисы какой бы то ни было идеологии, воплощением и лицом времени является язык. Не тот великий и животворящий, существующий вечно Язык-нóумен. Но реальный и сего-

дняшний, тот, на котором изъясняются улица и базар, вещают политики и тараторят журналисты. Язык, собственно, и есть идеология времени, преклонение перед которой дорого обходится писателю. И лишь тот, кто найдет в себе мужество сопротивляться языку времени, переживет свое время.

*

Поучительный парадокс: живая устная речь миллионов, пересаженная в литературу, максимально возможное приближение к реальности языка и по видимости к реальной жизни — очень скоро начинает ощущаться как литературщина. Это ахиллесова пята всякой народной и лишенной дистанции литературы; ничто так не искусственно, как сказ. Пошлятина пейзажной словесности 60-х и 70-х годов уступила место пошлятине стёба.

Здесь встает вопрос: что, собственно, значит быть современным? Спрашиваешь себя, почему так быстро выцвела проза, которой еще недавно зачитывался весь мир. Если бы, к примеру, в 1935 году опросить ведущих литературных критиков, у кого из известных современных авторов больше всего шансов остаться в литературе века, в ответ были бы названы многие, о которых сегодня никто не помнит. Но едва ли кто-нибудь упомянул бы Кафку, Музилю или Андрея Платонова. Медленно, но верно знаменитые имена вытесняются другими, которые мало кто знал, которыми никто не интересовался.

*

Всякий литературный текст в определенном смысле актуален, тем не менее литература и общественность — понятия, связанные не прямой, а скорее обратной зависимостью. Чем литература актуальней, тем она меньше литература. Чем активней она откликается, вмешивается, клеймит, поучает, проповедует, тем хуже для нее. Литературу называют барометром, но это худшее, с чем ее можно сравнить. Или это барометр, который сам придумывает погоду.

Несколько великих исключений, Аристофан или «Бесы», подтверждают правило; при ближайшем рассмотрении исключения оказываются мнимыми; злоба дня переселяется в комментарий — кладбище актуальности. То, что казалось сенсационно-разоблачительным, предстает как повод для чего-то другого, как художественный прием.

Дело не в том, что устаревают общественно-политические проблемы, за которые романист ухватился с таким пылом, — а в том, что лите-

ратура, которая хочет быть близкой и понятной всем, не может не быть тривиальной. Литература, которая хочет говорить о самом жгучем и животрепещущем, в собственно литературном смысле по необходимости банальна; стремясь быть своевременной, она оказывается художественно несвоевременной.

В искусстве, как в математике, существует представление о пределе. Предел литературы, никогда (как в геометрии) не достигаемый, — это абсолютная литература, то есть литература без читателей: нечто подобное незвучащей музыке, о которой однажды заходит речь в разговорах Адриана Леверкюна с другом, музыке, бытийствующей в качестве чистой структуры; нет необходимости ее исполнять. Может быть, в близком будущем у литературы останется еще меньше ценителей, чем слушателей у современной музыки; может быть, литература станет искусством для знатоков, творчеством для творцов и комментаторов. «Нас мало избранных, счастливых праздных».

Настоящая литература опаздывает. Опаздывает; ей некогда: на платформе ждёт поезд, который отправляется в будущее. Оттого она все меньше значит в повседневной жизни миллионов людей.

*

Нас уверяли, что искусство отличается от умозрения тем, что оперирует образами, а не идеями; это чепуха. Проза есть царство мысли. Но отличие литературы от философии, от религии, от науки, от историографии, от делопроизводства и от чего угодно состоит в том, что литература безответственна. Ничто не противопоставлено художественной словесности, «в любом литературном произведении присутствуют все науки», говорил когда-то во вступительной лекции в Коллеж де Франс Ролан Барт. Никакая область жизни и никакая область знания не чужды литературе: она может иметь дело с блатным миром, с высшим светом, а также с гностикой, астрологией, каббалой, семиотикой, глубинной психологией, с теорией, согласно которой мир представляет собой дрожание струн, и с теорией, по которой наше отечество указывает путь всем народам, — но суть литературы, я думаю, та, что любое «содержание» она превращает в материал и средство. Средство для чего? На этот вопрос ответить невозможно. Средство для себя самой. Средство самосо осуществления литератора — человека, выжимающего сок своего мозга в банку, превращающего свое чувство и воображение в текст. «Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох» (Бродский). Вот, собственно, все исповедание писателя.

*

Никаким декларациям и теоретизированиям, вложенным в уста героев или произносимым «от автора» — ибо и он всего лишь персонаж своей литературы, и его собственная жизнь и личность для него не более чем материал, — ничему и никому нельзя доверять; в этом состоит его принципиальная безответственность. Я полагаю, что это — качество, без которого нет настоящего романиста.

Писатель может воображать о себе все что угодно, может, как Гейне, назвать себя храбрым бойцом за освобождение человечества, может быть белым гвельфом, как Данте, роялистом, как Бальзак, или шовинистом, как Достоевский, может быть христианином, иудеем, дзэн-буддистом, агностиком, — все это лишь до определенной черты, до момента, когда он остается один на один со своим ремеслом, с языком и искусством. И тогда оказывается, что искусство и есть его единственный бог. Нет, литература не чурается ни теорий, ни верочений, художественная проза — давно уже не «мышление образами» только, а что-то гораздо более сложное; но и построения великих мыслителей, и концепции современной психологии, и заповеди учителей церкви — для нее лишь материал, ибо в отличие от науки, философии и религии литература не есть обретение истины.

*

Истина, которую предлагает литература, не может быть общеобязательной, ее значение относительно. Ее власть бесспорна — но лишь внутри художественной структуры. Литература (переиначим слегка мысль Барта) — это такое обращение с «истиной», которое отнимает у нее ее авторитарные притязания. Не в этом ли заключается гуманизм литературы?

В царстве литературы любые «концепции» скорее обладают эстетической привлекательностью, нежели имеют достоинство философских истин, и то, что происходит с философией, когда она попадает в сети литературы, в глазах философа-профессионала, возможно, выглядит деградацией или по меньшей мере нечестной игрой. То, что литература продельывает с идеологией, объясняет, почему политика и партийность с опаской косятся на литературу. То, как литература обращается с проповедью, заставляет религию видеть в литературе грех. Литература безответственна. Литература живет мифотворчеством, и любое верочение может представить для нее ценность как материал, пригодный для того, чтобы выкроить из него миф; но упаси Бог превратить миф в верочение.

*

Следовало бы распрощаться раз навсегда с теорией художественного исследования действительности или по крайней мере заново выяснить, что это означает. Ибо «действительность», как уже сказано, не объект, а материал, и если можно говорить в самом общем смысле о задаче романа, то она состоит в сотворении мифа о жизни. В художественной прозе складывается некоторая автономная система координат, как бы ее сверхсюжет, внутри которого организуется и развивается сюжет, напоминающий историю «из жизни». В рамках литературной действительности миф преподносится как одна из версий действительности, как квазиистина; на самом деле это игра. Игра — это и есть истина. Истинный в художественном смысле миф освобожден от претензий на абсолютную — философскую или религиозную — истинность и, следовательно, обезврежен. Мы хорошо знаем, как опасно мифотворчество, когда его принимают всерьез. Вдобавок мы поняли, что смешивать искусство с жизнью — проявление дурного вкуса. Не в этом ли обыгрывании, не в этой ли дез-ответственности состоит терапевтическое действие искусства?

*

Нам внушали — похоже, что такое воспитание все еще не выветрилось,— что художнику не положено размышлять. Может быть, это родовая особенность отечественной литературной критики: нелюбовь к отвлеченной мысли, невосприимчивость к общим проблемам. Отсутствие интереса к моделям мышления и отсутствие понимания того, что эти модели могут быть средством и материалом для искусства. Критик не задумывается и о принципах собственного мышления. Все эти вопросы для него попросту не существуют. Поэтика для него полностью вне философии; он никогда не интересовался философией; таким же он представляет себе и писателя; он полагает, что талант и жизненный опыт с лихвой возмещают писателю отсутствие философии; он свято и наивно верит в то, что мысль, рефлексия — нечто противоположное и противопоказанное искусству, и не догадывается о том, что они могут быть художественным средством, могут быть введены в художественную систему романа.

Если, однако, литература древних питалась языческой мифологией, а средневековая — христианской, то литература нашего столетия была утешена философской мифологией. Классический пример — роман Пруста, огромная теплица под лампами Бергсона.

«Хочешь быть философом — пиши романы», фраза из дневника Альбера Камю. Пожалуй, наоборот: хочешь стать романистом — будь философом.

Тоска по многословию

Карамзина спрашивали, откуда у него такой дивный слог. Из камина, батюшка, сказал он. «Напишу, и в огонь, напишу снова — и снова в огонь». С именем автора «Бедной Лизы» школа приучила нас связывать представление о чувствительной, слезливой словесности. Но если вы раскроете сейчас эту повесть, вам бросится в глаза её лаконизм.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина», собственно, не повести, а новеллы. Двухтомный роман «Дубровский» занимает, странно сказать, от 60 до 70 страниц отнюдь не убористой печати. И даже «Мёртвые Души», с которыми в русскую литературу пришёл совершенно другой темп повествования, книга, производящая впечатление огромного, просторного сочинения, — на самом деле совсем невелика.

Можно вычертить кривую среднего объёма русского классического романа, и окажется, что на протяжении всего XIX века график многоглаголания ползёт вверх.

Существуют три типа прозы, назовём их условно французским, немецким и русским. Французская проза словно вышла из-под пресса: вся жидкость отжата; сухой, выветренный веками, прозрачный и лаконичный язык; ориентация на латинских классиков. По возможности простой синтаксис (если при чтении фразы вслух у вас перехватывает дыхание, значит, фраза плохая, учил Флобер), короткие абзацы, энергичная дикция. Так достигается прославленная *clarté*, французская ясность, о которой говорил Золя над гробом Мопассана. Немецкий слог, напротив, тяготеет к длинным ветвистым периодам, это проза глубокого дыхания, замедленного ритма, задумчивая, обстоятельная и тяжеловесная, как шаг першерона. Наконец, проза русского типа как бы вовсе не помышляет о литературных правилах, это живая стихия: раскованная, прихотливая, нарочито неряшливая и неэкономная. Само собой, речь идёт не о национальных литературах; в каждой литературе представлены, хотя и в разных пропорциях, все три типа. «Французы» — это не только Стендаль или Камю, но и Пушкин, и, конечно, Тургенев. Пруста придётся отнести к немцам, а писателями русского склада оказываются, вместе с Достоевским, американцы Томас Вулф и Фолкнер или недавно

умерший австриец Томас Бернхард. В конце концов то, о чём я говорю, можно обозначить одним словом: дисциплина. Есть писатели дисциплинированные и есть недисциплинированные. Есть авторы, которые ценят время читателя. И есть писатели, которым на него наплевать. Они пишут так, словно у публики столько же свободного времени, сколько у них самих, и читателю нечего делать, кроме как завалиться на диван и уйти с головой в многочасовое, многомесечное чтение.

Может быть, лет сто тому назад это было возможно. Но когда спрашиваешь себя, что больше всего повредило престижу современной советской и русской литературы, отчего её мало читают, то одним из возможных ответов будет утомительная многоречивость этой литературы.

Сказывается давняя и почтенная традиция. Существует бремя славного прошлого. И я подозреваю, что не кто иной, как Толстой, создатель самой длинной книги в русской литературе, породил и вечный, неумирающий соблазн многописания. Творить, как Толстой, — какой отечественный беллетрист устоял перед этим соблазном? Советская литература — это литература так называемых широких полотен и тысяче-страничных народных эпопей.

В детстве я прочитал во время болезни гигантский роман Сергеева-Ценского «Севастопольская страда»; думаю, что немногие способны на такой подвиг. Читателям, у которых хватило сил перемолоть такие сочинения, как «Россия, кровью умытая» Артёма Весёлого, или кошмарную четырёхтомную эпопею Фёдора Панфёрова «Бруски», следовало бы выдавать особую награду. Стать новым Толстым всю жизнь мечтал Александр Фадеев; первые главы эпоса «Чёрная металлургия» показывают, что из этого могло бы получиться. Какой-нибудь Анатолий Иванов с его сагой «Вечный зов», Сергей Сартаков с трехтомными «Хребтами Саянскими», одолеть которые так же трудно, как взобраться на Эверест, Георгий Марков со стопудовой «Сибирью», Иван Стаднюк с многоэтажной «Войной», маститые авторы увесистых, как кули с мукой, исторических, революционных, военных, колхозных и индустриальных повествований — всё это не было случайной модой, но тянулось десятилетиями, а многоосная колесница Александра Солженицына служит доказательством, что традиция многоглаголания не умерла и днесь.

Быть может, некоторые новые стимулы для неё представляет современный русский язык. Этот язык, сохранивший эллинские черты, утратил лаконизм языков древности. Он потерял и вкус к той экономии, которая определяла стилистику русской прозы во времена, когда она ещё находилась под обаянием французской литературы XVIII века. Взамен он приобрёл скверную привычку махать руками там, где можно ограничиться движением бровей.

Писание — это война с хаосом. Нет ничего притягательнее, чем зов хаоса, будь то стихия жизни или хаос собственной души; броситься ему навстречу, погрузиться в него — нет большего соблазна. Тут мы выходим за пределы искусства, потому что тяга к безмерности, тайная любовь к хаосу и наркотическая замороженность стихией — быть может, самая сильная страсть русской души. И можно сказать, что русская литература укротила эстетически русскую душу, подобно тому как авторитарная государственность укрощала её другими средствами. Литература — терапия души. Для мастера, имеющего дело со словом, это означает укрощение стихии языка.

Наш язык хаотически-многоглаголив, избыточен и неопрятен, в нём есть какая-то непреодолимая тяга к информационным шумам. Пыльные хвосты прилагательных, мусор плеоназмов одинаково свойственны языку деловых бумаг, журнальных статей, языку народа и языку посредственной литературы. Высокая энтропийность языка — первый признак плохого писателя. Мы говорили о предках. Подумаем, сколько вреда принёс примитивно понятый совет Пушкина учиться языку у московских просвирен. Поколения писателей оказались в плену у этого языка, сложилась целая традиция лубочной словесности, — что с ней делать, куда деваться от этих сказителей, уверенных, что они возвращают народу его природную речь, между тем как народ давно уже изъясняется на языке газеты. Нет, литература — это война с языком, с расхристанностью русского языка; писатель управляет языком, как генерал-губернатор — покорённой провинцией. И нет ничего более очищающего душу, чем чтение хороших стилистов.

Некогда Гейне предлагал ввести налог на романтические баллады. Что если обложить многословных, водянистых, слизистых, анархически-недисциплинированных и не знающих никакого удержу отечественных прозаиков хорошим налогом? По крайней мере, государство смогло бы залатать свои прохудившиеся штаны.

Притча о соглядатае

Статья «Против интерпретации» (1966) недавно умершей Сузан Зонтаг казалось бы, должна была покончить с манией навязывать художественному произведению ту или иную умозрительную конструкцию. Но устоять против искушения видеть в прозе иллюстрацию чего-то внеположного ей непросто. Мы отдаем себе отчёт в том, что и нашим объяснениям можно предъявить подобный упрёк. Тем более что автор этих коротких заметок намеренно оставляет в стороне эстетику. И всё же каждый, кто прочтёт повесть Марка Харитонова «Сеанс», задумается, что сей сон значит.

Спрашивают у меня, говорил Гёте, что я хотел выразить в «Фаусте»?

Если произведение искусства не допускает множественных и даже взаимоисключающих толкований, цена ему невелика. Подлинный художник всегда говорит немного «не о том». Мы имеем дело именно с такой прозой. На вопрос, если бы он был задан писателю: что ты хотел сказать? — ему пришлось бы задуматься. Может быть, «то», а может быть, «это», а вернее, и то, и это.

На поверхности лежит *science fiction*.

Некто подвергнут эксперименту с помощью особого, неслыханного устройства. Результат превосходит самое смелое воображение.

До сих пор деятельность головного мозга изучалась объективными методами нейрофизиологии, биохимии, гистологии, цитологии; до тонкостей исследованы строение и функции нервной клетки, можно регистрировать активность различных зон мозговой коры и даже отдельных нейронов, изучено влияние фармакологических средств на те или иные функции мозга; установлено, какому психофизиологическому процессу отвечают те или иные сдвиги электроэнцефалограммы, и так далее. К этому нужно добавить огромный клинический материал; патологоанатомические корреляции найдены для многих душевных болезней. Но *внутреннее* содержание психических процессов остаётся недоступным для исследователя. Он имеет дело с психофизическими параллелями, так сказать, бежит по следам психики; проникнуть в субъективный мир

человека ему не дано. То, что Уильям Джеймс называет барьером личности, абсолютная замкнутость сознания — непреодолима: субъективное по определению не объективируется.

И вот оказалось, что этот барьер можно разрушить: некое новейшее изобретение позволило в буквальном смысле высветлить потёмки чужой души, увидеть и осознать мир таким, каким его осознаёт Другой. Прочсть его мысли, расшифровать воспоминания, даже направить их в определённое русло. И при этом остаться в роли стороннего наблюдателя. «Настройка», «Переключение», «Соединение» — так называются отдельные главы повествования; говорится о программах, импульсах, о «корректировании методики», «технических неполадках», «сбоях режима» и пр.

Нельзя сказать, чтобы такая беллетристическая предпосылка, основанная, как это обычно бывает в научно-фантастических романах, на отмене некоторого непреложного закона, в данном случае — закона принципиальной необъективируемости мысли, — нельзя сказать, чтобы эта находка была такой уж новой. Например, в романе Станислава Лема океан, который оказывается живым существом, способен визуализовать воспоминания астронавтов на борту космической станции, зависшей над планетой Солярис. Но автор «Сеанса», кажется, и не настаивает на новизне своей идеи. Не говоря уже о том, что на заднем плане маячит древнейшая философская интуиция — попытка отождествить материальный мир с идеальным, преодолеть дуализм субъекта и объекта.

В том-то и дело, что это лишь предпосылка — если угодно, условность, приём. Вернёмся к началу: кто — или что — проводит этот «сеанс»? Кто проник в сознание испытуемого, кто разговаривает с его мозгом? В самом ли деле речь идёт о техническом способе открыть незадействованные пласты? Или это высшее всевидящее око, всеведущий Разум, и экспериментатор — не что иное, как маска Бога? Или, наконец, это притча о творчестве, о том, что литература открывает писателю глубины его души, оживляет застывшую, омертвелую память, воскрешает забытую любовь, незаметно подводит к осознанию смысла жизни, глубокой оправданности всего пережитого?

Еще бы и сны подсмотреть! — А почему бы нет? — Не наяву, конечно. — Во сне, что ли? — Это какие? — Не знаю терминов. Другая специальность. — Что-то литературное. — Может, литературное.

Кажется, слово найдено.

По Бергсону, память всеобъемлюща. Когда во сне мы видим забытых людей, о которых наяву никогда не вспоминали, это доказывает, что на самом деле мы ничего не забыли. Но «есть другие состояния». Литература, сочинительство как некий триггер, отмыкающий подвалы

памяти. Сложная, на первый взгляд хаотичная организация материала в повести Харитоновой на самом деле очень продумана, внутренне логична, замкнута и напоминает музыкальную композицию. Целая жизнь, каким-то образом уместившаяся в тесном пространстве небольшого произведения. Так рассказывают сны. Так наступают ушедшее, утраченное время, *le Temps perdu* Пруста. Так упорядочивают хаос воспоминаний, укрощают стихию невыразимого. Такую прозу (непроизвольно перетекающую в поэзию, в верлибры, местами даже в регулярный стих) нужно, конечно, перечитывать.

Нетрудно опознать в этом произведении тему, которая принадлежит к числу главных в творчестве Марка Харитоновой. Попытка застать психический процесс *in statu nascendi*, во сне ли, в бодрствующем ли состоянии, зафиксировать движение мысли, неотторжимое от эмоций, кольшущееся, как желе, — литературный эксперимент столь же рискованный, как приём галлюциногенного препарата. Искусство так или иначе денатурирует действительность, искусство и реальная действительность находятся в соотношении, похожем на принцип дополненности Нильса Бора, и не зря в финале повести мерцает догадка, что любовь есть в конце концов порождение искусства.

Кризис эротики

От Иерусалима до нас рукой подать, сказал один цадик, — а от нас до Иерусалима, как до звёзд. Трудно представить себе, дорогая, что вы живёте так далеко. Я летел к вам целую бесконечность. Зато возвращение в сморщенном времени над океаном, по которому Магеллан плыл три месяца, ночь длиной в полтора часа в неподвижном рокошущем самолёте навстречу европейскому солнцу, почти избегающему над чёрным пологом облаков, даёт почувствовать то, что прежде могла передать только литература: сюрреализм действительности.

Я думаю об истории, которую вы мне рассказали. Тридцатипятилетняя мать семейства, учительница в провинциальном городке, вступила в связь с учеником, 14-летним подростком, родила от него; дело открылось, родители мальчика возбудили судебное дело, у неё отняли ребёнка, отобрали других детей, от неё отрёкся муж, её выгнали с работы и уперли в тюрьму.

Вы сказали: «Вот вам сюжет. Поставьте себя на место этой женщины или даже на место этого подростка, придумайте подробности. На то вы и писатель. Представьте себе, — сказали вы, — что-нибудь вроде дамского клуба. Участницы собираются дважды в месяц, пьют чай с домашним печеньем и рассказывают историю своей первой любви. Вас пригласили, вы единственный мужчина в этой компании, ваша очередь выступить с исповедью. Вы рассказываете о своём первом романе, о романе подростка и взрослой женщины».

Дорогая, я не справлюсь с этим сюжетом. Не потому, что тема скользкая, и не то чтобы не хватило фантазии, трудность в другом, в омертвлении языка.

Сегодня мы пожимаем плечами, читая о скандале вокруг неслышанно откровенного романа Фридриха Шлегеля «Люцинда», два века тому назад. Знаменитые, нашумевшие процессы над Флобером, Бодлером, запрет, наложенный на Джойса, на Д. Г. Лоуренса («Любовник леди Чаттерли»), кажутся недоразумением. Выпущен на свободу через 185 лет после смерти в психиатрическом заточении божественный маркиз де Сад. Книги Жоржа Батая признаны доброкачественной лите-

ратурой, о них написаны солидные труды. Лишился пикантности апостол секса Генри Миллер вместе с Анаис Нин, его эмансипированной ученицей, не говоря уже о многочисленных подражателях.

Выяснилось, что сочинять порнографическую литературу, вообще говоря, не так трудно. Сколько шума наделал в русской эмиграции жалкий «Эджика»! Такие романы можно печь, как олады.

Никакая прежняя эпоха не могла похвастать такой армией похабнейших писателей, лишив их одновременно ореола недозволенности. Никакая эпоха не располагала такими возможностями тиражирования эротических текстов, никакое общество не могло помыслить о таких масштабах коммерциализации секса. То, что ещё недавно могло казаться реакцией на ханжество предшествующей эпохи, восстанием против буржуазного или коммунистического лицемерия, стало рутиной массовой потребительской культуры.

Я не собираюсь обсуждать критерии порнографической словесности, ведь давно уже замечено, что как только удаётся провести более или менее чёткие границы между «порно» и настоящей литературой, появляется произведение, которое их стирает. Будем довольствоваться тем, что у каждого из нас существует представление о талантливой прозе и о пошлятине. Важней другое: исчерпанность эротического словаря, банальность «сексухи», инфляция и скука, и ощущение, что кроме физиологии и хулиганства у нас ничего не осталось.

Времена, когда «об этом» достаточно было сообщить обиняками, когда романист, доведя влюблённых до дверей спальни, почтительно откланивался, прошли; теперь он норовит улечься с ними в постель. Приходится договаривать всё до конца, и совершенно так же, как в XVIII, в XIX веке роман без любовной интриги — не роман, так в наше время кино не может обойтись без голого тела, и проза — не проза, если в ней не нашлось места хотя бы для одной откровенной сцены. Мы имеем дело с литературной конвенцией, вывернутой наизнанку. Автор вынужден раздевать своих героинь. Он обязан выдавать читателям положенное. Как это сделать, если всё уже сказано и показано? Физические проявления любви не отличаются разнообразием, и литература, которая на Западе называется миметической, а в России — реалистической, зашла в тупик, где встретилась с другим неудачником — натуралистической кинематографией.

Вульгарность была последней отчаянной попыткой реанимировать язык. Надолго ли её хватило?

С художественной истиной дело обстоит совершенно так же, как с женщиной, — это старое уподобление, думаю, не вызовет у вас протеста. Природа истины такова, что ей подобает игра с покрывалом. Истина

может поразить, лишь явившись полуодетой. Больше того, лишь до тех пор она и остаётся истиной. Подобно тому, как эротично не голое тело, а способы его сокрытия, прямая речь бьёт мимо цели. Это и есть та самая «неправда правды», о которой говорит философ, ставший модным в России,— Жак Деррида (в трактате «Шпоры»). И получается, что для того, чтобы восстановить таинственное очарование наготы, ничего другого не остаётся, как захлопнуть книжку. Таким образом, приходится признать, что пропали даром колоссальные усилия, потраченные в своё время на то, чтобы разрушить заборы, которые воздвигло ханжество. Или, если это слово вас коробит, — хорошее воспитание и такт. Оставшись безо всего, раздетая догола, растабурированная эротика сбежала. Заколдованный замок, как замок графа Вествест, оказывается недостижим, хотя бы нам на мгновение и показалось, что мы уже там.

И всё-таки мы с вами единомысленны в том, что любовь и пол остаются — скажем так — предметом, заслуживающим внимания. Альков, говорил Толстой, всегда будет главной темой литературы. По правде говоря, только о любви и стоит писать. И, может быть, писатели русского языка на короткое время оказались в более выгодном положении, чем писатели Запада: для россиян известные темы ещё не стали рутинной.

Обратите внимание на то, что эротика в литературе Советского Союза, в советском искусстве вообще, по крайней мере с середины тридцатых годов была репрессирована так же последовательно, как и политическое инакомыслие; эротика стала второй крамолой. В идеальном согласии с древней, как мир, мифологией «верха и низа» (верхняя половина тела — местонахождение возвышенных начал, «низ» низменен, постыден и неблагороден; герой умирает от раны в голову, от лёгочного туберкулёза или от разрыва сердца, но не от дизентерии или рака прямой кишки) персонажи этого искусства могли влюбляться, страдать или возбуждать ответное чувство, но спать в одной постели — упаси Бог. Существуют работы о самостоятельной графике на стенах общественных зданий (sgraffiti), но, кажется, никому ещё не приходило в голову исследовать надписи и рисунки в отхожих местах. Никто не догадался собирать эти памятники традиционного народного творчества, а между тем сортирная письменность с её жанрами и своеобразными достижениями представляла собой некое дополнение к высоконравственной официальной литературе и графике. Скажем так: это было её бессознательное. Ибо эстетика социалистического реализма не сводима к идеологии; её тайная психологическая подоплёка — порнографическое воображение.

Итак, на чём мы остановились? Эротизм современной литературы — не просто дань моде; эта мода длится по меньшей мере три тысячи лет. Вообще вопрос уже давно не в том, как далеко мы можем пересту-

пать «приличия». Вопрос, — если вернуться к нашему разговору, — в том, удалось бы мне рассказать историю любви подростка к зрелой женщине так, чтобы там было сказано «всё» и вместе с тем — нечто другое.

«Первый поцелуй — начало философии», — фраза из фрагментов Новалиса. Сенсация, потрясшая европейское общество три четверти века тому назад, когда было во всеуслышание объявлено, что невинный ребёнок есть сексуальное существо и что чуть ли не все движения человеческой души могут быть редуцированы к полу, заряжены полом, — эта сенсация не то чтобы опровергнута, но отцвела; стороны уравнения можно переставить местами: сексуальность сама выступает в качестве универсального знака, и язык подхватывает эту двусмысленность, лучше сказать — язык навязывает нам свою двусмысленность, язык осциллирует. И это — то, что я больше всего ценю в литературе. Может быть, истинное отличие порнографической словесности от непорнографической состоит в том, что порнография представляет собой вырождение языка в код. Порнограмма может быть прочитана лишь одним единственным способом. В порнографическом романе, как и в порнографическом кинофильме, всё есть, как есть, и всё происходит, как оно происходит. Пожалуй, единственная художественная вольность, единственное отступление от «действительности» — фантастическая неумолимость партнёров.

Порнография девственно наивна. Порнограмма не нуждается в разгадывании: она однозначна. Вот то, что обеспечивает ей успех. Вот то, что противоречит природе романа, который не знает, чего он хочет, допускает бесчисленное множество интерпретаций и, в конечном счёте, уходит, ускользает от всякой интерпретации. В этом состоит источник бесконечных недоразумений между романистом и его критиками и читателями, всегда склонными вкладывать в книгу неожиданный для его создателя и притом один-единственный смысл. Автор порнографических произведений не имеет оснований жаловаться на непонимание: у него никогда не бывает недоразумений с читателем.

Язык истины, уловить которую так же трудно, как поймать в невод русалку, единственно возможный язык, который нам придётся отыскивать заново, — откровенно-прикровенен. Это — язык чувственный и философский, метафорически двусмысленный, бесстрашно-уклончивый, язык, который осциллирует, как луч между зеркалами, это речь об этом и одновременно о другом. До свидания, дорогая, я чувствую, что никогда не смогу поставить точку, — adieu!

Россия: язык и действительность

Тезисы доклада в Институте переводчиков (Мюнхен, 2005)

Антиномия языка: с одной стороны, это единое кодифицированное целое, с другой стороны — язык непослушен и противостоит всякой кодификации.

Язык — это живой организм: постоянно меняется и всегда один и тот же.

Мы будем говорить главным образом о лексике — подвижном, текущем компоненте языка. Грамматический строй куда более консервативен, более устойчив, обеспечивая тождественность языка на протяжении веков.

Указанное противоречие заставляет относиться к новшествам (неологизмам, новым оборотам и т.п.) с осторожностью: они воспринимаются как порча языка, но нередко возвещают о его завтрашнем дне. Современные высококультурные романские языки по происхождению — диалекты вульгарной латыни последних веков Римской империи. Народ, *vulgus*, римская чернь, солдаты, жители покорённых провинций изъяснялись не на языке, которым написаны шедевры римской литературы.

С другой стороны, язык обладает свойством самоочищения (наподобие самоочищению рек). Полистав произведения русской литературы 20-х годов, мы убедимся, какое огромное количество тогдашних модных словечек бесследно исчезло.

Ломка языка особенно сильна в эпохи общественных катаклизмов. В истории русского языка это время преобразований Петра Великого, когда язык наводнился заимствованиями из голландского и немецкого. Вероятно, таково же и наше время — крушение советского строя, частичный распад Российской империи, превращение советского общества в подобие массового открытого общества.

По крайней мере с конца XVIII в. для живого великорусского языка был характерен разрыв между языком простонародья и языком образованного класса. Двуязычие в рамках общенационального

языка известно и в других странах: демотика и кафареуса в новогреческом, «бокмол» и «нюнорск» в норвежском. Двухязычие сохранилось в русском языке до наших дней.

Тем не менее в наше время происходит нечто не совсем обычное.

В каждом языке в любой период его истории существуют социолекты (диалекты социальных слоев), профессиональные диалекты, жаргоны маргинальных групп и т.п. Их смешение, проникновение одного лексического ряда в другой обычно происходит в очень ограниченной степени. Литература использует жаргонную речь в качестве стилистического приёма.

При этом и в литературе, и в реальном языковом обиходе (в языковом сознании его более или менее культурных носителей) сохраняется чувство относительной чужеродности жаргона. В массе носителей языка сохраняется сознание того, что в языке есть некоторая норма и есть отступления от неё.

Чем выше культурность носителей языка, тем отчётливее сознание слоистости и этикетности языка. Утрата этого сознания — верный признак деградации.

Мы наблюдаем достаточно удручающую картину — глубокий упадок языковой культуры.

Советское общество и психология государственных иждивенцев, то есть людей, всецело зависящих от государства, кормящихся из его рук и абсолютно бесправных перед лицом анонимного государства, отнюдь не умерли. Но это общество осыпается у нас на глазах. На смену ему должно придти общество западного типа. Быть может, мы присутствуем при некотором промежуточном эпизоде: общество, которое складывается или уже почти сложилось в России, я назвал бы люмпенизированным.

Не то чтобы «люмпены» (асоциальные элементы) заняли господствующее положение в обществе, нет. Но значительная часть населения и прежде всего хозяева жизни — полукриминальные предприниматели, нувориши, новое чиновничество, люди, занимающие ключевые посты в средствах массовой информации, эстрадные звезды, популярные журналисты, безработная молодёжь — усвоили языковое поведение, характерное для уголовного мира. Произошло внедрение концлагеря в «нормальное» общество (не забудем, что в недавнем прошлом СССР был страной многомиллионных лагерей).

Язык этого общества — *стёб*. Словечко, возникшее из уголовно-жаргонного «стебануться» (свихнуться).

Но стёб — не блатная фея уголовников, хотя он и впитал в себя элементы этого аргота. Стёб — более сложное языковое образование. Для стёба характерен словарь-винегрет, пестрая смесь уголовных и ла-

герных речений с иностранными и учёными словечками, часто в неверном значении, с насоро усвоенными американизмами, с заимствованиями из самых разных социолектов, с потоком быстро вянущих, сменяющих друг друга неологизмов. Подобно блатной речи, стёбная речь требует, независимо от того, с кем говорят, особой интонации: небрежно-вызывающей, кокетливо-вульгарной, иронической и одновременно крикливой, актёрской, истерической и всегда в той или иной мере издевательской.

От действительности языка я перешёл к литературе. Языковая инвалидность современной российской прозы (есть и, само собой, исключения) бросается в глаза: это захлестнувшая её вычурность, манерность, дурновкусие, изнурительное многословие. Откройте отдел прозы ведущих толстых журналов, и вы увидите: чуть ли не каждое третье слово во фразе необязательно, каждый третий абзац можно без ущерба для дела вычеркнуть. Полистайте известных публицистов, эссеистов, литературных критиков: они как будто забыли о том, что первым правилом литературного ремесла является точное, выверенное словоупотребление. Утвердились неграмотные речения, неверное употребление иностранных терминов. Я уже говорил о языковой — словарной и фразеологической — слоистости. По-видимому, многие пишущие не отдадут себе отчёт в существовании различных и не допускающих произвольного смещения этажей языка, не чувствуют разницы между речью нормативной и архаической, архаической и простонародной, простонародной и грубой, грубой и нецензурной.

Разумеется, этот искалеченный язык — подлинный голос общества. Никаких табу для художественной литературы не существует. Она не боится плохих слов. Романы, сказал Пушкин, пишутся не для барышень. Что, однако, непозволительно для писателя, — это отсутствие вкуса, утрата языкового чутья и в конечном счёте измена культуре.

Сага о паспорте

Ваши документы!

Умрём — не забудем этот возглас.

Некогда мой товарищ, известный правозащитник, напечатал в нашем мюнхенском двухмесячнике «Страна и мир» статью о паспортном режиме, этом гениальном бюрократическом изобретении. Читатель мог почерпнуть из неё немало полезных сведений о хитроумной политической и полицейской системе, оправдывающей необходимость означенного института.

Но паспорт, как бы это сказать... Паспорт — сюжет особенного рода. Это не просто документ, хотя и сама по себе затейливая книжечка чрезвычайно любопытна, её можно читать и разглядывать, находя всё новые красоты, новые и неожиданные смыслы. Паспорт гражданина нашей родины — тема не для статьи, а для книги, может быть, даже предмет целой науки. Кроме того, паспорт — это род амулета, наделённого сверхъестественной силой; паспорт воплощает некий миф, управляющий сознанием его владельца и общества в целом; паспорт мог бы дать обильную пищу для размышлений, и не в моих слабых силах исчерпать его бездонный смысл.

Ваши документы! Не какие-нибудь там — тут всегда подразумевался паспорт.

Мистика и мифология паспорта встречала нас чуть ли не на пороге жизни, ибо задолго до того, как работник паспортного стола вручал нам картонную скрижаль, знаменующую Завет человека с божественным государством, мы уже заучивали наизусть строки-лесенки поэта:

Я
достаю
из широких штанин...
Читайте,
завидуйте...

Неповторимые строки; единственное произведение во всей мировой литературе, воспевшее удостоверение личности. Ах, в том-то и дело, что советский паспорт был не просто удостоверением личности.

Нечто загадочное присутствует уже в самой этой оде. *По длинному фронту купе и кают...* Где происходит действие: в вагоне или на пароходе? Обратите внимание на слово «фронт». Этот фронт пролегает на суше и на море, в поездах, на кораблях и вообще всюду. Необъяснимым кажется и то, что поэт хранит свой талисман в штанах, а не, допустим, во внутреннем кармане пиджака, причём держит его сразу в обеих половинах брюк: *Я достаю из широких штанин...* Сразу из обоих карманов.

И, наконец, совершенно энигматическая строка: *Дубликатом бесценного груза*. Что она означает? Этого никто не знает.

Ваши документы!

Я забыл сказать, что к числу неясностей и загадок относилось упоминание о *краснокожей паспортине*: ведь наша паспортина была одета в мышино-серый коленкор. Я не знал, да и мало кому было известно, что «Стихи о советском паспорте» Владимира Маяковского — не совсем о том документе, который чтецы-декламаторы прославляли с эстрад. Мы-то думали, что это наш паспорт. На самом деле речь шла о заграничном паспорте, который никто из нас не видел в глаза, никогда не мог его иметь. Что же касается внутренней и поголовной паспортизации, то она была, оказывается, учреждена уже после смерти стихотворца. Не совсем, правда, поголовной: та часть населения, которая в России традиционно именовалась народом, — пахари, ставшие колхозниками, — они-то как раз остались без серпастых дубликатов.

Тут мы касаемся ещё одного аспекта мистической диалектики этого документа: величие и власть паспорта ни в чём не проявляют себя так впечатляюще, как в его отсутствии.

Человек без паспорта — «не лицо», как сказано об одном персонаже Сухова-Кобылина: это как бы уже вовсе не человек. Его имя ничем не подтверждено, его происхождение никак не удостоверено. У него нет возраста, нет профессии, нет национальности, нет даже пола — как если бы у него в самом деле отсутствовал соответствующий орган. Он никто — вот он кто. Отсутствие паспорта не только не восполняется другими бумагами — справками, удостоверениями, свидетельствами, членскими билетами и аттестатами, — но, напротив, делает обладание ими подозрительным и преступным. Такой человек не может быть нигде прописан, потому что нет документа, на котором можно было бы оттиснуть необходимый штамп. Иначе говоря, он не имеет права поселиться где бы то ни было.

Но такой личностью под подозрением начинает чувствовать себя и тот, кому, наконец, восстановили паспорт. Все пункты, все реквизиты паспорта суть не что иное, как особого рода упряжь — ремни и цепи, которыми владелец документа прикован к государственной колеснице. Тайинственная власть паспорта состоит в том, что пределы её неизвестны.

Ваши документы!

Мы приблизились к особо ответственной теме — семиотике паспорта.

Разгадка паспортного шифра, если бы удалось её осуществить, была бы открытием века. Смело можно было бы поставить его в один ряд с открытием генетического кода или разгадкой экзотических письменностей. Чтобы расшифровать четырёхбуквенный код наследственности, нужно было сперва догадаться, что это — код. Чтобы прочесть древнюю надпись, нужно было понять, что это — письмо, а не орнамент. Истолковать смысл, таящийся в сочетании римских цифр, букв русского алфавита и арабских цифр, из которых состоит номер паспорта, невозможно, пока не будет осознан фундаментальный факт: это сочетание не может быть случайным.

Паспортный код есть гениальное изобретение государственной бюрократии. Его окончательная расшифровка — дело будущих поколений. Согласно одной из гипотез, он указывает на степень политической неблагонадёжности. Но подобные интерпретации — пример наиболее простого декодирования. Значительно больший интерес представляет комбинаторика, основанная на переводе букв в цифры и переключении цифрового кода на буквенный. Появляется возможность в одном только номере паспорта зашифровать важнейшие даты жизни: рождение, окончание средней школы, женитьба, арест и так далее.

Так что паспорт можно сравнить с талмудической Книгой жизни, о которой мудрец Акиба сказал: «Книга раскрыта, рука пишет, и заимодавцы взимают с человека положенное — знает он это или не знает». Выражаясь лапидарно, паспорт — это Судьба.

Но вернёмся к реальной жизни. *Ваши документы!*

Человек с восстановленным паспортом есть человек с неполноценным паспортом, «конь лечёный», по народному выражению, — и свято блюдёт одиннадцатую заповедь, которую советский народ прибавил к Декалогу Моисея: «Не попадайся на глаза начальству». Завидев издали синюю милицейскую фуражку, переходи на другую сторону улицы, сверни в переулок, спрячься в подъезд, — дабы избежать необходимости предъявить паспорт.

Человек с неполноценным паспортом гибок и натренирован, как змея; нет такой уловки, нет такой хитрости и лжи, на которую он не отважится, лишь бы не показывать паспорт.

Неполноценный паспорт заключает в себе скрытое указание на социальное и государственное несовершенство, политический дефект, национальное увечье. Бывшие заключённые, беглые селяне, явные или тайные евреи, к которым в последние годы присоединились так называемые лица кавказской национальности, и тому подобная публика — это лишь поверхностный слой, всем известная каста паспортных инвалидов. Задача явной и тайной полиции — выявить всех. Такова важнейшая функция паспортного режима.

Все мы были подозрительны, и паспорт тайно сигнализировал об этом. Паспорт — это был наш портативный соглядатай, карманный доносчик, которого мы грели у себя на груди или, как поэт революции, — в широких штанах. Я сам владел документом, где на второй страничке, в графе «На основании каких документов выдан паспорт» стояло: «На основании справки № такой-то и Положения о паспортах». Что представляет собой загадочное Положение о паспортах, никто не знал. Зато каждый, кому положено было знать, что означает упоминание об этом Положении: дежурный милиционер, управдом, начальник отдела кадров или барышня, ведающая пропиской, — каждый посвящённый — мгновенно понимал, взглянув на это зловещее «на основании...», из каких лесов явился данный гражданин. Вернее, полугражданин, полу-чёрт знает что. Сразу, слёту, как хиромант на ладони, вычитывал из паспорта всю печальную летопись моей жизни.

Точно маленькая граната, этот внешне благополучный, для непосвящённого глаза ничем не отличающийся от паспорта волчий билет мог в любую минуту взорваться и сразить наповал своего злосчастного обладателя.

Теперь можно было, наконец, догадаться, что подразумевал поэт под «дубликатом». Нас с вами. Мы — дубликаты наших паспортов. Каков паспорт, таков и паспортант.

А что сказать о прославленном Пятом пункте, который к моей политической неполноценности добавил национальное увечье? Но, как уже сказано, это был с семиотической точки зрения элементарный случай. Никто не разуверит меня в том, что и все остальные графы и пункты таили сверх того, что в них значилось, иной, эзотерический смысл. Этот смысл отсылал к ещё более секретным, чем загадочное Положение, инструкциям и уложениям, содержание которых, в свою очередь,

подлежало декодированию в самых высоких инстанциях. В своих непостижимых глубинах паспорт хранил всю нашу биографию, всё, что мы старались скрыть от начальства.

Все мы в большей или меньшей степени паспортные калеки, и признаться ли? — порой мне казалось, что безгрешных вовсе нет. Кто знает, может быть, и сам Великий Ус был обладателем неполноценного паспорта. Может быть, поэтому он озаботился тем, чтобы все подданные его державы были снабжены удостоверением тайной порочности и прониклись психологическим комплексом, о котором не ведал Фрейд, — комплексом неполноценных документов.

Ваши документы! Проверка паспортов!

1985, 1990

Ещё живо чрево

В 1939 году, после того, как был заключён пакт о дружбе с Германией, враг сменил имя: теперь это была Япония. Весной 1941 г., за два месяца до начала войны, Управление наркомата государственной безопасности (УНКГБ) по Хабаровскому краю по указанию московского начальства сфабриковало так называемую мельницу. Её организатором и шефом был начальник 2-го Главного управления НКГБ СССР генерал-лейтенант П.Фёдоров.

В 50 километрах от Хабаровска, близ маньчжурской границы, была сооружена фальшивая пограничная застава. За ней, на некотором расстоянии, находился мнимый маньчжурский полицейский пост, а ещё дальше — «уездная японская военная миссия». Весь этот театр предназначался для проверки советских граждан. Человеку предлагали в виде особой чести выполнить ответственное закордонное задание и забрасывали его через мнимую погранзаставу якобы на территорию врага. Там его задерживали псевдояпонцы. Он попадал в «военную миссию», где его допрашивали работники НКГБ, выдававшие себя за русских белогвардейцев и чинов японской разведки (роль начальника миссии исполнял некий Томита, бывший лазутчик императорской Квантунской армии). Угрозами, шантажом, измором, насилием от задержанного добивались признания, что он подослан Советами. Затем его перевербовывали в японского шпиона и забрасывали обратно. Операцию завершал арест, обвинение в измене родине и расстрел либо лагерный срок. Мельница более или менее исправно функционировала до 1949 года и перемолола, по имеющимся данным, 148 человек.

Этот эпизод из истории советской политической полиции (о котором подробно рассказано в сборнике Международного общества прав человека «Гулаг: его строители, обитатели и герои», Франкфурт/М. — Москва, 1999) представляет собой, конечно, нечто исключительное. Тем не менее, он демонстрирует главную черту этой организации, неизменную за все десятилетия её существования: абсурд в сочетании с идиотической целесообразностью.

Деятельность этого учреждения принято называть противозаконной. На самом деле Органы старательно следовали инструкциям и за-

конам — которые сами же изобретали. В этом специфическом значении *закон* есть не что иное, как совокупность указаний и правил, по которым надлежит творить беззаконие. Тайная полиция переросла сама себя. Это была универсальная организация, выполнявшая и сыскные, и следственные, и псевдосудебные, и карательные функции, служившая, с одной стороны, инструментом тотальной слежки и устрашения, с другой — рычагом экономики: довольно рано стало ясно, что создание новых отраслей промышленности, добыча полезных ископаемых, освоение новых регионов, грандиозные стройки, неслыханная милитаризация, словом, всё то, что подразумевалось под строительством коммунизма, — без системы принудительного труда невозможно. В конечном счёте это означало, что вся государственная машина в большей или меньшей степени оказывалась в ведении тайной полиции. Такова была логика породившего её строя.

Пересказывать упомянутую книгу не имеет смысла. Её нужно читать и перечитывать. Позволим себе поделиться несколькими соображениями в связи с её выходом в свет.

В качестве предисловия редакция публикует программный документ под названием «Сохранение исторической памяти и преодоление национальной разобщённости».

Я могу лишь догадываться, что это такое. Но мы хорошо знаем, что прошлое, о котором идёт речь, продолжает жить в настоящем. Страна отравлена дыханием лагерей. Нельзя говорить ни о демократии, ни о моральном исцелении народа до тех пор, пока не будет произведён решительный и бескомпромиссный расчёт с этим прошлым.

В книге, хоть и не очень громко, повторяется требование *открыть все архивы*. Некоторое время тому назад органы безопасности в виде особой милости разрешили родственникам погибших знакомиться с материалами следствия; подразумевались следственные дела. Но каждый бывший заключённый знает, что, кроме следственного досье, существовала другая папка — оперативное дело. Следственное дело — собрание бумаг, где ни одному слову нельзя верить. Оперативное дело выражает суть. Открыть архивы тайной полиции — или хотя бы то, что преступная организация не успела уничтожить, — значит вскрыть подлинную подоплёку «дел». В частности, открыть имена доносчиков и резидентов. Три четверти века провокация и донос оставались краеугольным камнем политического сыска. Устройство доносов и поощрение предательства были важнейшей функцией Органов, моральное разложение всего общества сверху донизу — результатом этой работы. Если у нас насчитывались десятки миллионов погибших в тюрьмах и лагерях, то это означает, что у нас были десятки миллионов стукачей.

Разумеется, и это — лишь небольшая часть тайны. Но можно понять, почему она так ревниво оберегается. Отнюдь не из боязни разжечь вражду поколений или что-нибудь в этом роде: это — пустые отговорки. Никакая правда — включая правду о том, что великое множество (может быть, большинство) известных, сделавших карьеру людей, маститых учёных, увенчанных наградами писателей и артистов, князей церкви, сумевших угодить кесарю, и так далее были платными агентами, — не может нанести больше вреда, чем утаивание правды. Можно понять, отчего, в числе других мотиваций, многотомные «оперативные материалы» остаются не доступны для общественности. Оттого, что их раскрытие и беспристрастное исследование разоблачили бы огромное множество преступников — и мёртвых, и ныне благополучно здравствующих, и в рядах самой организации, и за её пределами. Разоблачение же неумолимо ставит вопрос о каре.

С этой чудовищной проблемой — что делать с массой так или иначе замаравших себя пособников криминального государства — международное правосудие столкнулось в 1945 году (и в менее острой форме немецкое правосудие после крушения ГДР). Разве не было зловещей иронией то, что обвинителем с советской стороны в Нюрнберге был генеральный прокурор Руденко, человек, которому подобало сидеть самому на скамье подсудимых бок о бок с нацистскими преступниками? Или то, что на сессиях ООН выступал с речами бывший прокурор-палач, ставший министром иностранных дел, — Вышинский?

Как бы то ни было, национал-социализм был наказан не только в общей форме, но и в лице своих заправил и пособников разного ранга. Россия осталась глухой к этому опыту, и до сих пор значительная часть населения не отдаёт себе отчёта в том, какого рода прошлое осталось за его спиной.

Поразительно, что перед видением этого прошлого, перед лицом многолетних массовых злодеяний — мы не слышали ни об одном судебном процессе. Никто не решился указать на бывших бонз преступного режима, напомнить прихлебателям этого режима, его идеологам и певцам об их прошлом. Речь идёт не о физической расправе. Главные и несомненные преступники, разумеется, должны быть судимы и наказаны в уголовном порядке. Иначе придётся навсегда распрощаться с элементарным понятием о справедливости, придётся сказать себе и другим: Россия — неизлечимая страна; так было, так будет. Для большинства же тех, кто отплясывал с дьяволом (выражение Томаса Манна), достаточно морального осуждения. Достаточно указать на этих людей: назвать их имёна.

Нет, речь идёт не мести. Моё глубокое убеждение состоит в том, что весь народ должен не только знать о зле, совершаемом от его имени, но

должен знать, что зло не проходит безнаказанно. Только тогда можно надеяться на восстановление правового и морального сознания. Или, лучше сказать, надеяться, что будет опрокинуто извечное российское неверие в право и правый суд.

Тут мы, конечно, упёрлись в главное препятствие.

«В России произошло чудо, — говорится в редакционном тексте, — бескровная национальная революция».

О, да. Ведь мы со страхом ожидали чуть ли не гражданской войны. Режим сгнил и рухнул сам собой, подняв столб пыли. Всё как будто обошлось. Когда пыль рассеялась, увидели: нет больше советской власти, нет коммунистической партии, нет Советского Союза. Нет даже Железного Феликса на его пьедестале! Целым и невредимым осталось, однако, то, что было ядром режима, уцелела тайная политическая полиция.

Был момент на пороге 90-х годов, когда можно было разможжить гидру одним ударом: арестовать главарей, расформировать войска и распустить всю контору. Этот момент был упущен. Органы сумели запугать новых руководителей, сумели уговорить «общественность», что-де во всех странах существует разведка. Как будто политическую полицию тоталитарного государства можно сравнивать с разведывательными учреждениями США, Германии, Франции и т.д. Наконец, они торжественно объявили, что берут на себя задачу борьбы с организованной преступностью. Что вышло из этого обещания, мы все знаем.

Впору вспомнить Брехта: «Ещё живо чрево, плодящее змей». Тайная полиция оказалась бессмертной, вот в чём ужас. Она сохранила свои кадры и, что ещё хуже, свои материальные средства. Как и прежде, её деятельность окутана тайной. Никто не знает, над чем трудится всё это воинство в гигантском агломерате зданий в центре столицы; никто больше не смеет говорить об этом учреждении. Оно сменило вывеску, как делало это не раз. Вероятно, тайная полиция испытала состояние, подобное зимней спячке; очнувшись, она вновь представляет перманентную угрозу для демократии, которая барахтается в плёнках и не научилась себя защищать.

В ЛУЧАХ ЧУЖИХ ПЛАНЕТ

Переводы

**ХРИСТИАНЕ И ЕВРЕИ
ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА**

ЭТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ТРАДИЦИИ

Я не специалист в вопросах иудео-христианского экуменизма. Если, однако, я решаюсь высказаться на тему о взаимоотношениях христиан и евреев, то не в последнюю очередь потому, что я плохо понимаю, что собственно означает быть «специалистом», когда речь идет о катастрофе, имя которой — Освенцим. Вот мы и произнесли это слово, вспомнили это имя, которое нельзя не назвать, если мы хотим сформулировать или хоть как-то определить отношения евреев и христиан в нашей стране, да в конце концов и во всем мире. Имя, которое не обойдется молчанием, которое нельзя забывать ни на минуту, именно оттого, что оно уже грозит стать историческим, словно и ему предстоит, заодно с прочими, занять положенную графу в столбцах канонизированной, равнодушно взирающей на все истории и, значит, обречь себя на благополучное забвение или, что в общем-то одно и то же, торжественно-календарное упоминание по каким-то там дням; имя — Освенцим, звучащее прежде всего как символ миллионнократной казни, совершенной над еврейским народом.

Оттуда, из этой тьмы, Освенцим глядит на нас всех. Ведь непостижимое в нем — не только палачи и их пособники, не только апофеоз зла, торжествующего над людьми, и не только молчание Бога. Непостижимым и ужасным было молчание людей, молчание всех тех, кто смотрел или отворачивался и тем предал этот народ смертной муке в несказанном одиночестве. Говорю это не из презрения — но со скорбью. И не для того, чтобы восстановить в правах сомнительное понятие коллективной вины. Я выступаю, если можно так выразиться, за этическое толкование традиции. Лишь тогда можно доверять истории, лишь тогда — заимствовать у нее мерки для собственного поведения, когда не пытаешься отрицать ее поражений и искать оправдание ее катастрофам. Обладать историческим сознанием и стараться жить, исходя из этого сознания, как раз и означает не отворачиваться от катастроф; но

это значит также никогда не отвергать и не принижать, по крайней мере, один авторитет — авторитет мучеников. В нашей христианской и германской истории, больше чем в какой-либо другой, это относится к Освенциму. О судьбе евреев нужно помнить, памятуя ее этический смысл, — именно потому, что она уже грозит стать чисто историческим воспоминанием.

Вопрос о том, станут ли отношения христиан и евреев исходным пунктом для поворота, для реформации, решается, по крайней мере, в нашей стране, в зависимости от того, как мы, христиане, относимся к Освенциму, как мы оцениваем его применительно к нам самим. Или мы согласимся признать, что это действительно провал, обрыв истории, — чем он и был на самом деле, — или сочтем его в рамках истории всего лишь чудовищным недоразумением, своего рода несчастным случаем, в общем-то, не нарушающим ее хода.

Я хотел бы пояснить на примере одного разговора, что я лично считаю важным для нас, христиан, когда говорю об Освенциме как о конце и рубеже — провале и перевале. В конце 1967 года в Мюнстере происходил публичный диспут, участниками которого были чешский философ Милан Миховец, Карл Ранер и я. В конце нашей беседы Маховец вспомнил слова Адорно: «После Освенцима истории больше не существует». Слова, которые все считают гиперболой, давно уже опровергнутой, а ведь это, я думаю, не совсем так, во всяком случае, если иметь в виду самих евреев: разве Пауль Целан, Тадеуш Боровский, Нелли Закс и прочие, те, кто, как никто другой, были рождены для того, чтобы выразить себя в слове, разве они не умерли, в конечном счете, из-за невыразимости, невыговариваемости того, что случилось в Освенциме, и о чем нельзя было не сказать? Итак, Маховец процитировал фразу Адорно и спросил меня, возможно ли нам, христианам, после Освенцима возносить молитвы? Я ответил ему то же, что сказал бы и сегодня: да, мы можем молиться после Освенцима, потому что люди молились и там.

Если брать это высказывание изолированно, оно, пожалуй, прозвучит таким же преувеличением, как и слова Адорно. Я, однако, не считаю его преувеличением. Мы, христиане, никогда уже не вернемся к тому, что было до Освенцима; но, переступив через Освенцим, живя после Освенцима, мы замечаем, что идем уже не одни, а вместе с жертвами Освенцима. В этом и коренится, по-моему, иудейско-христианская экумена. Поворотный пункт в отношениях между ев-

реями и христианами соответствует непреложности конца, наступившего в Освенциме. Лишь устояв перед ним, удержавшись на ногах, мы почувствуем, что есть или чем могут стать «новые» отношения между евреями и христианами.

Устоять перед Освенцимом вовсе не значит понять его. Кто хотел бы здесь что-то понять, не понял бы ничего. Непостижимый, неподвижно взирающий на нас словно из мглы доисторических времен, Освенцим ускользает от всякой попытки разобраться в нем, от надежды худо-бедно свести концы с концами, и баста: вычеркнуть его из памяти. «Объективны» здесь только пострадавшие и скорбящие. Да еще кающиеся. Перед лицом Освенцима нет и не может быть посторонних, воздерживающихся от голосования, нет безучастных. Любая попытка устраниваться была бы тайным сговором с неосознанным страхом, еще одной капитуляцией перед ним.

Но как же нам, христианам, разделаться со всем этим? Прежде всего не будем стараться истолковывать мученичество еврейского народа в каком-то спасительно-историческом, промыслительном смысле. Нам-то уж во всяком случае не подобает мистифицировать эти муки! В них мы прежде всего сталкиваемся с загадкой нашей собственной бесчувственности, с тайной нашей собственной апатии, а вовсе не с Божьим перстом.

Я рассматриваю всякую христианскую теодицею — то есть всякую попытку так называемого «оправдания Бога», — равно как и всякие разговоры о «смысле» перед лицом Освенцима, разговоры, имеющие целью вынести эту катастрофу за скобки либо подняться над ней, — как богохульство. Апеллировать к смыслу, тем более божественному, нам позволительно здесь лишь постольку, поскольку он не был растоптан даже в самом Освенциме. Но что это значит? Это значит, что нам, христианам, ради нас самих отныне и впредь указано на жертвы Освенцима, и притом в значении спасительно-исторического союза, — если слово «история» еще сохранило какой-то смысл в специфически христианских словосочетаниях типа «история спасения», а не просто используется в качестве удобного повода для триумфальной метафизики, которую ни одна катастрофа ничему не научила, которую не колеблют никакие катастрофы, ибо для нее, собственно говоря, никаких катастроф смысла вовсе не существует.

Только этот спасительно-исторический союз положит конец всякому преследованию евреев со стороны христиан. И если бы вновь начались преследования, то гонимыми оказались бы евреи вместе с христианами, как это было некогда, в первые времена. Ведь гонения на

первых христиан были, как известно, одновременно и гонениями на иудеев; и тех, и других, отказавшихся признать римского кесаря богом и тем самым подрывавших основы политической религии Рима, преследовали как «атеистов» и «врагов рода человеческого», и тех, и других обрекали на смерть.

ЕВРЕЙСКО-ХРИСТИАНСКИЙ ДИАЛОГ В ПАМЯТОВАНИИ ОСВЕНЦИМА

Когда смотришь с этой точки на сложившиеся связи, то вопрос, не пора ли христианам в их взаимоотношениях с евреями перейти, наконец, от миссионерства к диалогу, — собственно говоря, не может быть поставлен. Самое это слово — «диалог» — кажется каким-то чересчур благополучным, недостаточным и попросту неуместным. И все-таки: что такое диалог между евреями и христианами в виду Освенцима, в памятовании Освенцима? Мне кажется нелишним задать этот вопрос, хотя будем осторожны: уже сейчас христианско-еврейский диалог испытывает на себе воздействие конъюнктуры, уже появились многочисленные организации и институты, заинтересованные в нем.

Еврейско-христианский диалог в памятовании Освенцима значит для нас, христиан, прежде всего вот что: не нам принадлежит первое слово, не мы начинаем этот диалог. Жертвам вступить в диалог не предлагают. Разговор может начаться только тогда, когда сами жертвы начнут говорить. И тогда наш долг, первейший христианский долг, будет — послушать, наконец-то хоть раз послушать, что сами евреи говорят от себя и о себе. Разве я не прав, если скажу: впечатление такое, что до сих пор в этом диалоге, если он и происходил, больше говорили мы сами и все о самих себе, о наших представлениях насчет еврейского народа и его веры. Что мы опять спешим проводить сравнения, без всякого учета ситуации, забыв, к кому мы обращаемся, забыв все случившееся, спешим сравнить оба вероучения, и хотя более доброжелательным, более мирным тоном, но с той же безответственностью, что и раньше, ибо мы опять-таки не хотим слушать, и в конце концов разговор, которого никогда по-настоящему не выходило, рискует и на этот раз не состояться. Потому что мы снова не видим дальше своего носа и предпочитаем говорить о «еврействе», вместо того, чтобы говорить с евреями. Слушали ли мы кого-нибудь, слышали что-нибудь за эти несколько десятилетий? Что мы узнали нового о евреях и об их религии? Научились ли мы внимательней вслушиваться в пророчество их полной страданий истории? Не возрождается ли прежняя эксплуатация, прежние зло-

употребления в более тонких формах, на сей раз под знаком демонстративной симпатии к евреям? То самое собирательство, когда мы, например, выхватываем из текстов, принадлежащих иудейской традиции, отрывки, чтобы использовать их как иллюстративный материал для нашей христианской проповеди, когда мы со вкусом цитируем хасидские причитания — без единого помышления о той мученической ситуации, в которой они возникли и которая очевидным образом составляет неотъемлемую часть заключенной в них истины?

Для диалога евреев и христиан нет заведомых образцов, которые можно было бы позаимствовать из привычного репертуара внутрехристианской экумены. Все надлежит измерять Освенцимом. В том числе и нашу христианскую манеру носиться с вопросом об истине. Что приходится слышать? Экумена ни в коем разе не может обходить вопроса о религиозной истине, она обязана постоянно иметь его в виду. Конечно. Но наш-то случай особый, следовать истине в данном случае значит, прежде всего, не отворачиваться от истины Освенцима и безо всякого стеснения разоблачать сладкозвучные мифы и примирительно-утешительные теории, издавна бытующие в христианской среде. Вот это и будет экуменическое служение истине! Вообще же христианам стоит порекомендовать именно в разговоре с евреями с особой осторожностью обращаться с понятием истины. Слишком часто то, что христиане победоносно и безжалостно выдавали за истину, превращалось в карающий меч, в орудие пытки, в инструмент преследования евреев. Не забывать об этом ни на минуту — будет тоже служением истине в христианско-еврейском диалоге.

И еще одно: чтобы мы, христиане, были поосторожнее с громкими словами о себе в этом диалоге. Кто осмелится перед лицом Освенцима объявлять наше христианство «подлинной», «в собственном смысле слова» религией страдающих, «в собственном смысле слова» религией гонимых, «в собственном смысле слова» религией рассеянных по свету? Сдержанность и скромность, о которых я сейчас говорю, теологический принцип экономии, держаться которого я предлагаю, — не имеет ничего общего с пораженчеством в вопросе о религиозной истине. Это лишь выражение определенного недоверия к так называемой чисто воспитательной, а на деле игнорирующей реальную ситуацию и память о прошлой экумене. После Освенцима не может быть никакого не считающегося с субъектом и с ситуацией теологического академизма, никакой богословской высоколести. Такое «глубокомыслие» было бы не чем иным как легкомыслием. С Освенцимом окончательно похоронена эпоха теологических построений, для которых не имеют значения субъект

и ситуация. Вот почему мне не внушают доверия и все эти столь благонамеренные и столь мелодично звучащие академические сопоставления разных вероучений и систем, все эти старания вычлениить «теологическое общее». Какой от них толк? Да и не существовали ли всегда эти черты сходства? Почему же они не смогли уберечь евреев от ненависти христиан? Корень проблемы, быть может, лежит куда глубже. Может ли наша теология после Освенцима оставаться той же, какой она была до него?

Наконец, разговор христиан и евреев выпадает из экуменических шаблонов еще в одном отношении. Всякий еврейский партнер в этих искомым новых взаимоотношениях будет не только иудеем в конфессиональном смысле, но и просто евреем, которому грозит Освенцим. Выдающийся писатель Жан Амери незадолго до своей смерти сказал об этом так: «В круге ада — в Освенциме — разница проявилась по-настоящему и словно огненными буквами была написана на лбу у каждого, — вроде тех вытатуированных номеров, которыми нас метили. Все «арийские» узники, хоть и оказались в одной пропасти с нами, евреями, стояли выше, более того — были отделены от нас расстоянием в несколько световых лет... Жид был жертвенным животным. Ему предстояло испить чашу до последней, горчайшей капли. Я выпил ее. Вот тогда до меня и дошло, что значит быть евреем».

ХРИСТИАНСКАЯ ТЕОЛОГИЯ ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА

Разумеется, достижение экумены христиан и евреев зависит не от одной готовности христиан слушать, предоставив слово евреям как евреям, то есть как еврейскому народу в его собственной истории. Экумена заключает в себе и глубокую теологическую проблему, а именно, вопрос о том, готово ли и способно ли христианство — и если да, то в какой мере — признать мессианскую традицию иудаизма в ее неотчуждаемой самобытности, признать ее продолжающееся мессианское достоинство — и при этом не предавать и не унижать представляемую христианством христологическую тайну. Вопрос этот опять же нельзя рассматривать абстрактно, но лишь памятуя об Освенциме. Освенцим должен стать отправной точкой для радикального самовопрошания христианства, вопрошания теологии о самой себе. Он должен стать поводом к самокритике, без которой новое экуменическое признание ценностей иудейской религии и еврейской истории окажется для христиан попросту невозможным. Позвольте мне кратко изложить некоторые элементы этого самовопрошания, которые представляются мне наиболее су-

ществственными; вместе с тем они служат указанием на вновь и вновь возникающие и потому как бы прирожденные опасности внутри самого христианства и его вероучения.

1. Не кажется ли вам, что христианство слишком уж настойчиво на протяжении многих веков выдавало себя, в качестве абстрактной противоположности иудаизму, за чисто аффирмативную, «утвердительную» религию, — так сказать, теологическое учение победителей? Религию, которая «преодолела» иудаизм, у которой на все готов ответ и которой явно недостает страстных вопросов? Не слишком ли часто вопрошание Иова оказывалось в христианской религии отгесненным на задний план, так что образ Сына, который страдает о Боге и бессилии Бога в мире, наделялся слишком уж праздничными чертами? И нет ли в этом опасности, ссылаясь на христологию, сузить, недооценить историю страданий мира сего? Поясню это выдержкой из синодального документа Католической церкви ФРГ.

«Быть может, в истории нашей церкви и всего христианства мы... чересчур высоко подняли над историей страданий человечества Его творящее надежду страдание. Не произошел ли разрыв в результате того, что христианская мысль о страдании сосредоточена исключительно на Его кресте и нас самих, Ему nasledующих, не оторвались ли мы тем самым от чужого, незащищенного, просто человеческого страдания? Не были ли мы, христиане, зачастую ужасающим образом бесчувственны и равнодушны к этому страданию?»

И в самом деле, получается, словно «их» страдание — это не наше страдание, словно оно относится к «чисто профанной» сфере, а мы по отношению к нему — словно какие-то победители. Как если бы это страдание не имело искупительной силы, как если бы сами мы не влачили на себе бремя этого страдания! А как же иначе понимать ту историю мук, которую христиане веками навязывали еврейскому народу или, по крайней мере, не смогли его от нее уберечь? Разве в нашем отношении к ней не проявились равнодушие и бесчувственность — типичные черты победителей?

2. Не скрывалась ли в христианстве, по контрасту с иудаизмом, некая мессианская слабость? Не проявляется ли в нем снова и снова упоение своей спасительно-исторической миссией, ложное и опасное упоение, которое с особой чуткостью умеют распознавать именно евреи? Но кто сказал, что оно, это упоение, — неизбежное следствие веры христиан в окончательное спасение, обещанное Христом? Разве хри-

стиане избавлены от необходимости ждать, ждать со страхом — не только за самих себя, но и за весь мир и историю в целом? Не следует ли и христианам устремить взор навстречу брезжащему мессианскому дню Господа? Но какой логический смысл имеет, собственно говоря, для христианской теологии это раннехристианское учение об ожидании мессианского Дня Господня? Какова его роль — не только в качестве содержательного элемента христианской теологии (о котором чаще всего упоминают с неловкостью и даже с каким стыдом), но и в качестве ее познавательного принципа? Если бы христиане в самом деле находили в этом учении смысл (или если бы он открылся им в Освенциме), оно прежде всего убедило бы их, что мессианское упование не имеет ничего общего со столь распространенным среди христиан прекраснодушием, из-за которого они становятся до такой степени нечувствительны к апокалиптическим угрозам и опасностям, какими кишит наша история, что с истинным безразличием победителей взирают на чужую боль. Благодаря ему, этому учению, христианская теология, быть может, яснее осознала бы, насколько заблокирована, задавлена в христианстве апокалиптически-мессианская мудрость иудаизма. Если опасность иудейского мессианизма с нашей точки зрения состоит в том, что он упорно отказывается от всякого примирения с настоящим, то опасность мессианизма в его христианской версии заключается, по моему убеждению, в том, что здесь опирающееся на Христа примирение слишком уж вращается в настоящее, в нашу современность, и слишком охотно выдает современному христианству, каким бы оно ни было в действительности, аттестат моральной и политической благонадежности.

Повсюду, где христианство, окруженное победным ореолом, прячет собственную мессианскую слабость, одновременно и в возрастающей степени притупляется отзывчивость к тем, кто подвергается опасности и гибнет. Теология лишается органа, воспринимающего провалы и крушения истории. Разве наша христианская вера в спасение, обетованное Христом, как-то неприметно не выродилась в некий логический оптимизм, который просто уже не способен смотреть в глаза крушению логики, смысловым катастрофам? Не наблюдаем ли мы прямо-таки типичную для христиан твердокаменную способность ни от чего не приходить в растерянность — даже перед лицом таких катастроф? И разве это не дает себя знать прежде всего в том, как рядовые христиане (и теологи!) относятся к Освенциму?

3. Не демонстрирует ли история нашего христианства угнетающий недостаток примеров политического сопротивления и, наоборот, избыток примеров конформизма? Вот, на мой взгляд, решающее осно-

вание, почему христиане и христианская теология обязаны, в память об Освенциме, потребовать отчета от самих себя. В эпоху возникновения христианства, мы уже об этом говорили, евреи и христиане вместе подвергались гонениям. Однако преследование христиан вскоре прекратилось, тогда как травля евреев все возрастала и с течением веков достигла невероятных масштабов. Конечно, такое различие судеб христиан и евреев имело много разных причин. Не все из них надо поставить в упрек христианству. И тем не менее этот исторический факт побуждает задать христианству и его теологии вопрос, который давно меня гложет и который должен был бы поразить всякого теолога после того, что произошло в Освенциме: не придало ли христианство мессианскому спасению, о котором возвестил Христос, чересчур личный, чересчур индивидуалистический и эгоистический смысл? И не получилось ли так, что именно это сведение мессианской вести о спасении к сугубо личному делу породило у христиан еще раньше, чем в еврействе, начиная еще со времен апостола Павла, стремление приспособляться к существующему политическому порядку, более или менее безропотно подчиняться предрержащим властям и мириться с ними? Кто знает, не оттого ли христианство было «лучше» евреев, а его двухтысячелетняя история в меньшей степени, чем еврейская, была историей мучений, травли и рассеяния, что с христианами легче было столкнуться в «деле государственного строительства»? Разве Бисмарк не попал в самую точку, сказав, что с Нагорной проповедью империю не построишь? Какое же это тогда преимущество, да еще мессианское, если оказывается, что христиане везде и всегда явно успешнее умели приспособлять свое понимание спасения как сугубо индивидуальной, интимной задачи к требованиям государственной власти! Не правильнее ли было, напротив, ожидать, что история христианства будет куда богаче столкновениями с властью — подобно мученической истории гонимого еврейского народа? В самом деле, разве не поразительно, что христианству явно недостает истории политического сопротивления, в то время, как история его политического приспособленчества и послушания так богата! И ведь вот что, в конце концов, получается: мы, христиане, узнаем ту самую судьбу, которую Иисус заповедал своим верным, не в нашей истории, не в действительной истории христианства, а в страдальческой летописи еврейского народа! Как теолог, я не могу умолчать об этой загадке, которая тревожит меня именно в связи с Освенцимом. Она-то в сущности и привела меня к мысли о «политической теологии», той теологии, которая выдвигает (ориентируясь больше на авторов синоптических Евангелий, чем на линию апостола Павла) программу отказа от индивиду-

лизм и тем самым противостоит опасности свести христианское спасение к чисто личному делу отдельного человека, иными словами, противостоит опасности безответственного примиренчества по отношению к существующей политической власти. По понятиям этой теологии сугубо аполитичная интерпретация христианского учения, недиалектическое истолкование его содержания в индивидуалистическом духе, с ориентацией только на внутреннюю жизнь личности, как раз и приводит снова и снова к бессознательной, как бы задним числом навязанной политизации христианства. Но христианство не может быть политизировано задним числом — путем подражания, путем копирования внеположных ему образцов политической деятельности или механизмов власти; оно политично само по себе как мессианская практика следования за Христом, оно является в одно и то же время мистическим и политическим. И это возлагает на нас ответственность не только за то, что мы делаем или не делаем, но и за то, что, будучи допущено нами, происходит с другими — в нашу эпоху, у нас на глазах.

4. Не слишком ли старается христианство скрыть практическое ядро своей миссии? То и дело приходится слышать, что вот-де еврейская религия вся нацелена на практику и мало заботится о единстве учения, тогда как христианство есть, прежде всего, вероучительная религия, и эта разница будто бы ставит значительные препятствия перед иудео-христианским сближением. А ведь христианство тоже в первую очередь не доктрина, которую надо блюсти в наивозможной чистоте, а практика, делом, которым надо смелее жить! Мессианская практика следования за Христом, преображения, страдания и любви не пристегивается задним числом к христианской вере, но представляет собой реальное выражение этой веры. Если уж на то пошло, в христианскую веру надо не верить — надо этой верой жить. Вот это и будет мессианская практика следования Христу. Есть, конечно, и такое христианство, где в веру только верят, «надстроечное» христианство, служащее нашим собственным интересам, — христианство в качестве буржуазной религии, христианство, которое не наследует Христу, а лишь «верует» в наследование и, прикрывшись этой верой, идет своей дорожкой; христианство, которое не сострадает, а только верит в сострадание и под личиной веры в сострадание раскармливает в себе ту бесчувственность, которая в конце концов сподобила нас, христиан, спокойно веровать и спокойно молиться, повернувшись спиной к Освенциму; бесчувственность, с которой мы, говоря словами Бонхейфера, распевали грегорианские хоралы, когда надо было кричать и вопить о евреях. Здесь, в этом вырождении

мессианской религии в чисто буржуазную, я усматриваю одну из коренных причин и предпосылок несостоятельности современного христианства в еврейском вопросе и в конечном счете — причину того, почему мы, христиане, в большинстве своем оказались неспособны по настоящему каяться, почему в послевоенные годы церковь не сумела противостоять всем многочисленным попыткам снять с нашего общества лежащую на нем вину.

Вероятно, есть и другие, не менее серьезные вопросы, которые обязана задать себе христианская теология в памятовании Освенцима, вопросы, через которые пролегал путь к экумене христиан и евреев. Нечего и говорить о том, что необходимо до последнего вершка вскрыть корни антисемитизма в самом христианстве, в его учении и в его практике. Здесь, между прочим, немалую роль играет та позиция «спасительно-исторической подмены», с которой христиане привыкли взирать на евреев, и которая приводила к тому, что к евреям относились не как к товарищам и даже не как к врагам, — враг тоже имеет свое лицо! — а превратили их в какую-то антикварную вещь, в неодушевленную историческую предпосылку для спасения. У меня нет возможности рассмотреть подробней проблему внутрехристианского антисемитизма. Не стану касаться и вопроса о корнях антисемитизма в немецких философских системах XIX века, наложивших неизгладимый отпечаток на весь строй мышления и категорийный аппарат теологии нашего времени.

Что могут «сделать» теологи-христиане для убитых в Освенциме — а тем самым для будущей христианско-еврейской экумены, — во всяком случае, ясно: не заниматься больше такой теологией, которая настраивает на безразличие или воспитывает способность оставаться безразличными к Освенциму. На этот счет я даю своим студентам по видимости простой, но в высшей степени ответственный критерий оценки, чего стоит такая-то богословская система. Спросите себя: могла бы теология, которую вы учите, остаться после Освенцима такою же, какой она была прежде? Если да — то держитесь от нее подальше!

ЛИНИИ ПЕРЕСМОТРА

Решение вопроса о том, удастся ли нам достичь такой экумены между христианами и евреями, принять которую для евреев не означало бы необходимости отречься от самих себя, в последнем счете зависит от того, сделают ли этот экуменический шаг церковь и общество. Все усилия theologов примирить противоречия двух вероисповеданий останутся пустой тратой сил, если эта задача не войдет глубоко в сознание церкви и общества, другими словами, если она не затронет душу народа.

Католическая церковь Федеративной Республики в своем синодальном постановлении «Наша надежда» провозгласила новый подход к религиозной истории еврейского народа. Она заявила, что принимает на себя особую задачу и особую миссию. История того, как составлялся этот раздел синода, могла бы пояснить, откуда берутся эти тенденции смягчить, извинить прошлое, тенденции, дающие о себе знать и в окончательной редакции текста. Но отнесемся к этому тексту всерьез. Там сказано: «При достойном подражании поведению отдельных лиц и групп, мы, церковная община, в общем и целом были во времена национал-социализма слишком равнодушны к судьбе преследуемого еврейского народа; мы были слишком поглощены заботой о наших собственных институтах, подвергавшихся угрозе, и молчали о преступлениях, совершенных против евреев и еврейства».

Времена нацизма прошли — но разве на смену им не пришло великое забвение? Мертвецы Освенцима должны были бы, если уж на то пошло, перевернуть все. Ничего не должно было остаться прежним ни в нашем народе, ни в наших церквах. Прежде всего, в наших церквах. Уж им-то, казалось бы, следовало прочувствовать в полной мере, какой катастрофой душ был Освенцим, не пощадивший никого и ничего — ни народ наш, ни наши церкви. А что получилось, где теперь оказались мы, христиане, граждане этой страны? Мало того, что делают вид, будто Освенцим — это недоразумение, несчастный случай — прискорбный, но все же случай. Похоже, что кое-кто у нас уже снова принимается искать причины того ужаса, который произошел в Освенциме, не в стане гонителей и убийц, а среди самих жертв, самих гонимых. Сколько же можно носить покаянное рубище, спрашивают те, кто, похоже, никогда его и не надевал. А пришло ли кому-нибудь в голову спросить у самих жертв, долго ли нам еще каяться и уместно ли здесь вообще такое понятие как давность срока? Желание ограничить эту самую «давность» применительно к Освенциму продиктовано, по-моему, вовсе не христианским всепрощением (уж тут-то прощать должны не мы!), а стремлением нашего общества и нашего христианства (!) окончательно оправдаться и... поскорей покончить со всей этой неприятной историей.

В такой ситуации становится очевидным: основа нового отношения христиан к евреям в памятовании Освенцима — не в культивировании некоего расплывчатого чувства примирения, не в дешевом и ни к чему не обязывающем благорасположении к евреям (которое на самом деле нередко маскирует не изжитую враждебность к ним), нет, основу эту надобно искать в нацеленном на жизненную практику пересмотре нашего сознания.

Так например, искомые новые «диалогические» отношения, если их действительно удастся завязать, не могут сводиться к диалогу специалистов — профессиональных теологов и специалистов по делам церкви. Нужно, чтобы экумена проникала в гущу народа, в повседневный труд педагогов, в воскресную проповедь, в жизнь церковных общин, в семью, школу, во все главнейшие институции. Новые традиции, как известно, закладываются не в академиях и не на семинарах ученых, не на торжественных церемониях, не на фестивалях. Новые традиции возникают в процессе медленного, неуклонного воспитания, внедряясь в души и становясь атмосферой для каждой души. А что происходит на деле в наших храмах и школах? Причем не в последнюю очередь — в сельских школах и храмах, в так называемой христианской деревне? Разумеется, деревенский антисемитизм обусловлен многими причинами; но в немалой степени его поддерживало и поддерживает религиозное воспитание. В моих родных местах, в типично католической среде, «жиды» и после войны оставались традиционным жупелом, привычным, хотя и абстрактным клише; представление о евреях черпалось в основном из народно-фольклорных спектаклей в Обераммергау.

Некоторые историки полагают, что антисемитизм в немецком народе в годы нацизма был распространен не больше, чем во многих других странах Европы. Лично я сомневаюсь в этом, но если это правда, то, значит, дело обстоит еще хуже, возникает еще более ужасное подозрение, то самое, которое и высказал уже много лет назад один из историков: выходит, что немцы дошли до крайней степени антисемитизма — начали истреблять евреев — только потому, что им приказали, то есть из простого повиновения власти!.. Каковы бы ни были конкретные обстоятельства в каждом отдельном случае, тут явно налицо — такой вывод делался уже не раз — то, что называется типично немецкой опасностью. И потому самое важное, если вернуться к нашему разговору, это чтобы и общество, и церковь самым решительным образом занялись воспитанием такого послушания авторитетам и такой солидарностью с властью, которые не исключали бы критического отношения к авторитетам и властям, воспитанием, цель которого — преодолеть страх перед конфликтами и внушить презрение к успеху, достигаемому пресмыкательством перед властью.

В этой связи позвольте мне привести высказывание одной молодой еврейской женщины, школьной учительницы, по поводу так называемых недель братства. Оно не нуждается ни в каких комментариях.

«Два выражения врезались мне в память, еще когда я сама училась в школе и не имела ни малейшего представления об их истинном смысле. Первое: «с формально-юридической точки зрения» и второе: «законом не предусмотрено». Все, что совершается в школе — и, полагаю, в других учреждениях тоже, — должно быть правильным с формально-юридической точки зрения, хотя бы это было совершенной бессмыслицей... Куда ни посмотришь, везде демократия и везде порядок, везде люди старательно, не задумываясь, не испытывая никаких эмоций, выполняют законы, указания, распоряжения, предписания, установки и циркуляры. А тех немногих, кто противится этому, кто проявляет хоть немного самостоятельности и гражданского мужества, тех подвергают систематическому запугиванию... Оттого у меня нет никакого желания брататься с немцами, и не нужна мне эта неделя братства. У меня все в душе переворачивается, когда я слышу трескотню о дорогих еврейских собратях. Те, кто нынче с такой помпой разглагольствует о примирении, — все те же автоматы, просто в них вложили новую программу».

Я начал с того, что память наша об Освенциме должна носить морально-этический, а не «чисто исторический» характер. Моральная память о преследовании евреев не может не распространяться и на отношение людей нашей страны к государству Израиль. У нас, немцев, тут нет выбора — и в этом пункте я расхожусь с моими левыми друзьями. Кому-кому, а нам не подобает укорять евреев, после того как в совсем еще недавние времена они оказались в нашей стране на грани тотального уничтожения, в том, что они чересчур озабочены своей безопасностью; раньше, чем кто-либо, мы должны были бы отнестись с пониманием к заявлениям евреев о том, что они обороняют свое государство не под флагом сионистского империализма, а как дом спасения от смерти, как последнее прибежище веками травимого народа.

ЭКУМЕНА В МЕССИАНСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

То, о чем мы здесь рассуждали, — будущая экумена евреев и христиан в памятовании Освенцима, — составляет отнюдь не периферию внутрехристианской экумены, но ее средоточие. Экумена между христианами, я глубоко убежден, в конечном счете, будет реализована лишь при условии, что она вновь обретет библейско-мессианские соотношения экумены вообще, то есть узнает и признает своего изначально соучастника — забытый и изгнанный иудейский народ с его мессианской религией. Так я понимаю наставление Карла Барта в его «Экуменическом завещании» 1966 года: «Не будем забывать, что фактически

имеется только одна экуменическая проблема — наше отношение к еврейству». Мы только тогда сойдемся и столкнемся между собой как христиане, когда выработаем совместно новый взгляд на еврейский народ и его веру, новое отношение, которое не обойдет стороной Освенцим, но предстанет как лык христианства, открывшийся нам лишь после Освенцима и взыскующий с нас за многое. Ибо, повторяю, мы, христиане, никогда не вернемся к тому, что было до Освенцима, но, выйдя из Освенцима, отправимся вперед уже не сами по себе, а вместе с жертвами.

И тогда, быть может, — не будем слишком самоуверенны в наших предсказаниях, но как знать? — придет день, и союз мессианского упования соединит евреев и христиан против торжества пошлости и чело-веконенавистничества в нашем мире. Память Освенцима обострит наш слух и зрение перед лицом ныне продолжающихся преступлений против человечества в странах, где на поверхности царит тишь да гладь, «порядок и спокойствие», как некогда в Германии при нацизме.

В ТЕНИ ИСТОРИИ

I

Дракон, стерегущий сокровище, или Что осталось от буржуазной революции

Слово «революция» в наши дни изменило свой смысл, хотя перемена не всегда осознается. Прежде никому и в голову не пришло бы применить это слово к явлениям и процессам, на которые оно навешивается сегодня. Говорят о промышленной революции и даже о второй промышленной революции, о сексуальной революции, о марках автомобилей и самолетов, которые «произвели революцию», а недавно мне попало на глаза выражение «революция в области моды».

Обсуждая вопрос о том, завершилась ли буржуазная революция, я не стану вкладывать в это слово столь расплывчатый смысл. Под революциями я подразумеваю великие общественные потрясения и преобразования, знаменующие приход новой исторической эпохи. Однако в том узком и конкретном значении, которое вкладывалось в это понятие еще в пору моей юности, я тоже его больше не употребляю. Тогда, например, не называли события, развернувшиеся в Германии в связи с деятельностью Лютера, революцией: это называлось Реформацией и Крестьянской войной. Когда аналогичное движение захватило Голландию, оно стало обозначаться как «отпадение Нидерландов»; когда оно перебросилось в Англию, когда явился Кромвель и установилась диктатура святош, враги окрестили это движение «великой смутой», the Great Rebellion, а те, кто ему сочувствовал, столетие спустя доказывали его независимость от событий на континенте и объявляли его триумфом прав человека. То, что оно послужило в свою очередь сигналом к американской революции, было осознано лишь много позже, в наше время.

Первыми, кто назвал свою революцию революцией, были французы 1789 года. После этого слово «революция» приобрело конкретный, четко определенный смысл, какой оно и сохраняло вплоть до XX века. Революция — это было внезапное, чреватое насилием, почти военное выступление охваченных энтузиазмом масс; это означало бои на барри-

кадах, штурм общественных зданий, свержение, изгнание или пленение монархов и правительств. Короткий, четко ограниченный во времени, взрывоподобный процесс, удар грома, который все меняет или по крайней мере должен переменить.

Карл Маркс первым осознал, что такое понимание революции учитывает лишь ее внешние проявления: яркие драматические эпизоды, отдельные кульминационные моменты — но не ее сущность. Все важнейшие процессы, которые мы только что перечислили, начиная с Крестьянской войны в Германии и кончая Французской революцией, Маркс объединил в единый и мощный исторический процесс и назвал его буржуазной революцией. Более трех веков понадобилось для того, чтобы, перемещаясь из страны в страну, время от времени делая передышки, эта революция полностью осуществилась. И вот, наконец, — так, по крайней мере, представлялось Марксу, — она завершена, ее историческое дело сделано. Буржуазная революция разрушила все иерархические связи, разорвала все путы средневекового мира, опустошила веру в потустороннюю жизнь, снесла напрочь тонко и сложно построенную, но застывшую пирамиду феодального общества; революция изгнала Бога и секуляризовала общество, сохранив в нем лишь два класса: имущих и неимущих, буржуазию и пролетариат.

Буржуазная революция, учил Маркс, ушла в прошлое, мир созрел для новой схватки. Теперь на повестке дня стояла «пролетарская революция». Буржуазия, еще вчера выступавшая в качестве революционного класса, превратилась в оплот существующего порядка, а значит, и в нечто отжившее свой век и готовое рухнуть; капиталист, так сказать, обулся в сапоги феодала. Он превратился в дракона, который стережет сокровище. Ему больше нечего предложить миру. В итоге буржуазия оказалась таким же безмозглым и безыдейным пережитком, такой же помехой на пути прогресса человечества, как аристократия в 1789 году, и на очереди — новая революция, а именно пролетарская; ее рычагом будет экспроприация экспроприаторов, ее целью — прыжок из царства необходимости в царство свободы, бесклассовое общество, отмирание государства.

Прежде чем критиковать эту идею Маркса, я хочу воздать ей дань уважения. Это действительно блестящая мысль, пророчество, поражающее почти жутким ясновидением, и неудивительно, что чуть ли не целое столетие оно неодолимо влекло к себе умы; не случайно оно за гипнотизировало и друзей, и врагов, ибо не одни только коммунисты жадно схватились за эти сосцы, — поколения буржуа после 1870 года, словно под действием чар, добровольно взяли на себя ту роль, ту, прямо скажем, малопочтенную роль, которую уготовило им этого учение.

Буржуазный фашизм и был, собственно, не чем иным, как буквальным, совершившимся как бы под гипнозом осуществлением пророчества Маркса, попыткой буржуазии забыть раз и навсегда о том, что некогда она была революционным классом, попыткой не мытьем, так катаньем восстановить иерархический порядок, который она сама разрушила за три века революционной борьбы. Разумеется — попыткой с негодными средствами. Ведь и фюрер, и дуче были всего лишь скверным суррогатом императора или короля Божьей милостью. Идеология не могла равняться с религией, владычество партии над душами — с былым господством церкви. Гаулейтер в качестве нового феодала выглядел смехотворной пародией: воистину мещанин во дворянстве. Но при всем том невозможно отрицать, что буржуазия фашистской эпохи вела себя абсолютно по-марксистски.

Негативная часть марксозна предвиденья, конец буржуазной революции и превращение буржуазии в реакционный класс, по видимому, исполнилась буквально. Куда сложнее обстоит дело с позитивной частью. Как известно, пролетарская революция состоялась вовсе не там, где предсказывал Маркс, не в странах, где капитализм достиг полного развития, а в России — докапиталистической или раннекапиталистической стране, которая даже еще не проделала своей буржуазной революции. И результат ее, видит Бог, таков, что отмиранием государства и бесклассовым обществом там не только не пахнет, но совсем наоборот. Кто хочет, может снять шляпу перед тем, что совершил Сталин, — построением социалистической сверхдержавы в одной стране, и притом отсталой. Но ни при Сталине, ни после него эта держава отнюдь не стала осуществлением предначертаний Маркса. Чтобы оспорить это, марксистам пришлось потратить немало слюны. С другой стороны, их надежда на то, что социализм русской выделки станет предметом подражания в высокоразвитых капиталистических странах Запада, тоже хиреет день ото дня. Сегодня она почти мертва, и даже это «почти» можно смело вычеркнуть.

Пример или образец Советского Союза даже западных левых сегодня скорее отпугивает, нежели вдохновляет. Ведь если в последние десятилетия где-нибудь происходили революционные выступления рабочего класса в подлинном смысле слова, то, как это ни странно, именно в социалистических странах, в ГДР, в Венгрии, в Польше, а не на Западе. Ладно, допустим, что это были инциденты местного значения, которые ничего не доказывают. И то, что на Западе рабочий класс сейчас производит впечатление изрядно обуржуазившегося и консервативного класса, в исторической перспективе, может

быть, тоже ничего не значит. Во-первых, есть исключения, например, Италия или Испания; во-вторых, все может измениться, случись новый серьезный экономический кризис, а ведь от кризисов капиталистическое рыночное хозяйство в силу самой своей природы не застраховано. Словом, возражения наподобие приведенного выше могут быть полезны в споре, но сами по себе они еще не дискредитируют такое долговременное толкование и предсказание истории, каким является учение Маркса.

Есть нечто другое, что заставляет ныне усомниться в основном тезисе марксизма после десятилетий его безраздельного господства, и это, если говорить кратко, — очевидное и устрашающее возрождение буржуазной революции. Приблизительно с середины шестидесятых годов мы на Западе, вне всякого сомнения, находимся в революционной фазе. Устои общественного порядка вновь зашатались. Буржуазный консерватизм, после того, как он порвал с фашизмом, разгромленным в 1945 году, теперь вновь, если можно так выразиться, обеспокоен судьбой респектабельности и повсюду вынужден перейти к обороне. Но что самое удивительное, чего никто не мог ожидать, силы, которые его теснят, — это отнюдь не пролетариат. Это, если подвергнуть их марксистскому классовому анализу, — именно буржуазные, а не какие-либо иные, силы. Прежде всего, конечно, студенты — наследные принцы буржуазного порядка, затем интеллигенты, ученые, люди искусства, а также — и не в последнюю очередь — женщины, причем именно женщины из буржуазной среды, «зеленые вдовы» из благоустроенных современных пригородов, предоставленные самим себе, пока их мужья занимают бизнесом в городе.

Нет сомнения: современное молодое поколение западной буржуазии вновь ощущает себя как поколение революционное. Намного больше — от этой истины никуда не уйдешь, — намного больше, чем молодежь из рабочих семей. Если сейчас на Западе происходит революция, в зрелой ли форме или в стадии возобновления, то это, во всяком случае, революция не пролетарская, а снова — или все еще — буржуазная. Не будем заблуждаться относительно содержания и целей этой западной революции, где бы она ни бурлила, в Америке, во Франции, в Англии или в Федеративной республике Германии: все словесные ухищрения неомарксистов, почти трогательные старания привести ее в соответствие с заданной марксистской схемой истории фактически отражают всего лишь их собственные надежды и устремления. Ибо юные революционеры буржуазного мира в действительности отнюдь не озабочены экспроприацией экспроприаторов.

Если бы вдруг им вручили бразды правления экономикой в Соединенных Штатах или, допустим, в Германии и сказали: ну вот что, ребята, наведите-ка сами порядок в этой лавочке, — они бы попросту растерялись. Из того, что они вычитали у Маркса, они, быть может, почерпнули энергию своего негодования. Но свои истинные цели они заимствуют из совершенно других источников.

Не на фабриках происходит эта революция, а в школах и университетах, в юридическом мире и, главное, в семьях. Пафос современной революции западной молодежи — это пафос эмансипации, индивидуализма и свободы. Другими словами, пафос буржуазии. Ибо если буржуазная революция, открытая Марксом и, так сказать, выделенная им из всемирной истории, начиная от Крестьянской войны и до Парижской коммуны, имела общую основную черту, так это ее освободительный пафос, восстание личности против общественных авторитетов и утеснений, которые воспринимаются уже не как нечто от Бога данное, но как насилие и произвол, восстание против всякого ограничения прав личности, налагаемого не по ее собственной воле, вплоть до внешних условностей и приличий. Совсем неслучайно нынешние молодые люди снова носят бороды, как в 1848 году, а женщины обнажают грудь и ноги, как когда-то incroyables и merveilleuses¹ эпохи Директории, не зря благопристойность в одежде высмеивается, словно во времена санкюлотов. Разумеется, все это условности, но за ними стоит внутренний импульс.

Короче говоря, я сильно подозреваю, что Маркс поторопился отпевать буржуазную революцию. Его ввела в заблуждение некая пауза, период отлива. Процесс, растянутый на века, порой обостряется, порой затихает. Великий бунт против всеислия Церкви, бунт, с которого более четырех столетий тому назад началась буржуазная революция, поначалу не привел к полной секуляризации, а лишь вызвал к жизни другую церковь, контрцерковь. Восстание против феодального государства не привело — как раз во времена Маркса — к полной демократии, а лишь породило новое классовое государство, своего рода промышленный феодализм. Но на этом буржуазная революция отнюдь не окончилась. Ее исходные импульсы оживают вновь и вновь. Все еще продолжается секуляризация, а равным образом и демократизация, и вслед за церковью и государством революция, уже на наших глазах, охватила новую область: нравственность и семью. Это явным образом все еще та самая, все еще буржуазная революция. Других, может быть, не будет.

¹ невероятные и диковинные (франц.)

II

Ленин, или Что осталось от социалистической революции

Быть может, совсем неслучайно два крупнейших реальных политика новейшего времени, Бисмарк и Ленин, питали особую любовь к одному и тому же музыкальному произведению — бетховенской сонате в f-Moll, опус 57, известной под названием «Аппассионата». Оба оставили любопытные признания, как действовала на них эта музыка. «Это — словно борение и рыдание всей человеческой жизни», — сказал Бисмарк и добавил, по видимости противореча самому себе: «Если бы я почаще слушал эту вещь, я был бы куда храбрее». Ленин высказывался подробней и еще противоречивей. Он назвал музыку «Аппассионаты» изумительной, «нечеловеческой». Но слушать ее слишком часто он не может. Она действует ему на нервы. Хочется погладить по головке людей, которые живут в грязном аду и при этом умеют создавать такую красоту. А надо не гладить по головкам, а бить по головкам, бить безжалостно, хотя наша цель — уничтожение всякого насилия над человеком. «Чертовски трудная должность», — прибавил он.

Любопытно, что оба обнаружили одинаковую восприимчивость к трагической вести Бетховена, но их реакция на нее была почти противоположной. Бисмарк не уставал слушать эту музыку, она вливалась в него силы. Ленин предпочитал слушать ее нечасто, ибо она его расслабляла, а он хотел и должен был оставаться твердым. Здесь внезапно перед нами обнажается разница между реальным политиком в чистом виде и реальным политиком, который в то же время и революционер. Для одного «борение и рыдание человеческой жизни», зрелище героически-безрезультатного сопротивления и полной отчаяния и величия гибели, трагический образ мира, явленный в музыке Бетховена, — это подтверждение и утверждение собственной правоты: да, таков этот мир, страшный, безнадежный и вместе с тем удивительный. Не отводить глаз от взгляда Медузы. Этот взгляд внушает отвращение. Для другого же — он невыносим. Он раздирает его. Ведь он, революционер, хочет изменить мир. Он намерен создать мир гуманный, справедливый, мир, в котором не будет насилия. Но как раз поэтому, ради этой цели, он обязан творить насилие, бить по головам, которые ему так хотелось бы погладить. Трагический закон повелевает и реальным политиком революции, и он не в силах устоять перед его чарами. Реальная политика и трагедия, их переплетение, более того, их тождество, — не правда ли, странная мысль: попытаться продемонстрировать его на примере именно Ленина?

Ведь на первый взгляд история Ленина — нечто противоположное трагедии: это, собственно говоря, success story. Революция, которую Ленин подготовил и осуществил, увенчалась успехом. Государство, основанное им, выдержало все бури и сегодня могущественно, как никогда. Ленин окружен в коммунистическом мире таким почетом, такой славой, каких едва ли был удостоен кто-либо другой. Сравниться с ними может разве только обожествление Цезаря и Августа в императорском Риме. Триумф при жизни, ореол после смерти, чего еще может желать человек? И тем не менее Ленин — трагическая фигура. Трагическая фигура в жизни, которой он пожертвовал и которая кончилась отчаянием, трагическая фигура и по ту сторону жизни, в своем историческом воздействии, которое так далеко от того, к чему он стремился. Трагедия Ленина — это не трагедия неуспеха, крушения; нет, это трагедия удачи. И оттого она еще значительней.

Ленину удалось то, чего не удавалось до него никому: полная победа революции. Революция — об этом свидетельствовал весь опыт истории, — революция — это было то, что никогда не удавалось, что неизменно приводило к печальному концу. Можно было бы после каждой революции повторять слова Гете, сказанные им, с холодной трезвостью гражданина мира, после Великой Французской революции:

Übermacht, Ihr könnt es spüren,
Ist nicht aus der Welt zu bannen.
Mir gefällt zu konversieren
Mit Gescheiten, mit Tyrannen¹.

Не будь Ленина, и в России семнадцатого года результат был бы тот же, что в 1905 г. С Лениным — вышло иначе. Это он впервые превратил революцию — в Übermacht, в победоносное насилие, которое невозможно изгнать из мира, он вдохнул в революцию долгое дыхание, более долгое, чем это предписывала история. Через него, с ним и благодаря ему впервые великая империя, ее господствующий класс, ее государственный строй, ее экономическая и общественная система, вместе с ее мифологией и идеологией, были сравнены с землей, ее носители были истреблены или рассеяны по свету, впервые была создана tabula rasa, а затем на ней — правда, уже не Лениным, а Сталиным — было начертано нечто совершенно новое.

Все это удалось ему, так как он первым из всех революционеров был одновременно и реальным политиком, человеком, который об-

¹ Изгнать из мира насилие, сами видите, невозможно. Уж лучше я буду беседовать с умными людьми, с тиранами. (нем.)

ладал чувством действительности, не уступавшим практическому гению Бисмарка или Наполеона. Нужно ясно представить себе, насколько необычно, почти невозможно такое сочетание. Ведь революционерами становятся оттого, что невозможно переносить мир, каков он есть, оттого, что хочется совсем другого, и притом немедленно, здесь и теперь. Тогда как реальный политик — это человек, который приемлет мир и работает с теми данностями, какие он в нем находит, стремясь извлечь из них пользу для государства и партии, к которой он принадлежит. Соединить обе установки почти невозможно. Вот почему, должно быть, все революции до Ленина в конце концов терпели крах, вот почему они снова и снова, вплоть до наших дней, порождали бесчисленных мучеников и революционных святых, но отнюдь не победителей. Без готовности вести реальную политику не может быть победы.

Че Гевара писал за несколько лет до своей смерти и своего поражения: «Пусть надо мной смеются, но да будет позволено мне заметить, что истинный революционер руководствуется мощными чувствами великодушия и благородства».

А вот что говорил Ленин: «Кто не может приспособляться, кто не готов ползать брюхом в грязи, тот не революционер, а болтун!» Сам он, видит Бог, был к этому готов. Начиная от раскола партии в Лондоне в 1903 г., от безоглядного разрыва с политическими друзьями, многолетней игры в кошки-мышки с царской охранкой, сговора с кайзеровской Германией, вынужденного и насильственного Брест-Литовского мира — и до продуманно-прагматического отхода после победы в Гражданской войне, в условиях, когда мировая революция не состоялась, до временного отказа от социализма и перехода к государственному капитализму — сплошные измены самому себе, самоопровержения, сплошные компромиссы реального политика, который всегда действует согласно правилу: два шага вперед — шаг назад.

Изменой себе, хотя и совсем иного рода, была его готовность к террору, его деловитая жестокость в Гражданской войне, а после нее — безжалостное подавление восстания кронштадтских матросов, отступников, которые поначалу были самыми верными его сторонниками. Ленин не был прирожденным фанатиком террора, не находил в истреблении людей холодного удовлетворения, как Сталин, не получал от этого садистского удовольствия, как Гитлер. Он был вполне цивилизованный и чувствительный человек; но он умел не считаться со своими чувствами, так же как не допускал, чтобы его цель влияла на его средства. Он делал то, что диктовалось необходимостью. Всегда имея перед глазами эту цель — лучший мир, — он был готов принять дурной мир, в ко-

тором ему приходилось действовать, таким, каков он есть и каким его следовало принимать, если хочешь что-то в нем исправить. Он желал добра, и чтобы достичь его, готов был творить зло, если угодно — воевать со злом, применяя его собственное оружие; и в любом случае приспособляться, приспособлять себя к злу. И поэтому он победил. Но победив, он лишил победу ее смысла.

Трагедия Ленина — это трагедия в кубе. Лишь незначительной частью этой трагедии было его самопожертвование, аскетическое подавление собственной личности, подобное бичеванию плоти, — на которое Троцкий, например, никогда не был способен. В отличие от Троцкого, Ленин был свободен от какого бы то ни было тщеславия, он даже был — опять-таки в противоположность Троцкому — почти безличен. Безупречная деловитость Ленина, его абсолютное, почти автоматическое подчинение закону необходимости, какой она являет себя в данный конкретный момент, причем его собственная персона, его личные чувства и желания всякий раз едва различимы за его деятельностью, всегда подчиненной интересам дела, — все это достойно восхищения; но чувствуется в этом и внутренний холод. Примечательно, что до сих пор у Ленина не нашлось сочувствующего и убежденного биографа. Даже самым горячим почитателям не удалось пробудить к нему ту личную любовь, то восхищение, какие без труда приобрели и какими все еще продолжают пользоваться во всем мире другие герои революции, хотя они добились куда меньшего успеха, — скажем, Роза Люксембург или тот же Че Гевара. Этот сверхчеловек сделался для потомства почти не-лицом. Легче было превратить его в бога, чем сделать по-человечески интересным.

Сам он, как человек нетщеславный, вероятно, пожал бы плечами, если бы ему сказали об этом. К своей посмертной славе, как и к славе прижизненной, он был равнодушен. Но отнюдь не безразличной была для него его цель. Понимание того, что победив, он промахнулся, и промахнулся именно потому, что победил, превратило остаток жизни Ленина в годы отчаяния. Такова вторая, более глубокая трагедия. Зрелище умирающего Ленина, Ленина 1922 и 1923 годов, который из последних, убывающих сил, отчаявшись в своем труде, вновь, но теперь уже тщетно, пытается все изменить и отменить, пока силы окончательно его не оставляют, — это зрелище ужасно. Ленин в Горках, последней резиденции, где он болеет и умрет, — фигура более волнующая, чем Наполеон на Святой Елене или Бисмарк в поместье Фридрихсру. У тех оставалось по крайней мере горькое утешение проигрыша. Они больше не отвечали за то, что им пришлось увидеть и чего они уже не могли изменить. А Ленину выпала на долю безутешность победы, беспомощ-

ность победителя. Всего, чего он хотел и мог добиться, он достиг. Слово Бог на седьмой день творения, он мог взглянуть на все, что он создал, — и вот, все очень плохо: растущая как дрожжах бюрократия, вернувшиеся и обнаглевшие торгаши, возрождение капитализма, начало страшного владычества Сталина, обескураженная и беспомощная партия, никакого выхода, никакого наследника. «В какую лужу мы сели,» — стенает умирающий.

Ну, что касается лужи или даже болота, то Сталин сумел на свой лад, не считаясь ни с чем, его осушить и на его месте воздвиг внушительную махину, называемую Советским Союзом; и ленинская мумия в Мавзолее служит ей государственным божеством. Но тут-то и открывается перед нами третий и, может быть, самый мрачный аспект трагедии реального политика Ленина. Он хотел мировой революции, а создал новую мировую державу. Он хотел отмирания государства, отмены господства человека над человеком; а итог его работы — могучее государство, может быть, сильнейшее из всех государств, и твердыня господства, не имеющая себе равных в нашем столетии. Революционер, средствами реальной политики приведший революцию к победе, в конце концов стал жертвой реальной политики.

Реальная политика — это политика, которая приемлет в своем образе действий несовершенство мира. Ее неизбывный трагизм носит имя — тщетность. Тогда как революция сулит прыжок из царства необходимости в царство свободы. Революционер, ставший реальным политиком, другими словами, склонившийся во имя победы перед законом необходимости, изменяет этим посулам. Сияющее обетование он приносит в жертву прозаической реальности. Совершившаяся и победоносная революция несовершенна, как любое творение рук человеческих, и, как все человеческое, замарана кровью и грязью, — это именно и доказал своей победой Ленин. И когда все это осталось позади, когда все сделано, хочется спросить: ну и что?

Вот отчего победа, одержанная революционным реальным политиком Лениным, трагичней крушения революционных идеалистов вроде Розы Люксембург и Эрнесто Че Гевары. Несомненно, Ленин принадлежит к шеренге великих свершителей, Бисмарков и Наполеонов, но тем самым он оказывается и в ряду чемпионов тщеты и бесполезности, какими полна история. Его победа лишила революцию ее чар. Он доказал две вещи: что революция может победить — и что ее победа ничего не меняет. Творение Ленина — это Советский Союз, по-своему величественное сооружение власти, однако не более величественное, чем многие другие, которые возникали и исчезали. Но под его фундаментом погребена надежда человечества.

III Трехмерный телевизор, или Что осталось от будущего

«Будущее уже не то, каким оно было когда-то». Не помню, кто это сказал, но сказал верно. Ничто так радикально не изменилось за последние десять лет, буквально перевернувшись с ног на голову, как наши представления о будущем. Они сменились вместе с модами.

В 1967 году в Америке вышла книга с увлекательным заглавием «Вы это увидите» и еще более интригующим подзаголовком: «Прогнозы науки до 2000 года». До конца столетия нам пообещали золотые горы, истинный рай на земле, — правда, несколько искусственный, даже жутковатый, а кое-кого и просто напугавший рай. Общественный продукт должен был возрасти в пятьдесят раз, общество массового потребления нынешних богатых стран — стать нормальным состоянием всего человечества, а самые передовые государства должны были вступить в стадию постиндустриального общества, где большинство будет занято взаимными развлечениями, а не взаимным содержанием, как теперь.

Человек будет жить дольше, быть может, сто пятьдесят лет, и при этом сохранять бодрость, а если жизнь ему наскучит и он захочет сделать перерыв, он попросту перейдет в состояние вроде зимней спячки, сначала, к примеру, на несколько недель или месяцев, а дальше уже по желанию, на целые годы или десятилетия. Свое потомство он сможет освободить, путем генетических манипуляций, от нежелательных свойств характера и разных слабостей; само собой разумеется, он сам будет решать, кого ему произвести на свет — мальчиков или девочек. Трехмерное телевидение, вы только представьте себе! — осчастливит каждую семью, всю домашнюю работу будут делать роботы, транспорт станет почти бесплатным, расстояния вообще перестанут существовать. Правда, никаких тайн и секретов ни у кого тоже не останется, все станет публичным и за всеми можно будет наблюдать. И средства массового уничтожения, к сожалению, возрастут до неслыханных масштабов.

Все это вовсе не было пустым фантазированием и дикими бреднями. Под пророчествами стояли подписи серьезных ученых, и выглядело все это не как возможность, а скорее как то, что будет почти наверняка. Уже шли полным ходом научные разработки, которые должны были привести к осуществлению прогнозов. Прервать этот процесс могла разве только атомная война или какое-нибудь непредвиденное стихийное бедствие. Все было рассчитано с помощью компьютеров, которые придали предсказаниям еще большую весомость. Множество внушительных диаграмм украшало книгу.

А затем, спустя пять лет, в 1972 году, появилась — снова в Америке (где же еще ей было появиться) новая, тоже сугубо научная, тоже основанная на расчетах компьютеров и украшенная таким же количеством диаграмм книга под названием «Пределы роста». Теперь все выглядело ровно наоборот. Не рай ожидал нас в 2000 году, а катастрофа. Оказалось, что человечество размножается слишком быстро, производство продуктов питания не поспевает за ним, пригодных для обработки земель недостаточно, миллионы, да что там миллионы — сотни миллионов людей обречены на голодную смерть. Угля и нефти в обрез — в сущности, они уже на исходе; скоро мы и масляным коптилкам будем рады, они нам будут светить по вечерам, будем рады вязанке дров, чтобы согреться холодной зимой. А тем временем мы сами с невероятной быстротой загрязняем и разрушаем своими отбросами и вредными веществами нашу маленькую планету, «космический корабль по имени Земля», и скоро сделаем ее совсем негодной для жилья. Причем мы так во всем этом преуспели, что, собственно говоря, предотвратить конец уже невозможно. Крах человечества уже запрограммирован, он неизбежен. И если не в двухтысячном, то самое позднее в 2025 году он нас достигнет.

Едва только вышла эта книга, едва лишь ее успели перевести на все языки, как футурологический пессимизм почти безраздельно завладел умами. Тот, кто еще продолжал хвалить прогресс, совсем недавно, согласно научным прогнозам, суливший нам все самое лучшее и высококачественное, — превратился чуть ли не в посмешище, на него смотрели как на человека вчерашнего дня. Но стали ли мы на самом деле умнее, чем вчера?

Я заметил, что обе книги, которые с полным правом можно назвать священными писаниями двух основополагающих футурологических школ, оптимистической и пессимистической, — и, натурально, каждая, как комета свой хвост, потянула за собой целый шлейф популяризаций и огрублений, — обе книги скроены в точности по одному и тому же образцу. То, что придает недостоверность одной, делает неправдоподобной и другую. Ни в коем случае нельзя сказать, что вторая книга превосходит по глубине и остроте мысли первую. Обе следуют одному рецепту: нужно взять некоторое количество имеющихся исследовательских данных, фактов и тенденций и попросту спроецировать их, в качестве исходного материала, на будущее, сопроводив все это как можно более эффектным псевдонаучным пышнословием. Обе книги совершают две одинаковых ошибки; одна из них неизбежна, без другой можно было бы и обойтись.

Неизбежная ошибка та, что в обеих книгах использованы не все факты и тенденции, какие имеются и реализуют себя в сегодняшнем

мире, а лишь некоторые, выбранные по принципу пригодности. Избежать этой ошибки невозможно, ибо человек и в век компьютеров не в силах все сразу держать в голове; что-то непременно будет упущено. Вторая ошибка, которую легко можно было избежать, заключается в том, что обе книги — обе, а не только первая, оптимистическая, — исходят, как из чего-то само собой разумеющегося, из предположения, что однажды возникшее движение будет длиться до бесконечности. А между тем не только история, но и жизненный опыт говорят нам: вновь и вновь дела идут совсем не так, как мы думали. Будущее, — о, Господи, неужели это надо повторять? — будущее непредсказуемо. В этом и состоит фундаментальный порок всей футурологии. Со всем своим научным оснащением она никогда не станет подлинной наукой.

Конечно, оптимисты 1967 года чего-то недоучли, чем по праву тыкают им в нос пессимисты 1972-го, — а именно, что огромное распространение и небывалая интенсивность, с которой современная технология покоряет и эксплуатирует природу, — на чем и основывались прогнозы оптимистов, — требуют намного больше энергии, сырья, а также продуктов питания, чем мы располагаем сегодня на Земле либо можем нашими нынешними методами произвести или чем-нибудь заменить. Но и пессимисты 1972 года тоже кое-что упустили из виду, а именно, что нам далеко еще не известно, чем в действительности располагает Земля, а современные методы, в том числе методы производства пищи и энергии, — отнюдь не последнее слово человеческого знания.

Кстати, об энергии: разумеется, запасы угля и нефти на Земле ограничены и когда-нибудь будут исчерпаны, несмотря на то, что до сих пор обнаруживаются новые; это каждый осел понимает. Но каждый, кто не совсем осел, знает также, что производство энергии путем сжигания угля и нефти — это переходное состояние, точно так же, как и производство энергии с помощью расщепления ядер урана, что, как мы надеемся, позволит продлить этот переходный период. В один прекрасный день, и может быть, не такой уж далекий, мы начнем добывать энергию из водорода путем термоядерной реакции, а наличного водорода хватит на несколько миллионов лет, вероятно, дольше, чем просуществовало человечество. А что касается неизбежной катастрофы голода, то кто сказал, что мы будем вечно кормиться пшеницей и мясом животных, ведь мы этим занимаемся всего каких-нибудь девять или десять паршивых тысячелетий! Есть ведь и многие другие возможности, сегодня их уже открывает химия, а если когда-нибудь мяса и хлеба, в самом деле, не хватит, ну что ж, как-нибудь переживем. Человек — исключительно изобретательное и способное приспособляться существо; ему приходилось справляться и с катастрофами страшнее той, какую маляют на стене апокалиптические футурологи.

Хотя выкладки авторов книги «Пределы роста» были не раз уже опровергнуты, футурологический пессимизм стал чрезвычайно модным — гораздо больше, чем футурологический оптимизм в шестидесятые годы, когда он тоже был модой. Спрашивается, почему. Мне кажется, что тогдашний оптимизм не совсем, быть может, заслуживает этого наименования. То замечательное, о чем он пророчествовал, далеко не всем людям представлялось замечательным, великолепная панорама будущего, которую он рисовал, вызывала у многих не восторг, а тревогу и страх. Им совсем не хотелось в этот компьютерный рай с трехмерным телевизором, с роботами в роли домашних хозяек и стандартно-образцовыми детьми, они предпочли бы и дальше жить по старинке. Семидесятые и восьмидесятые годы сделались даже, как все мы видим, ностальгической эпохой — чего, между прочим, не предвидел ни один футуролог. Будем радоваться тому, что есть, а всего лучше было бы воротиться к доброму старому времени! — вот заветное желание нынешнего, избалованного техникой, пресыщенного комфортом западного человечества. Этому желанию как нельзя лучше вторит картина будущего, написанная самими что ни на есть мрачными красками. Если в будущем все только к худшему, мы получаем необходимое нам оправдание для того, чтобы цепляться за настоящее или даже тянуться к прошлому. А к этому и сводится сегодняшнее умонастроение.

На мой взгляд, это не совсем здоровое настроение. Ибо в конце концов мы можем жить только в одном направлении: к будущему. Но будущее открыто, даже в век электронно-вычислительных машин. Таким оно и останется — не таким, быть может, как нам хочется, но тем, каким мы его сотворим.

Голо МАНН (G. Mann)

КАРЛ МАРКС

В числе земляков, проживающих в Париже, Генрих Гейне упоминает «самого решительного и самого остроумного — доктора Маркса». Маркс был, в самом деле, человеком решительным, и Маркс принял решение. А в остроумии он мог бы соревноваться с самим Гейне; не будучи художником, он стал, однако, выдающимся литератором. Но он заставил свой ум идти по единственному и узкому пути. Он избрал партийность. Он сотворил партию. Он хотел подчинить своему уму мировую историю, повернуть ее на путь, которым шел его собственный ум. Он сумел воздействовать на других, и действие это продолжается поныне, только результат его совсем не тот, который расчислил и которого ждал Маркс.

Он был евреем из Рейнской области, как и Гейне, но на четверть века моложе, и время Наполеона было для него уже историей. Когда Маркс вступил в жизнь, у власти еще находились люди наполеоновского поколения, старики, — а он был молод, от всей души презирал их и был уверен, что будущее принадлежит именно ему и его образу мыслей. Он был студентом в Бонне и Берлине, в 1842 году редактировал «Рейнскую газету» в Кельне, газета была запрещена, он уехал в 1843-м в Париж, оттуда перебрался в Брюссель; в возрасте тридцати лет, в 1848-м, вернулся ненадолго в Германию. К этому времени политическая философия и революционная стратегия, все то, что впоследствии стало обозначаться его именем, уже созрели в его уме.

Один русский, видевший Маркса на социалистическом собрании в Брюсселе, рисует его портрет. «Густая черная грива, руки, покрытые волосами, криво застегнутый сюртук, и при всем том — внешность человека, у которого есть право и власть требовать к себе уважения... Его движения были угловаты, но смелы и самоуверенны. Манеры противоречили едва ли не всем принятым в обществе правилам. Но в них сквозила гордость с оттенком презрения, а резкий голос, в котором звенел металл, примечательным образом сочетался с радикальными суждениями о людях и предметах. Он высказывался не иначе как в повели-

тельном и не терпящем возражений тоне; этот тон, усугублявший все, что он говорил, делал для меня почти болезненным впечатление, производимое его словами». Нечто похожее рассказывает немецкий студент Карл Шурц, человек, которому не откажешь ни в наблюдательности, ни в ясном и пронизательном уме: «То, что говорил Маркс, было по-настоящему содержательно, логично, четко. Но я в жизни не видел человека с такой невыносимо-оскорбительной и надменной манерой держать себя. Никакие мнения, если они отличались от его собственных, не удостоивались с его стороны сколько-нибудь уважительного внимания. Ко всем, кто ему возражал, он относился с еле прикрытым презрением. Хорошо помню едко-издевательскую интонацию, с которой произносилось слово «буржуа», — словно вам плевали в лицо; этим словом, означавшим в его устах предел тупоумия и нравственного убожества, он клеймил каждого, у кого хватало смелости противоречить его высказываниям». Нет никакого сомнения, что он казался людям именно таким, свидетелей сколько угодно, и все единодушны; и можно не сомневаться, что таким он и был. Он был осенен и пришиблен своим огромным интеллектом, который сделал его заносчивым и обрек на одиночество. Но он умел и любить — жену, детей, знал чувство сострадания; нищета, которую принесла с собой промышленная эра, возмущала его. Его характер не сломила нужда, его преданность титаническому труду, который он взвалил на себя, была беспредельной. Все эти качества заслуживают похвалы. Они оказались гипертрофированы пугающей волей к власти — уверенностью в собственной и только собственной правоте. Противников, критиков, инакомыслящих он готов был уничтожить — мечом или, если это уж никак невозможно, пером, окунув его предварительно в яд. Такой праведник не спасет мир.

Маркс был сыном своего времени и не мог не поддаться его многообразному влиянию. Миф, созданный им, был не таким уж оригинальным, как ему хотелось думать. Чаение великой революции, которая раз и навсегда изменит мир и сделает его справедливым, пришло к нему из восемнадцатого столетия, из Франции. Взгляд на политику и общество как на исторический процесс, нечто возникающее и преходящее, принадлежит ему наравне с другими немецкими историками и мыслителями его эпохи, с школой, которую позднее окрестили словом «историзм». Мысль о том, что историей движут определенные законы или просто один великий закон, что этот закон можно найти, сформулировать, была заимствована из современного Марксу естествознания, притязавшего на владение подобными универсальными законами; теперь эту претензию переняла наука об обществе, и он был не единственным, кто подхватил эту идею. Веру в прогресс, которая пронизывает, как не-

что само собой разумеющееся, все его произведения, он опять-таки унаследовал от предшествующего столетия, вера эта в высшей степени характерна для буржуазной мысли. Идея «классовой борьбы», то есть смены общественных классов на исторической сцене, носилась в воздухе, когда Маркс был еще молодым; научную форму ей придал датско-немецкий ученый Лоренц фон Штейн в работе, увидевшей свет в 1842 г. Французская революция, говорилось там, поставила у власти не народ, а всего лишь состоятельную буржуазию, эта буржуазия беззастенчиво помыкает народом в своих интересах, и теперь очередь за народом, за пролетариатом. Мысли в таком роде увлекали и Генриха Гейне. Атеизм, разоблачение религии как невежества, суеверия, человеческого «самоотчуждения»; утопизм и надежда на то, что в результате последней, социалистической революции исчезнет само государство со всеми институтами принуждения, останется счастлирое анархическое общество свободных производителей; представление о великом кризисе, охватившем человечество, о том, что наука может направить этот кризис по нужному руслу, — все это — модный ассортимент идей, которые в тридцатых годах перелетали из одной головы в другую. Невозможно считать их созданием какого-нибудь одного творческого ума. Соедините их, и вы получите едва ли не в полном виде весь «марксизм».

На все это наслышались сильнейшее духовное воздействие, какое испытал Маркс, — влияние Гегеля. Тут он был заодно с «младогегельянами»; от них, в частности от Арнольда Руге, он вообще был не так уж далек, как можно подумать, читая его язвительно-полемические статьи. Философия Гегеля — искус для одинокого, мощного и подстрекаемого бешеным честолюбием ума. Ибо она сама была чрезвычайно искусной, богатой, деспотически-подавляющей, безумной и невероятной в своих притязаниях. Человек, который был почти так же умен, как Гегель, но пришел после него, пришел, дабы его исправить, создать нечто лучшее, — такой человек вполне мог уверовать в то, что он избран для того, чтобы разъяснить людям, что такое их история и какой ее, эту историю, надлежит сделать в будущем. Первую претензию Маркс перенял у Гегеля; вторую — заявил на собственный страх и риск. Гегель, рассуждал он, занимался в основном духовной историей человечества, превратил человеческую историю в историю духа и, исходя из нее, дал объяснение реальным общественным отношениям в ходе их перемен. Это значило вывернуть наизнанку истинное положение вещей. Надо было начинать с социальной деятельности, с экономической жизни, с правовых отношений и вопроса о власти — и рассматривать духовность, религию, философию в этом контексте. Нужно было вообще спросить себя: а зачем,

собственно, человек воздвигает все эти воздушные замки? Оттого ли, что в реальном мире что-то не в порядке? В этом мире одни господствовали над другими, существовала эксплуатация человека человеком, были бедные и богатые, нищета рядом со всевозможным богатством и рост нищеты вопреки росту богатства. Человек сам сотворил свою социальную действительность, но безо всякого плана, бессознательно, и стал чужд самому себе. Вот почему, в безысходной нужде своей, он сотворил себе богов и спасителей, сочинил философские системы, которые должны объяснить эту путаную, мучительную, отчужденную действительность. Но все эти заоблачные царства, все воздушные замки, из которых последним и самым величественным была система Гегеля, ничего не изменили, ни к чему не привели. Они сами подлежат уничтожающей критике. Однако такая критика невозможна до тех пор, пока остается непознанной социальная действительность, из которой возникли и поднялись ввысь духовные облака, пока она, эта действительность, не преображена и не приведена в порядок. Поэтому теперь, после смерти Гегеля, задача философии уже не в том, чтобы перещеголять гегелевскую систему чем-нибудь еще более хитроумным, нет, познать действительность и изменить действительность — научно подготовить революцию! Вот цель современной философии. Ибо ей надлежит быть не просто философией, но мыслью и делом, стать действием, проистекающим из мысли. «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы его изменить».

Так Маркс пришел к отрицанию философии, завершением которой была для него система Гегеля, — и перешел от философии к политике. Тем не менее, и мы должны это отметить, политика, которой он собирался заняться, была философской. Отрицая философию, Маркс оставался на ее почве, изъяснялся ее языком, которым владел превосходно. С миром труда он столкнулся позже, главным образом благодаря своему другу Энгельсу, и знакомство это носило скорее случайный характер. Он не знал этот мир, когда формулировал основные положения своей теории. Зато Гегеля он знал, знал его предшественников, знал и младогегельянцев. В его писаниях можно найти весь терминологический набор, всю китайщину гегелевской диалектики: игру в прятки между бытием и сознанием, «возврат-к-самому-себе» сознания, «отрицание отрицания», переход количества в качество и т.д. — все эти глубокомысленные каламбуры, остроумно-заумные головоломки, напоминающие порой какую-то игру. «Итак, задача исторической науки, — пишет молодой Маркс, — восстановить в правах, после того как исчезла потусторонность истины, истину посюсторонности. Задача же философии как служанки истории состоит в том, чтобы разоблачить, после того как сорвана маска святости с самоотчуждения человека, са-

моотчуждение и в его несвященных проявлениях. Критика неба превращается, таким образом, в критику земли, критика религии — в критику права, критика теологии — в критику политики». Шипящие, жалающие фразы, которые и при чтении звучат так, каким слышал и описал язык Маркса студент Карл Шурц: умно-изошренный, ввинчивающийся в слушателя язык, который выдает не вполне добродетельное наслаждение мыслью и властью над собеседником. Гегелю, по крайней мере, желание господствовать было чуждо. Гегель остерегался навязывать свою философию будущему и ничего не предсказывал. Он всего лишь толковал прошлое. Его философское искусство было, собственно говоря, лишь тем, чем должно быть, по Шиллеру, всякое искусство: игрой, возвышенной игрой мысли. Подобная игра не есть наука, она не может быть ни ложью, ни истиной; она может быть только красивой или некрасивой, глубокой или неглубокой, может для нас что-то значить или ничего не значить. Маркс пожелал сделать из гегелевского произведения искусства политическую науку, которую нужно было применять на практике, подобно естественным наукам. Эта наука должна была стать инструментом прогноза и практическим руководством для деятелей революции. Маркс растворил реальный мир политики в общих понятиях, таких, как «буржуазия», «пролетариат», «революция», «идеология». «Пролетариату» предстояло «придти к сознанию самого себя», чтобы «упразднить» свою противоположность — буржуазию, а вместе с ней и себя; процесс, который, как и всякое движение в системе гегелевской философии, должен был протекать в одно и то же время спонтанно и закономерно, представлял собой и логически предопределенное, детерминированное развитие, и некое событие, которое совершается самопроизвольно. Однако политический мир не настолько рационален, чтобы его можно было заменить игрой понятий. Он существует не ради того, чтобы подтвердить чью-то правоту. Философия, да еще такая изошренная, как гегелевская, не годилась для того, чтобы делать с ее помощью политику.

Но так же, как позднейшие коммунистические вожди иной раз — не всегда — вели успешную политику вопреки тому эффектному мыльному пузырю, который они принимали за реальную науку, так и Маркс порою — не всегда — оказывался весьма проницательным судьей и настоящего, и даже будущего. Его труды, в которых не было недостатка в чепухе и бессмыслице, вместе с тем изобилуют верными суждениями и прогнозами, которые, в самом деле, сбылись. Пророки заблуждаются, история во всей ее совокупности непредсказуема; и тем не менее прорицатель по имени Маркс предсказывал правильней, чем большинство специалистов этого рода. Как ему это удалось, благодаря ли своей наполовину истинной, наполовину вздорной науке или вопреки ей, сказать

трудно. Но в интуиции ему не откажешь. Как журналист и историограф своего времени он добился великолепных результатов: гневный, остроумный, наделенный острым зрением ненависти, покоряюще умный. В этой области — его наиболее долговечные достижения.

Фридрих Энгельс, с которым Маркс повстречался в сороковых годах и заключил союз на всю жизнь, был человеком другого типа. Это был сын промышленника из Вупперталя, спортсмен, охотник, солдат, любитель женщин и знаток вин, жизнерадостный и рыцарственный. С гегелевской премудрости начал и Энгельс, но, в отличие от своего друга, как человек, связанный с промышленностью, довольно скоро обратился к практическому опыту. Его первая книга, вышедшая в 1845 году, «Положение рабочего класса в Англии», действительно, как и гласит подзаголовок, написана на основе «собственных наблюдений». Его политические предсказания были ошибочны, картины социальной жизни несколько односторонни, однако все, что он описывает, — чистая правда. Более сильного, более страстного обвинения беззастенчивости капитализма еще никто не произносил. Вещи, о которых рассказывает Энгельс, говоря об условиях жизни рабочих, их жен и детей, настолько возмутительны, его описания так потрясают душу, что и сегодня можно понять тот в общем ошибочный вывод, к которому пришел автор, и сочувствовать ему: так дальше продолжаться не может, то, что происходит, должно отомстить за себя и кончится страшным социальным взрывом. Высокомерным на свой лад был и Энгельс; судить с апломбом обо всем на свете он любил и до знакомства с Марксом. Лишь Маркса, которого он считал гением, он поставил выше себя, превозносил его и помогал ему с рыцарской самоотверженностью. Оба дополняли друг друга и работали рука об руку, так что зачастую трудно сказать, что принадлежит каждому в отдельности. Маркс получал от Энгельса кое-какие сведения насчет подлинной жизни «народа», о котором г-н доктор имел весьма приблизительное представление. Энгельс учился у Маркса умение растворять действительность в отвлеченных понятиях, «диалектическому» мышлению, постигал специальные экономические теории, которые разрабатывал Маркс, наконец, перенял от него искусство ядовитой полемики, которая, впрочем, принимала у Энгельса еще более отважный и заносчивый характер. Вдвоем они оттачивали свою мысль в годы 1843–1847 в Париже и Брюсселе в спорах с младогегельянцеми и социалистами-утопистами»; вдвоем сочинили в первые дни 1848 года брошюру, которой суждено было покорить мир: Коммунистический манифест. Он содержит квинтэссенцию того, что называется марксизмом. То, что явилось позднее, было прикладной частью, экономическим

обоснованием, иллюстрацией, защитой, — но не дальнейшим живым развитием. «Манифест» — произведение, написанное с неслыханной силой убеждения, простое и точно отлитое из одного куска, хотя его источники весьма неоднородны. Первыми, кого он до такой степени покори́л, что они уже не могли больше мыслить ни о чем другом, были сами авторы.

Суть человеческой истории — хозяйство и хозяйствование, удовлетворение жизненных потребностей. Формы господства, государства и права, а вслед за ними и формы мышления, философия, религия, мораль определяются тем, каким образом производится и распределяется продукт. С тех пор, как существует собственность, со времени разложения первобытных родовых общин, существовали общественные классы: одни господствовали и извлекали выгоду из своего господства, другие были объектом господства, но рано или поздно восставали против навязанных им условий жизни. История, таким образом, есть история борьбы классов. Класс, пришедший к власти в Западной Европе в восемнадцатом веке, прежде всего благодаря революции 1789 года, — буржуазия, класс капиталистов. Поначалу все господствующие классы совершают то, чего требует от них история; иначе они не могли бы стать господствующими. Достижения буржуазии колоссальны. «Только она впервые показала, что может создать человеческая деятельность. Она создала чудеса искусства, далеко превосходящие египетские пирамиды, римские водопроводы и готические соборы; она руководила походами, которые затмили переселение народов и крестовые походы... Буржуазия подчинила деревню господству города. Она создала огромные города, она в высокой степени увеличила число городского населения по сравнению с сельским и, таким образом, вырвала значительную часть населения из идиотизма деревенской жизни... Менее чем за сто лет своего классового господства буржуазия создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все народы прошлого, вместе взятые. Покорение сил природы, введение машин, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, превращение в производительные области целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые поселения, как бы вызванные мановением волшебного жезла из-под земли, — какое из прежних столетий предчувствовало, что такие производительные силы дремали в недрах общественного труда?»

Но как бы ни были поразительны эти свершения, класс буржуазии не будет править обществом так долго, как до него правила феодальная знать. Ибо одновременно буржуазия создает класс людей, которые очень скоро свернут ей шею. Как же это произойдет? Под знаком ка-

питализма все становится средством обмена, становится товаром: и любовь, которую жена продает своему супругу, и рабочие руки пролетария, которые он предлагает на рынке рабочей силы. Взамен пролетарий никогда не получает больше, чем требуется для «воспроизведения» рабочей силы, то есть для того, чтобы поддерживать полуголодное существование рабочего и его семьи. Но создает он больше, чем ему платят, и это «больше» составляет прибыль капиталиста. Источником, из которого неудержимо растет капитал, является «прибавочная стоимость». Чем больше, однако, растет капитал, чем богаче становятся крупные независимые собственники-капиталисты, тем больше мелких независимых собственников разоряется и скатывается вниз, пополняя массу наемных работников, то есть тех, кому ничего не остается, как бороться за существование в условиях, недостойных человека. Одновременно обостряются периодически повторяющиеся экономические кризисы, причина которых в том, что рабочие не могут пользоваться большей частью того, что они производят. Все больше растет нищета и численность тех, кто живет в нищете, несмотря на растущее богатство общества. Все чаще, все беспощаднее становятся кризисы сбыта со всеми их последствиями, с безработицей, голодом и нищетой. Нужно ли быть особенно проницательным, чтобы предвидеть неизбежный конец? В один прекрасный день, и очень скоро, великая рать пролетариев свергнет капиталистов с высот власти. Грабители, стремившиеся экспроприировать, лишит собственности весь народ, будут сами экспропрированы. Частная собственность на средства производства — отрицание всякой подлинной общности и свободы — в свою очередь подвергнется отрицанию. Великая революция будет революцией политической, ибо капиталисты управляют и самим государством через свой парламент, свою юстицию, с помощью своих армий, церквей, школ и даже королей, как показывает пример Луи-Филиппа во Франции. При этом революция не ограничится политикой, но радикально изменит форму существования всего общества.

Эта революция будет последней. Ибо если все прежние революционные классы составляли меньшинство общества и становились именно по этой причине классами господствующими, то пролетарии составляют подавляющее большинство народа. Пролетарии — это и есть, в сущности, народ или во всяком случае его передовой прогрессивный отряд. Они не будут использовать власть в собственных интересах, но употребят ее для блага всех и никого не станут эксплуатировать. Конечно, необходимо считаться с тем, что свергнутые, экспроприированные окажут сопротивление; на это время понадобится железная «диктатура пролетариата». Ясно, что нужна твердая рука для того, чтобы подавить всех

тех, кто прежде пользовался привилегиями, творить революционный суд и насаждать новые формы общества. Но коль скоро это будет достигнуто, необходимость диктатуры отпадет; более того, ненужным станет и государство со всеми средствами принуждения, которые были характерны для него со времен египетских фараонов. Что такое государство как не машина подавления, чьи шестерни всегда вращались в угоду господствующему классу? Если же господствующего класса больше нет, нет эксплуататоров, нет эксплуатируемых, то ясно, что и государство должно исчезнуть. И тогда, в свободном обществе, люди сами будут устраивать свои дела, не спрашивая разрешения у царей, попов и солдафонов, не подавляемые ни силами раздора, ни страхом, ни религиозными суевериями. Наука, планомерное применение знаний поднимет человечество на небывалые высоты счастья и благосостояния. Будут устранены, «сняты» все противоречия. То, что Гегель совершил в своих книгах, примирение сознания с действительностью, действительности с сознанием, будет достигнуто на самом деле. Мир очистится от скверны, и человек станет самим собой.

Что касается коммунистов, то они — острое пролетариата, точно так же как пролетариат — острое человечества или народа. Коммунисты — это пришедший к сознанию пролетариат. Только через сознание можно достичь цели, больше того: классовое сознание и революция — одно и то же. Задача коммунистов — подготовить революцию на основе науки. Они обязаны подвергнуть уничтожающей критике все другие социалистические теории и течения, ибо есть только один подлинно научный социализм, тот, который провозглашают коммунисты. Вместе с тем коммунисты готовы вступить в союз со всеми сколько-нибудь революционными группами и даже с самой буржуазией, если, как это имеет место в Германии, буржуазная революция еще не завершена. В борьбе с феодализмом капиталисты и рабочие — союзники. Но буржуазную революцию нужно без всяких компромиссов двигать далее, с тем чтобы превратить ее в пролетарскую; это может быть сделано либо немедленно, либо после краткого, откровенного, ибо не скрывающегося более ни за какими монархическими или феодальными декорациями, господства капитализма. Так или иначе, долго продолжаться это не будет. «Пусть капиталисты в Германии знают, — писал Энгельс в январе 1848 года в одной немецкой газете, выходившей в Брюсселе, — что они работают на нас... Да, пройдет немного времени, и им даже придется позвать нас на помощь. Итак, милостивые государи от капитала, смелей боритесь! Вы нам пока еще нужны, нам сплошь и рядом может пригодиться даже ваше господство. Вы должны расчистить для нас дорогу от остатков средневековья, вымести абсолютную монархию и сломить патриархальный

порядок, ваше дело — централизация, превращение более или менее необеспеченных классов в подлинных пролетариев, в рекрутов для нас. Своими фабриками и торговыми союзами вы создаете материальную основу, в которой нуждается пролетариат для своего освобождения, а в награду за это вы, так и быть, можете еще немного поцарствовать. Но помните: палач уже стоит перед дверью!..»

Таков ход мыслей «Коммунистического манифеста». Надо ли называть его гениальным? Или удивиться тому, с какой отвагой, ловкостью, умом и мастерством приведена в единую стройную систему вся эта мешанина идей? Самое поразительное в духовной авантюре двух молодых людей — это ее продолжительное, гулкое эхо, ее поработощающее воздействие на весь мир. Дух «Коммунистического манифеста» никогда не мог возобладать в германской социал-демократии. Зато он зажил новой жизнью в коммунистических партиях России и Азии и жив там до сих пор. Причем именно здесь сказались со всей силой два лейтмотива «Коммунистического манифеста», дожившие до наших дней и отравившие их: уверенность, что ключ к будущему в наших руках, безграничная, безусловная уверенность в том, что мы и только мы вершим правое дело, — и готовность заключить союз с другими группами, с теми, кто на стороне неправды, но лишь для того, чтобы их использовать, облапошить и при первом же удобном случае разложить. Мы, говорил Ленин, охотно поддержим другие левые партии, но так, как веревка поддерживает висельника. Это проклятие лжи и фальши принесли в мир Маркс и Энгельс. Они сумели увидеть многое. Кое-что из того, что они написали, оправдалось на протяжении последующих ста лет, а кое-что сбылось уже в ближайшие шесть месяцев. Классовая борьба между буржуазией и пролетариатом была действительно ключом к пониманию новейшей европейской истории, и в первую очередь французской, которую они считали моделью истории Европы. Это видели и другие. Идея носилась в воздухе и стала грозной действительностью уже в июне того же 1848 года, стала ею безотлагательно именно потому, что носилась в воздухе в форме идеи. Историки и мыслители не раз поддавались подобному искушению: перенести на все эпохи прошлого то, что они пережили в своем собственном времени, и вывести отсюда закон, по которому якобы совершается вся история. Мы, однако, знаем, что история не пошла по тому пути, о котором вещал Маркс, и было бы недостойным занятием опровергать его труды, ссылаясь на все то, что стало действительностью после него, без него и вопреки его ожиданиям. Каждого пророка опровергает будущее. Маркс во многом оказался прав — куда больше, чем все другие занимавшиеся этим сомнительным ремеслом.

Быть может, самая удачная глава «Манифеста» — та, где описаны завоевания капитализма. Ведь то, о чем пишет Маркс, в 1848 году еще только начиналось — и достигло зрелости лишь около 1900 года. Маркс предвидел огромное значение мировой капиталистической экономики на ее заре. Одного этого было бы достаточно, чтобы сделать из него фигуру, достойную нашей памяти. Однако ни конкретные взгляды, ни конкретные заблуждения Маркса уже не стоят того, чтобы сегодня ломать из-за них копьё; они принадлежат прошлому. Каковы же были главные ошибки, жертвой которых стала его мысль и его политическая программа?

Маркс презирал политику. Оттого он не учитывал те реальные возможности, которыми она располагала для того, чтобы смягчить борьбу классов, возможности для пролетариата улучшить свои жизненные условия именно путем политических акций. То, что позднее, работая над «Капиталом», он — как и Энгельс для книги «Положение рабочего класса в Англии» — смог так много почерпнуть из отчетов английских фабричных инспекторов, должно было бы его озадачить. Эти инспекторы получали зарплату от «буржуазного», «капиталистического» государства за то, что они исследовали действительные условия жизни рабочих и с безжалостной объективностью сообщали о них. Вот что смогла сделать политика; но, быть может, политика сумела бы сотворить в социальной области и совсем другое. Она, конечно же, была связана с экономической борьбой, но не была ей тождественна и могла от нее отделиться. Маркса все это нисколько ни занимало. Вместе с политикой он презирал и философию политики, науку о политике. Теория конституций, ограничения власти, разделения властей, теория правового государства — все, что было продумано и сделано в этой области на протяжении веков, с его точки зрения было фокусничеством, пусканием пыли в глаза. Для него все сводилось к вопросу о том, какой класс господствует в экономике; прочее было идеологическим туманом, который напускают в своих интересах господствующие классы, стремясь упрочить и одновременно замаскировать свои позиции. Вот отчего в трудах Маркса и Энгельса нет ни слова о том, как надлежит ограничить власть коммунистического государства, в каких формах она вообще должна будет осуществляться. Вопрос для них попросту не имел смысла: ведь политическая власть, какими бы красивыми словесами она ни прикрывалась, всегда была не чем иным, как экономической эксплуатацией, — значит, там, где нет второго, не будет и первого. Этот непростибельный промах, простое отождествление политики с «экономическим базисом», с собственническими отношениями, — тоже не прошел даром. И сегодня коммунист скажет вам, что государство, в котором сред-

ства производства не находятся в частных руках, — то есть коммунистическое государство, — уже поэтому никогда не станет империалистическим, никогда не будет угнетать своих граждан, эксплуатировать рабочих и крестьян и так далее.

Впрочем, Маркс никогда особенно не задумывался над тем, каковы будут экономические условия и правила, которые установит у себя победивший коммунизм. «Экспроприация экспроприаторов», обобществление средств производства, раскрепощение производительных сил и научное руководство ими — этого было для него вполне достаточно. Каков путь, ведущий к цели, к гибели капитализма, — вот вопрос, поглощавший его десятилетиями; борьба, техника революции — вот что его занимало, а отнюдь не сама цель. И когда, наконец, окончательная победа была завоевана в России, Ленин, величайший из его учеников, оказался в некотором затруднении: пришлось ломать себе голову, как, собственно, должен выглядеть этот коммунизм, и спор о том, что же такое на практике истинный социализм или коммунизм, с тех пор не прекращался. В писаниях Учителя ничего об этом не сказано.

Именно в политике Маркс предстает перед нами таким, каков он есть, со всеми его добрыми и дурными задатками, с подозрительностью, ненавистью и страхом, со своим эгоизмом и своей самоотверженностью, спортивным азартом, радостной готовностью помочь другим, но и с властолюбием, недоверием к людям и жестокостью; с возвышенными идеалами и низменными страстями. Маркс презирал политику, ибо склонен был низводить человеческие проблемы до уровня естественных потребностей, нравственную же сторону этих проблем вовсе не удостоивал вниманием. Коль скоро наведен порядок в хозяйстве — должно устроиться и все остальное. То обстоятельство, что привести в порядок хозяйство должен все-таки человек — существо, не свободное от слабостей, телесных и душевных, человек, который и после экономического раскрепощения останется человеком, — было для Маркса не более чем болтовней моралистов и святош. Конечно, он мог негодовать по поводу алчности и бессердечия английских фабрикантов, да и как было не возмущаться, но вообще говоря, в системе его взглядов места для вопроса о критериях добра и зла не нашлось. Поступки людей определяются необходимостью; изменится экономическая ситуация — другими станут и поступки. Это тот самый оптимизм, который Маркс унаследовал от Просвещения и от которого западная социологическая наука до сих пор не в силах отрешиться; проблема человека для мыслителей этого склада носит исключительно предметный характер, это проблема научная и

решаемая научно, а не моральная, обреченная, так сказать, на принципиальную неразрешимость. Проще говоря, социологический оптимизм не учитывает, что те, кому приходится решать человеческую проблему, сами люди и что всецело полагаться на человека нельзя.

В том же контексте стоит и провозглашенное Марксом отрицание всякой религии. С философской точки зрения он считал религию выражением «самоотчуждения» человека, с практической — служанкой и прихлебательницей правящих классов. И кто же станет отрицать, что какая-то доля правды в этом была? Отвратительно деградировавшее, защищаемое австрийскими штюками и золотом Ротшильдов римское церковное государство; английская церковь — верная союзница тори, которая в самой скромной парламентской реформе усматривала угрозу гибели мира; надутая христианско-германская компания прусских и баварских королей, «союз трона и алтаря», почти повсеместно одержавший верх, — стоит ли удивляться, что все это возбуждало у революционеров ненависть к любой организованной религии. В Нью-Йорке некий знаменитый проповедник гремел с кафедры, что-де рабочий, не умеющий заработать доллар в день для своей семьи, не заслуживает права жить. Этот служитель Господа загребал в месяц тысячи и появлялся перед паствой не иначе как увешанный брильянтами. И это отнюдь не было в Америке исключением. Но так как речь у нас идет о принципиальных заблуждениях Маркса, автор этого очерка считает себя обязанным высказать собственную точку зрения: прежде всего необходимо напомнить, что есть разница между организацией и ее целью, ее высшим назначением. Во всем, что делает человек, присутствует его натура; человеческого начала, человеческих слабостей не чужда ни церковная, ни какая-либо иная организация. И, должно быть, древние римляне были правы, когда говорили: худшее из зол — коррупция лучших. Но коррупция церковей вовсе не перечеркивает их миссию. Наоборот. Признание того, что человек по природе своей ненадежен, небезупречен, что он нуждается в милости, как раз и является общим для всех христианских вероисповеданий. Основоположник современного консерватизма Эдмунд Берк отнюдь не может быть причислен к политикам, абсолютно свободным от всякой коррупции, однако его взгляды не становятся от этого менее справедливыми. Вот что он писал: «Мы знаем и, что еще лучше, мы чувствуем, что религия — это основание общества и великий источник всяческого утешения и благословения во всем, что связывает людей. Мы в Англии настолько проникнуты сознанием этой истины, что вся ржавчина суеверия, выросшая на душах людей за долгие века самых диких заблуждений человеческого духа, для нас все-таки милее, чем полное отсутствие рели-

гии... Мы знаем — и горды этим знанием, — что человек есть существо, сотворенное для религии, что атеизм спорит не с одним только разумом человека, но и с нашим инстинктом, и что долго в этой борьбе атеизм не продержится. Если мы оттолкнем от себя религию, которая до сих пор была нашей славой, нашей опорой и мощным источником культуры у нас и у других народов, если это произойдет, — то я сильно опасаюсь, что ее место займет глубокое и унижающее человека суеверие. Ибо дух не выносит абсолютной пустоты».

Вот что думает Берк. Что же касается Маркса, то он величал религию «опиумом для народа», он задался целью навсегда избавить нас от этого опиума. Автор этих строк убежден, что Эдмунд Берк оценивал человеческую ситуацию правильной и, значит, был ближе к истине, чем Маркс.

Мы рассмотрели наиболее уязвимые пункты в мировоззрении великого мыслителя. С ним и его другом Энгельсом историку приходится иметь дело на протяжении всего столетия. «Коммунистический манифест» был закончен в первые дни 1848 года. Спустя три месяца его авторы поспешили в Германию, где, как они думали, пробил час и настало время претворить свои убеждения в жизнь.

Вилем ФЛЮССЕР

РОДИНА И ЧУЖБИНА

*Доклад на Международном симпозиуме
по проблемам эмиграции (Вейлер, Южная Германия, 1985)*

Я уроженец Праги; мои предки жили в этом городе больше тысячи лет. Я еврей, и фраза «в будущем году — в Иерусалиме» знакома мне с детства. Я был воспитан в немецкой культуре, и она была моим поприщем несколько лет. Я провел на пути в изгнание один год в Лондоне; англосаксонская культура стала частью моего духовного мира. Я бежал в Бразилию. Более тридцати лет я прожил в Сан-Паулу, основал там Высшую школу коммуникации и философский журнал, выпустил несколько книг, заведовал отделом самой крупной газеты и был автором ежедневных публикаций во второй по значению газете; я занимал ряд общественных постов и являюсь членом Бразильского института философии. Сейчас я живу во Франции, в провансальской деревне. И здесь, в этом захолустье, я тоже не остался в стороне от местной жизни. По меньшей мере четыре языка — для меня родные, мне то и дело приходится переводить с одного языка на другой, с другого на третий мои работы. Короче говоря, я имею достаточно конкретное представление о том, что описывается словами родина и потеря родины.

Этот мой опыт был одним из мотивов, побудивших меня заняться исследованием проблем коммуникации. Я увидел в человеческой коммуникации попытку перебросить мосты между людьми и группами, попытку, которая вновь и вновь терпит крах. Такой провалившейся попыткой помочь наведению мостов была и моя долголетняя жизнь и деятельность в Бразилии.

Человек — существо, нуждающееся в жилье, но не обязательно — в родине. Он вынужден проживать где-то, где-нибудь, дабы остаться человеком, ибо только жилье и привычки житья в нем позволяют ему перерабатывать шумы мира в информацию, другими словами, — воспринимать мир. Человеческая жизнь есть безостановочное движение между жилищем и миром, от личного к общественному и от общественного к личному, непрерывная приватизация общественного и социализация личного. Это маятникообразное движение есть «несчастное сознание»

Гегеля, попросту говоря — обыкновенное человеческое сознание. Открывая себя, я теряю мир, открывая мир, теряю себя. Жилище, сеть привычек и всего, что обставляет домашнюю жизнь, играет роль приемника шумов внешнего мира, это сеть для улавливания всего домашнего, непривычного и авантюрного. Жилище — трамплин для прыжка в хаос пространства, который мы можем упорядочить лишь с помощью навыков домашнего житья. Тот, кто не проживает, не имеет жилья, — не может и вобрать в себя мир, не может совершить этот прыжок; он лишен сознания.

Человек может жить везде: под парижскими мостами, в цыганских кибитках, в *favelas* — трущобах и развалинах на окраинах бразильских городов, даже в Освенциме. Человек, как крыса, жилец мира: космополит. О «родине» человечества, идет ли речь о местах обитания первобытного человека в Восточной Африке или о самых ранних следах присутствия вида *Homo sapiens* где-то на юго-западе Европы, можно говорить лишь метафорически. Со времени неолитической революции, приблизительно десять тысяч лет, часть человечества живет оседло. Промышленная революция сорвала с места огромное множество людей, привязанных к земле как к родине, сгруппировала их вокруг промышленных предприятий, образовав новые географические связи. Нынешнюю информационную революцию можно рассматривать как освобождение от географии. Во все большем количестве человеческий род странствует, и не только в голодной и страдающей от жажды Африке, но и в снедаемых голодом по сенсациям и жаждущих приключений Соединенных Штатах Америки. Кажется, что эра Родины близка к завершению. Вьетнамцы в Калифорнии, турки в Германии, бывшие жители Палестины в арабских эмиратах, северяне в Сан-Паулу, интеллигенты из отдаленных стран здесь, в этом зале, в городке у подножья Альп, — предтечи и предвестники новой исторической эры.

Родины — это места проживания, в которых привычки житья образуют особый тайный код. Родины — это святилища привычек. Уроженец родины «встроен» в сеть, которая тайно связывает его с людьми и вещами на родине. Нити и петли этой сети тянутся по ту сторону бодрствующего сознания в детство, в низшие и глубочайшие слои психики. Поскольку эти нити по большей части бессознательны, они несут эмоциональный заряд. Мы любим предметы и людей родины — либо ненавидим их. Вычленив эти нити как связи, которые могут или должны быть порваны, сравнительно легко, коль скоро речь идет о таких предметах, как пейзаж, климат или архитектура. В этом случае мы имеем дело с персонификациями вещей, со стиранием границ между Чем-то и Кем-то, с тем, против чего греческие философы борются, называя это

мифом, а иудейские пророки сражаются, называя это язычеством. Но когда речь идет о людях, о родне, о соседях, об их «особости», — распознать и признать в этих нитях пути привычного, стесняющие свободу, гораздо трудней. Ибо такого рода нити обоюдны, они возлагают на человека ответственность за своих земляков, а ответственность сама по себе — симптом свободы. Нельзя легкомысленно разорвать эти нити — как это сделал, к примеру, Гаутама. Вот что делает таким болезненным отрыв от родины.

Социологи как будто научили нас тому, что тайные коды родины могут быть расшифрованы посторонними, подобно тому как расшифрован смысл обрядов посвящения у первобытных народов. Человек, лишившийся родины, мог бы кочевать, теоретически говоря, из одной родины в другую и поочередно вживаться в каждую из них, если бы в связке ключей, которую он таскал бы с собой, находились ключи ко всем кодам. В жизни так не бывает. Тайные коды родин состоят не из сознательно усвоенных правил, а из бессознательных привычек. Привычка тем и замечательна, что мы по большей части не сознаем ее. Чтобы пустить корни на новой родине, нужно сначала сознательно изучить тайный код, а затем забыть, что ты его изучал. Если же код по-прежнему сознается как таковой, его правила оказываются не сакральными, а банальными. Тогда он достоин презрения, ибо он превращает красоту родины в пошловатую красоту. И тогда возникает полемический диалог между красавцами-аборигенами и уродами-пришельцами, диалог, который заканчивается либо погромом, либо тем, что прижившийся было на новой родине покидает ее и высвобождается из ее пут. Мой опыт жизни в Бразилии может служить этому примером.

Я хочу прежде всего освободить понятие «Бразилия» от чуждых ему европоцентристских наслоений и предубеждений, например, таких как «Третий мир», «отсталость» или «эксплуатация». (Предубеждения, или досознательно принимаемые убеждения, прирождены, впрочем, любой родине.) Вплоть до начала XIX века и даже позже население Бразилии состояло из трех слоев. Из португальцев, частью бежавших с родины, частью управлявших страной в качестве чиновников колониальной администрации. Из африканцев, которых привезли сюда как рабов. И наконец, из коренных обитателей страны, которых в свою очередь можно было разделить на господствующий верхний слой, tupis, и низший слой, tupinambas. Во второй половине XIX столетия рабство было отменено, безработные африканцы стали накапливаться в городах, а европейские иммигранты, прежде всего выходцы из Северной Италии, напротив, устремились в сельское хозяйство: хлопководство, возделывание кофе и сахарного тростника. За первой волной пересе-

ленцев последовали другие, из самых разных мест: поляки, уроженцы Сирии и Ливана, японцы, немцы, множество других и, конечно, снова и снова португальцы. Последней, уже на моих глазах, была волна евреев, пока, наконец, иммиграция не была прекращена в шестидесятых годах. Нужно отметить, что весь этот поток прежде всего хлынул на юг, северные же и восточные районы остались им почти не затронуты; страна разделилась на два региона. В настоящее время происходит мощная миграция населения с северо-востока на юг, и те картины Бразилии, которые европейцы видят по телевидению, связаны, главным образом, с этим массовым передвижением.

В эпоху рабства литература романтизировала бразильскую родину, но действительность, грустная *realidad brasileira*, была совсем иной. Существовал тонкий верхушечный слой — португальцы, осевшие вокруг гаваней, чтобы ловить вести с родины, из Лиссабона и из Парижа. Люди эти чувствовали себя как в ссылке. И существовало африканское население, у которого с Африкой не было никакой сознательной, духовной связи. Вы брошенные голыми из трюмов рабовладельческих судов на бразильский берег, люди эти лишь в глубине своей души, отупевшей от тяжелой работы, сохраняли элементы утраченной культуры, которые, однако, нашли себе выход в форме музыки, танца и религиозных обрядов; все это образовало почву их будущей бразильской родины. Что же касается собственно аборигенов — индейцев, все дальше оттесняемых вглубь, то они не были подлинной частью Бразилии, но представляли собой наполовину мифологизированный, наполовину изнасилованный закулисный, оставшийся за порогом бразильской истории этнический реликт. Это отличает туземцев Бразилии (а также Аргентины и Уругвая) от индейцев остальной Латинской Америки, где они составляют скорее декоративный фон, используемый в идеологических целях.

С конца XIX века европейские, ближне- и дальневосточные переселенцы начали, так сказать, ставить вопрос о Бразилии как о родине. Вопрос был следующий: можно ли из столь разнородных элементов соткать нечто целое, создать сеть тайных уз, как это было на старых родинах? Существовала лишь одна точка отсчета — португальский язык. Правда, этот язык, сравнительно с языком, на котором говорили в самой Португалии, был, с одной стороны, архаичным (в нем сохранились языковые реликты эпохи Возрождения), с другой — несколько одичавшим (в результате проникновения африканских элементов). Но как раз это и помогло бразильскому португальскому языку стать средством общения, например, для выходцев из Японии и из арабских стран. Можно ли было создать бразильский язык, который стал бы носителем и распространителем бразильской культуры, можно ли таким образом пре-

вратить Бразилию в родину имеющего быть бразильского общества? Этот вопрос, эта задача, вызвавшая энтузиазм у всех, кого она касалась, образует, как мне кажется, материнскую почву всего, что было сотворено в этой стране в нынешнем столетии, от города Бразилиа до танцев наподобие bossa nova.

Когда я приехал в Бразилию, этот вихрь, едва только я кое-как устроился, увлек и опьянил меня. Меня захватила идея строительства новой, достойной человека и свободной от предрассудков родины. Отрезвил меня лишь государственный переворот, golpe, совершенный армией. И не потому, что, по европейской привычке, я расценил его как вмешательство реакции; но я увидел в нем первый признак осуществления бразильской родины, ее первое проявление. Я хочу немного подробнее рассказать об этом разочаровании в бразильской родине — да и во всех родинах вообще.

Бразилия по существу была по man's land, когда в нее хлынули в прошлом веке волны иммигрантов. Это была ничья родина. Отсюда боевой клич патриотов, исполненных волей обрести, завоевать родину: este pais tern dono, «у этой страны есть хозяин». Это была не колония, не Африка и не Азия, где завоеватели становились господами туземного населения, а пустая земля, нечто вроде американских Штатов, — страна, из которой прогнали туземцев. И пришельцы были в ней не ненавистными чужаками, но были приняты без предубеждений, как безродные товарищи по судьбе. Конечно, Бразилия совсем не то, что Америка, но на этом я останавливаться не буду.

Во всяком случае свобода от предрассудков так резко отличалась от всего, к чему иммигранты привыкли у себя на старых родинах, главным образом в Европе, что не дать себя вовлечь в новую складывающуюся общность граничило бы с подлостью. Вдобавок каждый чувствовал себя в этой ничейной стране пионером в любой области, которую предстояло освоить своим трудом. Для меня это была бразильская философия. Ее нужно было создать, чем я и занялся вместе с несколькими товарищами по судьбе. Так мы начали ткать обоюдные нити, эти нити не были предготовлены, как на старой родине, нашим рождением, но их следовало создать усилием воли. Так я познал, в чем состоит опустошающее действие патриотизма, будь он локальным или национальным: патриотизм освящает навязанные нам человеческие связи, оттесняя связи, избранные нами свободно. Патриотизм ставит семейное сродство выше избирательного, биологическую или квазибиологическую близость — выше дружбы и любви. Упоение свободой захватило меня; я был волен сам выбирать для себя ближних.

Эта работа над созданием будущих тайных кодов, будущей бразильской родины, превращение авантюры в привычку и далее сакрализация привычного — продолжались и продолжали воодушевлять, пока шли одна за другой все новые волны переселенцев. Сеть, которую все ткали и ткали, оставалась незаконченной. Приведу такой пример: философский институт, где уже состояли членами ученики Кроче из Италии, немецкие последователи Хайдеггера, португальские приверженцы Ортеги-и-Гассета, еврей-позитивисты из Восточной Европы, бельгийские католики и англосаксонские сторонники философии прагматизма, должен был принять в свои ряды японских дзэн-буддистов, одного ливанского мистика и одного философа, прибывшего из Китая; ожидался также приезд раввина — представителя западно-еврейского талмудизма. При всем том это был именно институт, а не клуб для случайных посетителей. Прием в него становился все сложнее. Постепенно начали складываться свои внутренние законы и свои предрассудки. Это было отражение в малом масштабе того, что происходило вокруг нас: становление родины.

Заслуживают упоминания два феномена, связанные в моей памяти с пятидесятью годами. Один из них носит название defasagem (нечто вроде «дефазирования», от слова фаза). Другой называется «популизмом» (populismo). По мере того, как выкристаллизовывалось автономное бразильское ядро, ослабевал контакт с крупными центрами за пределами страны, прежде всего с Америкой. Становилось ясно, что, связав свою судьбу с Бразилией, мы должны были отрешиться от многого. В частности — пожертвовать свободой от географической привязанности. В душе моей зашевелились сомнения. В условиях современной информационной революции — не есть ли всякая географическая привязанность нечто ретроградное? Стоило ли отказываться от преимущества, — а это, конечно же, преимущество, — не иметь никакой родины?

Вот что означало defasagem.

Второй опыт, опыт «популизма», носил еще более радикальный характер. Социально-экономическое расслоение в Бразилии 50-х годов выглядело примерно так. Значительная часть населения вела полуколической образ жизни, в зависимости от урожая монокультур, жила в нищете, голоде, болезнях, и оно, это население, было как бы немым вызовом: из бескультурной массы надлежало создать новую родину. Другой слой составлял пролетариат городов — это были по большей части иммигранты, а над ним располагалась буржуазия, состоявшая частью тоже из переселенцев, частью из потомков португальских завоевателей. Создать, соткать родину — было, прежде всего, делом этого верхнего слоя. Но кому мы должны были адресовать наши усилия? Рабочим городов,

прививая им сознательность? Или пассивной полукочевой и крестьянской массе, вовлекая ее в общество? И то, и другое было невозможно. Ибо для мобилизации рабочих нужно было политизировать нашу деятельность, а для того, чтобы добраться до крестьян, — заняться хозяйственной деятельностью, то есть деполитизировать ее. Другими словами, либо ратовать за свободу, либо бороться с холодом и болезнями. Нелегко отдать себе отчет в необходимости столь невозможного выбора. Я попробовал — и потерпел неудачу.

«Популистская» тенденция, одержавшая верх с приходом к власти Жетулиу Варгаса, как будто бы избежала этого выбора: считалось, что сначала надо политически мобилизовать рабочий класс, а затем можно будет всосать прочую народную массу. Это был путь демагогии, похожей на фашистскую, и он привел к вульгаризации всех культурных начинаний. Выявилась другая тенденция, назовем ее технократической, которая, напротив, взяла быка за рога. Прежде всего — устранить нищету, а для этого необходимо централизованное планирование. Но такое планирование предполагает диктатуру, то есть заблаговременное, «профилактическое» пресечение любых социальных, политических или культурных помех тотальному планированию. Технократическая тенденция находит свое воплощение в армии.

Так вот: после 1964 года (напомню, что весной этого года власть захватил генерал Кастелу Бранку) мне стало ясно, что единственный путь, на котором Бразилия действительно может стать родиной для своего населения, — это победа технократии над популизмом. Мне стало ясно также, как будет выглядеть эта родина: гигантский, использующий технические достижения аппарат, способный соперничать по своей ограниченности, фанатизму, патриотическим предрассудкам с европейской родиной. Так продолжалось до 1972 года, после чего с болью в сердце я отказался от жизни и работы в Бразилии, от служения этой стране, — и уехал в Прованс, который можно назвать Антибразилией.

Мой бразильский опыт выглядел бы искаженным, если бы я попытался описать его в европейских терминах, таких, как «демократия» или «классовая борьба». Но этот опыт хорошо укладывается в интересующую нас тему: родина и чужбина. Жизнь на родине — или без родины.

Кто изгнан из родины (или имел мужество покинуть ее добровольно), тот страдает. Нити, привязывающие его к людям, обрываются. Но со временем он понимает, что эти нити не только привязывали, но и связывали его. Что отныне он свободен ткать новые межчеловеческие нити и принять на себя ответственность за новые связи. Я уже говорил:

ностями, которые привязывают к вещам, легко пренебречь. Судьба макабрически облегчила мне расставание с Прагой: все близкие люди погибли. Евреи в Освенциме, чехи за участие в Сопротивлении, немцы в России. Все, с кем я был связан.

Но затем встает вопрос, как распорядиться новообретенной свободой. Вопрос «свобода от чего?» становится вопросом «свобода для чего?» Отныне я свободен завязывать связи с другими. Но как укрепятся во мне эти связи, к чему их прицепить, если я — развязанный узел, прозрачное, лишённое тайны и тайных уз, призрачное существо, носимое ветром? Ответить на этот вопрос, может быть, и нетрудно, зато решить его на практике нелегко. Я не могу и не вправе отшвырнуть прочь наследство утраченной родины, я обязан нести его на своих плечах, чтобы предложить другим — и тем самым преодолеть его. Я должен привыкнуть к тому, что я пражанин, что я еврей, что я немец, что я англосакс, что я бразилец, что я провансалец, чтобы вместе с другими изменить условия, в которых я оказался. Такова, по-моему, задача всякого, кто лишился родины.

Казалось, что в Бразилии для этого представилась наилучшая возможность. Я мог там создать для себя новую жизнь как часть новой родины, которую тоже еще предстояло создать. Ибо там, в отличие, скажем, от Соединенных Штатов Америки, речь шла не о том, чтобы обратиться и обогатить чем-то новым существующее ядро, но о том, чтобы вообще создать ядро. Творческие потенции человека, свободного от родины, нигде не могли развернуться шире, чем в Бразилии.

Разочарование в Бразилии было не чем иным, как обнаружением того, что всякая родина, заброшен ли ты в нее фактом своего рождения или подрядился участвовать в ее сотворении, всякая родина — есть сакрализация банального. Того, что родина, какой бы она ни была, есть не что иное, как жилье, повитое тайной. И что если ты хочешь сохранить добытую страданиями свободу существования без родины, ты должен отказаться от участия в этой мистификации привычного житья. Связи, которые я завязал в Бразилии, я обязан поддерживать. Ибо я несу ответственность за моих бразильских земляков, как они ответственны за меня. Но я вступил в другие связи, за пределами Бразилии. И в эти новые связи я должен встроить мой бразильский опыт. Не Бразилия — моя родина, но «родина» для меня — люди, за которых я отвечаю.

Вот почему свобода, обретенная в потере родины, не имеет ничего общего с филантропией, космополитизмом или гуманизмом. Я не несу ответственности за все человечество, не отвечаю, допустим, за миллиард китайцев. Но это свобода ответственности за «ближних». Это та

свобода, которую подразумевает иудео-христианство, когда оно призывает любить ближнего и говорит о человеке, что он изгнанник в мире и родина его — не от мира сего.

Тайна родины «инфернальна», она — внизу, она коренится в бессознательном. Когда в результате изгнания эта тайна выходит на свет Божий, обнаруживая себя как банальность, — открывается другая, более «возвышенная» тайна, тайна свободного, ответственного существования с другими. Если эпохе родин суждено уйти в прошлое, то наступит более сознательная, более открытая, более свободная от предрассудков жизнь. Конечно, если дело не дойдет до катастроф, до внешних и внутренних взрывов, какие нельзя исключить в Бразилии, этой гигантской, опасной, новой родине.

Рихард фон ВАЙЦЕКЕР

МЫ, ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА

*Юбилейная речь экс-канцлера ФРГ по случаю сорокалетия
принятия Основного закона Федеративной республики*

Ровно сорок лет назад вступил в действие Основной закон Федеративной Республики Германии. После тяжкого прошлого немцы вновь обрели собственное государство. Оно, это государство, охватывало лишь часть страны. Оно не было суверенным. Царила крайняя нужда. Но именно тогда немцы вернулись в круг народов, несущих ответственность за самих себя. Этот шаг они совершили как свободные люди.

Так не рождалось на свет, пожалуй, еще ни одно государство. Инициатива его создания, в условиях напряженности между Востоком и Западом, исходила от держав, которые оккупировали Германию, — прежде всего от Америки. Председатели кабинетов немецких земель, получив соответствующий мандат, медлили: они были патриотами и не хотели увековечить разделение Германии.

Вехи расставила новая всемирно-политическая ситуация. Люди были озабочены опасностью с Востока и необходимостью восстанавливать жизнь у себя дома после денежной реформы. Нужно было считаться с реальной действительностью и действовать в соответствии с ее требованиями.

Так земли и Парламентский совет — при всех оговорках, которые делают им честь, — создали новое федеральное государство. Они не рассматривали его как отказ от идеи единой Германии, но считали его переходным этапом.

Сильнее всего собственная воля проявилась там, где существовали наибольшие возможности для самоопределения: при выработке основ конституции. Хотя не было недостатка ни в доброй воле западных союзников, сделавших ряд встречных шагов, ни в превосходных примерах демократического устройства на Западе, решение, к которому пришли создатели Основного закона, его отцы и его матери, четверо выдающихся женщин, — вытекало из их собственных убеждений.

Они обратились к немецким конституциям прошлого. Они сами извлекли уроки из роковых слабостей первой немецкой республики.

Они руководствовались собственным, глубоко осознанным пониманием того, что теперь, после безымянных страданий и беззакония минувших лет, нужно начать жить заново. Наша конституция создана немцами, а не державами-победительницами.

Восьмого мая 1945 года Германская империя безоговорочно капитулировала. Спустя четыре года, в тот же день, утверждение Основного закона Парламентским советом открыло путь немецкому государству, которое воздвигалось во имя демократии, человеческого права и мира и сегодня снискало себе уважение во всем мире.

Новое федеральное государство было образовано из общин и земель. Оно представляло собой ответ тоталитарному государственному централизму и восстановило преемственность исторического наследия немецкого народа — федерализма и самоуправления общин как подлинного источника демократического образа мыслей в Германии.

Возникла парламентская демократия западного типа с неприкосновенностью и возможностью обжалования в суде основных прав и сильной исполнительной властью. Вся власть в государстве была введена в четкие конституционные рамки, вся политическая власть — ограничена государственно-правовыми нормами, находящимися под защитой и контролем новообразованного федерального Конституционного суда. Созданный политиками Основной закон ставит акцент на доверие к праву, а не к политике.

Таким образом стало возможным коренным образом изменить отношение граждан к государству. Почти целое столетие государство использовало энергию граждан и жертвовало их жизнью в войнах ради роста своей собственной мощи и величия. Отныне оно уже не могло и не должно было, как прежде, распоряжаться своими гражданами, но его обязанностью стала защита прав каждого индивидуума. Правовое государство стало правовым сообществом, институцией, которую граждане учреждают друг для друга.

На требование людей обезопасить свободу Основной закон дал убедительные ответы. Вот почему симпатии к новой конституции так быстро распространились среди населения. Но лишь постепенно и много позже развилась внутренняя привязанность к Федеративной Республике как новому германскому государству.

Как развивалась жизнь в стране после 1949 года? После войны мы начали нашу жизнь с самой глубокой, самой нижней точки. Могла ли она двигаться только вверх? Все это было очень неясно. Бывают катастрофы, после которых жизненные силы, сломленные, разрушенные, уже не могут возродиться. С нами этого не случилось. Быстро выросло

новое, энергичное и работоспособное общество. Оглядываясь на то время, мы видим хорошую, открытую будущему главу нашей истории и, право, можем быть за нее лишь благодарны.

Больше всего и притом самое главное, самое трудное сделали в ту пору мы сами. Этому способствовало и мировое политическое развитие. Из Соединённых Штатов Америки пришла щедрая помощь по плану Маршалла. Она внесла прочный вклад в наше экономическое возрождение. Вдобавок американцы заботились о защите и безопасности, показав — вместе с англичанами и французами — убедительный пример еще в дни блокады Западного Берлина. Общие ценности и совместные интересы сплотили нас. Бывшие противники стали друзьями.

Во внутренней жизни повсюду господствовала воля к политическому успеху. Жестокая наука прошлого породила ясное сознание необходимости работать рука об руку. Что и говорить — не раз за эти сорок лет дело доходило до глубоких разногласий. Достаточно вспомнить горячие дискуссии по поводу закона о воинской повинности, о чрезвычайных законах, споры о месте нашего государства в западном союзе и о восточной политике. Случались тяжелые конфликты. Их острота подчас доходила до крайности; но в конце концов побеждал разум. В столице и в землях политику вершило поколение людей, наученных опытом. Оно, это поколение, знало, что несчастье Веймарской республики было не в том, что в ней чересчур рано появилось чересчур много экстремистов, а в том, что в ней слишком долгое время было слишком мало демократов. Опыт научил тому, о чем никогда нельзя забывать демократам: во всяком споре надо прежде всего думать о том, что мы обязаны защищать все вместе.

У нас есть основания чтить чувство ответственности мужчин и женщин, в чьих руках находились политические судьбы нашего государства после войны. Им мы обязаны тем, что азарт неуправляемых распри удавалось победить силой согласия в главном. Это обеспечило мощь нашей демократии.

На этой базе развивалось общество в целом. Военный разгром и опустошения, бегство и изгнание из родных земель перемешали жителей разных частей страны, перевернули в социальном, культурном и религиозном отношении жизнь нашего народа вверх дном. Почти все очутились на дне, отсюда и надо было начинать. Идея социального государства как новая, юридически обязывающая государственная задача требовала, чтобы старые общественные рвы были засыпаны, чтобы ни-

какая группа и никакое меньшинство не были подвергнуты отлучению. Более чем когда-либо мы приблизились к демократическому идеалу равенства шансов для всех.

Крайние силы получили в обществе столь же мало возможностей, как и в государстве, и в партиях. Люди искали согласия и накопили в себе силы для разумного компромисса. Развивалось чувство меры и середины. Было принято обязательство хотя бы материально возместить непоправимое зло, в первую очередь причиненное евреям. Росли солидарность и взаимопомощь, социальное партнерство в мире труда, экуменический дух открытости в общинах. Это дало возможность приютить двенадцать миллионов беженцев и насильственно выселенных с их прежней родины, равномерно распределить бремя трудностей и расходов, принять законы о пенсиях как договор поколений. Расцвела экономика, наука вернула свой престиж, профессиональное образование стало образцом для подражания во всем мире. Стабильность, политическая и социальная, стала характерной чертой Федеративной Республики Германии.

Но быть самодовольными у нас нет, конечно, никаких оснований. Оттого что у нас есть такой Основной закон, мы не стали ангелами. Мы люди, а то, что делает человек, всегда остается несовершенным. Вот почему у нас нет оснований и отречься от самих себя. Мы имеем право принимать себя такими, какие мы есть, и спокойно признать наши общие достижения.

Время неудержимо несет с собой новые веяния и направления, новые опасности, новые перспективы. Изменения же происходят постепенно. Мера новизны больше, нежели мы можем ее почувствовать в повседневной жизни. Сорок лет назад почти не было автомобилей и воздушного транспорта. В квартирах было чаще всего печное отопление. Продукты питания производились почти исключительно в своей стране. Радио, правда, еще во время войны в неслыханных масштабах использовалось для целей пропаганды, но вряд ли кто-нибудь мог представить себе размах сегодняшних электронных средств массовой информации. Компьютеры и полупроводники, без которых сегодня наша работа, организация всей нашей жизни просто немыслимы, чем сегодняшнему 18-летнему юноше, когда он мысленно переносил себя в 1949 год.

Такая эволюция не является специфически немецкой. Она характерна и для других индустриальных наций Запада. Мы не только надежно привязаны к конституционным принципам западных демократий, но и укоренены в их цивилизации. Она стала частью нас самих и ставит нас перед общим вызовом.

Сюда относится и бунт молодежи во второй половине 60-х годов. Активные силы нового поколения считали, что если они пользуются теперь куда большей свободой и благосостоянием, чем их предки, то это еще не повод расслабиться в благодарностях, отказываясь от критики. По их ощущению, восстановление страны приняло слишком односторонний характер и породило сытое, корыстное и эгоистичное общество, в котором человека оценивают исключительно по тому, чего он добился. Задавались острые вопросы о прошлом, об общедоступности образования, о демократии как об образе жизни. Сомнению были подвергнуты все авторитеты. Традиционные связи подвергались обстрелу, была провозглашена новая эмансипация.

Как это часто бывает, разным поколениям было трудно найти общий язык. Ошибки совершила и та, и другая сторона. Старикам казалось, что их труд, благодаря которому страна восстала из пепла, дискредитировала молодежь, движимая этическими мотивами, в своем увлечении идеями радикальной демократии и культурной революции не останавливалась перед провокациями, требовала сломать все и начать сызнова. Обнаружились фундаментальные противоречия, был заявлен категорический отказ. Возникла массивная конфронтация. Порой дело доходило до прямого насилия, а позднее, в отдельных случаях, — до террора и тяжких преступлений.

То было самое тяжелое испытание, которому подвергалось демократическое правовое общество. Именно тогда мы осознали в полной мере, что право должно оставаться правом, что преступление должно быть наказано, но что право есть право человеческое и применяться должно по-человечески.

Духовные, социальные и политические последствия 1968 года не прошли бесследно. Общественно-политические проблемы выдвинулись на передний план. Политическая активность выплеснулась из государственных органов в общество. Было выдвинуто требование низовой демократии, распространились гражданские инициативы. Возникли новые общественные движения, поиски освобождения, тяга к новой общности. Вместе с тем, дали о себе знать старые привычки, старый опыт. Бывают в жизни зависимости, недостойные человека; нам хочется от них отвязаться. Бывают и такие связи, которых мы ищем, благодаря которым становимся людьми. Мы хотим обрести свое лицо, не изолируясь от других, а это трудно.

Речь идет о жизненных решениях, которые человек принимает сам за себя. Но общество оказывает на них глубокое воздействие. Нигде это не выступает с такой очевидностью, как в жизни женщины, чье положение в обществе изменилось. Основной закон с лапидарной од-

нозначностью зафиксировал равноправие мужчины и женщины; это решение было принято после жарких дискуссий. Оставалось внедрить его в жизнь.

Вскоре после войны мужчины, вернувшись домой, вновь заявили свои притязания на те виды работы и формы ответственности, которые в их отсутствие, пока они воевали или сидели в плену, были вынуждены взять на себя женщины. Но возврат к старому был уже невозможен. Желание иметь собственную профессию превратилось для многих женщин в необходимость, для большинства стало чем-то само собой разумеющимся. Постепенно открылся путь к профессиональному образованию. Рос доступ к занятиям, которые прежде считались типичными для мужчин.

И все-таки слишком часто женщины оказываются в невыгодном положении. Они это чувствуют, им дают это понять и когда они начинают свою деловую карьеру, и когда прерывают ее, и когда снова поступают на работу. За этим стоит противоречие между семьей и профессией. Как и прежде, семьи вынуждены приноравливаться к рынку рабочей силы, а не наоборот. От этого страдают все. И львиную долю тягот, которые вытекают отсюда, несут на себе женщины.

Чрезвычайно важен вопрос о материальном положении семей, где есть дети. Недавно одна женщина написала мне: «Общество, которое может создать все, кроме матерей, не должно удивляться, если женщины не могут позволить себе материнство». Какое же будущее может быть у семьи в нашей стране? Какую защиту обеспечивает семья маленьким детям и старым людям? Какую охрану находит только что зародившаяся жизнь?

Место, которое женщина занимала в прошлом, каким бы неравноправным оно ни было, нельзя обесценивать. Но одно сегодня бесспорно: женщины стали свободнее. Это для них выигрыш. Пора перестать мужчинам скорбеть о привилегиях, которых не вернешь. Тогда им легче будет помогать женщинам не только материально, но и всеми своими чувствами и помыслами. Едва ли можно назвать почеловечески привлекательным общество, где все, за что не надо платить, считается несостоящим. Никакими деньгами не оплатишь того, что мать делает для детей. Но общество обязано ей помочь, и бремя следует распределять справедливее, чем это делалось до сих пор. Вообще же было бы неплохо, если бы мужчины, коль скоро они призваны к этому в правовом государстве, с сугубой осторожностью судили о положении женщин.

Названные примеры показывают, что может конституция и чего она не может. Конституция оберегает достоинство человека и основные

права. Она организует нашу совместную жизнь с ее конфликтами, а когда намечаются новые пути развития, обеспечивает возможность мирных преобразований.

Но способны ли к этому мы сами — этого конституция обещать нам не может. Жить приходится нам самим. Мы, а не кто-нибудь другой, угадываем новые вызовы и сами должны с ними справляться, особенно с теми, какие сорок лет тому назад никто не мог предвидеть. Конституция — не оракул и не двигатель общественного развития.

Конституция жива предпосылками, которые сама она ни создать, ни обновить не может. К ним принадлежат общепринятые моральные убеждения. Мы обязаны сами знать, на что мы имеем право и чего мы хотим. Это не так просто в эпоху, когда подобным знанием зачастую не располагают даже «силы», как их величает Якоб Буркхардт, — религия и культура. Как отыскать верный путь в поле напряжения между равнодушием и фундаментализмом? Этого конституция нам не скажет. Она задумана как программа защиты ценностей, но она отнюдь не вечно бьющий родник добродетели, который напоит нас в годину засухи.

То же можно сказать о правах и свободах: от того, что мы из них сделаем, зависит их жизнеспособность. Они чахнут, если мы их толкуем лишь как собственные наши притязания к государству. Подлинный смысл их состоит в правах, которые каждый предоставляет другому. Одной конституцией государство не создается — но нашей ответственностью за государство, иначе говоря, ответственностью друг за друга: ибо государство — это мы сами.

Мы собрались здесь, чтобы чествовать нашу конституцию, потому что мы вправе сказать: у нас хорошая конституция. Но этот праздник был бы пустым фанфаронством, если бы мы не задали себе серьезный вопрос: живем ли мы в хорошей конституции?

Каждый из нас прекрасно знает, что для достижения собственных целей требуется соблюдать определенные правила игры и приложить для этого кое-какие старания. А для Основного закона? Для его жизни — то есть для нашего общего существования — неужели нам не надо ничего делать? Разве в конституционном государстве игру ведут одни профессиональные политики? Разве может гражданин, как часто у нас думают, довольствоваться ролью зрителя, в крайнем случае — третьей судьи?

Ключевая роль принадлежит политическим партиям. Основной закон в статье 21 оценивает эту роль с суверенной сдержанностью. Он, однако, не сумел ограничить непомерное значение, которое приобрели партии.

Нельзя сказать, чтобы такое положение дел вызывало всеобщий восторг. Но и выражая свое недовольство, следует остерегаться ложных выводов. Власть принадлежит народу, но его волю приходится как-то опосредовать, придать ей определенную форму, дабы защитить нас от хаоса со всеми вытекающими из него последствиями. Обеспечить это можно лишь при помощи политических партий. Тем более что, будучи партиями народа, они и во внутрипартийной жизни вносят необходимый, хотя порой и недооцениваемый вклад в обязательную для демократии практику спора и соглашения.

Конечно, партии домогаются власти. Но в том-то и дело, что они не всевластны. Напротив, они зависят от мандата большинства и должны постоянно за него бороться. И самое опасное — это не их самодержавные притязания, а скорее то, что в своей охоте за голосами избирателей они готовы угождать чуть ли не всем и каждому. Если борьба с конкурентами становится для партий важнее, чем решение проблем, если вопросы времени превращаются для них в инструменты борьбы за власть, — доверие к партиям падает. Это, однако, вредит не только им, но и всем нам. Ибо заменить партии ничем. Можно только вновь и вновь стараться их улучшить. Помочь этому может каждый, и самый плодотворный путь — критическим участием заставить партии работать над насущными проблемами. Участвовать, а не стоять в стороне, — вот что служит залогом жизнеспособности нашего общества.

Мы можем отстаивать свои взгляды, можем осознать и защитить свои интересы. Мы можем рассчитывать на солидарность, коль скоро мы сами проявляем солидарность. Основной закон гарантирует защиту и предоставляет возможность действовать — но действовать надо нам самим. Если под этой защитой находятся иностранцы, наш долг, долг немцев, — проявить по отношению к ним подлинную открытость.

Мы обязаны быть настороже не только в том, что касается самих партий, но и за их пределами. Мы не можем позволить себе быть эксцентричными в политике. Быть эксцентриком буквально значит отойти от центра и устремиться к окраине — прийти к экстремизму. Но там лишь разжигаются страсти; никаких ответов там нет. Демократическим партиям там нечего делать — и, конечно же, нечего делать избирателям, которые, в конечном счете, сумеют доказать, что они разбираются в политике.

У нас, как и везде, есть свет и тени. Больше специализации, уже крутозор; больше технических связей, меньше человеческих контактов; больше спешки, меньше времени; больше предложений, меньше сосредоточенности; больше благосостояния, меньше ясных задач; рас-

тет открытость миру — слабеет укорененность. Мы живем в век техники. Но конституция и правовое государство не могут просветить нас относительно того, в чем сущность техники. Под знаком этих противостояний находится вся наша жизнь, а значит, и наша культура. К ним поворачиваются дух и искусство, помогая нам справиться с противоречиями прогресса.

Сильней, чем в любой другой сфере общественной жизни, у нас совершилось в послевоенное время подлинное обновление в духовной и научной жизни, в музыке и литературе, в живописи и ваянии, в архитектуре, театре, кино. Мы не предлагаем никому «исцелиться, вкусив немецкой сути». Но в диалоге культур мы — активный собеседник. Наша впечатлительность необычайно возросла, у нас жив дух критицизма. Это всегда приносит плоды. Ничто другое не расчищает путь новым взглядам, новым идеям. Наша культура похожа на могучий и многосоставный, смешанный лес. Лес, который приносит с собой свежий воздух, столь нужный для жизни.

Новый свет — не без тени — проник и в социальную сферу. Там, где имела место нужда, оказывалась помощь в гарантированных законом формах. Обратная сторона — имущественные отношения, утвердившиеся и в тех слоях населения, где устранен недостаток средств, некогда бывший для них правилом. При всем том, однако, нельзя предъявлять к обществу чрезмерные требования. Общество не должно застывать; нужно, чтобы оно могло постоянно обновляться. Мы не можем создать для себя все, чего хотелось бы, но мы должны уметь расставить приоритеты.

Способности отдельных людей и сила общества в целом — не меньше, чем прежде. Однако они реализуются гораздо больше в личной жизни, нежели в общественной. Возник особый образ мыслей — психология общества, где все застраховано. Неприкосновенность и отстаивание частных интересов осуществляются за счет общества. Нагрузка снижается, множатся споры и жалобы, хотя государство права существует отнюдь не для того, чтобы служить обществу качания прав. Оно служит справедливости и защите слабых.

Это мешает ему достаточно эффективно помогать людям в новых ситуациях нужды, которые у нас, несомненно, имеются. Гуманную задачу первостепенного значения ставит перед нами, прежде всего, постоянный рост числа старых людей, вышедших на пенсию, на фоне резкого сокращения рождаемости. Эта задача смыкается с другой, большой и нерешенной проблемой безработицы. Каждый третий работающий принужден ныне, так или иначе, считаться с возможностью безработицы. Все большую изоляцию тех, кого она постигла, не

могут в достаточной мере предотвратить семейные и соседские, церковные или профсоюзные связи. Хотя число рабочих мест в промышленности растет, техника и стремление снизить затраты в условиях межгосударственной конкуренции действуют в обратном направлении. Одновременно возрастает потребность в социальных услугах. Все это настоятельно требует финансирования не столько самой безработицы, сколько социальной работы.

Некоторые остряки заявляют: «Наши дела идут плохо, но зато на высоком уровне». Такие сентенции лишь затемняют то, во что необходимо внести ясность. С одной стороны, верно, что среди нас есть люди, живущие отнюдь не на высоком уровне, люди, которым приходится очень и очень нелегко. Им нужно помочь самым энергичным образом. С другой стороны, наша страна принадлежит к числу самых благоденствующих стран в мире. Мы располагаем достаточными материальными и духовными силами, чтобы возглавить борьбу с нищетой на всем земном шаре.

Острейшие проблемы современности — голод и нужда, несправедливость и финансовая задолженность в обширных районах мира. Прирост населения на Земле идет непрерывно и принимает поистине опустошительные масштабы. Ибо он ведет к дальнейшему разрушению природных пространств. Мы в промышленно-развитых странах озабочены, прежде всего, будущим мировым климатом. Люди, прозябающие в нужде, думают о хлебе насущном. Они лишь тогда научатся ограничивать рождаемость и беречь природу, когда улучшится их бедственное материальное положение. Это зависит и от них самих, и — в не меньшей степени — от нашей помощи, и от мировых рынков, где господствуем мы, а не они.

С недопустимой безответственностью мы все еще живем за счет других частей мира и в ущерб будущему. Созаем ли мы понастоящему всю меру угрожающих изменений климата? Понимаем ли, что вместе с другими мы — виновники тепличного эффекта, который со временем может повлечь за собой в буквальном смысле гибель обширных и густонаселенных прибрежных районов, речных дельт и островных государств?

Чем дальше, тем неумолимей проблемы, вставшие перед нами, вынуждают нас переучиваться. Природа все еще кажется статьей экономики человека, одной из многих, — между тем как на самом деле человек есть фактор в хозяйстве природы, всего лишь фактор, один среди прочих. Он принадлежит природе и должен учиться хранить целое, частью которого он является. Человек обязан оберегать природу ради нее самой.

Теперь мы начинаем лучше понимать и риск борьбы за разделение обязанностей между настоящим и будущим. Мы в долгу у будущих поколений и должны защищать их не меньше, чем живущих. Охрана окружающего мира становится охраной мира грядущего.

К этому присоединяется растущая настороженность по отношению к науке и технике — не перед ними самими, но перед превращением техники и науки в нечто самодовлеющее. Способны ли мы сегодня учесть, какого рода воздействие могут оказывать новые знания и новые методики молекулярной биологии или нейробиологии на наследственность растений, животных и человека? Как далеко продвинулись компьютеры на пути программирования самих себя? Вопрос, вправе ли мы делать то, что мы можем сделать, далеко не исчерпывает всю проблематику. Мы слишком мало можем, чтобы быть в состоянии со всей ответственностью решить, имеет ли право произойти то, что может произойти.

Мы не решим проблему, если во имя достоинства человека ополчимся против свободы науки и научного исследования. Это дело нереальное, да и в этическом смысле шаткое. Важно другое: беспрепятственная информация и широкое внедрение сознательности. Пусть как можно больше людей узнают как можно больше. Не все могут быть специалистами, и органы управления, избранные народом, не могут передоверить решения экспертам. Но профаны, как и политики, не имеют никаких оснований преуменьшать свою роль только потому, что они не специалисты. Они вправе и обязаны вновь и вновь задавать критические вопросы. Ничто не вредит обществу больше, чем готовность пассивно присоединиться к чужому мнению. И нигде наша гласность, выросшая в условиях свободы, не оказывается столь уместной и нужной, как здесь.

К числу решающих факторов нашего времени принадлежат перемены, происшедшие во всей Европе. Жан Моннэ, великий европеец, сказал в 1943 году, обращаясь к тогдашним военным противникам Германии, что они выиграли Первую мировую войну, но проиграли мир; теперь они собираются одержать вторую победу, но сумеют ли выиграть мир — от этого будет зависеть все остальное.

Мир нельзя выиграть в борьбе друг против друга, мир можно выиграть лишь друг с другом вместе. В Европейском сообществе нам это удалось. Нам еще предстоит одолеть немало препятствий, мешающих достижению цели политического союза. Но путь к общему благу народов проложен, и Сообщество с него не свернет. Его влияние в мире растет; мир между участниками Сообщества и согласие между членами Европейского совета обеспечены.

Но по ту сторону наших границ живут люди — такие же европейцы, как и мы. У них общая с нами история, та же жажда свободы и то же стремление к справедливому устройству жизни. Мужественно и во всеуслышание они добиваются этого у себя дома. И то, чего они ожидают от нас, может быть сформулировано столь же ясно и недвусмысленно: они ждут, что мы не замкнемся в нашем благополучии и употребим нашу свободу на то, чтобы помочь добиться успеха людям во всей Европе.

Вырисовываются воистину взбудораживающие перспективы Великой державы ощущают тесноту своих границ. Уже почти невозможно считать проблемы, стоящие перед ними, их внутренним делом — по самой природе этих проблем, — так же как невозможно решать их, придерживаясь тактики конфронтации. Использовать свои системы вооружения эти страны могут разве только ценой самоуничтожения. Ранг великой державы все больше определяется ее научным и техническим потенциалом, экономическим и социальным здоровьем страны, ее конкурентной способностью в масштабе всего мира.

Это признало и советское руководство. Если оно не хочет, чтобы упадок страны в сравнении с мировым уровнем продолжался, ему придется вызывать свою систему из застоя и окоченения. Оно начало многообещающие реформы. При этом оно все ясней сознает, что сумеет добиться успеха в том случае, если будет шаг за шагом сближаться с нашими принципами: оно должно осуществить децентрализацию, поощрить самоуправление, должно вознаграждать личные достижения, обеспечить охрану прав гражданина в рамках правового государства, политически серьезно отнестись к его голосу, допустить открытую общественную критику и постараться взглянуть в глаза правде, когда заходит речь о его собственной истории.

Идет процесс, от которого захватывает дух. Риск, сопряженный с ним, колоссален. Никто не знает, приведет ли он к успеху. Ясно, однако, что мы должны сочувствовать этому процессу и сколько можем способствовать ему. Ибо удача в конечном счете пойдет на пользу не только системам, но и людям во всей Европе.

Напряжением между Востоком и Западом была отмечена вся послевоенная пора. Противоречия интересов и систем по сей день далеко не изжиты. И все же послевоенный порядок в Европе зашатался. Хозяйство, техника, наука, а более всего, — массовая угроза природе меняют смысл и назначение государственных границ. Бесполезно их укреплять, бессмысленно спорить о том, чтобы их передвинуть. Ибо проблемы нашего существования перешагивают любые границы.

Тем самым мы оказываемся здесь, на Западе, перед серьезнейшим испытанием. Новшества за кордоном требуют нового мышления и от

нас. Легко было сохранять единство в обстановке холодной войны. В мире, где не так-то просто понять, кто за нас, а кто против нас, эта задача становится сложней. Можем ли мы считать своими противниками поляков и венгров, которые хотят оставаться членами Варшавского пакта, но ищут возможности подключиться к нашей экономической системе? Достаточно ли серьезно мы относимся к их чаяниям?

Конечно, единство Запада необходимо нам и сегодня — имея в виду и опасности, и шансы на лучшее будущее. Мы должны быть решительными, должны, как и прежде, быть способными защитить нашу свободу и независимость от чьих бы то ни было посягательств. Нам нужны союзники, нам нужен бундесвер. Наша цель — предотвратить войну — какой была, такой и осталась. Для этого мы располагаем службой обороны, и было бы хорошо, если бы в Основном законе там, где речь идет о праве на отказ от службы в вооруженных силах, говорилось не о военной службе, а о службе обороны. Это не служба войны, а служба предупреждения войны. И об этом следует знать каждому, кто размышляет над тем, стоит ли ему воспользоваться гарантируемым конституцией правом отказа носить оружие по соображениям совести.

Политика безопасности остается, таким образом, необходимым компонентом международных отношений. Но она уже не является их формирующим принципом. Сегодня можно осуществить то, что более двадцати лет назад было намечено в качестве одной из задач Атлантического союза в доктрине Армеля: тесную связь обороны с разрядкой. Нам нужны решения, в которых одно сочетается с другим. Вести переговоры о разоружении и контроле над вооружениями со всей открытостью — такова заповедь безопасности. Мы на Западе должны быть готовы к сотрудничеству с Востоком, открывающему системы, сотрудничеству, которое выражает суть западных демократий, — дух свободного самоопределения и человеческих прав. Руководствуясь этим обязывающим духом, мы идем навстречу любому благоприятному шансу, какой может появиться у других стран во всей Европе. Тот, кому чудится в этой позиции измена западному союзу, сам рискует быть уличенным в забвении ответственности за дело свободы, ради которой существует этот союз.

Сейчас появился поистине исторический шанс возможность сдвигов, которые приведут нас к упорядоченному миру в Европе. Понятно, что одними усилиями Запада мы этого не достигнем. Но без нашего вклада, который способны сделать лишь мы, тоже ничего не получится. И мы обязаны его сделать — трезво и решительно. Ибо история не имеет обыкновения повторять свои предложения дважды.

Мы, Федеративная Республика Германия, нерасторжимо связаны с Европейским сообществом и Атлантическим союзом. Великой державой мы не являемся — но мы и не мячик в руках других. В том, что мы нашли друзей и партнеров, состоит наш решающий выигрыш.

В свою очередь, союз, Западная Европа и весь континент решающим образом зависят от нас. Наш политический вес определяют численность нашего населения, наша экономическая мощь и наша стабильность. Мы не идем каким-то особым, собственным путем и не ищем его, поэтому нам не стоит скрывать наши собственные интересы. В противном случае мы не были бы надежными союзниками, чьи намерения поддаются учету.

Мы посвятили себя политическим целям, которые предписывает нам преамбула Основного закона: свободе, европейскому единству, единству немцев. Как нам приблизиться к этим целям, конституция не указывает и не может нам указать. Созвучие целей и средств, ведущих к их достижению, мы обязаны найти сами.

Мы убежденно, вот уже несколько десятилетий, идем по пути Европейского сообщества. В сфере европейской политической компетенции находятся значительная часть сельского хозяйства и внешняя торговля. Мы одни не в состоянии больше распоряжаться экономикой и экологией в их все более тесной взаимозависимости. Сообществу нужны более широкие полномочия, чтобы стать Европейским Союзом.

Как соотносится эта эволюция с нашей национальной государственностью, нашим самосознанием? Надо ли, чтобы все национальное принесло себя в жертву европейской гармонии? Нет, и не может быть речи об этом. Чем насущней необходимость наднациональных решений, тем важнее укорененность у себя дома. Для этого у нас есть добрые предпосылки в нашей культурной традиции, более крепкие, чем у большинства наших европейских партнеров. Мы — государство-союз; мы с молодых ногтей федералисты. Множественность регионов, конфессий, психологических типов типична для немецкой истории. Эта история, в отличие от того, что происходило у большинства наших соседей, лишь в виде исключения знала фазы централизма. Целые главы ее, как правило, написаны баденцами, саксонцами и мекленбуржцами, баварцами, пруссаками и жителями других немецких земель. Наш федерализм живет, он не утратил свою хранительную силу и под крышей общего государства.

Лишь фальсификация гуманного национального чувства, его вырождение в национализм оказались разрушительными. Патриотизм — это любовь к своим; национализм — ненависть к другим. Национализм

и становился главной причиной братоубийственных войн в Европе. Его преодоление обществом есть подлинный прогресс дела мира в Европе, и мы, немцы, внесли в него крайне важный вклад.

Не великодержавие, а идея федерализма определяет лицо нашего государства. Она открывает нам путь к достижению целей нашей конституции. По опыту нашего народа мы знаем, что своеобразие федеральных составляющих — отдельных земель, их самосознание не могут быть стерты в угоду интеграции, а наоборот, могут усиливаться под влиянием чувства родины, присущего человеку, если земля, исходя из собственных соображений, диктуемых новыми условиями, передает те или иные полномочия инстанциям более высоких уровней. Вот почему новая политическая архитектура Европы, если она возникнет по аналогичной модели, будет нам ближе, чем другим.

Открытый германский вопрос есть выражение общности немцев, которая подвергалась тяжелым испытаниям, однако осталась живой и, как гласит преамбула конституции, неотделима от свободы. Наша конституция рассматривает германский вопрос не в противовес европейским проблемам, но в контексте этих проблем. В ее основу положена мысль о том, что Европа должна и будет расти как единое целое. Представлением о такой Европе мы руководствуемся, памятуя, что история открыта и служить ей мы сможем лучше всего в понимании своей ответственности перед великим вызовом, какой бросает нам современность.

Скучать нам еще не приходилось. Жизнь в Федеративной Республике Германии бурлит. Порой нам кажется — проблемы неразрешимы. И кое-кто готов поэтому впасть в отчаяние. Но пусть он вспомнит слова поэта: кто отчаялся, теряет голову. Кто пишет комедии, тому она нужна.

Сюжет комедии — счастливый выход из трудных обстоятельств. Но мы, политики, не собираемся писать комедий, не намерены их разыгрывать. Не для того нас выбрали — но для того, чтобы хорошенько разобраться, куда идти, думать и головой, и сердцем, но без ожесточения. Мы делим между собой задачу служения государству. Один передает ее другому, по мандату избирателей. Меняется не государство — сменяют друг друга правительства. Популярный тезис о перерывах в истории противоречит нашему опыту. «Час Нуль» не существует. Никакая демократическая смена власти не грозит гибелью, ни одно новое правительство не начинается с нуля. Враг — лучший наставник, говорит пословица. Мы поправляем друг друга, но так или иначе продолжаем работать с

добрым или дурным наследием наших предшественников. Все участвуют в этом, всех это касается. Все вместе мы сидим в общей ладье исторической преемственности, и слава Богу.

Сравнительно с идеалом действительность никуда не годится. Но какая это была бы унылая действительность, если б она перестала равняться на идеал и вопрошать о правде! Движемся ли мы в демократическом соревновании навстречу правде? Где остается она в нашем открытом плюралистическом обществе? Никто не владеет ею. Никто поэтому не вправе урезать свободу других, оттого что он думает, будто правда — его собственность. Но не бороться за правду невозможно. И мы все, избиратели и деятели, стар и млад, мужчины и женщины, знатоки и профаны, — все связаны общей поручкой, в общем поиске свободы и правды призваны участвовать в решении задач будущего.

Верховный вопрос будущего — выживет ли творение. Трезвый, сдержанный в перечислении ценностей Основной закон поднимает эту тему уже в преамбуле. Основной закон Федеративной Республики Германии принят — гласит текст — «в сознании, ответственности перед Богом и людьми». Наше общество мировоззренчески нейтрально. Каждый следует собственным убеждениям. Для меня как христианина ответственность человека перед Богом в ее политическом толковании означает ответственность, врученную человеку за судьбу творения. Основной закон страны призывает нас, перед лицом детей наших, облечься этой ответственностью за творение. В этом вся суть. Наша конституция, выдержавшая испытание за эти сорок лет, осуществит тем самым свое высокое значение для нашего будущего. В этом мы все можем быть едины.

Лешек КОЛАКОВСКИЙ

ПОЛИТИКА И ДЬЯВОЛ

*1. Теология дьявола. Почему он не может обойтись без Бога?
Политика как великий соблазн. Фома наводит порядок
в Божьем мире, однако этот порядок рушится.*

Дьявол, по христианским понятиям, неспособен быть творцом. Мир сотворен Богом и, значит, представляет собой безусловное благо. Вся природная целокупность, будучи эманацией Бога, является благой по определению, тогда как злая воля, дьявольская или человеческая, есть чистая негативность. Поэтому для своего разрушительного дела дьявол должен использовать материал, произведенный Богом, не допустив, чтобы он, этот материал, был использован по назначению. Действуя во зло, дьявол паразитирует на совершенстве творения.

В человеческих делах эта деятельность по большей части сводится к тому, что дьявол, который, конечно же, не может не воспользоваться злом, к коему мы причастны в силу первородного греха, вводит нас в искушение считать относительные блага абсолютными, поклоняться второстепенным благам, как если бы они заслуживали божественных почестей, и тем самым подменить Творца тварями. Наши естественные влечения и желания сами по себе благи и законны, если они в конечном счете направлены к Богу как высшему благу, а не являются самоцелью. Наши физические и духовные потребности заслуживают утоления, коль скоро мы не будем забывать о том, что их высшая цель — Бог. Знание похвально и желательно при условии, что мы употребим наш разум для исследования тайн природы и, значит, научимся лучше понимать божественное мироустройство и Того, кто устроил мир. Приятные стороны жизни ценны, поскольку они служат жизни, и поскольку жизнь пребывает здесь, дабы воспеть Бога. Мы любим наших братьев, так как, собственно, любим в них Бога. И так далее.

К политической сфере это относится совершенно так же, как и ко всему прочему. Если политика сводится к борьбе за власть, тогда она принадлежит по определению, с христианской точки зрения, царству Князя тьмы. Тогда политика выражает лишь нашу похоть власти, *libido*

dominandi, — инстинкт, который реализует себя ради себя самого и не имеет вне себя никаких целей. Власть над природой была библейской привилегией человека; богоданным является и политический порядок, необходимый для того, чтобы обеспечить мир и справедливость на земле, благодаря чему люди служат Богу и осуществляют свои планы. Дьявол же и в этой области, как во всех прочих, извращает и отравляет благой естественный порядок. И едва только политические блага обретают самоценность, начинают служить самим себе, они тотчас оказываются на службе у дьявола.

Святой Фома Аквинский создал всеобъемлющий, достойный восхищения порядок логических понятий. Отнюдь не отвергая и не презирая материальные блага, относительные ценности и вторичные причины, этот порядок уделял должное место всякой человеческой деятельности — духовной, политической, художественной, технической. Порядок Фомы был скреплен божественной мудростью и благом. Все естественным образом устремляется как к последней цели к Богу. В этой системе не было четкого разграничения между законом в чисто нормативном смысле и естественными законами, между предписаниями касательно добра и зла и правилами, регулирующими естественный ход событий. В обоих случаях законоположения получают свою значимость из высшего источника суждений, в котором мудрость и благодать сливаются воедино. И даже если мы в наших поступках вполне очевидно можем преступать законы добра и зла (что невозможно в случае естественных законов), это совсем не значит, что нравственный закон теряет свою силу. Природа наказывает нас, когда мы забываем о ее законах, а Бог карает, когда мы нарушаем его заветы. Естественное право черпает свою силу не из самого себя, но коренится в извечном праве, оно демонстрирует способ, каким вечное право действует в созданиях, наделенных разумом; *lex est aliquid rationis* (закон есть нечто от разума), говорит св. Фома, предвосхищая Канта; закон не может быть отменен «человеческим сердцем». Этот изящный порядок, где для всех областей жизни, включая политику, находится место в единой и всеохватывающей иерархии, безнадежно рухнул, — таково, по крайней мере, мое впечатление. И мне хотелось бы продумать метафизический смысл этого крушения.

II. Бегство из церкви.

Перед дьяволом открываются радужные перспективы.

Вся эволюция Нового времени, начиная от его истоков в позднем Средневековье, может быть представлена как движение, в ходе которого политика, искусство, наука и философия шаг за шагом утверждают свое

самостояние, свою независимость от божественного и церковного призора. Каждая область была принуждена искать собственную легитимацию, вместо того чтобы выводить ее из библейского предания и учения Церкви. При этом совсем не было ясно, откуда взять это нормативное обоснование и каким образом сфера мысли и действия может создать свои предпосылки *ex nihilo*, если она не хочет быть делом произвольного выбора или каприза и если еще, чего доброго, окажется, что никаких таких абсолютных предпосылок вовсе не существует.

Эта последняя фаза нигилистического освобождения окончательно была достигнута в искусстве, в меньшей степени — в философии и почти не коснулась положительных наук. Что же касается политических учений, то там она никогда не была признана всеми и безо всяких оговорок, хотя Макиавелли и Гоббс довольно близко подошли к ней. Следуя христианской догме (и прежде всего Августину), можно было ожидать, что всякая область жизни, коль скоро она становится автономной и сама выносит суждения о том, что в ней благо, что имеет значение, что является подлинным и превосходным, — подпадает под власть дьявола. Подобные суждения — я продолжаю этот ход мыслей — будут затем предложены людям для свободного выбора, а свободный выбор, не просветленный благодатью, решит, разумеется, в пользу зла, а не в пользу добра. Поддадимся ли мы, делая этот выбор, сатанинскому искушению или уступим собственной испорченной природе, успех в любом случае неизбежно поощрит адские силы.

Скажем, если искусство, вместо того чтобы учить людей добру, посвящать их в христианскую истину, превратится в чистое развлечение, станет полем формальных экспериментов или средством ничем не стесняемого самовыражения, или будет потрафлять низменным вкусам черни, то это не значит, что оно в моральном смысле индифферентно, нет, оно станет глашатаем греха. Или если профанное знание, вместо того чтобы открывать в мире мудрость Творца, презрит истину откровения и начнет служить удовлетворению человеческого любопытства, оно роковым образом превратится в инструмент безбожия. Св. Бернар Клервоский в трактате о милости Божьей ставит любознание наравне с гордыней, и то же тысячу раз повторяется в душеспасительной литературе.

Что до злого начала в профанной, светской политике, то с позиций христианской мудрости оно настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что вряд ли стоит распространяться на эту тему. Если политическая деятельность не освящена естественным правом (которое в свою очередь основано на божественном законопорядке), то почему, собственно говоря, мы должны ставить справедливость — что бы ни подра-

зумевалось под этим словом — выше несправедливости? Общество оказывается добычей слепых противоборствующих страстей, мир — передышкой, временным равновесием механических сил, а так называемая справедливость свелась бы в этих условиях к бесконечным усилиям борющихся сторон вырвать друг у друга уступки. Конечно, политические мыслители, распрощавшись с Евангелием, могли искать убежища у Аристотеля — что они и делали. Но Аристотель, как бы ни был он почитаем христианскими и нехристианскими философами, все-таки не обладал божественным авторитетом, отнюдь не был непогрешим, и всякий мог безнаказанно пренебречь его советом.

О том, что эти представления были вполне обычными для церковной догматики, говорят многочисленные документы, официальные и полуофициальные, да и весь корпус посвященной этому вопросу христианской литературы. Можно даже сказать, что философия Гоббса знаменовала своего рода триумф христианства. Ибо она продемонстрировала, что лишившись религиозного обоснования, нормы и правила политики должны попросту исчезнуть; она, эта философия, доказывала, что все общественное устройство зависит от простого соотношения сил, в нем господствуют страх, алчность и властолюбие, и это, собственно, и есть тот порядок, на котором зиждется мир.

Но если господство божественного права во всех областях человеческой жизни, в том числе и в политике, в самом деле представляет собой неустранимую часть христианского учения, если нет и не может быть легитимного политического порядка, который не был бы очевидным образом включен во всеобъемлющий божественный порядок, если лишенная этой легитимации общественная жизнь тотчас оказывается в когтях у сатаны, — то не должны ли мы согласиться, что Церковь не может, не вступая в противоречие с самой собою, отказаться от своего превосходства над всеми властями, не следует ли нам подумать, что Церковь должна в согласии со своей доктриной стремиться к теократии, дабы не оказаться пленницей князя мира сего? А ежели это так, то как нам быть с недавними заявлениями Церкви и ее первосвященников, особенно после Второго Ватиканского собора, о полном отказе от теократических притязаний, о признании автономности науки и так далее? Что это, вынужденные уступки духу времени? И разве не противоречат они всем христианским традициям? Правда, некоторые теоретики естественного права, в том числе деисты и атеисты XVII и XVIII столетий, утверждали, что мы усваиваем нормы естественного права благодаря нашим врожденным способностям, непосредственно и без помощи божественного откровения. Мы интуитивно понимаем, что хорошо и что плохо, так как природа вложила это знание в нашу психику. Божье при-

сутствие и божественный закон вовсе не обязательны для уяснения принципов справедливости; эти принципы стоят на собственных ногах, независимо от того, существует ли верховный законодатель.

Эта вера была, однако, подорвана и аргументами скептиков, и в особенности тем фактом, — тем сильнее бросавшимся в глаза, чем больше европейцы знакомились с другими цивилизациями, — что понятия естественной справедливости и естественного права отнюдь не являются всеобщими — ни исторически, ни географически; полагаться на то, что они однажды и навсегда впечатаны в сердце каждого человека, нет оснований.

Неудивительно, что с тех пор как борьба князей и королей против папства не только выражалась в практической политике, но и стремилась найти для себя теоретическое обоснование, в стане защитников светской политики и автономии гражданских властей ощущалась известная неудовлетворенность политическим порядком, не освященным церковным авторитетом.

III. Тактика Бога:

почему невозможно одним ударом покончить с сатаной.

Свобода творить зло, или, как ее еще называют, Просвещение.

Отсюда родилась идея, что правителю, верит ли он в Бога и бессмертие или не верит, для пользы дела важно использовать религиозный антураж: обряды, изображения, священников и божественные санкции; все это служит интересам власти и охраняет незыблемость общественного строя. Об этом без обиняков писал Марсилиус Падуанский. на это особо напирал — как же иначе? — Макиавелли. Того же мнения держались Гоббс и (менее откровенно, но достаточно определенно) Спиноза, который вдобавок заявил, что людьми нужно управлять так, чтобы они думали, что они сами правят собой. Да и Монтескье устами своего узбека поясняет: если бы справедливость зависела от договоренности людей между собой, нужно было бы скрывать эту страшную истину даже от самих себя. Такое лицемерное использование религии ради политических целей, естественно, оправдывалось тем, что большинство людей либо дураки, либо злодеи, либо то и другое вместе; без страха перед загробной карой невозможно усмирить их темные страсти, которые всегда представляют угрозу общественному порядку. Некогда Бог считался верховным судьей. Теперь получается, что дьявол служит исполнителем воли Божьей, так как он умеет лучше воздействовать на человеческое воображение. Политические теоретики, исходившие из подобных предпосылок, полагали, что если бы не было черта, его надо было бы придумать.

Впрочем, если эти вполне «секуляризованные» наставники на слова готовы были признать христианский тезис о том, что политика не может обойтись без религиозной легитимации, то это вовсе не означало, что священнослужители или папа должны контролировать монарха; это означало лишь, что светский государь должен оказывать услуги Церкви. Тем самым признавалось, что здоровый политический строй нуждается в небесных защитниках — если не реальных, то хотя бы воображаемых — и что самые отвязленные враги Церкви одобряют это подобие извращенной теократии (но не «клирократию»!).

Все это, однако, не так просто. Дьявол старается — и подчас небезуспешно — обратить благо во зло. Бог тоже не дремлет. Он знает, чем ответить врагу, и умеет перековывать зло и разрушение в орудия исполнения своих собственных планов. Пускай черту удалось подорвать здоровый порядок, в результате чего политика съехала на второразрядный уровень и власть кесаря обрела приличествующую законность лишь благодаря санкции папы. Нечистый может вернуть политике независимость и право на самоопределение и с помощью искусства и философии. Однако этот разрубленный мир все-таки не ускользает из-под божественного контроля, из беспорядка рождается новый порядок, заговор адских сил побежден, и должен начаться новый этап на пути к совершенству.

Чтобы постичь пути Господни, мы должны отдать себе стчет, по каким причинам Бог не может просто приказать дьяволу исчезнуть, не может его пленить и вывести из игры. Ответ, который дает христианская теодицея на протяжении многих веков, гласит: разум неотделим от способности творить зло (то есть от свободы), поэтому Бог, коль скоро он сотворил существа, наделенные разумом, принужден допустить существование зла.

Это ядро теодицеи четко выкристаллизовалось уже в раннем христианстве. Мы находим его в гомилии Василия Великого, где между прочим сказано: ежели будем бранить Творца за то, что он не создал нас неспособными к греху, то получится, что надо предпочесть неразумную и пассивную природу разумной, активной и свободной. К аналогичному взгляду пришел Ориген. Если, говорит он, человеческие существа слабы, если им приходится страдать и напрягать все силы, чтобы выжить, то причина этому та, что Бог желает подстрекнуть их изобретательность, ум и расторопность; это было бы невозможно, когда бы люди могли вести сыгтую и ленивую жизнь. Короче говоря, страдание, на которое природа обрекла человеческий род, есть условие прогресса. Боль, которую люди причиняют друг другу, вытекает из их способности творить зло, но эта способность — часть их свободы, той свободы, которая позволяет им делать добро.

В этом и состоит центральный пункт богооправдания: творение есть акт любви, а взаимная любовь между творцом и тварями мыслима лишь постольку, поскольку Божьи дети — это разумные существа, которые могут творить добро по своей воле. Добрые дела, которые совершаются вынужденно, в моральном смысле не являются добрыми; способность же добровольно творить добро предполагает и способность причинять зло. То есть любящий Творец мыслим лишь на фоне зла, лишь при условии существования зла, в противном случае творение лишилось бы цели и смысла. В ранних теодицеях даже признается в неявной форме, что Бог связан законами логической сообразности и потому не может создавать противоречивые миры. Вот почему логически необходимо, чтобы ход вещей в мире был бесконечной игрой, в которой добро и зло пытаются одержать верх друг над другом. Но в конце концов победит добро — таково обетование, данное в откровении.

Допустим, что когда Церковь утратила мировое господство и политика как практическая деятельность и как сумма теоретических установок добилась — по крайней мере, на Западе — независимости от церковных институций и доктрин, это было результатом долгих и терпеливых усилий дьявола. Тогда мы, конечно, сразу должны подумать о том, какой ответный ход сделает Бог. Но в том-то и дело, что нет уверенности в том, что этот процесс автономизации — дело рук черта и больше никого.

Бесспорно, развитие, в ходе которого разные области жизни получили самостоятельность и были вынуждены создать для себя собственные основания, вместо того чтобы перенять их в готовом виде из религиозной традиции, — было абсолютным условием всех достижений и всех поражений Нового времени. Высвобождение из-под опеки религии дало возможность шире развернуться человеческому потенциалу. Следовательно, в христианских категориях эту историю можно, пожалуй, рассматривать как новую *felix culpa*, как некое повторение первородного греха. Не будь первородного греха, прародители человечества увязли бы, как в болоте, в своей безнадежной невинности и произвели бы потомство, живущее вне истории и не способное к творчеству.

Утвердив автономию всех сфер человеческой деятельности. Просвещение не могло уберечь их от проникновения зла. Эта автономия не могла не привести к тому, что разные сферы деятельности вступили в конфликт друг с другом. Возникла своеобразная метафизическая система *checks and balances*, то есть то, что государственное право именуется принципом взаимозависимости и взаимоограничения разных видов власти. Религия больше не пытается (в западных странах) навязывать свои стандарты науке, искусству и политике. В итоге

черти, откомандированные для своей подрывной работы в эти обособленные сферы, уже не могут беспрепятственно сотрудничать, но скорее мешают друг другу.

На первый взгляд кажется, что политика — как и секс — представляет собой любимый охотничий заповедник дьявола, так как именно политика несет прямую ответственность за войны, преследования и все мыслимые и немыслимые злодеяния, какие порождает борьба за власть. Но когда анализируешь исторические процессы, трудно решить, кто и как конкретно должен за все это отвечать. Что касается искусства, науки и философии, то они по сравнению с политикой выглядят безобидными, однако эта невинность может быть обманчивой, так как искусство, наука и философия оказывают свое действие в куда большем диапазоне времени. Демоны политического департамента могут быть необстрелянными новичками. Зато те, кто орудует в искусстве, в философии, в науке, обязаны быть намного умней, тоньше и осмотрительней. Зло, творимое тиранами и завоевателями, — это зло сознательное, легко опознаваемое и отчасти предсказуемое.

А вот зло, вину за которое на протяжении веков возлагали на великих мыслителей и художников, зло, будто бы причиненное творческим гением Платона, Коперника, Декарта. Руссо, Канта или Вагнера, зло, не получившее единой международной оценки, — кто может его идентифицировать и тем более предсказать? Каким надо быть изощренным мастером, чтобы исподтишка отравить достижения всех благодетелей человечества, чтобы предвидеть, к каким изменениям человеческого сознания приведет его деятельность, чтобы направлять эти изменения и использовать их на потребу ада!

IV. Парадокс теократии.

Не есть ли это дьявольское изобретение?

Комментарий к ответу Иисуса фарисеям.

Отнюдь не доказано и во всяком случае сомнительно, чтобы стремление к теократии изначально содержалось в духовном багаже христианства, а дьявольские силы стремились бы только его реализовать. Вопреки всему, что нам известно о притязаниях Церкви на светскую власть, христианство никогда не было в строгом смысле слова теократическим. Церковь мучеников наперняка не была. Больше того, христиане были склонны рассматривать себя как чужеродное образование в языческом мире, а светские власти — как своих естественных врагов. Но даже когда Церковь одержала победу и находилась на вершине своего, как оказалось, преходящего могущества, не было оснований называть ее теократической.

Конечно, знаменитый документ, который обычно цитируется как свидетельство теократических амбиций и в самом деле ближе всего подходит к этому идеалу, — булла *Unam Sanctam* папы Бонифация VIII (1402 год) — провозглашает приоритет духовного меча перед физическим, устанавливает, что земные власти, коли они отклонились от добра, должны быть исправляемы Церковью, что мужи Церкви суть начальники над светскими правителями и что все люди подчинены папе. Доктринальной основой этих притязаний является представление о непогрешимости Церкви, которая одна лишь способна определять, что есть грех и что добродетель. Во всех делах и начинаниях, к которым примешан грех и которые требуют очищения от греха, при необходимости — мечом — светские власти обязаны покорствоваться Церкви.

Фактический масштаб притязаний папы на власть зависел от случайного стечения исторических обстоятельств; то, что подпадало под определение «духовных дел», никогда не могло быть однозначным, ведь почти все виды человеческой деятельности так или иначе соотносятся с нравственностью. Кажется, что два постулата: «Церковь не имеет власти в мирских делах» и «Церковь обладает властью в духовных вещах» логически совместимы или по меньшей мере дополняют друг друга. Но так как границу между двумя этими сферами можно проводить очень и очень по-разному, постулаты эти — мы хорошо это знаем — противоречат друг другу. Тот, кто опирается на первый тезис, хочет ограничить либо даже отменить церковную власть, тогда как сторонники второго тезиса стремятся эту власть расширить. Теоретически все зависит от того, как мы будем разграничивать *temporalia* и *spiritualia*, «временное» (мирское) и «вечное» (духовное или церковное). Теократические претензии представляются легитимными лишь при условии, что наше поведение так или иначе определяет спасение души.

Но можно взглянуть на дело иначе, можно утверждать, что плутократические вождения привнесены в христианство силой дьявольских искушений. С другой стороны, даже самые смелые притязания на мирскую власть — будь то в теоретической форме, как в упомянутой булле и в писаниях Эгидия Римского или в практической политике папства, например, в эпоху Иннокентия III, — строго говоря, не были теократическими. Они не имели целью заменить королевские, княжеские или судебные институты прямой властью клира и не стремились стереть разницу между двумя видами власти.

Аргументом, на который чаще всего ссылались, чтобы обосновать разделение власти, были, разумеется, слова Иисуса: «Отдавайте Кесарю...» (Мф. 22, 15–22; Мк. 12, 13–17). Как мы узнаем из Евангелий, этим ответом Иисус обошел ловушку, которую расставили для него фарисеи. Нетрудно видеть, что это была за ловушка.

Если бы он сказал: нет, не надо платить налогов, он дал бы повод обвинить себя как политического бунтовщика. А если бы наоборот, посоветовал платить налоги, то предстал бы в глазах людей как коллаборант или приспособленец. Ответ должен был заключать обоюдный смысл. Конечно, вычитать из такого ответа общую теократию двух независимых или хотя бы отчасти не зависящих друг от друга и одинаково правомочных сфер власти значило бы дать словам Христа слишком изощренное, натянутое толкование. Тем не менее слово Иисуса полностью согласуется с его учением, если считать, что он хотел сказать следующее: отдай кесарю земные блага, которых он вожделеет; перед лицом грядущего Царства Божия власть кесаря все равно недолговечна; невелика фигура этот кесарь, все его величие исчезнет без следа. Близкий и неизбежный Апокалипсис — вот постоянный фон проповеди Иисуса.

Ученики Иисуса не получили от него ни теократических обещаний, ни сколько-нибудь отчетливой теории двойного источника власти. Он заповедал правила нравственности всеобщего значения. Понятно, что его последователям пришлось самим формулировать моральные критерии и оценки во всех областях жизни, включая политику, войны, секс, коммерцию, труд. Задача состояла в том, чтобы решить, что здесь зло и что благо. Учение Иисуса не содержит опорных пунктов, исходя из которых можно использовать инструменты власти с тем, чтобы прямо или косвенно осуществить его указания. Да и вообще странно было бы говорить об этически благих делах, которые совершаются по физическому принуждению.

V. Хроника военных действий.

Неудачная атака дьявола в 30 году н.э.

Колебания Лютера и реванш адских сил: идея гуманизма.

Дьявол не дремлет. Бог тоже не спит. Общую историю их борьбы друг против друга можно описать, выделив четыре фазы. Первая фаза — дьявол затеял преследование христиан, однако эта любовая атака обернулась против него самого. Кровь мучеников оросила почву, на которой предстояло расцвести Церкви, как оно и было предсказано. Христианство торжествовало победу. Тогда дьявол решил погубить его блеском светской власти и соблазном евангелизировать мир мечом. Он убедил Церковь в том, что ей необходимо завладеть политическими институтами. Аргумент дьявола был следующий: так как надобно почитать Бога и только его одного, политическая деятельность не может иметь собственных целей, но должна получить их от Церкви и следо-

вать вердиктам Церкви. Нужно признать, что дьявол необычайно эффективно использовал этот ложный тезис, навязав его Церкви. Все же успех дьявола не был стопроцентным, — христианство располагало кое-какими внутренними барьерами, защищавшими его от искушений абсолютной теократии. Одним из этих барьеров было уже упомянутое нами толкование фразы Иисуса о римской монете: светская политика имеет легитимные права в своей области и, значит, обладает определенной автономией (толкование, на мой взгляд, чрезвычайно убедительное, и оно могло бы послужить еще более мощным барьером, хотя и обычная практика была достаточно эффективной).

Другим барьером против дьявольских козней была вера христианства в дьявола, вера в зло и первородный грех. Теократия — это христианская или псевдохристианская утопия, мечта о совершенном мире, который построен на земле под началом Церкви и в котором уничтожен грех. Евангельское предание и традиция Церкви мучеников противоречили этому обманчивому видению: они, эти традиции, внушали мысль, что мученическая кровь будет проливаться здесь и там до скончания времен и что зло, сколько с ним не борись, не может быть искоренено. Рай на земле, моральный или материальный, рай, наступивший до Второго пришествия, есть не что иное, как суеверие, порождаемое человеческой гордыней.

Теократическая мечта предполагает в явной или неявной форме образ человечества, покончившего со случайностью, но также и со свободой: застывшее совершенство, в когда у человека отняты всякая возможность и всякий повод грешить, а с ними и всякая свобода; ибо свобода и грех в христианском учении нераздельны. Относительную автономию политики нужно рассматривать как часть неизбежного несовершенства, присущего людям, попытка преодолеть силой это несовершенство принесла бы несравненно больше зла. Пускай Церковь как *corpus mysticum* (мистическое тело) непогрешима, — человеки, ее дети, греховны, им свойственно ошибаться, и потому Церковь — земной организм. Сосредоточение всей власти в ее руках имело бы катастрофические последствия и для эволюции человечества, и для самого христианства. Дьявол, разумеется, это знал. Его первое вмешательство в христианский (или даже еще в предхристианский) миропорядок относится примерно к 30 году нашей эры: это было известное искушение Христа земным величием и царством. Иисус не поддался, но большинство людей клонуло бы, конечно, на эту приманку.

Так началась третья фаза сражения. Ей предстояло проложить новые пути развития человечества, и заключалась она в прогрессирующем рассеянии власти; политика и другие области, в которых могла найти

приложение человеческая энергия, обретают все большую самостоятельность. То была опасная игра. Бог применил тактику, к которой он, как мы знаем из Ветхого Завета, уже не раз прибегал, когда насылал на свой народ через его врагов крушения и войны.

В Новое время ему пришлось, как и прежде, отказаться от намерения улучшить человеческий род, отнимая у него свободу. Чтобы подвергнуть нашу порочность решающему испытанию. Бог должен был двинуть в ход своих собственных врагов, — настала эпоха Просвещения.

Задачей Просвещения было, между прочим, освобождение политики из пут религии. Церковь взяла на себя так много разных видов политической ответственности, захватила такую власть, до такой степени запуталась в военных авантюрах и дипломатических интригах, накопила столько богатств, превратившихся мало-помалу в самоцель, что должна была одновременно — чего и добивался Бог — и очиститься, и вернуться к тому, что составляло ее подлинное назначение, ее собственную задачу. Задачу эту взяло на себя реформаторское движение внутри Церкви. Снова две стороны одной и той же древнеримской монеты.

Дьявол, как и следовало ожидать, усердно трудился над обеими сторонами этого процесса, причем достиг блистательного успеха. В рамках Просвещения его цель была убедить людей, что мало освободить политику от религиозного контроля и отделить Церковь от государства; прогресс человечества состоял, по мнению дьявола, в полном забвении религиозной традиции — если надо, при помощи силы. Он придал Просвещению антихристианскую форму и разработал с помощью многих выдающихся умов идею гуманизма, основанную в первую очередь на безбожии. Тем самым он способствовал формированию представления о политике как беззастенчивой борьбе за власть, борьбе, в которой власть признавалась наивысшим благом.

Гораздо трудней была задача использовать в своих целях идеал христианства, стремящегося отряхнуться от земного загрязнения и вернуться к своей исконной чистоте. Выяснилось, что черт дорос и до этой задачи.

Тоска по утраченной невинности, по апостольской жизни, страстное желание открыть новую эпоху незапятнанного существования составляла сильнейший идеологический заряд народно-еретических движений позднего Средневековья; сюда надо отнести и Реформацию. Судьба Реформации, однако, ясно показывает, как дьяволу удалось обработать для своих целей по видимости безупречное решение Церкви вернуться к бедности и отказаться от посягательств на светскую власть и величие.

Это произошло через немногие годы после впечатляющего вступления Лютера в европейскую историю. Так как дело христианства есть, собственно, спасение индивидуальной души и так как, согласно Лютеру, это спасение совершается через веру, каковая есть дар Божий, то ни папа, ни Церковь в целом не в состоянии простить наши грехи, а так как все, что творится без веры, греховно, то из всего этого естественно следует, что зримой Церкви больше нечего делать и надо бы ее, вообще говоря, просто ликвидировать.

Радикалы разного толка в стане Реформации фактически и сделали этот вывод. Они обвиняли Лютера, который так далеко не шел, в непоследовательности. Вначале Лютер думал лишь об оздоровлении совести христианского народа и, по-видимому, верил, что безнадежно коррумпированный, подпавший под власть сатаны мир еще можно как-то поправить. Решившись реформировать мир, Лютер, однако, был вынужден пойти на компромиссы. Вполне пластичного материала не существует, и коли мы хотим придать ему желательную форму, мы обязаны считаться с его неизменными свойствами, другими словами, отказаться от идеала и искать компромиссных решений между тем, о чем мечтали, и тем реальным материалом, с которым приходится работать. Нужно отбросить радикальную дихотомию «все или ничего» и попробовать улучшить мир, уповая на то, что он все-таки не прогнил до конца.

Но хотя лютерова реформа признавала неизбежность или необходимость зримой Церкви, реформа прервала ее богохранимую традицию, разрушила святость клира и апостольскую преемственность. Церковь стала частью секулярной жизни. Результат был тот, что она оказалась под началом гражданских властей.

*VI. Реформация. Дьявол одержал верх и торжествует.
Напрасно! Неожиданный контрудар Бога.*

Это был грандиозный триумф дьявола. Реформация начала с нападков на христианство, погрязшее в земных вожделениях и возжаждавшее мирского могущества, а кончила идеей, которая перевернула теократию кверху дном, Реформация превратила Церковь в служанку светской власти.

Этого мало. Церковь должна была огосударствиться, то есть секуляризоваться, — обратной стороной все той же монеты было освящение секулярных властей, которые получили теперь прямую божественную санкцию. Что означает это причисление гражданской власти к лику святых, можно понять из знаменитого письма Лютера 1523 года. Каж-

дому понятно, что государству нужны не только ремесленники и крестьяне, но и судьи, палачи, солдаты. Поэтому быть палачом, собственно говоря, ничуть не позорней, чем быть сапожником. Отсюда Лютер весьма последовательно выводит, что Иисус Христос только потому не был сапожником или палачом, что занимался другими делами. Иначе говоря, можно представить себе Иисуса и в должности палача (его земной отец был плотник), и можно вполне допустить, что сам Иисус, прежде чем приступить к исполнению своей миссии в Галилее, был тоже плотником, а это вполне уважаемая профессия, — почему мы не можем сказать того же и о ремесле палача? Но и это еще не все. Реформация секуляризовала христианство не только как институцию, но и как доктрину. Это было все равно что воткнуть себе в сердце нож, ничего худшего зачинатели Реформации не могли себе представить. Тут дьявол добился поистине сногшибательных результатов. В свою очередь его достижения привели вот к чему.

Дабы возродить христианскую жизнь в ее исконной чистоте. Реформация отвергла традицию догматических толкований, даваемых папами и соборами в качестве авторитетного источника наряду с Писанием. Отныне Библия должна была оставаться единственным кодексом веры. Но тогда встает вопрос, кто, собственно, уполномочен толковать библейский текст. В принципе это может делать каждый человек, коль скоро он внимает голосу духа святого. А что же Церковь? Церковь как общественная организация в таком случае вообще не нужна, ибо каждый, не исключая одержимых бесом и еретиков, вправе будет претендовать на особое откровение и озарение, никакой обязывающий канон более не имеет значения. Надежная опора толкователей-экзегетов — нерушимый, освященный веками церковный авторитет — исчезнет, и у них останется единственный инструмент — их собственный разум. Но этот инструмент опасен, всегда можно сказать, что он проклят, испорчен или отравлен дьяволом.

Так Реформация, в разительном противоречии со своими исходными импульсами, породила пугающую идею религии разума. Реформация стала школой деизма и рационализма. Боссюэ в своей «Истории многообразных протестантских церквей» («Histoire des variations des Eglises Protestantes»), шедевре контрреформационной литературы, формулирует проблему с подкупающей ясностью: «Говорят, что совесть — истинный суд, на котором всякому надлежит судить о вещах и повиноваться истине. Легко сказать! Меланхтон говорил это, говорили и другие; но в сердце своем он знал, что надобен иной принцип, дабы построить церковь». Должны ли мы распахнуть двери перед каждым, кто утверждает, что он посланец Божий? Что бы мы ни делали, нам

придется вернуться к авторитету, которого законность и основательность состоит лишь в том, что он происходит свыше, а не покоится на самом себе... Если бы он (Меланхтон) понимал это, он никогда бы не вообразил, что истину можно обособить от тела, в коем заключены предметство и правильный авторитет».

«Причина брожений, какие мы видели в отделившихся телах, — продолжает Боссюэ. — состоит в том, что они не знали авторитета Церкви и обетовании, полученных ею свыше, — коротко говоря, не знали, что такое Церковь... Тем самым еретиков предоставили выводам человеческого разума, предоставили их собственным страстям».

Другими словами, дьявол превратил Реформацию в Просвещение: достижение немалое. Бог, дабы предотвратить опасность теократии, то есть порчи христианства, когда оно становится светской властью, с одной стороны, и удушения творческого потенциала человека — с другой, должен был ослабить связь между религией и политикой и предоставить политике известную автономию — осмелимся думать, скорее институциональную, чем моральную.

Черт встрял в этот процесс и сумел направить его в два русла, которые в конечном счете слились. Он способствовал огосударствливанию религии. И он же придал Просвещению антихристианский облик. В результате политика была вынуждена создавать правила для самой себя *ex nihilo*, отчего она в конце концов съехала на уровень пошлейшей борьбы за власть.

Эти успехи, однако, не удовлетворили черта. Ради достижения своих целей он должен был всемерно поощрять свободу. А свобода есть дело божественное, как бы дьявол ни старался ею злоупотребить и что бы ни говорил о ней Мартин Лютер. Коль скоро политика была предоставлена самой себе, ей пришлось заменить истину консенсусом, чем-то вроде общей договоренности относительно того, что считать истиной. Фактически это один из краугольных камней демократии: консенсус отнюдь не предусматривает, что его участники — благословенные обладатели истины. Большинство призвано править не оттого, что оно право, а лишь потому, что оно — большинство; иного, большего не требуется.

В намерения дьявола это не входило. Вопреки его ожиданиям, политика, вынужденная сама строить свой фундамент, становилась менее, а не более жестокой (правда, черт мог утешаться тем, что этот неприятный итог — всего лишь религиозный пережиток, уступка традициям, — верно ли такое объяснение, этот вопрос я оставляю открытым). Божественный дар свободы получил больше, а не меньше возможностей распространяться и утверждать себя.

VII. Новое оружие сатаны — государство истины.

Итак, дьяволу ничего не оставалось, как применить новое оружие; тут ему в голову пришла самая блестящая идея. Началась четвертая фаза соревнования, которая разыгрывается в нынешнем веке, на наших глазах.

Дьявол решил вернуться к старому понятию политики, основанной на истине, — в противоположность договору, или консенсусу. Дьявол изобрел идеологическое государство: легитимность этого государства заключается в том, что его правители — собственники истины. Выступая против такого государства или такой системы, мы автоматически становимся врагами истины. Отец лжи обратил идею истины в свое мощнейшее оружие.

Истина по определению универсальна, она не привязана к тому или иному народу или государству. Народ и держава отныне не просто народ и не просто государство, которое отстаивает свои особые интересы, обороняется или расширяется, захватывает новые территории, становится империей и так далее. Теперь государство — это носитель универсальной истины, как в далекие времена крестовых походов.

Дьявол, как любили говорить средневековые богословы, — *simia Dei*, обезьяна Господа. Придумав идеологические государства, дьявол создал карикатурное подобие теократии. На самом деле новый порядок был еще более полным и всеохватывающим, чем христианские государства прошлого, так как порядок этот устранил всякое отличие светских инстанций от религиозных и сосредоточил в одном месте всю материальную и духовную власть. Этому государству дьявол подарил не только инструменты насилия и образования, но и все богатство народа, и даже самый народ. Теократия (точнее алетейократия, господство истины) обрела в определенную эпоху почти совершенный облик.

Характер войн от этого, разумеется, изменился. Со времени Второй мировой войны столкновения происходят главным образом во имя универсальной истины, иначе говоря, становятся гражданскими войнами. Как во время гражданской войны, все правила поведения теряют свою силу. Пленных чаще всего убивают — либо под угрозой смерти заставляют их перейти на сторону их бывших врагов, что не является изменой, так как речь идет о том, чтобы перейти от заблуждения к истине, а приобщение к истине — не измена, а обращение и просветление... Так что и понятие измены изменилось; его теперь можно применять лишь к тем, кто покидает сторону обладателей истины.

Возникает впечатление, что дьяволу великолепным образом повезло с его новым изобретением; и все же имеются признаки того, что

его триумф может оказаться недолговечным, вопреки всем ужасам, которые принесла с собой придуманная им игрушка. Однажды возникнув, идеологические государства обнаружили исключительную сопротивляемость. Тем не менее они явно пришли в упадок. На поверхности они все еще — инкарнация истины, которая обосновывает их легитимность. Но когда им нужно в самом деле подвинуть к чему-то их граждан, они ссылаются уже не на универсальную истину, а на интересы нации, патриотизм, имперскую славу, государственные соображения, апеллируют к расовой ненависти — что особенно бросается в глаза в коммунистических странах. В известной степени им удастся добиться желаемого, но их успехи лишь обнажают гротескный разрыв между реальностью и ее словесным облачением. То, что их «истина» — блеф, обнаружилось с неопровержимой очевидностью. Но признать это открыто было бы катастрофой. И они пускаются на всевозможные полумеры, чтобы как-то подпереть рассыпающееся здание.

*VIII. Пока что ничья. Что будет дальше?
О красоте истории и величии Творца.*

Конечно, в запасе у дьявола есть и другие идеи. Он не только воздвиг бастионы истины, но весьма хитро пытается протащить истину в качестве замены договору и консенсусу в демократические институции. Он ухватился за принцип большинства, чтобы перетолковать его, а именно, он нашептывает на ушко прельстительную идейку насчет того, что, мол. раз большинство всегда право, то оно правомочно поступать, как ему заблагорассудится, а значит, имеет право и отменить самый принцип большинства... Это, как мы знаем, далеко не праздный вопрос: может ли демократическое государственное устройство с согласия большинства лишиться правовой силы само себя? Может ли оно, не противореча собственным принципам и основам, ликвидировать себя, так сказать, совершить самоубийство? (Аналогичный вопрос: может ли папа римский с непогрешимостью объявить, что он не непогрешим?) Над этим задумывались разные мыслители, от Карла Шмитта (до того, как он стал нацистом) до Джеймса Бьюкенена. Поскольку большинство право именно потому, что оно большинство, это может случиться; меньшинство же, будучи по определению сосудом лжи и носителем заблуждения, заслуживает того, чтобы его уничтожить.

Я не верю в то, что дьявол, не мытьем так катаньем, одержит победу в своих усилиях упразднить свободу, то есть человеческое существование. Люди нуждаются в духовной защищенности и как раз поэтому способны уступить дьявольскому искушению идеократического госу-

дарства. Но люди хотят остаться людьми, то есть отстаивать свою свободу, подвергая сомнению любой порядок, не доверять никаким истинам, вторгаться в неразведанные области духа. Потребность в защищенности свойственна человеку не больше потребности исследовать неизвестное. Клаузевиц замечает в своей классической книге: хотя наш разум стремится к ясности и достоверности, дух наш нередко влечется к неизвестному и неопределенному; он предпочитает в воображении остаться на почве случайности, нежели реально прозябать в нищенской необходимости, он тешится богатством возможностей, и у мужества, которое благодаря этому вновь оживает, вырастают крылья: оно бросается в стихию опасности, как бесстрашный пловец — в ревущий поток. Вот почему везде есть место непредвиденному — в большом и малом.

Лешек КОЛАКОВСКИЙ

ПОХВАЛА ИЗГНАНИЮ

Ставшая обычной в двадцатом столетии фигура интеллектуала в изгнании могла бы гордиться своей духовной родословной — от Эмпедокла и Овидия, через Данте, Оккама и Гоббса до Шопена, Мицкевича, Герцена, Гюго. Но в наше время эмигранты чаще оказываются беженцами, а не изгнанниками в прямом смысле слова; как правило, их не депортируют из страны и не изгоняют по закону; они убегают сами — от политического преследования, тюрьмы, смерти или просто от цензуры.

Это важная разница, ибо она влечет за собой определенные психологические последствия. Многие добровольные изгнанники, ускользнувшие от тиранических режимов, не могут избавиться от чувства внутреннего беспокойства. Им больше ничто не грозит, они свободны от притеснений, каким ежедневно подвергаются их друзья или вся страна, — с которой, однако, они по-прежнему себя отождествляют. Неизбежна, таким образом, некоторая раздвоенность, и потому невозможно установить критерии, по которым можно было бы отличить оправданное самоизгнание от неоправданного. Изменилось бы что-нибудь для Эйнштейна или Томаса Манна, если бы они остались в гитлеровской Германии, или Шагала, если бы он не уехал из своего Витебска? Последствия, надо думать, бы ли бы катастрофическими. С другой стороны, в СССР и в Польше есть немало людей, которых правители с удовольствием отправили бы за границу, — но эти люди упорно отказываются ехать, подчас выбирая взамен тюрьму, преследования и нищенское существование. Кто осмелится сказать, что они не правы? Солженицына и Буковского пришлось силой выдворять из Советского Союза. Многим руководителям «Солидарности» предложили свободу в обмен на эмиграцию — и они отказались; некоторые снова в тюрьме, другие, возможно, окажутся там вскоре. Милан Кундера покинул Чехословакию, а Чеслав Милош — Польшу; им удалось претворить свой опыт в значительные достижения современной литературы. Гавел остался в своей стране, так же поступил Херберт; им обязаны мы очень многим. «Доктор Фаустус» — плод эмиграции, как и романы Набокова, как произведения Джозефа Конрада, Эжена Ио-

неско или Артура Кестлера; однако «Архипелаг ГУЛАГ» едва ли мог написать изгнанник. Невозможно решить, при каких условиях добровольное изгнание предпочтительней, целесообразней, лучше, — если можно вообще говорить о пользе изгнания.

Говоря об интеллигенте вне родины, мы почти автоматически думаем о человеке, бежавшем от той или иной разновидности тирании. Предполагается, что эмиграция — все-таки лучший выход. Для России с ее огромными пространствами характерной является внутренняя ссылка. Такая ссылка соединяет в себе худшие стороны обоих вариантов: человек лишается родины, не будучи избавлен от репрессивного режима. Здесь, как и повсюду, существуют разные степени страданий: достаточно сравнить ссылку Пушкина под начало генерала Инзова в Кишинев со ссылкой академика Сахарова в Горький. Можно, конечно, сказать, что ссылка в отдаленные районы страны имеет все же и некоторые преимущества по сравнению с высылкой за границу: нет такого чувства оторванности, отсутствуют сложности с иностранными языками и т.п. Эти преимущества очевидны для того, кто прочно врос корнями в родную землю. Но что в конце концов хуже?

Ответ можно попытаться найти в судьбе самых опытных беженцев, изгнанников по преимуществу — евреев. До тех пор, пока они жили в гетто, защищая свою особость непроницаемой броней весьма сложных ритуалов и табу, евреи могли выдвигать из своей среды выдающихся талмудистов и комментаторов закона, но в целом их духовная жизнь по необходимости была изолированной. Со времени рассеяния многие поколения евреев жили как эмигранты, но они не были иностранцами за стенами своего гетто. В своем сердце евреи бережно хранили и лелеяли потерянное, воображаемое отечество, оставаясь более или менее безразличными к культуре внешнего мира. В этом смысле верующему хасиду было все равно где жить: в Варшаве или в Буэнос-Айресе. Но как только под влиянием эмансипации (не следует забывать о сомнительных аспектах этого многозначного понятия) стены гетто начали рушиться, евреи с удивительной быстротой и энергией вторглись в духовную жизнь Европы. Некоторым из них, подобно Марксу, Фрейду и Эйнштейну, было суждено покорить мир; тысячи других заняли почетное место среди духовной элиты многих стран и во всех сферах культуры, в науке, искусстве, медицине, политике. Евреи стали изгнанниками в современном смысле слова после того, как изгнали себя из своего коллективного изгнания. Ибо вопреки всем усилиям, они — или по крайней мере, большинство из них — не смогли полностью отрешиться от прежнего самосознания и ассимилироваться до конца. Народы, среди которых они жили, смотрели на них как на инородное включение; воз-

можно, именно эта неопределенность, эта нехватка строго очерченного самосознания, позволила им шире и глубже видеть то, что ускользало от взгляда укорененного большинства, спянного чувством духовной близости. Иногда кажется, что именно антисемиты (до тех пор, пока на стол не был выложен последний козырь — газовые камеры) в значительной мере помогли колоссальным достижениям евреев: лишив их моральной и интеллектуальной безопасности национального существования (французского, польского, русского или немецкого), враги евреев оставляли их в привилегированной позиции посторонних.

То, что посторонний обладает преимуществом более трезвого и объективного познания, не подлежит сомнению. Гость часто видит вещи, которых местный житель не замечает, ибо они для него — рутина (вспомним о туристе в Америке, которого звали Алексис де Токвиль). С точки зрения Библии, изгнание — естественный удел человечества на этой земле. Можно пойти дальше и сказать, что миф об изгнании в той или иной форме лежит в основе всех религий и включен в любой подлинно религиозный опыт. Идея его сводится к следующему: наш истинный дом не здесь. Существует, однако, по меньшей мере два противоположных толкования этой идеи. Презрение к земным делам и заботам или даже к самой жизни с ее неизбывным страданием — вот вывод, к которому приходит буддийская мудрость. Другая концепция — земное изгнание как путь, ведущий к Отцу. Такова господствующая теза иудео-христианской мысли. Суть христианского представления о жизни можно выразить так: мы живем в изгнании и его цели и ценности должны рассматриваться как относительные, все они подчинены высшей Целности и Цели. Вместе с тем нельзя отрицать их реальность; игнорировать их мы не вправе. Природа, тварный мир — это противник, которого надо покорить, но не отрицать.

Предположим, что теологи правы и наши предки в Эдеме познали бы плотскую любовь и произвели потомство, даже если бы они устояли перед искушением и остались в счастливом неведении Добра и Зла. Все же они никогда бы не смогли породить то человечество, каковым мы являемся, — расу, способную к творчеству. Именно грех и последующее изгнание из Рая, со всеми его муками и опасностями, лишило прародителей божественной безмятежности, поставило их лицом к лицу со злом, риском, заставило бороться и страдать — другими словами, создало основу человеческого существования. Творчество возникло из неуверенности, из сознания своей обездоленности, из опыта бездомных.

Философия может попросту отрицать факт изгнания или хотя бы игнорировать его; именно так поступили приверженцы эмпиризм-

ма, натурализма, материализма и всевозможных псевдонаук. Философия может принять этот факт, попытавшись указать дорогу к окончательному примирению человека с Абсолютом, — таков подход гегельянцев. Наконец, она может признать факт изгнания, но не согласиться с тем, что наше положение поправимо; тем самым она осуждает нас на неутолимую ностальгию по несуществующему раю. Экзистенциализм XX века добился, пожалуй, наибольших успехов в выражении этого мрачного взгляда.

Христианскую идею первого изгнания можно расширить и применить ко второму — изгнанию из изгнания, — и к третьему, и к четвертому. (Можно, к примеру, сказать, что Спиноза был «изгнанником в четвертой степени»: его исключили из еврейской общины, осевшей в Амстердаме после того, как ее изгнали из Португалии, где евреи жили как изгнанники из Земли обетованной, которую Бог дал им, изгнав из Эдема.) Любое изгнание можно рассматривать или как несчастный случай, или как вызов; изгнание способно ввергнуть в отчаяние, но может служить и источником своеобразного воодушевления. Мы можем говорить на иностранном языке просто потому, что нам не остается ничего другого, — а можем попытаться открыть в нем лингвистические сокровища, неведомые нашему родному языку и обогащающие наш разум. Мы можем противопоставить свою точку зрения — взгляд иноземца — точке зрения местного жителя и тем самым посеять в его душе зерна тревожного сомнения, которые дадут плоды, полезные для нас обоих. Современная история изобилует примерами этого рода. Мне не известна ни одна работа, специально исследующая культурную роль различных эмиграции в истории Европы. Но ясно, что если бы не многочисленные высылки и добровольные изгнания по религиозным или политическим мотивам, если бы не все эти беженцы и бродяги, интеллектуальная и художественная жизнь нашего континента выглядела бы сейчас иначе. Она была бы много бедней. Вспомним хотя бы о гугенотах в Англии и Голландии, об итальянских христианских радикалах и унитариях, искавших убежища в отличавшейся тогда редкой терпимостью Польше во второй половине XVI века; о польских унитариях в Западной Европе конца XVII века, которые несли с собой идеи Просвещения; о евреях, изгнанных из стран Иберийского полуострова и перекочевавших в Центральную Европу. Вспомним, обратившись к нашему времени, беженцев из восточноевропейских стран, находящихся под коммунистическим господством. Все они внесли свой вклад, порой чрезвычайно значительный, в цивилизацию приютивших их стран, хотя на них и смотрели подчас с подозрением и относились к ним не слишком дружелюбно. Эмигранты из нацистской Германии дали громадный толчок интел-

лектуальной жизни Америки (некоторые намекают, что по большому счету ничего, кроме вреда, это не принесло, — но кому известен этот «счет» и окончательные результаты?).

Мы должны, нравится нам это или нет, примириться с простым фактом: мы живем в эпоху беженцев, эмигрантов, бродяг, скитальцев, кочующих по странам и материкам и согревающих свои души воспоминаниями о родном доме — географическом, этническом, духовном, божественном, реальном или воображаемом. Абсолютная бездомность невыносима, она означала бы отказ от человеческого существования. Возможен ли абсолютный космополитизм? До нас дошел рассказ об Анаксагоре: когда его спросили, не тревожит ли его воспоминание о родине, философ ответил, что эти мысли его воистину волнуют, — и указал на небо. И сегодня некоторые говорят похожие вещи, желая подчеркнуть безразличие к стране, откуда они родом. Бог знает, верят ли они в это.

За отдельными людьми, бегущими от тирании или изгоняемыми, следуют, в некотором смысле, целые страны: народы таких стран, хотя им и разрешили остаться на родной почве, подверглись ограблению; их лишили права быть гражданами своей родины, хотя и оставили гражданами государства; их страны сами находятся под иностранным владычеством. Такова судьба — будем надеяться, временная — народов Центральной и Восточной Европы. Раскол между государством, которое люди не считают своим, и родиной, хранителями которой являются эти народы, низвел их до двусмысленного положения полуизгнанников. Несуверенное государство стремится лишить своих подданных исторической памяти, а коллективная память — это и есть, в конечном счете, отчизна. Если одна половина Европы лишена корней, что ждет другую половину? Не пыгается ли Бог снова напомнить нам о том, что изгнание — извечный удел человеческого рода? Воистину безжалостное напоминание, даже если мы его и заслужили.

Джеймс БИЛЛИНГТОН

ИРОНИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Послесловие к книге «Икона и топор» (1966)

Разбираясь в хитросплетениях истории, начинаешь понимать, что она заключает в себе некоторый иронический смысл. Чувство иронии удерживает историка где-то на полдороге между всеобъемлющими объяснениями в духе исторической школы XIX века и тотальным абсурдом, какой склонны находить в истории многие современные умы. Рейнгольд Нибур в своей «Иронии американской истории» дал следующее определение: ирония — это то, что «на первый взгляд кажется нелепой случайностью, но при ближайшем рассмотрении оказывается отнюдь не случайным». Ирония отличается от патетики тем, что вы берете на себя некоторую долю ответственности, констатируя нелепость; но она отличается и от фарса, так как в нелепости обнаруживаются скрытые связи; наконец, от трагедии ее отличает то, что здесь нет тайного знака судьбы, неумолимо подстроившей кажущийся нелепым ход событий.

Ирония если не успокаивает, то, по крайней мере, внушает надежду. Человек — не беспомощное существо в абсолютно бессмысленном мире. Он может что-то сделать в ситуации, полной иронии, но при условии, что он чувствует эту иронию и не уступает соблазну замаскировать нелепицу всеохватывающими объяснениями. Умение видеть иронию означает понимание того, что история смеется над человеческими притязаниями, но не враждебна человеческим устремлениям. Это позволяет надеяться и не дает обольщаться.

Применительно к истории ирония означает, что в историческом процессе есть некий рациональный смысл, однако человек — как участник этого процесса — никогда не умеет полностью ухватить этот смысл. Кажущаяся бессмыслица есть часть того, что Гегель называл «коварством разума». История, несомненно, несет в себе глубокий смысл, только вот до нас он доходит слишком поздно. «Сова Минервы расправляет крылья лишь с наступлением темноты» — эта вошедшая в пословицу фраза Гегеля завершает введение в его «Философию права». Иронично, но отнюдь не бессмысленно то, что поток истории всегда, как кажется, на один поворот обгоняет способность человека постигнуть ее. Сего-

дняшнее равновесие сил, как нам толкуют, есть равновесие или даже окончательное решение, достигнутое теми, кто сознательно проецирует тенденции современности в будущее, — не принимая, однако, во внимание более глубокие силы, которые обуславливают перемежающиеся (или «диалектические») изменения в истории человечества. Но такие изменения происходят — зачастую совершенно неожиданно — и находят для себя такие лазейки, которых никто не мог предусмотреть кроме одиноких мыслителей, чудаков, отказывающихся признать то, что давно и единодушно признали все умные люди. Новейшая история России полна таких неожиданностей: это и революция 17 года, и внезапный поворот к НЭП'у, вторая революция, совершенная Сталиным, и советско-германский договор о дружбе, послевоенный психоз позднего сталинизма и нечаянная оттепель после смерти тирана.

Обозревая панораму русской истории, проникаешься чувством неустрашимой иронии. В московский период наиболее яркие свидетельства исключительности судеб России явились как раз тогда, когда европейские формы жизни перенимались быстрее всего, — в эпоху Ивана Грозного и при Алексее Михайловиче. Писатели, с особой настойчивостью твердившие о своеобразии России — Максим Грек и Иван Пересветов при Иване Грозном, Симеон Полоцкий и Иннокентий Гизель при Алексее, — были людьми, получившими западное воспитание. Московские правители скрывали от самих себя ту очевидную несообразность, что одолжения, которые они принимают от Запада, растут одновременно с их враждой к Западу. Все спесивые притязания, присущие теологическому самосознанию старой Руси, только усиливались по мере сближения с Западной Европой. Маниакальная ненависть к чужестранцам, одинаково свойственная Ивану IV и старообрядцам, нашла устойчивый отклик в народе и подготовила основу для современной массовой культуры, на которую нанесли позолоту мнимой научности зоологические националисты конца XIX века и адепты диалектического материализма в XX.

На таком фоне деятельность царей-реформаторов в императорской России буквально на каждом шагу оборачивается иронией. Теоретически более свободные, чем другие монархи Европы, пользуясь привилегией править «своею собственной властью» (русское слово «самодержавие», как и греческое «автократия», собственно и означает абсолютную личную власть), они на самом деле вновь и вновь оказывались связанными по рукам и ногам предрассудками их собственных, формально бесправных подданных. Ответом на гарантии свободы и терпимости сплошь и рядом была неблагодарность, даже какое-то влечение к деспотизму. «Никогда раскольники не пользовались такой свободой, как в

первый год царствования Петра..., но и никогда они не проявляли такого фанатизма» (Н. Сахаров, 1882). Екатерина, больше, чем кто-либо из ее предшественников сделавшая для умственного слоя аристократии, первой испытала на себе ее идеологическую враждебность. И та же Екатерина, по почину которой в России завязались бесконечные споры об освобождении человечества, больше всех своих самодержавных предшественников сделала для укрепления военщины и закабаления крестьян. В девятнадцатом веке популярность царя-реформатора находилась в обратной зависимости от его реальных свершений. Александр I, сделавший на удивление мало, а в последние годы установивший в своей стране более жестокий и реакционный режим, чем тот, который впоследствии утвердился при Николае — даже при Николае! — был всеобщим любимцем. Зато Александр II, который необычайно много совершил в первое десятилетие своего правления, к исходу этого же десятилетия был вознагражден покушением на жизнь; за первой попыткой последовали другие, и одна из них, между прочим, увенчалась успехом. В числе многих иронических гримас революционного движения выделяется постоянно повторяющийся факт участия в нем интеллектуалов из знати — то есть тех, кому предстояло не приобрести, а потерять привилегированное положение. «Я могу понять французского буржуа, когда он делает революцию, чтобы отвоевать себе права; но как понять русского дворянина, у которого революция их отнимает?» — спрашивал бывший московский губернатор граф Ростопчин, лежа на смертном одре, когда ему сообщили о восстании декабристов. (Существует и другая версия его слов: «До сих пор революции делали сапожники, чтобы стать дворянами, а теперь дворяне затевают революцию, чтобы превратиться в сапожников.» Цит. по А. Кизеветтеру.)

Победа революции принесла с собой новые иронические парадоксы. Сколько иронии в том, что революция, которая началась чисто стихийно в марте 1917 года, революция, поддержанная широким фронтом демократических сил, была попросту перечеркнута одним ловким ударом, который ей нанесла самая жалкая и вместе с тем самая тоталитаристская из оппозиционных сил, вдобавок не игравшая в свержении царизма почти никакой роли. Сколько иронии в том, что коммунизм пришел к власти не на промышленном Западе, а на деревенском Востоке, в той самой России, к которой Маркс и Энгельс питали особую неприязнь и особое недоверие; сколько иронии в том, что идеология, с таким апломбом провозглашавшая экономический детерминизм, оказалась в полнейшей зависимости от фантомных лозунгов и личной воли Ленина, что, одержав верх, революция пожрала своих творцов, что многие из тех, кто первыми, с самого начала поддерживал большевистский

переворот в Петрограде, кто дал ему пустить побег — пролетарские лидеры «рабочей оппозиции» и кронштадтские моряки, — стали и первыми, от кого открестился новый режим, когда в 1920–21 годах они потребовали реформ — по сути дела, тех же самых, какие выдвигались ими по наущению большевиков три года тому назад.

Ирония — в том, что одно из самых откровенных издевательств над демократией происходило в то самое время, когда Россия официально приняла по видимости образцовую демократическую конституцию 1936 года; ирония в том, что война против художественного творчества была начата сталинским режимом как раз тогда, когда Россия возглавила модернистские течения в искусстве; что органы подавления, менее всего считавшиеся с народом, должны были получить наименование «народных». Ирония — что СССР смог одержать победу там, где, по мнению большинства, его ожидал крах, что он сумел нанести поражение немцам и распространиться вовне. Но самая большая ирония, быть может, заключается в том, что советские руководители проиграли именно в той игре, которую, как считали почти все, они должны были выиграть без всяких усилий: в идейном воспитании своей молодежи. Поистине злая ирония в том, что послевоенное поколение россиян, наиболее обеспеченное в материальном отношении среди всех советских поколений и более других обработанное идеологически, то поколение, которому не дано было даже мельком взглянуть на зарубежный мир, в отличие от тех, кто прошел войну, — именно это поколение оказалось наиболее чуждым всему, на чем зиждется официальная доктрина коммунистического общества. Брожение в среде молодежи объявляется «пережитком прошлого», и в этом есть своя ирония — как и в том, что частичные реформы, вместо того, чтобы вызвать благодарность и привести к успокоению, лишь усиливают недовольство.

Эта примечательная ситуация, конечно, не лишена иронического смысла для западного наблюдателя. Вопреки своей риторической, формально афишируемой вере в истину и свободу, стремление к которым будто бы заложено в человеке, люди Запада странным образом отказывались допустить (или если допускали, то с большими оговорками), что когда-нибудь эти идеалы найдут серьезное признание в Советском Союзе. Вера в то, что постепенное смягчение деспотизма будет продолжаться и дальше без изменения самой системы, — вера, характерная для последних лет хрущевской эры, — представляла собой проекцию в будущее определенных тенденций недавнего прошлого. Под этим нередко подразумевалось, что СССР (а возможно, и Соединенные Штаты) в силу естественного хода вещей эволюционируют к некоторому промежуточному состоянию между сталинским тоталитаризмом и западной демо-

кратией. Предсказание некоего усредненного завершения может, конечно, и оправдаться — но тогда уж это будет знаменовать совершенно сногшибательную победу аристотелевой золотой середины в обществе, которое никогда не было способно усвоить классические идеалы умеренности и здравомыслия, это будет означать, что разум начисто лишился своего коварства.

История культуры не в состоянии предложить четкий прогноз; однако у нее есть основания настаивать на важности национального наследия и жизненности того брожения, которое ныне происходит. Это брожение не есть некий математический коэффициент в уравнении, которое предстоит решить компьютерам политических астрологов на Востоке или жрецов политологии на Западе. Скорее нынешнее брожение в СССР подобно растительности, которая вдруг сама собой показалась из-под земли на черном выжженном поле. Не поймешь, растет ли она из старых корешков или из семян, занесенных бог весть откуда. И только время покажет, появится ли здесь существенно новый ландшафт. Но само по себе появление ростков говорит о том, что почва эта не бесплодна; даже если они увянут, листья станут перегноем, из которого взойдут будущие, более крепкие побеги.

Решающим условием этого роста может быть лишь сохранение относительно мягкого международного климата. Тучи, будь они с Востока или с Запада, могут вызвать похолодание. Зато порывы свежего ветра, веяния жизни из сопредельных стран, могли бы пробудить дремлющие ростки культуры, которая всегда отзывалась на оплодотворяющее воздействие извне, а теперь, когда все в мире все больше зависят друг от друга, отзовется еще сильнее. Уже включение в советский блок таких старинных недругов России на ее западных границах, как Польша и Венгрия, не только не заставило умолкнуть все голоса в этих государствах, но по иронии судьбы добавило новую порцию дрожжей в бродильный котел прозападных настроений в Советском Союзе. Нечего и говорить о том, какое значение могли бы иметь для будущего развития этого региона растущие контакты с Западом или возрождение идеологической активности внутри самого западного мира.

Ожидать сейчас, что Советский Союз сам собой проделает эволюцию в сторону демократии, так же нелепо, как нелепо было ждать каких бы то ни было демократических реформ при Сталине. Внутренние силы культуры существуют не ради целей какой-то другой культуры; привычные для нас институты либерально-парламентской демократии многим русским вовсе непонятны. И, однако, Россия вполне способна развить у себя такие формы социальной жизни и искусства, о которых никто сейчас не догадывается ни там, ни у нас, формы, отвечающие не-

сокрушимой воле этого народа к человеческой свободе и духовному обновлению. Если Запад со своей стороны сумеет предложить что-либо существенное в этом смысле, если он сможет это сделать недвусмысленным и в то же время свободным от покровительственных замашек способом, он почти наверняка сыграет ключевую роль в этом процессе. Ибо нигде нет такого интереса к Западу, и особенно к Америке, как среди молодых людей в СССР; никого так не удручает духовная немощь Запада, как эту бессонную молодежь, которая страстно ищет подмоги в своих поисках, в неутолимой жажде положительных идеалов и новых оценок. Было бы двойной иронией, устрашающим парадоксом, если бы идеология американского мещанства обратила кого-то из русских юношей на путь невольного сближения с коммунистическим мировоззрением, ненавидеть которое их учат и русская традиция, и нынешняя советская действительность.

«Человек честного поиска». Этими словами характеризует персонаж одной современной повести своего знакомого, — формула, которая подошла бы для всего молодого поколения в СССР. Поиск все еще продолжается; надежды не осуществились. Все культурное возрождение подчас выглядит как мимолетный мираж. Но ведь и все в истории остается в конечном счете незавершенным — и, может быть, стоит напоследок ввести иронический аспект в вопрос о самой действительности.

В романе Алексея Толстого «Хождение по мукам», где дано полуофициальное изображение революции, — книга была закончена в пору наивысшего расцвета сталинизма со всеми его амбициями, — есть одно действующее лицо, поэт-декадент, которому кажется, что великий город Санкт-Петербург, воздвигнутый ценой страданий тысяч людей, — это только сон и вот этот сон внезапно развеялся. То, что фантазмагория, именуемая советским государством, представляется нам наиболее реальным результатом русской истории, возможно, есть всего лишь отражение нашей собственной сутубо материалистической концепции действительности. А между тем русские всегда были народом мечтателей и идеологов, и они, как никакой другой народ, склонны к ироническому восприятию действительности... Сколько иронии в том, что свободу ценят дороже золота те, кто ее лишен, и оскверняют те, у кого ее навалом. Тут снова мы видим давнишнюю иронию творческой культуры, той, что создается мученическим самоотвержением личности, рвущейся вон из себя навстречу безмерным мирам. Подлинное творчество в России сегодня невозможно без добровольного страдания.

Такая роль как будто близка представлению о художнике как о священном в некое монашеское служение; и если, это служение, в самом деле, все еще продолжается в Советском Союзе, то не потому ли,

что его поддерживает вера — не в церковь, может быть, но в конечное воскресение. «Воскресение» — так назывался последний роман Толстого, такова тема Достоевского и Пастернака. В воскресении, в нем одном находит оправдание конечный иронический смысл, скрытый то ли в комической несообразности Бога в одевании человека, то ли в трагической несообразности человеческого бунта против Божьей власти. Только в воскресении, в непредвиденных и непредставимых «преображениях Бога» можно будет в конце концов извлечь смысл из невероятных воспарений русской мысли, из вновь и вновь повторяющегося глумления над высшими ценностями в русской действительности.

Но никто не может сказать, придет ли это возрождение; и вообще нет уверенности в том, что можно обнаружить какой-то смысл в истории русской культуры, где слова так часто расходились с делами, устремления не соответствовали свершениям и страдания обесценивали даже то, что было достигнуто. Может быть, летописцу этой культуры не останется ничего другого как снабдить инвентарными этикетками великие романы, сияющие иконы, волшебную музыку и сказочную архитектуру — все что удалось спасти в длинном перечне погибшего.

Еще раз повторим: русские стремились присвоить себе плоды иных цивилизаций, минуя промежуточный процесс медленного роста и осознания. Русь приобрела в готовом виде, на корню византийское наследство, не усвоив византийской традиции методичного, последовательного философствования. Дворянство восприняло язык и стиль французской культуры, но не ее критический дух, и различными способами выражало свое сочувствие крестьянству и всем обездоленным, идеализируя их, но отнюдь не деля с ними ни их работу, ни их веру. Радикальная интеллигенция поклонялась западной науке XIX столетия, лишённая счастья жить в атмосфере свободной мысли, которая только и делает возможным научный прогресс. «Проклятые вопросы» обсуждались не в академиях и уж, конечно, не публично, а в подпольных кружках и на эзоповом языке журналов.

Сталинизм явил собой что-то вроде возмездия. Россия внезапно открыла, что ею правят византийская обрядность без византийского благочестия и лепоты и западный сциентизм без западной свободы научного исследования. Кое-кто поддался искушению видеть в страшном климате чисток полный абсурд, всеобъемлющую бессмыслицу — или какое-то новое и беспрецедентное проявление тоталитарной логики. Но историку культуры ужасы сталинского режима не представляются ни случайным внешним насилием над русским культурным наследством, ни неизбежным порождением этого наследства. Научившись улавливать иронию вещей, он скорее сделает вывод, что очищение (букваль-

ный смысл слова «чистка») совершилось в каком-то более глубоком смысле, чем предполагалось, и что муки невинных приоткрыли возможность для нового созидания.

Сталин, возможно, вылечил русских мыслителей от страсти к отвлеченным умозрениям и от мании строить воздушные замки. Поворот к конкретности и практичности, столь характерный для постсталинского поколения, может способствовать тому, что в России начнет создаваться внешне менее эффектная, но зато более основательная культура. Результаты — новые политические институты или шедевры искусства — могут придти не скоро. Но корни творческой активности в этой стране глубоки, и почва плодородна. Какие бы злаки ни поднялись на ней в будущем, они будут долговечней эфемерных цветов и искусственных насаждений прежних веков. В эпоху неумеренных притязаний коварство разума может потребовать тихого, на вид очень непритязательного возрождения. Но западным наблюдателям следует отказаться от покровительственного тона по отношению к нации, которая породила Толстого и Достоевского и которая приняла так много страданий в совсем еще недавние времена. Азартный зритель, нетерпеливо ожидающий, что вот-вот произойдет освобождение подспудных сокровищ, должен будет убедиться в том, что «не вдруг созреет плод и не спешит трава». Путь нового открытия может оказаться кружным.

Жизнь — из смерти, свобода — из тирании. Ирония, парадокс! Может быть, слишком горький парадокс, чтобы можно было еще надеяться. И приходится уповать на единственную реальность — реальность растения, которое еще не созрело, корабля, которому далеко до берега. Еще не один тайфун, может статься, ждет его впереди...

Элиас КАНЕТТИ

ИЗ КНИГИ «МАССА И ВЛАСТЬ»

Попытки проникнуть в суть того, что называется нацией, чаще всего страдали одним существенным недостатком. Нам предлагали различные дефиниции; нация, говорили нам, — это то-то и то-то. Считалось, что задача сводится именно к тому, чтобы выработать правильное определение нации: коль скоро оно найдено, его можно будет без разбора применять ко всем народам. Критерием служил язык или территория; ссылались на письменную традицию, опирались на историю, на политический режим, на так называемое национальное чувство; и всегда почему-то оказывалось, что исключения важнее самого правила. Всегда получалось так, что в надежде поймать нечто живое хватались за полы случайного одеяния. Жизнь ускользала, и философ оставался с пустыми руками.

Кроме этого, по видимости объективного метода, существовал другой, наивный метод, сосредоточенный на одной единственной национальности, а именно нашей, и, собственно говоря, до всех остальных нам не было никакого дела. Метод сводился к несокрушимой уверенности в собственном превосходстве; к профетическим грезам о величии; к причудливой смеси этических и империалистических амбиций. Однако не надо думать, будто все националистические идеологии повторяют одно и то же. Похожими их делают лишь аппетиты и притязания. Хотя бы они, быть может, одного и того же; но из этого не следует, что все они — одно и то же. Они хотят расширения и обосновывают это размножением. Послушать их, так вся земля обетована каждой из них и каждой из них естественным образом принадлежит. Все прочие, внимая этим прорицаниям, начинают чувствовать себя неуютно, видят в них лишь угрозу. И не замечают, что конкретное содержание, подлинные идеологии национальных претензий — весьма отличаются друг от друга. Следует постараться определить своеобразие, присущее каждой нации, не надеясь ее исключительностью. Нужно прислушаться к каждой — не покоряясь ей, но честно интересуясь всеми. Нужно впустить в себя каждую из этих идеологий, как если бы вас обязали в самом деле отдать ей лучшую часть вашей жизни. Но ни одной из них нельзя отдаться настолько, чтобы пренебречь остальными.

Ибо разговор о нациях будет пустопорожним, если мы не попробуем определить нации в их своеобразии. Нации ведут друг с другом нескончаемые войны. В этих войнах участвует значительная часть представителей каждой нации. Достаточно много говорить о том, за что ведется борьба. Но в качестве кого они воюют, никто не знает. Они пользуются определенным обозначением, мы, говорят они, воюем потому, что мы французы, мы немцы, мы англичане, мы японцы. Но что означает это слово для человека, который применяет его к самому себе? Чем, по его мнению, он отличается от других, когда он идет сражаться в качестве француза, немца, англичанина или японца? Ведь очень часто выпячивается отнюдь не то, что выражает его истинное своеобразие. Самое, казалось бы, доскональное исследование нравов и обычаев страны, ее политического устройства, ее литературы может пройти мимо того, что составляет подлинную суть национальности и становится верой человека, идущего на войну.

Попытаемся взглянуть на нации так, как если бы они были религиями. Ибо они по крайней мере тяготеют к тому, чтобы время от времени становиться чем-то подобным. Предпосылки к этому всегда налично, и во время войны национальные религии воспаляются.

Следует заранее ожидать, что человек, сознающий свою принадлежность к нации, не будет чувствовать себя одиноким. Коль скоро такая принадлежность обозначена — другими или им самим, — в его представление о себе включается нечто более обширное, он ощущает себя частью некоторого великого единства. Характер этого единства небезразличен, как небезразлична и его связь с ним. Это не просто географическое единство страны, обозначенной определенным цветом на карте; нормального человека география не волнует. Конечно, его может беспокоить вопрос о границах, но в конце концов дело не в территориальной целостности. И не в языке, как бы его там ни определяли и ни противопоставляли остальным. Споры нет, слова, знакомые с детства, в пору испытаний могут оказывать на человека сильное действие. Но то, что стоит за ним, во имя чего он готов идти в бой, — это не словарь. Еще меньше говорит обыкновенному человеку история его нации. Ни ее истинного течения, ни того, что дает ей полноту и непрерывность, он не ведает; какова была жизнь его предков, он понятия не имеет; два-три имени — вот все, что ему известно о прошлом. Образы и мгновения, отложившиеся в его душе, не имеют ничего общего с тем, что порядочный историк подразумевает под историей.

Великое единство, причастность к которому он сознает, есть всегда масса или массовый символ. Оно всегда несет черты, характерные для

масс или их символов: насыщенность, способность роста, открытость в бесконечное, нерасчленимость, которая вдруг бросается в глаза, способна ошеломить; всеобщий ритм и внезапный разряд. Многие из этих символов уже были предметом обсуждения. Говорилось о море, о лесе, о зерне. Перечислять снова их свойства и функции, определившие их судьбу в качестве массовых символов, незачем. Эти свойства легко узнаваемы в чувствах и представлениях масс о самих себе. Но символы никогда не являют себя в голом виде, не бывают сами по себе. Тот, кто причастен к нации, видит себя всегда, хоть и на свой собственный лад, прочно прикованным к определенному массовому символу, который сделался важнейшим для всей нации. В регулярном возвращении этого символа, в том, что он всплывает всякий раз в нужный момент, состоит непрерывность национального самоощущения. С ним и только с ним меняется самосознание нации. Ибо он изменчивей, чем думают, и в этом можно черпать надежду на то, что человечество в целом выживет.

Ниже будет сделана попытка рассмотреть некоторые нации с точки зрения их символов. Постараемся быть непредвзятыми и для этого отойдем назад примерно на двадцать лет. Нелишне подчеркнуть, что, конечно же, речь идет о сведении сложного феномена к совсем простым и общим чертам, поэтому отдельных людей мы касаться не будем.

Англичане

Разумнее будет начать с нации, которая не кричит о себе и, однако, вне всякого сомнения обнаруживает самое стойкое национальное чувство, какое существует сегодня на земле: с Англии. Всем известно, что означает для англичанина море. Но мало кто знает, как именно связаны друг с другом пресловутый английский индивидуализм и отношение англичан к морю. Англичанин видит себя капитаном с кучкой людей на корабле, а вокруг и под ним — море. Он почти один, и даже от команды он во многих отношениях изолирован, ибо он — капитан.

Но над морем господствуют, и в этом представлении вся суть. На бескрайних просторах морей корабли одиноки, как разрозненные индивидуумы, их конкретная персонификация — капитан: он приказывает, его абсолютные прерогативы бесспорны. Курс его корабля — есть приказ, отданный морю, и хотя приказ этот непосредственно выполняет команда, подчиняться на самом деле должно море. Капитан выбирает цель, и море, эта живая стихия, несет его к цели; конечно, не без сопротивления, не без бурь. Океан необъятен, и важно знать, кому он покор-

ствует чаще всего; его легче укротить, если цель — британская колония. Тогда море становится конем, который хорошо знает дорогу. Чужие корабли скорее похожи на случайных седоков, которым на время одолжили коня; но в конце концов он вернется к хозяину, и в его руках покажет себя по-настоящему. Наконец, море необъятно велико, и важно количество кораблей, при помощи которых его умирляют.

Что до его характера, то следует вспомнить, как капризно и переменчиво море. В своих метаниях оно варьирует свой облик чаще и больше, чем весь животный мир, с которым приходилось иметь дело людям, и как устойчивы, как безобидны в сравнении с ним леса охотника и пажити земледельца. Беды приходят к англичанину с моря. Часто, вспоминая своих мертвых, он думает о морском дне. Море обещает перемены; море сулит опасность.

Его домашняя жизнь устроена так, что она служит как бы дополнением к морю: размеренность и надежность — ее главные черты. Каждому отведено свое место, и никаким передрягам не дано его поколебать, даже если хозяин уходит в море. Обычаи каждого неприкосновенны, как и его добро.

Голландцы

Значение национальных символов, усвоенных массой, нигде не проявляется так наглядно, как в противоположности между англичанами и голландцами. Оба народа близки по происхождению, их языки похожи, их религиозное развитие почти одинаково. И та, и другая страна — нация мореплавателей, и тот и другой народ основали мировые империи. Участь какого-нибудь голландского шкипера, который уходит за море на поиски новых торговых путей, ничем не отличается от судьбы английского капитана. Войны, которые вели друг против друга Англия и Нидерланды, — это войны соперников, близких по крови, чуть ли не братьев. И, однако, есть между ними разница, которая может показаться незначительной, хотя на самом деле решает все. Это разница национальных символов массы.

Англичане завоевали свой остров, но они не отвоевали его у моря. Лишь с помощью своих кораблей англичанин подчиняет себе море, капитан — это командир моря. Голландцу пришлось свою землю, прежде чем он ее обжил, отвоевывать у моря. Берег был так низок, что его пришлось защищать от моря плотиной. Масса мужчин сама уподобляется дамбе: все вместе они стоят наперекор морю. Если вода прорвет плотину, окажется под угрозой страна. Во времена испытаний плотины взла-

мывают; тогда можно укрыться от врага на искусственных островах. Чувство человеческой стены, противостоящей морю, нигде не развилось так сильно, как здесь. В мирную пору люди надеются на прочность дамб; но если их нужно разрушить ввиду вражеского нашествия, тогда мощь плотины переходит на мужчин, а после войны они ее восстановят. Плотина продолжает существовать в их сознании, с тем, чтобы снова воплотиться в действительность. Голландцы обладают удивительной и неистребимой способностью хранить в минуту опасности свои морские рубежи в собственной душе.

При угрозе нападения англичане надеются на помощь моря: бури помогут справиться с недругом. Остров — их надежда; и на корабле англичанин испытывает то же чувство безопасности. Для голландца опасность всегда сзади, за спиной. Для него море никогда не было покоренной стихией. Он уверенно бороздил его во всех направлениях, но, вернувшись домой, он всегда мог стать его жертвой, и более того — мог сознательно повернуть море против себя, чтобы выдержать натиск врага.

Немцы

Массовым символом немцев было войско. Но войско было нечто большее, нежели просто войско: это был марширующий лес. Ни в одной современной стране мира не сохранилось столь живое чувство леса, как в Германии. Стойкость и стройность вертикальных стволов, их густота, их масса наполняют сердце немца глубокой и таинственной радостью. Он и сегодня ищет укрытия в лесу, где жили его пращурь, и чувствует себя заодно с деревьями.

Их чистота, их четкая отграниченность друг от друга, преобладание вертикальных линий над горизонтальными отличают этот лес от тропических джунглей, где все растет во все стороны и переплетается, словно клубок змей. В тропическом лесу взор теряется в чащобе уже в двух шагах; это хаотическая, нерасчлененная масса, пестро-беспорядочная жизнь, исключая всякое чувство правильности и повторяемости. Леса умеренного пояса имеют наглядный ритм. От дерева к дереву, глубже и глубже взгляд погружается в одну и ту же даль. Но каждое отдельное древо выше человека, и все растет, прибавляет себе богатырскую высь. Его несокрушимая устойчивость подобна стойкости воина. В лесу, где чаще встречаются деревья одного вида, кора их, которую можно сравнить с броней, напоминает также однообразные мундиры воинского подразделения. Армия и лес для немца, хоть он

этого и не осознавал, всегда сливались в одно. То, что другим казалось в войске бесчувственным и холодным, для немца хранило жизнь и лучезарность леса. Здесь он ничего не боялся; в строю он чувствовал себя в безопасности. Прямызна и упорство деревьев были образцом для него самого.

Мальчик, которого тянуло из тесного жилья в лес — помечтать, побыть одному, — переживал в лесу чувство новобранца. В лесу уже стояли навьюженки, на боевом посту другие, верные, правдивые, стойкие, каким и он хотел стать, — один к одному, друг за другом, каждый тянется вверх, хоть и силы, и рост у всех неодинаковы. Не следует пренебрегать этим ранним влиянием лесной романтики на немцев. Они впитывали ее с сотнями песен и стихов, и лес, о котором там говорилось, надыхался немецким лесом.

Англичанин охотно видел себя на море; немец воображал себя в лесу. Трудно в более краткой форме выразить разницу национального самоощущения.

Французы

Массовый символ французов исторически молод: это — их революция. Каждый год празднуется годовщина свободы. Этот день стал собственно национальным, народным праздником. Четырнадцатого июля каждый танцует на улице, с кем вздумается. Люди, которые вообще-то говоря ничуть не более свободны и равны, ничуть не больше братья друг другу, чем в других странах, вдруг могут вообразить, что они на самом деле братья, равны и свободны. Бастилия взята, и улицы, как и тогда, бурлят. Толпа, масса, веками покорная королевскому суду, сама творит правосудие. Память о расправах того времени, непрерывный ряд массовых возмущений, взрывов народного негодования, мятежей — присутствуют в этом праздничном настроении в большей мере, чем люди могут себе в этом сознаться. Всякий, кто перечил массе, платил за это своей головой. Он был ее должником, он должен был заплатить жизнью и таким образом на свой лад помогал толпе сохранить и удвоить ее энтузиазм.

Ни один национальный гимн, ни у какого другого народа, не имел такой судьбы, как французский; Марсельеза — детище того времени. Взрыв свободы, ставший регулярно повторяющимся событием, ежегодно празднуемый, ежегодно ожидаемый, оказался чрезвычайно удобным массовым символом нации. Как и встарь, он сплывал людей для защиты. Французские армии, завоевавшие Европу, порождены Револю-

цией. Революция нашла своего Наполеона и увенчала себя самой громкой военной славой. Победы принадлежали Революции и ее генералу, а конечное поражение досталось королю.

Можно возражать против такого толкования революции как массового национального символа французов. Само это слово кажется недостаточно определенным, в нем нет конкретной образности английского символа — капитана на корабле или немецкого, который мы определили как древоподобный порядок марширующего полка. Но не забудем о том, что к образу корабля принадлежит волнующееся море, а войско немцев заключает в себя картину леса. Море и лес — питательная среда и текучая стихия национального чувства. Точно так же массовое чувство революции выражает себя в конкретном движении и конкретном противопоставлении: народная буря, штурм Бастилии.

Еще деды наши и наши отцы могли добавить к слову «Революция» постоянный эпитет — «французская». Это популярнейшее событие прошлого служило самообозначением и для французов, это было то характерное, что отличало их от всех остальных, то, чем они выступили перед всем миром. И когда произошла другая революция, в России, — в национальном самочувствии французов образовалась брешь.

Швейцарцы

Если есть государство, национальная монолитность которого никем не может быть оспорена, так это — Швейцария. Патриотическое чувство развито у швейцарцев сильнее, чем у иных народов, говорящих на одном языке. Ни отсутствие единого языка, ни многообразие кантонов, ни различия в их социальной структуре, ни религиозные границы и даже войны, память о которых еще жива, — ничто не могло разрушить национальное самосознание и единство швейцарцев. Есть у них и массовый национальный символ, который всегда стоит перед глазами каждого, несокрушимый, как никакой другой: горы.

Отовсюду видны швейцарцу вершины его гор. Но есть точки, где горы сплошь обступают человека. Возникает чувство, что здесь горы как бы собрались все вместе, и оно обещает этому месту нечто сакральное. Порой, по вечерам, сама собой горная цепь загорается алым огнем — это момент причащения, приобщения к святыне. Суровое величие и труднодоступность гор внушают швейцарцу чувство безопасности. Гребни разрозненных вершин смыкаются внизу в единое гигантское тело. Это живое тело есть сама рана.

Примечательным образом планы обороны Швейцарии во время обеих минувших войн выявляют это отождествление нации с альпийским хребтом. Вся плодородная земля, все города, все производительные районы в случае вторжения подлежали эвакуации, согласно этому плану, армия должна была отступить в горы и там сражаться. Пожертвовать населением и землей. Армия в горах должна была представлять Швейцарию; массовый символ нации должен был стать собственно нацией, страной.

Горы — единственный заслон, которым владеют швейцарцы. Им не надо строить его самим, как голландцам. Они его не воздвигают, они его и не сносят. Море не грозит разрушить эту дамбу. Горы стояли и стоят; их надо лишь хорошо знать. И швейцарцы лазают и разъезжают по своим горам, где только возможно. Горный кряж притягивает к себе как магнит, людей отовсюду, подданных любого государя, желающих подражать швейцарцам в их умении восхищаться горами и не бояться гор. Альпинисты из самых отдаленных стран подобны паломникам: Швейцария — их религия; их собственные армии, где бы они ни находились, после краткой, но периодической службы в горах приобретают нечто от того уважения, которым пользуется настоящая Швейцария. Стоило бы заняться вопросом о том, насколько это способствует международному уважению независимости Швейцарской конфедерации.

Испанцы

Как англичанин видит себя капитаном, так испанец видит себя мажандором. Но вместо моря, покорного капитану, человек, вступивший в поединок с быком, окружен восхищенной толпой. Зверь, которого надлежит поразить по всем правилам благородного искусства, — это древнее, коварное чудовище из легенды. Боец не должен поддаться страху: его самообладание — все. Тысячи глаз видят и судят его малейшее движение. Это не что иное как римская арена, сохранившаяся до наших дней, а боец с диким зверем превратился тем временем в славного рыцаря, средневековье изменило и его смысл, и его наряд, но прежде всего — его престиж. Умирное дикое животное, ставшее рабом человека, снова вырвалось из повиновения и готово ринуться на него. Но древний витязь, вышедший навстречу чудовищу, — он здесь. Защитник всего человечества, он выступил на битву. Он настолько уверен в своем искусстве, что может продемонстрировать перед зрителями все тончайшие нюансы боя. Ему ведомо абсолютное чувство меры; он рассчитывает каждый

свой шаг; его движения точны и соразмерны, как в танце. Но он наносит смертельный удар не в шутку, а всерьез. Это видят тысячи людей и своим азартом удешевляют смерть.

Казнь дикого зверя, которому не положено больше быть диким, которое делают диким, чтобы затем осудить его на смерть, — эта казнь, эта кровь и безупречный рыцарь отражены и удвоенны в зрачках восторженных зрителей. Начинаешь сам себя чувствовать рыцарем, который сражает быка, но тот, кто испытывает это чувство, — не отдельный человек, а масса, ликующая толпа. По ту сторону арены, за головой матадора, люди видят самих себя, снова себя — как массу. Это сплотившееся вокруг арены, замкнувшееся в себе существо. Всюду взгляд натывает на другие глаза, всюду слышен один голос — свой собственный.

Так испанец, тоскующий по своему матадору, приучается с детства к виду и взгляду вполне определенной массы. Он учится постигать ее. Она, эта масса, живет так интенсивно, что отстраняет от себя многие тенденции и образования, неизбежные в странах другого языка. Борец с быком на арене, так много значащий для нее, становится и ее национальным символом. И всякий раз, когда испанец думает о своих соотечественниках в их совокупности, — он думает о том месте, где они чаще всего собираются вместе. Рядом с этими мощными переживаниями, с этой радостью массы, церковь кажется мягкой и безобидной. Но так было не всегда, и в пору, когда церковь не боялась пригрозить еретикам адским огнем уже здесь, на земле, массовое сознание испанцев было устроено по-другому.

Итальянцы

Самочувствие современной нации, ее поведение в войне сильно зависит от признания, которое встречает ее национально-массовый символ. С иными народами история может сыграть злую шутку спустя много времени после того, как народ завоевал свое единство. Италия может служить примером того, как тяжело приходится нации, чьи города населены, как призраками, великими воспоминаниями прошлого, и настоящее сознательно смешивается с этими воспоминаниями.

Пока Италия не обрела единства, все представлялось людям куда проще: расчлененное тело будет воссоединено, станет единым организмом, и будет вести себя как единое целое, надо только изгнать чужестранца, это мерзкое насекомое, вон из нашей страны. В ситуации порабощения, когда враг давно хозяйничает в стране, все народы вырабатывают сходные представления о своей участи: некто многочисленный, от-

вратительный и ненавистный налетел на страну, подобно саранче, живущей соками простодушной, богатой земли. Если враг намерен остаться здесь всерьез и надолго, он будет стараться разделить эту землю и ослабить сопротивление жителей, всевозможными способами препятствуя их объединению. Этому противопоставляется тайная солидарность, и, пользуясь первым удобным случаем, паразита выметают вон. В конце концов так и получилось. Италия стала единой, осуществилось то, о чем так долго мечтали многие и часто лучшие ее умы.

Но тут оказалось, что вернуть реальную жизнь такому городу как Рим — дело рискованное. Вокруг все еще стояли здания, где некогда бурлили древние массы, но эти здания были пусты; амфитеатр был все еще хорошо сохранившейся руиной, но человек в нем чувствовал себя ненужным и заброшенным. Зато второй Рим — Рим св. Петра — отнюдь не утратил своей былой привлекательности. Храм св. Петра полнился паломниками со всего света. Но в том-то и дело, что на роль центра и знамени оскорбленных национальных чувств этот второй Рим не годился. Ибо он по-прежнему обращался без разбора ко всем людям, его организация восходила к временам, когда наций в теперешнем смысле слова еще не существовало.

Между этими двумя ипостасями Рима национальное чувство современной Италии осталось как бы парализованным. Деваться было некуда, здесь был Рим, а итальянцы были когда-то римлянами. Фашизм испробовал это по видимости самое простое решение и облекся в древние, исконные одежды. Но костюм сидел плохо, он оказался чересчур широк, и движения, которые позволял себе делать в нем его новый владелец, были так размашисты, что в конце концов фашизм вывихнул себе руки и ноги. Форум был извлечен на свет из археологического праха, но заполнили его не римляне. Связка прутьев¹ вызывала лишь ненависть у тех, кого наказывали этими прутьями и кто станет гордиться тем, что ему грозит порка? К счастью для итальянцев, попытка навязать нации ложный массовый символ не удалась.

Евреи

Нет народа, который трудней понять, чем евреев. Они разбрелись по всей обитаемой земле, потеряв землю, откуда они родом. Их способность приспособляться принесла им славу, но и худую репутацию, при

¹ Знак власти консула и претора в Древнем Риме, ставший эмблемой итальянского фашизма. — *Ред.*

этом, однако, степень приспособляемости может быть самой разной. Среди них есть испанцы, есть индийцы, есть китайцы. Они уносят с собой язык и культуру одной страны в другую страну, и держатся за них сильнее, чем за свое добро. Дураки могут рассказывать басни о том, что все евреи одинаковы; тот, кто их знает, скорее согласится с тем, что среди евреев встречается больше разнообразных типов, чем в любом другом народе. Диапазон различий в характере и внешнем облике евреев принадлежит к числу самых удивительных явлений, с которыми сталкиваешься жизни. Крылатое выражение, что среди них есть самые лучшие и самые худшие люди, — в наивной форме передает некий факт. Они не такие, как все. Они другие. Но в действительности они, если можно так выразиться, самые другие друг для друга.

Они вызывают удивление уже тем, что они все еще существуют. Они не единственный народ, который можно встретить повсюду; армяне, например, распространились так же широко. Не являются они и самым древним народом: история китайцев уходит в более глубокую и незапамятную древность. Но из всех старых народов они — единственный, который странствует так долго. У них было больше, чем у кого-либо, времени, чтобы исчезнуть бесследно. И все-таки они существуют — сегодня больше, чем когда-либо.

До самого недавнего времени не было у них ни территориального, ни языкового единства. Большинство уже не знало древнееврейского, они говорили на ста языках. Их древняя религия была для миллионов евреев пустым бурдюком; число евреев-христиан, особенно среди интеллигентов, напротив, постепенно росло; еще больше среди них людей нерелигиозных. На первый взгляд, с точки зрения обыкновенного самосохранения, им следовало бы делать все, чтобы заставить других забыть, что евреи — это евреи, и забыть об этом самим. Но они не могут забыть; по большей части и не хотят. Невольно спрашиваешь себя, в чем собственно состоит их особость, что делает их евреями, где то главное и последнее, что связывает их друг с другом, когда они говорят себе: я — еврей.

Это последнее стоит у истоков их истории и с непостижимой равномерностью повторяется на протяжении всей истории: это исход из Египта. Стоит лишний раз представить себе, о чем повествует это предание. Целый народ, хоть и сосчитанный, но включающий огромные толпы, сорок лет подряд идет по пустыне. Его легендарному праотцу было обещано потомство, бесчисленное, как песок морской. И вот оно шествует, это потомство, второй песок, по песку. Море пропускает их и смыкается над врагами. Их цель — обетованная земля, которую они завоюют мечом.

Образ этой толпы, годы и годы бредущей через пустыню, стал массовым символом евреев. Он оставался таким же ясным и ощутимым, как встарь. Народ видит себя вкупе еще до того, как он обрел пристанище и рассеялся, и видит себя в пути, в странствии. В этом состоянии собранности получает он свои законы. Перед ним — цель, понимаемая как цель массы. Приключения сменяются приключениями, и это — общая судьба. Это — голая масса; в этом окружении еще почти ничего нет от множественности отдельных жизней, переплетающихся друг с другом. А вокруг нее — песок, самая голая из всех масс. Ничто не может довести до такой остроты чувство одиночества, предоставленное самой себе этой растянувшейся в движении толпы, как картина песков. Порой цель исчезает, и массе грозит распад; ее пробуждают к жизни мощные удары самого разнообразного свойства; удары сплачивают и сжимают ее. Число людей в походе, шестьсот или семьсот тысяч, огромно лишь по скромным меркам древности. Важнее длительность похода. То, что растянуто в этой массе на сорок лет, позднее может растянуться на любое время. И понимание этого срока как наказания становится мукой всех позднейших странствий.

Иоахим ФЕСТ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ РЕЙХА

Из книги «Гитлер. Биография» (1973)

Бункер, в котором укрылся Гитлер, был расположен глубоко под территорией сада Имперской канцелярии и заканчивался в конце сада круглой бетонной башней, служившей запасным выходом. В двенадцати помещениях верхнего этажа, так называемого предбункера, разместился обслуживающий персонал, здесь же находились диетическая кухня Гитлера и хозяйственные помещения. Из предбункера винтовая лестница вела вниз в собственный бункер фюрера, который состоял из двадцати комнат. Посредине шел широкий коридор; направо находились комнаты Бормана, Геббельса, врача-эссовца Штумпфеггера, а также канцелярские помещения; налево — шесть личных комнат Гитлера. Коридор заканчивался дверью, которая вела в большой зал заседаний.

Дневные часы Гитлер обычно проводил у себя. В его гостиной висел большой портрет Фридриха Великого, стоял письменный стол, узкий диван, еще один стол с тремя креслами. Комната без окон, с голыми стенами, производила тягостное впечатление. Но это последнее убежище, эта подземная крепость из бетона, мертвая тишина и электрический свет, несомненно, отвечали характеру Гитлера: изоляция и искусственность его существования нашли здесь свое наиболее адекватное воплощение.

Все свидетели этих последних недель сходятся в своих рассказах о Гитлере: согбенная фигура, серое и как бы погруженное в тень лицо, потухший взгляд, голос, выражающий глубокий упадок сил. Вместо прежней театральной поступи он теперь еле волочил ноги. Казалось, он расплачивается за позерство многих лет. Нередко на его одежде были видны пятна еды, на бескровных губах — крошки печенья. Держа в левой руке очки во время докладов о текущей обстановке, он ронял их на стол, искал ощупью, и тут особенно видно было, как дрожат его руки. Один из офицеров генштаба описывает его так:

«Физически он являл собой ужасное зрелище. Наклонив вперед верхнюю часть туловища, шаркая подошвами, он тащился из своей

комнаты в зал заседаний. Когда кто-нибудь останавливал его на этом коротком пути в 20–30 метров, он терял равновесие и хватался за спинку одного из диванов, стоящих вдоль стен, или за собеседника... Глаза его были налиты кровью. Все материалы, которые готовились для него, были перепечатаны на особой пишущей машинке с шрифтом втрое крупней обычного, и все-таки он мог читать их только с помощью сильных очков. Порой из угла рта свешивалась слюна...»

Время спуталось, день и ночь поменялись местами. Последнее сощещание перед тем, как идти спать, заканчивалось около шести утра.

Но и после этого, лежа в полном изнеможении на диване, Гитлер ожидал прихода секретарш, чтобы продиктовать распоряжения на ближайший день. Когда женщины входили, он с величайшими усилиями поднимался с дивана. «Пошатываясь, — вспоминала впоследствии одна из них, — он стоял некоторое время перед нами и снова валился на кушетку. Слуга поднимал ему ноги повыше. Казалось, его занимала только одна мысль: шоколад и печенье. Его пристрастие к сладкому превратилось в какую-то болезнь. Раньше он съедал три печенья, а теперь ему трижды подавали полную тарелку. С трудом выдавливал он отдельные слова».

И все же, вопреки стремительно прогрессирующему физическому упадку, Гитлер продолжал руководить операциями; упрямство, подозрительность, фанатическое сознание своей миссии и безудержное своеволие раздували последние искры его энергии. Кто-то из врачей увидел его в середине февраля 1945 года после четырехмесячного перерыва и был поражен его состоянием, ослабевшей памятью и неспособностью длительно концентрировать внимание: время от времени фюрер как бы отключался. Когда вопреки его намерениям Гудериан представил план строительства оборонительных сооружений на Востоке, Гитлер не произнес ни слова и лишь уставился неподвижным взглядом на карту, а затем внезапно и коротко отпустил присутствующих. Было непонятно, что это значит. Но зато спустя несколько дней попытка возразить ему вызвала бешеную вспышку; Гудериан вспоминает: «Побагровев и весь сотрясаясь, с вздетыми кулаками, он стоял передо мной, совершенно потеряв самообладание. Потом он принялся бегать по краю ковра взад и вперед, время от времени останавливаясь и осыпая меня бранью. Он охрип от крика, глаза вылезли из орбит, на висках пульсировали сосуды».

Внезапные перемены настроения типичны для тех недель. Гитлер неожиданно смещал многолетних ближайших сотрудников и так же неожиданно приближал к себе других людей. Когда его старый врач

Брандт вместе с одним из своих коллег попытался противостоять неограниченному влиянию лейб-медика Мореля, с тем чтобы избавить Гитлера от рокового пристрастия к наркотическим средствам, которые щедро прописывал ему Морель, Гитлер попросту уволил Брандта, а затем велел его казнить. Внезапной опале подверглись Гудериан, Риббентроп, Геринг и многие другие. Временами Гитлер впадал в отупение. С отсутствующим взглядом сидел на диване, машинально глядя пса. В любом препятствии, во всяком отступлении он усматривал измену. Человечество, жаловался он, слишком испорчено, чтобы ему, Гитлеру, имело смысл жить дальше.

В эти дни в полной мере проявилась его постоянная потребность находить утление своей мизантропии в безвкусных издевательствах над окружающими. Женщинам он говорил, что губная помада изготавливается в Париже из помоев. За обедом, если за столом сидел гость, не соблюдавший вегетарианскую диету, Гитлер мрачно шутил, имея в виду кровопускания, назначаемые Морелем: «Вот возьму и прикажу сделать из моей крови колбасу. И угощу вас! А почему бы и нет? Вы же любите мясо». Одна из секретарш рассказывала, как он однажды долго жаловался на измену, а потом стал говорить, что будет с государством, когда его не станет: «Германия останется без руководства. Ведь у меня больше нет преемника. Первый спятил (Гесс), второго не уважают (Геринг), а третьего не хотят партийные круги (Гиммлер), да и вообще это полнейшая бездарность!»

Время от времени ему как будто еще удавалось совладать с собственной пошатнувшейся психикой. Порой он умело прикрывался именем какого-нибудь популярного военачальника. Из протоколов последних совещаний о военном положении видно, как он ловко пользовался любым поводом, любым, даже самым ничтожным успехом, чтобы раздуть его, сделать из мухи слона и в конце концов внушить окружающим надежду. Его собственные амбиции и иллюзии, разумеется, простирались много дальше. С осени сорок четвертого года он начал пополнять убывающие фронтовые части так называемыми народно-гренадерскими дивизиями. Но одновременно был отдан приказ не расформировывать остатки разбитых соединений, а вновь бросать их в бой, чтобы они окончательно истекли кровью. Создавалось впечатление, что несмотря на потери, вооруженные силы Германии продолжают расти. К числу бредовых образов и представлений, рождавшихся в бункере, следует отнести и манипулирование дивизиями, которых вовсе не существовало. Эти дивизии совершали на бумаге наступательные операции, обходные маневры, вступали в решающие сражения и одерживали новые победы.

Окружение фюрера продолжало почти беспрекословно следовать ему в этой призрачной игре, основанной на самообмане, сознательном или бессознательном искажении действительности и самом обыкновенном безумии. Склонившись над большим столом, он трясущейся рукой, размашистыми движениями водил по карте. Когда вдали раздавался взрыв снаряда и лампа мигала под потолком, он обводил тревожным взглядом каменные лица стоящих навтыжку офицеров: «Это где-то недалеко!» При всем этом он сохранял свою власть и способность навязать людям свою волю. Правда, признаки разложения уже появились среди приближенных: нарушения дисциплины, отступления от заведенного порядка и этикета, необычные вольности. Когда Гитлер входил в зал заседаний, не все давали себе труд встать, разговоры не прерывались, как прежде. Тем не менее, он еще мог в одно мгновение восстановить «порядок». И по-прежнему на этих собраниях царила ирреальная атмосфера придворного общества, усугубляемая тем, что весь этот театр разыгрывался глубоко под землей. По словам одного из участников совещаний, люди испытывали «не только душевное угнетение в этой атмосфере раболепия, нервозности и непрестанной лжи, но и физическое недомогание. Здесь не было ничего настоящего, Только страх». Тем удивительней было то, что Гитлеру все еще удавалось внушить доверие к себе и возбуждать самые несбыточные надежды. Несмотря на бесчисленные ошибки, ложь и прямую абсурдность его заявлений, он сохранял авторитет буквально до последних часов. Можно сказать, что ему удавалось разрушить чувство реальности у всех, кто был при нем и вокруг него. В середине мая в бункер явился гаулейтер Форстер. В отчаянии он сообщил, что 1100 русских танков стоят перед Данцигом, а у вермахта всего лишь четыре «тигра». В передней Форстер сказал, что он совершенно уверен в том, что ему удастся открыть глаза фюреру на безвыходность положения и убедить его «принять разумное решение». После короткой беседы с Гитлером, сообщает тот же рассказчик, Форстер вернулся «неузнаваемо преображенный»: оказалось, что фюрер обещал ему новые дивизии, Данциг будет спасен, «und da gibt's nichts zu zweifeln», нет сомнения, что так оно и будет.

Но подобные эпизоды приводили нередко и к противоположному результату. Они показывали, сколь искусственной, зависящей от личных симпатий и антипатий была вся система поведения подручных и персонала из окружения Гитлера. Его подозрительность, принявшая в последние месяцы патологически-гротескную форму, могла бы найти в этом дополнительное подкрепление. Еще до начала наступления в Арденнах он усилил и без того строжайшие предписания секретности еще одной, совершенно необычной мерой: распорядился, чтобы все коман-

дующие армиями дали письменное обязательство хранить молчание о готовящихся операциях. Бомбардировочная авиация стала в буквальном смысле жертвой этой мании бдительности. Сформированное из оставшихся резервов крупное соединение в количестве 800 самолетов совершило исключительно удачный рейд, уничтожив в течение считанных часов около тысячи самолетов противника на аэродромах Северной Франции, Бельгии и Голландии и потеряв при этом всего около ста самолетов (операция «Плита»). Однако на обратном пути из-за доведенной до абсурда секретности соединение нарвалось на огонь немецких зенитных батарей и потеряло свыше двухсот самолетов. Другой пример приводит Гудериан в своих записках. После сдачи Варшавы в конце января Гитлер отдал приказ арестовать командование, виновное, как ему мерещилось, в потере города; Кальтенбруннер и начальник гестапо Мюллер подвергли начальника генерального штаба многочасовому допросу.

Следствием этой подозрительности было то, что он все чаще искал общества своих старых соратников, словно хотел оживить в себе былую напористость, веру и фанатизм. Когда он облек гаулейтеров полномочиями имперских комиссаров обороны, это был акт, подчеркивающий узы старого товарищества. Он вспомнил о Германе Эссере, пятнадцать лет тому назад впадшем в немилость, и поручил ему выступить с речью в Мюнхене 24 февраля в честь 25-летия провозглашения партийной программы; сам он в этот день принял в Берлине депутацию высших партийных чинов. В последний раз Гитлер попытался увлечь слушателей перспективой героической борьбы германцев до последнего человека. «Пусть мои руки дрожат, — воскликнул он, — пусть даже все тело будет охвачено дрожью, но сердце не вздрогнет никогда!»

20 апреля, в день рождения Гитлера, — ему исполнилось 56 лет, — руководство рейха собралось в бункере; это было последнее совещание. Присутствовали Геринг, Геббельс, Гиммлер, Борман, Шпеер, Лей, Риббентроп, а также высшие чины вермахта. За несколько дней до этого неожиданно появилась Ева Браун. Все хорошо понимали, что означает ее прибытие. Во время церемонии приема поздравлений именинник старался поддерживать искусственную бодрость. Он произнес несколько кратких речей, был щедр на похвалы, делился воспоминаниями. В саду Имперской канцелярии, перед фотографами и операторами, он обошел строй подростков — бойцов отряда гитлеровской молодежи, который должен был выступить навстречу быстро приближавшимся советским армиям. Похлопал детей по щекам, раздал награды. Примерно в это же время были приведены в исполнение последние смертные приговоры по делу о заговоре 20 июля 1944 г.

Прежде Гитлер выражал намерение покинуть Берлин и укрыться в Зальцбургских Альпах, на границе Австрии и Баварии, чтобы продолжать борьбу из «Альпийской крепости». Туда уже отправилась часть персонала. Но накануне дня рождения он заколебался. Геббельс убеждал его остаться и дать последнее, решающее сражение у ворот столицы, если надо — погибнуть под развалинами города героической смертью, которая достойно увенчает его, Гитлера, славное прошлое, подтвердит верность клятвам, будет отвечать его месту в истории; только здесь, в Берлине, твердил Геббельс, можно одержать «всемирно-историческую моральную победу» над врагом. Все остальные участники совещания высказались за то, чтобы оставить фактически уже потерянный город. Можно было воспользоваться для спасения оставшимся узким коридором на юге, пока кольцо вокруг немецкой столицы не сомкнется окончательно. В том, что оно замкнется в ближайшие дни или даже часы, никто уже не сомневался.

Но Гитлер так и не решился бежать. Он лишь приказал назначить южное и северное командование войсками на случай, если Германия окажется рассеченной надвое вражеским наступлением. «Как я смогу воодушевить армию на решающую битву за Берлин, — заявил он, — если укроюсь в безопасном месте!» Под конец он провозгласил, что предоставляет решение вопроса судьбе.

Уже во второй половине дня начался исход. Гиммлер, Риббентроп, Шпеер и почти все военное командование присоединились к длинным колоннам грузовиков, которые стояли наготове в течение всего дня 20 апреля. Бледный и потный Геринг распрощался с фюрером, сославшись на «неотложные задачи в Южной Германии». Гитлер смотрел на все еще тучного соратника невидящим взглядом, как смотрят на стену. Можно было догадываться, что паника, охватившая всех вокруг него, уже предопределила в какой-то мере его решение.

Как бы то ни было, он приказал начать всеми имеющимися силами массивную контратаку против русских, уже подошедших к черте города: каждый человек, каждый танк и каждый самолет должны были вступить в бой, малейшее неповиновение подлежало самому жестокому наказанию. Командовать контрнаступлением он поручил обергруппенфюреру СС Штейнеру, но при этом сам распланировал всю операцию, определил исходные рубежи, сформировал для предстоящей гибели дивизии, которых и так уже давно не существовало. Позднее один из участников совещания, оставшийся в живых, высказал предположение, что вновь назначенный на место Гудериана начальник генштаба Кребе предпочитал вообще не информировать Гитлера о реальном положении вещей и лишь для виду занимал его военными играми, щадя иллюзии фюрера, да и нервы всех находившихся в бункере.

Действительно, никаких сведений от Штейнера не поступало. Было ясно, что сделанные Гитлером распоряжения лишь усилили общую панику. Красная Армия прорвала внешнее кольцо обороны на севере города. Передовые танковые части устремились в прорыв. Контрнаступление Штейнера вообще не состоялось.

Разразилась буря. После короткого мрачного молчания Гитлер, распалившись до крайности, начал обвинять весь мир: все, все без исключения предали его, продемонстрировали свою трусость и ничтожество. Его голос, за последние месяцы угасший почти до шепота, внезапно обрел былую силу. И пока по лестницам и коридорам, привлеченные шумом, сбегались обитатели подземелья, он кричал об измене. Он осыпал проклятиями армию, твердил о продажности, слабости, лживости: вот уже много лет он не видит вокруг себя никого, кроме предателей и прохвостов. Но теперь пришел конец всему. Он не в силах больше ничего сделать, ему остается только умереть. Здесь, в городе, он будет ждать своей гибели, он будет стоять до конца; кто хочет, пускай отправляется на юг: он никого не удерживает. Он потрясал кулаками, по щекам его струились слезы.

Когда в полном изнеможении он умолк, окружающие вновь, обретя дар речи, стали его уговаривать и упрашивать. Он не желал никого слушать. Нет, он не позволит себя увезти. Даже ставку в Восточной Пруссии ему не следовало покидать.

Безуспешными оказались и телефонные переговоры с Гиммлером и Деницем, пытавшимися убедить фюрера в необходимости эвакуироваться. С Риббентропом он вообще отказался разговаривать. Он повторял, что падет на ступенях Имперской канцелярии. Загипнотизированный этим драматическим видением, он произнес свои заклинания, как утверждает очевидец, десять или двадцать раз. После чего он продиктовал переданное по радио решение лично возглавить оборону столицы и закрыл, наконец, все еще тянувшееся много часов подряд совещание.

Этим, однако, не кончилось. Вернувшись в свои покои, Гитлер вызвал к себе Геббельса и велел ему окончательно перебраться с семьей в бункер фюрера. Затем он принялся собирать личные бумаги. Как всегда, когда он принимал определенное решение, он отдавал приказы сухо, кратко и не мешкая. Документы было приказано сжечь, Кейтелю и Йодлю — отправиться в Берхтесгаден, в Альпы; на просьбу дать им оперативные распоряжения от ответил отказом. Они пробовали возразить. Гитлер, нажимая на каждое слово, повторил: «Я Берлин не оставлю ни за что». Оба на какой-то миг подумали, не увезти ли им Гитлера силой, но тотчас прогнали эту мысль. После чего Кейтель направился в штаб армии Венка, находившийся в 60 километрах к юго-западу от го-

рода, — в последние оставшиеся дни эта армия все еще была предметом преувеличенных надежд. Йодль остался в бункере. Вот что он рассказывал о разговоре, состоявшемся у него с фюрером:

«Гитлер... принял решение продолжать руководить обороной, а в последнюю минуту застрелиться. Он сказал, что сам он сражаться не может из-за своего физического состояния, и не будет сражаться, ибо не хочет рисковать попасть раненым в руки врага. Мы изо всех сил старались отговорить его от рокового решения, предложили снять войска с Западного фронта и перебросить на Восток. Он сказал, что ничего из этого не получится; впрочем, пусть этим занимается рейхсмаршал. Когда кто-то из присутствующих заметил, что за рейхсмаршала уже ни один солдат больше воевать не станет, Гитлер сказал: “Воевать! Сколько еще осталось воевать?”...»

Казалось, он сдался. Вера в свою миссию, руководившая им с самого начала его карьеры, не всегда заметная для окружающих, но неизменная и непоколебимая, — очевидным образом надломилась. «Он потерял уверенность в себе», — писала подруге Ева Браун. Лишь один раз за эту ночь, когда обергруппенфюрер СС Бергер упомянул о немецком народе, который держится «так стойко и так верно», Гитлер снова возбудился, покраснел и стал выкрикивать бессвязные слова о лжи и предательстве. Мало помалу, однако, он успокоился и отпустил адъютанта, стенографисток, секретарш и прочих. День рождения кончился. Когда назавтра в блокированный и охваченный пламенем Берлин вновь прилетел Шпеер, чтобы лично попрощаться с фюрером, Гитлер держался с почти неестественным хладнокровием и говорил о близком конце как о желанном избавлении.

Вечером 23 апреля Геринг запросил по телеграфу из Берхтесгадена Берлин: означает ли решение фюрера остаться в столице, что вступает в действие закон от 29 июня 1941 года, по которому преемником фюрера должен стать он, рейхсмаршал Герман Геринг? Телеграмма была составлена в лояльном тоне; Гитлер выслушал ее как будто спокойно. Однако Борман, старый соперник Геринга, не замедлил разъяснить фюреру, что запрос рейхсмаршала есть не что иное как государственная измена, и Гитлер выдал один из своих самых бурных припадков бешенства. Он закричал, что Геринг — негодяй и трус, что он своим примером развратил страну, развел коррупцию в немецком государстве; назвал Геринга морфинистом и, наконец, в составленной Борманом радиogramме лишил рейхсмаршала всех должностей и званий. После этого он впал в состояние оцепенения и удовлетворения. Окружающие слышали, как он проговорил: «В конце концов какое мне дело. Пускай Геринг, если хочет, ведет переговоры о капитуляции. Раз война проиграна, не имеет значения, кто будет этим заниматься».

Все резервы были исчерпаны. Гитлер был не в силах более скрывать свое бессилие и страх. Всю жизнь он нуждался в позах и умел их находить, но теперь изображать было уже некого. В отличие от своего любимца Фридриха Великого, который и в поражении сохранял способность пустить пыль в глаза окружающим, Гитлер лишился всякого самообладания. Вспышки гнева сменялись громкими всхлипываниями.

Прошло еще два дня. 26 апреля в осажденный город прибыл генерал-полковник фон Грейм, назначенный главнокомандующим военно-воздушных сил вместо Геринга. Гитлер настоял на том, чтобы процедура назначения была совершена им лично. Грейма сопровождала знаменитая летчица Ганна Рейч. По словам Рейч, глаза Гитлера были полны слез, а лицо покрылось смертельной бледностью, когда он говорил об «ультиматуме» Геринга: «Ничего не осталось, ни верности, ни чести, — а теперь еще и этот... Худшего удара мне уже невозможно нанести». И все-таки, замечает Рейч, надежда не окончательно оставила Гитлера. В бесконечных разговорах с самим собой он вновь и вновь пытался оживить в себе какую-то веру. Поздно ночью он вызвал к себе летчицу и сказал ей, что великое дело, ради которого он жил и боролся, судя по всему, погребено, но — остается еще армия генерала Венка: она уже совсем близко. Венк прорвет кольцо и изменит ситуацию. Он вручил ей флакон с ядом, добавив: «Я все-таки еще надеюсь, дорогая Ганна. Армия Венка наступает с юга. Он должен отогнать русских, и он это сделает. И спасет наш народ».

В эту ночь первые снаряды советской артиллерии уже рвались на территории Имперской канцелярии. Рухнула каменная стена сада, и бункер вздрогнул. Кое-где противник был уже на расстоянии одного километра от подземного убежища.

Решение покончить с собой было принято в ночь с 28 на 29 апреля. Около 10 часов вечера Гитлера, беседовавшего с фон Греймом, прервал слуга Линге. Только что поступило сообщение агентства Рейтер о том, что рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер связался со шведским графом Бернадоттом с целью начать переговоры с западными союзниками о капитуляции.

Потрясение, вызванное этой новостью, было, пожалуй, сильнее, чем все эскапады последних недель. Хотя Гитлер говорил, что худшего удара, чем измена Геринга, ему нельзя нанести, он и прежде считал Геринга оппортунистом и подозревал его в коррупции; измена эта в некотором смысле не была неожиданностью. Другое дело Гиммлер, который без устали клялся в верности фюреру и рекламировал свою неподкупность. Поведение Гиммлера означало, что рухнул некий краеугольный камень. Для Гитлера это было действительно страшным ударом. «Он

бесновался, как буйнопомешанный», — свидетельствует Ганна Рейч. Тем не менее он как-то неожиданно быстро справился с собой. Гитлер заперся с Геббельсом и Борманом. Совещание было коротким. Сначала Гитлер велел допросить Фегелейна, группенфюрера СС и личного представителя Гимmlера в ставке фюрера, после чего охрана расстреляла Фегелейна в саду. Далее был вызван Грейм, которому Гитлер поручил прорваться из Берлина и арестовать Гимmlера. «Изменник не может быть моим наследником», — твердил он.

Затем он занялся собственными делами. Малый зал совещаний (находившийся рядом со спальней Гитлера) был срочно подготовлен для официальной церемонии. Из стоявшего поблизости подразделения фольксштурма был вызван мобилизованный бывший чиновник отдела записи актов гражданского состояния, некто Вальтер Вагнер, который должен был оформить брак Гитлера и Евы Браун. Геббельс и Борман были свидетелями. Обе стороны представили официальное прошение о бракосочетании ускоренным порядком, по законам военного времени. Они заявили о своем чисто арийском происхождении и отсутствии наследственных заболеваний. В протоколе отмечено, что указанные в заявлении сведения «проверены и признаны соответствующими установленному порядку». После чего Вагнер обратился к жениху и невесте со следующими словами:

«Перехожу к торжественному акту бракосочетания. В присутствии вышеназванных свидетелей (таких-то) я спрашиваю вас, мой Фюрер Адольф Гитлер: желаете ли вы вступить в брак с фрейлейн Евой Браун? В случае согласия прошу ответить: да.

А теперь я спрашиваю вас, фрейлейн Ева Браун: желаете ли вы вступить в брак с моим Фюрером Адольфом Гитлером? В таком случае прошу вас ответить: да.

А теперь, после того как оба обрученных дали свое согласие вступить в брак, объявляю именем закона брак заключенным».

Было подписано брачное свидетельство. От волнения новобрачная начала было подписывать бумагу своей девичьей фамилией, затем зачеркнула букву «Б» и написала: «Ева Гитлер, урожденная Браун». Все вышли в соседнюю комнату, где находились секретарши, несколько адъютантов и диетическая повариха Гитлера. Подняли бокалы и предались меланхолическим воспоминаниям о прошлом.

Из рассказов очевидцев можно сделать заключение, что все дальнейшее как бы ускользало от внимания Гитлера и совершалось помимо него. Видимо, ему хотелось, чтобы заключительный акт был инсценирован грандиозней, катастрофичней, хотелось больше пафоса, ужаса, театральности. Вместо этого все выглядело странно-беспомощной им-

провизацией, как будто многочисленные и чудесные перипетии его жизни не оставляли ему времени всерьез задуматься о возможности неотвратимого конца. И свадьба как пролог к двойному самоубийству — словно его пугало ложе смерти, не освященное законом, — служила предварением довольно тривиального ухода и демонстрировала, сколь жалким был этот конец, хотя бы в его собственных глазах вагнерианский мотив придавал всему действию тон возвышенно-трагического и примиряющего финала. Что бы ни связывали отныне с его именем, это был конец: конец мифа о Гитлере.

Быть может, и последующее самоубийство было чем-то большим, нежели отказом от режиссуры собственной жизни, которую он всегда ощущал как роль. Свадьба с Евой Браун была не только жестом признательности единственному существу, которое, как отметил Гитлер, оставалось верным ему до конца — вместе с овчаркой Блонда. Свадьба была и актом отречения. Он не раз заявлял, что в качестве фюрера он не имеет права быть женатым человеком: мифологический образ народного вождя не допускал обычных человеческих черт. Именно от этой претензии он теперь и отказался, и это дает нам право сделать более широкий вывод: он уже больше не верил в жизнеспособность национал-социализма. Впрочем, он так и сказал своим гостям: с идеей покончено, она больше не возродится. После этого он покинул собрание, чтобы продиктовать в соседней комнате свою последнюю волю.

Здесь было составлено завещание — политическое и личное. В первой, политической части Гитлер клеймил евреев, клялся в собственной невинности и взывал к духу сопротивления: «Пройдут столетия, но из руин наших городов вновь возродится ненависть к тому народу, который, в конечном счете, несет ответственность за все и которому мы всем этим обязаны: к международному жидовству!»

Пронеслись 25 лет его головокружительной карьеры, он пережил неслыханные триумфы, за которыми последовали неудачи, отчаяние и, наконец, катастрофа. Но, как с недоумением отмечал еще в конце тридцатых годов приятель его юности Август Кубицек, Гитлер состарился, но не переменился. Завещание чуть ли не слово в слово повторяет первый документ его политической биографии — письмо Адольфу Гемлиху, датированное 1919 годом. Любая фраза этого завещания выглядит как цитата из речей молодого демагога в какой-нибудь из мюнхенских пивных. Феномен ранней фиксации, застылости, отстранения от реального жизненного опыта — находит в этом предсмертном манифесте свое, быть может, наиболее адекватное выражение. Особый абзац посвящен Герингу и Гиммлеру: автор завещания исключает их из партии и снимает со всех постов. Своим преемником на посту рейхспрезидента,

военного министра и верховного главнокомандующего он назначает адмирала Деница. Вслед за этим в завещании говорится о том, что военному флоту присуще понятие чести, противное всякой мысли о сдаче; очевидно, это следует понимать как указание продолжать борьбу после его смерти до последнего человека. Гитлер назначил новое правительство во главе с Геббельсом: Борман — министр по делам партии, Зейс-Инкварт — министр иностранных дел, Гислер — министр внутренних дел, Ганке — рейхсфюрер СС, Заур — министр вооружения, Шернер — главнокомандующий сухопутных сил; в числе остальных членов правительства названы Лей, Функ и Шверин фон Крозигк. Государственная часть завещания Гитлера, не содержащая ни малейших признаков политической трезвости, ни слова благодарности соратникам, но также и никаких ссылок на историческую важность момента, заканчивалась следующим пассажем:

«Прежде всего, как самое важное, я обязываю руководство нации и подчиненных неукоснительно соблюдать расовые законы и продолжать неуклонное сопротивление мировому отравителю всех народов — международному жидовству».

Вторая, приватная часть завещания была гораздо короче. Политический раздел притязал на то, чтобы оставить неизгладимый след в истории. Из личного же документа выглядывает сын таможенного чиновника, каким Гитлер остался до конца своих дней, несмотря на все переживания:

«Так как в годы борьбы я считал, что не могу взять на себя ответственность основать семью, я теперь, перед окончанием моего жизненного пути, решил сочетаться браком с той девушкой, которая после многих лет верной дружбы добровольно вернулась в почти осажденный город, чтобы соединить свою судьбу с моей судьбой. Она добровольно уходит вместе со мной в смерть в качестве моей супруги. Смерть заменит нам то, что отняла у нас обоих моя работа на благо моего народа. Мое имущество, поскольку оно вообще представляет ценность, принадлежит Партии. Бели таковая более не будет существовать, то государству; в случае же уничтожения государства мои дальнейшие распоряжения излишни. Свои картины, приобретенные за многие годы, я собирал не для личных целей, но для устройства галереи в моем родном городе Линце¹ на Дунае; моим заветным желанием фиш бы, чтобы это намерение осуществилось. Моим душеприказчиком я назначаю моего вернейшего партийного товарища Мартина Бормана. Он уполномочен окончательно и в законном порядке сделать все необходимые распоряжения. Ему

¹ Гитлер родился в городке Браунау на Инне, но провел большую часть детства в окрестностях Линца, — *прим. переводчика.*

разрешается разделить все, что имеет ценность личной памяти или необходимо для поддержания скромной частной жизни, между моими родственниками, а также и прежде всего матерью моей жены и моими, поименно известными ему верными сотрудниками и сотрудницами, в первую очередь моими секретарями и секретаршами, которые долгие годы помогали мне своей работой.

Я сам и моя супруга, дабы избежать позора смещения или капитуляции, избираем смерть. Наша воля — быть сожженными немедленно, на том самом месте, где я совершал большую часть моей повседневной работы в ходе 12-летнего служения моему народу».

Гитлер подписал обе части завещания в 4 часа утра 29 апреля. Были изготовлены три копии, и в течение дня делались попытки вывезти их за пределы города. Одним из курьеров был полковник фон Белов, личный адъютант Гитлера по линии ВВС. Вместе с копией завещания он должен был доставить распоряжение фюрера фельдмаршалу Кейтелю. Этот последний приказ, который здесь нет необходимости приводить полностью, заканчивался так:

«Народ и вооруженные силы в этой долгой и упорной борьбе совершили все возможное. Их жертва была огромной. Однако многие злоупотребляли моим доверием. Вероломство и измена подрывали силу сопротивления на протяжении всей войны. Вот почему мне не было дано привести мой народ к победе. Генеральный штаб армии нельзя даже сравнить с генеральным штабом в Первую мировую войну. Он оказался не на высоте тех подвигов, которые были совершены на фронте. Усилия и жертвы германского народа в этой войне были столь велики, что я не могу поверить в то, что они были напрасны. Завоевание пространства на Востоке и впредь должно оставаться целью нашего народа».

Не раз в течение последних недель Гитлер выражал опасения, что ему придется стать «экспонатом Московского зоопарка» либо главным действующим лицом в «спектакле, который устроят евреи». Эти опасения особенно усилились, когда днем 29 апреля пришло известие о конце Муссолини. Двумя днями раньше дуче был схвачен партизанами в районе озера Комо и без долгих разговоров расстрелян вместе со своей подругой Кларой Петаччи; трупы были привезены в Милан, повешены за ноги перед бензоколонкой на Пьяццале Лорето, и народ плевал на них и осыпал их камнями.

Под впечатлением от этой новости Гитлер приступил к приготовлениям к собственному концу. Своему слуге Линге, шоферу Кемпка, капитану личного самолета Бауру и другим он велел позаботиться о том, чтобы его останки не попали в руки к врагам. Все приготовления происходили в духе его всегдашней мании окутывать себя тайной и секретно-

стью. Контраст между смертью Гитлера в его логове и финалом Муссолини, призывавшего последних оставшихся у него сторонников умереть вместе с ним «в лучах восходящего солнца», бросается в глаза. Вдобавок Гитлер боялся, что яд может не подействовать достаточно быстро и эффективно. Он приказал испытать снадобье на любимой овчарке Блонда. В полночь собаку заманили в уборную, фельдфебель Торнов, приставленный для ухода за Блонди, растянул ей пасть, а профессор Газе, один из врачей, находившихся в бункере, сунул в пасть щипцы с ампулой и раздавил ее. Немного спустя вошел Гитлер. С минуту он разглядывал труп собаки. После этого обитатели бункера были приглашены на церемонию прощания в конференц-зал. Молча, с отсутствующим выражением, Гитлер двигался вдоль шеренги людей и каждому протягивал руку; некоторые что-то лепетали, он не отвечал или беззвучно шевелил губами.

В начале четвертого часа ночи он распорядился послать радиogramму Деницу: упрекал адмирала в недостаточной активности, решительно требовал «принятия безотлагательных и беспощадных мер против всех предателей». Конечно, это было всего лишь попыткой оттянуть конец. Из всех «тяжелейших решений» его жизни принятое сейчас было самым тяжелым. Наступило утро. Как обычно, он выслушал доклад об обстановке. Без всякой реакции он узнал о том, что советские войска заняли территорию зоологического сада, овладели Потсдамской площадью и станцией метрополитена на Фоссштрассе в непосредственной близости от Имперской канцелярии.

Затем было велено добыть двести литров бензина. Около двух часов Гитлер пообедал в обществе секретарши и поварихи. Это был тот самый момент, когда два советских сержанта под огнем все еще сопротивлявшихся немцев водрузили на куполе Рейхстага красный флаг. Покончив с трапезой, Гитлер созвал ближайших сотрудников, в том числе Геббельса, Бормана, генералов Бургдорфа и Кребса, были приглашены также секретарши Кристиан и Юнге и несколько денщиков. Гитлер и Ева попрощались за руку со всеми и, молчаливые, согбенные, исчезли за дверью. И, словно эта жизнь, беспрестанно обставлявшаяся сценическими эффектами и как бы рассчитанная на дешевые аплодисменты, должна была завершиться еще одним безвкусным представлением, — в этот момент вдруг, как рассказывают свидетели, послышалась музыка: в столовой Имперской канцелярии наверху были устроены танцы. Очевидно, люди хотели как-то разрядить копившееся неделями напряжение. Повторные настоятельные напоминания о том, что сейчас, в эту минуту фюрер готовится к смерти, не возымели никакого действия. Было 30 апреля 1945 года, начало четвертого часа пополудни.

Что произошло дальше, выяснить в точности не удалось. По свидетельству большинства тех, кто находился в бункере и остался в живых, раздался одиночный выстрел. Сразу после этого в комнату Гитлера вошел командир эсэсовской охраны Раттенгубер. Гитлер, с залитым кровью лицом, сидел, сгорбившись, на диване. Рядом с ним его жена, с неразряженным пистолетом на коленях: она приняла яд. Советские авторы считают, что Гитлер тоже отравился. Правда, имеющиеся данные указывают на то, что в окружении Гитлера делались попытки установить, кто из приближенных Гитлера мог получить от него приказ застрелить его. С другой стороны, в останках черепа, найденных на месте сожжения, признаки огнестрельного повреждения отсутствуют. Все же совокупность всех имеющихся сведений, несмотря на их противоречивость, позволяет заключить, что имело место не убийство, а самоубийство. Попытки опровергнуть этот вывод — как бы последний звук предпринимавшихся еще при жизни Гитлера стараний окончательно доказать его полное ничтожество. Как если бы моральная низость заведомо лишила его всяких сил и способностей¹.

Раттенгубер распорядился вынести трупы на двор и облить их бензином. Все обитатели подземелья поднялись наверх. Но едва только они вылезли, как огонь русской артиллерии загнал их назад в бункер. Адьютант Гитлера эсэсовец Гюнше набросил на трупы Гитлера и Евы тлеющую тряпку, пламя взвилось и скрыло их, а стоявшие вокруг по стойке «смирно» охранники отдали фашистское приветствие. Спустя полчаса труп Гитлера уже невозможно было опознать: он сгорел почти полностью. И еще в 12 часов ночи, по словам одного из свидетелей, в воздухе над садом носились клочья пепла.

История рейха и его фюрера на этом, однако, не кончилась. Двумя днями позже, после того как Геббельс, предприняв безуспешную попытку под предлогом «общего праздника 1 Мая» побудить русских вступить с ним в отдельные переговоры, покончил с собой, а Борман с оставшимися обитателями логова попытался прорваться, советские войска овладели опустевшим бункером и немедленно приступили к поискам останков Гитлера. Протокол судебно-медицинского исследования от 8 мая 1945 года гласит, что найденные в саду фрагменты сильно обугленного мужского тела, «по-видимому, представляют собой труп Гитлера». Вскоре после этого появились сообщения, опровергавшие это

¹ Факт самоубийства Гитлера был скрыт от немецкого народа и войск, продолжавших сопротивление в Берлине. Первого мая берлинское радио сообщило, что фюрер «пал героической смертью», — прим. переводчика.

утверждение, однако советские источники заверили, что труп удалось идентифицировать на основании исследования челюстей. В свою очередь британские власти утверждали, что, по их данным, Гитлер скрывается где-то в английской зоне оккупации. На Потсдамской конференции в конце июля 1945 г. Сталин заявил: труп отнюдь не разыскан, Гитлер жив и скрывается в Испании или Южной Америке. В конце концов Советам удалось окутать дело такой темнотой и тайной, что еще долгое время о конце Гитлера ходили самые фантастические слухи. Находились люди, которым будто бы доподлинно было известно, что Гитлер был расстрелян группой немецких офицеров на территории Зоопарка; другие считали, что он бежал на подводной лодке на отдаленный остров. Одно время снова распространился слух, будто Гитлер живет не то в испанском монастыре, не то на южноамериканском ранчо. При жизни Гитлер своими успехами был в значительной мере обязан тому или иному из своих противников; теперь вновь, в довершение всех заблуждений эпохи, то и дело находились люди, готовые вернуть ему на какое-то время мифическую жизнь после смерти.

При всей беспочвенности этих версий, утверждение, что Гитлер жив, было символичным. Оно свидетельствовало о том, что явление Гитлера, его восхождение и его триумфы имели глубокие предпосылки, выходявшие далеко за рамки собственно немецкой истории. Каждый народ несет ответственность за свою историю. Но лишь сознание, неспособное извлечь урок из несчастий нашей эпохи, сочтет Гитлера представителем одной единственной нации и откажется признать, что в нем обрела кульминацию и достигла предела мощная тенденция времени, под знаком которой стояла вся первая половина века.

Гитлер не только разрушил Германию, но и уготовил конец всей старой Европе с ее национализмами, внутренними конфликтами, традициями наследственной вражды и искусственными императивами, Европе наших отцов со всем ее блеском и величием. Быть может, он заблуждался, говоря, что Европа его «пережила». Понадобился его исключительный радикализм, его бредовое сознание своей миссии, его фантазии и, как следствие всего этого, беспримерный взрыв энергии, чтобы столкнуть эту Европу в пропасть. Но несомненно и то, что он не смог бы разрушить Европу без помощи самой Европы.

Иоахим ФЕСТ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АПОЛИТИЧНОМ

Политическое мировоззрение Томаса Манна

Thou com'st in such a questionable shape...

Hamlet¹

Политика — и Томас Манн. Мы ступаем на зыбкую почву. Жизнь и творчество, пронизанные иронией, какое-то особенное пристрастие к двусмысленности, респектабельное плутовство... Не будем спешить с выводами.

Легче всего было бы описать взаимоотношения Томаса Манна с политикой как некий последовательный процесс — историю о том, как художник, занимавший вначале весьма шаткую позицию, мало помалу под давлением неумолимой действительности прозрел, созрел и обрел политический разум. Пускай он переживал периоды колебаний, пусть даже поддавался на время реакционно-романтическим соблазнам, — в конце концов за этим всегда следовал решительный шаг вперед. Словом, классический немецкий роман воспитания, претворившийся в жизнь крупнейшего писателя страны; биография как восхождение к некоему совершенству. «Писательство как самовоспитание» — как выразился о своем брате Генрих Манн, имея в виду именно эту эволюцию.

Не зря роман о становлении личности сделался чуть ли не универсальным прозаическим жанром у столь серьезно относящегося к педагогике народа, как мы, немцы; упорно и настойчиво, рискуя утомить читателя, эта романистика вдалбливает ему, что жизнь человеческая обретает смысл лишь по мере того, как человек в борениях с самим собой достигает зрелости и просветления. Порой кажется, что в своем политическом развитии Томас Манн стал образцово-показательным немецким писателем в эпоху заката бюргерства именно потому, что воплотил в своей персоне традиционное представление о жизни как о педагогическом уроке: начав с принци-

¹ «Твой образ так загадочен...» Шекспир, «Гамлет», I, 4. (Пер. М.Лозинского.)

ального аполитизма, с возвышенной игрой в искусство, он, вслед за большинством своих собратьев по перу, поддался эйфории Первой мировой войны, разделил общее националистическое опьянение, но затем образумился, отбросил прежние заблуждения и ступил на твердый путь солидарности с республикой и демократией, даже будто бы «повернулся лицом к социализму». Иначе говоря, то самое — опять-таки традиционное для немцев — отчуждение духа от политики, которое Томас Манн так образцово демонстрировал в начале творческого пути, было им успешно преодолено, и в конце концов, уже находясь в эмиграции, он примкнул к когорте самых отважных критиков гибельного пути, на который увлек Германию Гитлер. Пример, достойный подражания!

Эту интерпретацию подкрепляют и многочисленные высказывания самого писателя, начиная с на шумевшей речи «О немецкой республике», произнесенной в 1922 г. по случаю шестидесятилетия Герхарта Гауптмана, и далее в изобилующих политическими пассажами эссе о Фрейде, Гете, Вагнере, относящихся к последним годам Веймарской республики, в «Страданиях о Германии», наконец в радиопередачах по Би-Би-Си во время войны; не говоря уже о многом другом, что он называл, не без веселого удивления, своей «общественной работой», которую выполнял в качестве «странствующего проповедника демократии».

Все это так, и тем не менее хочется спросить: действительно ли речь идет о смене убеждений? Ответ непрост. Не то чтобы его выступления во славу республики, западной цивилизации и справедливого социального устройства были вынужденными уступками человека, который считал, что быть любимцем публики, автором звучных речей и модным властителем дум стоит многих республиканских месс. Но нельзя не почувствовать иронического подтекста, которым сопровождаются все его высказывания по принципиальным вопросам и который заметно ослабляет, если не вовсе нейтрализует, их эффект. Уже «Размышления аполитичного» он снабдил введением, из которого видно, что при всем полемическом запале, даже упоении, с которым автор декларирует свои взгляды, ему не чужда и «роль адвоката, чувство игры, особого рода артистизм и сознание того, что где-то внутри он выше условностей своей роли, — короче говоря — очевидные признаки «беспринципности». Что-то подобное присутствует и в исповедальной речи «О немецкой республике». В предисловии к печатному тексту этой речи он прямо-таки ошарашивает читателя следующим пассажем: «Итак, если на этих страницах автор защищает несколько иные взгляды, нежели те, которые он высказывал в книге

«Размышления аполитичного», то это отнюдь не означает, что автор противоречит самому себе: воюют друг с другом лишь идеи... На самом деле от «Размышлений» тянется прямая нить к сегодняшней речи о республике». Примерно в это же время он писал одной своей корреспондентке, на сей раз опровергая свои заявления о приверженности к демократии: «Я присоединяюсь к великим учителям Германии, Гете и Ницше, которые умели быть антилибералами, не делая ни малейшей уступки обскурантизму и ни на йоту не изменяя разуму и достоинству человека».

Тому, кто недостаточно легковерен и кто не занят исключительно вербовкой прозелитов демократической веры, не так-то просто разобраться, какой собственно была политическая физиономия этого писателя. О ней тем более трудно судить из-за примечательной и характерной для Томаса Манна раздвоенности, на которую не раз указывал он сам. Его рационалистические и гуманистические убеждения, писал Манн в одном письме 1935 года, находят выражение «почти только в эссеистике и полемических статьях, но отнюдь не в художественном творчестве, в котором (продолжает он) моя истинная природа, тяготеющая к человечности и уравновешенности, никогда не проявляется в обнаженном виде.» Демократические толкователи Т.Манна обычно ссылаются на его политические писания, так как в них автор выступает, по-видимому, от собственного имени как гражданин и сторонник определенных взглядов, тогда как в романах и рассказах всякая «позиция» опосредована и релятивирована сюжетной ситуацией и психологией действующих лиц.

Но и тот, кто вообще откажется проводить границу между писателем как политической личностью и просто личностью, с одной стороны, и его творчеством — с другой, тоже столкнется с противоречием. Особенно когда речь идет о периоде после начала двадцатых годов. Странным образом идейный поворот 1922 г. — казалось бы, столь очевидный — в художественном творчестве Манна не находит никакого отражения. Сумятица социальных и политических коллизий, наступление века промышленности, революция — все это так же чуждо его поздним романам, как и ранним, даже наоборот, в «Будденброках» этот мир, где упадок семьи тесно увязан с историческим процессом крушения бюргерства, дает о себе знать отчетливой, чем во всех позднейших произведениях. Причем и этот социологизм сам автор был склонен преуменьшать и настаивал на том, что он повествует всего лишь об индивидуальных судьбах и якобы «слегка проспал превращение немецкого бюргера в современного буржуа». Как бы то ни было, и раньше, и позже его взор был устремлен на непо-

вторимость обособленной, пересаженной во внеисторическую историчность личности, на «проблематичное я». Вскоре после того, как вышла в свет «Волшебная гора», автор писал Юлиусу Бабу в ответ на упрёки в равнодушии к общественным проблемам:

То, что социальное — моя слабая сторона, я прекрасно знаю, и знаю, что тем самым оказываюсь в известном противоречии с избранной мною формой — романом, который требует внимания к социальным вопросам и в свою очередь привлекает к ним внимание читателей. Но прелесть — я сознательно выражаюсь фривольно — прелесть индивидуального и метафизического влечет меня к себе несравненно сильнее».

Уже эти немногие примеры показывают, сколь рискованны попытки однозначно сформулировать политическую позицию Томаса Манна. Пытаясь поймать его на слове, мы вступаем в противоречие с его натурой, с его любовью к маскировке, смене ролей, с той возвышенной игрой в прятки, которую он постоянно ведет с читателем. Его склонности явно шли вразрез с партийностью, тенденциозностью и тем, что называется engagement, «завербованностью», вообще против любых форм общественной «вовлеченности»; даже в 40-х годах эта вовлеченность, по его собственному признанию, легко приобретала для него «характер чего-то мнимого, фантастически-шутовского и наигранного». Безоговорочное присоединение к определенному лагерю, определенной идеологии — не в характере Манна; как и его герой Ганс Касторп, он всегда хотел оставаться «господином противоположностей». Спор критиков о том, кому больше симпатизирует автор: Нафте с его обещаниями принудительно-тотального счастья для всех или Сеттембрини, этому бельканто свободы и прогресса, — заставлял писателя лишь недоуменно пожимать плечами. Он предоставил каждому персонажу возможность отстаивать свою правоту и, так сказать, агитировать читателя; все герои книг Томаса Манна — его дети, поэтому он и за Тонио Крегера, и за его антагониста, на стороне Марио, а также и на стороне волшебника.

Как писатель рефлектирующий, который как никто другой неустанно занимался толкованием собственных произведений, Томас Манн сумел построить целую теорию из той системы, которую он вновь и вновь создавал художественными средствами в каждом очередном романе, в каждой повести, — системы амбивалентных, многозначных, никогда не наделенных абсолютной правотой или неправотой фигур. В этом и состоит ирония Томаса Манна. Эта ирония — нечто большее, чем особенность стиля или литературный прием; она исходит из самых глубин личности писателя.

С беспримерной языковой изобретательностью, во всех мыслимых формах пользуется он этой иронией. Она служит и общим фоном повествования, и средством характеристики действующих лиц, их чувств, всего, что с ними происходит; ирония проявляет себя в двойных отрицаниях, которые приобретают смысл тактично-сдержанных, лишенных категоричности утверждений; ирония сквозит в повторах, напоминающих музыкальные лейтмотивы, как например во фразе Тони Будденброк о том, что она-то, слава Богу, знает жизнь; в смелом соединении противоречий, во внезапных переменах тональности и во многом другом. В каждой вещи Манна можно найти сколько угодно примеров того, как используется этот художественный метод, который организует весь рассказ, всегда намеренно дистанцированный и никогда не допускающий наивного самоотожествления автора с героями. Вводя какое-нибудь высокопоставленное и притязательное на всеобщее уважение лицо, Томас Манн особенно любит подметить в нем смешную черточку; в новелле «Смерть в Венеции» вестник потустороннего мира выступает как комический персонаж, с другой стороны, лицо маленького господина Фридемана, так жалко «сидящее между плечами», оказывается «почти прекрасным». Господин Сеттембрини выглядит одновременно «обтерханным и привлекательным», и так далее.

Особенно отчетливо эта ироническая манера все утверждать с оговорками дает себя чувствовать в изощренных сочетаниях прилагательных и существительных, когда возникает не только диалектическое напряжение между словами с противоположным значением, но и прямой оксюморон, прямо противоречивые соединения, в которых мысль почти растворяется и которые, тем не менее, производят сильное впечатление. В рассказе «Трудный час» говорится о «страстной вражде» Шиллера и Гете. Писатель всматривается в «бледное, преступное лицо святого» у Достоевского, называет Ницше «доведенным до восторга своей мигренью отшельником из Сильс-Мария». И, наконец, он дает самоотрицающее определение самой иронии, называя ее «формой высшего самовыражения, которое говорит о себе с полнейшим презрением».

Эти попутные замечания отнюдь не уводят нас от темы. У них нет ничего общего с филологическим педантизмом, напротив, они прямо относятся к тому, что мы сказали о политических воззрениях Манна. Ибо его ирония есть не что иное как попытка спрятаться. Ирония скрывает в себе фундаментальную боязнь признаний и боязнь решений, которая пытается найти спасение в позе превосходства.

Спрашивается, откуда проистекает эта потребность скрывать собственную личность? Что бы ни таил в себе этот маскарад, он, во всяком случае, свидетельствует о какой-то особой любви к переодеваниям. Бросается в глаза, что Манн — сколько бы он ни прославлял, ни возводил в принцип свою иронию — нигде не обмолвился словечком о психологических мотивах этой иронии. Он тщательно обосновал ее с художественной точки зрения, для него она — выражение цивилизованной человечности, благородное сомнение, скромность, неприязнь к патетическим жестам. Но ведь все эти разъяснения — отнюдь не решения, а лишь видимость ответа; за всеми доводами искусства скрывается опять-таки некая внутренняя потребность — черта личности. Даже в опубликованном позднее дневнике, этом уникальном документе неустанного самонаблюдения, где не упущено ничего — ни бесчисленных мелких недомоганий, ни припадков нервной ипохондриии, ни приступов страха умереть, ни эротических соблазнов, ничего вплоть до подсчетов, сколько заплачено портному, парикмахеру и торговцу сигарами, — даже там, на многих тысячах страниц, мы не обнаружим ни малейшего намека на психологию этой, по-видимому, бессознательной склонности. Явно избыточная тяга к саморефлексии прекращается там, где собственно и должна была открыться истинная причина иронического отношения к миру. Более того, лишенная обычной дистанции серьезность, с которой писатель оценивает собственную персону, — лишь продолжение той педантичной серьезности, с которой он регистрирует многочисленные хвалебные статьи критиков, чествования и овации, каких он удостоивался во время своих турне с докладами; все это, в конечном счете, подтверждает старую истину, что ироническое существование отнюдь не означает иронии по отношению к самому себе.

Если ирония — это знак слабости, то в случае Манна, насколько можно судить по имеющимся фактам, ирония была обусловлена самочувствием аутсайдера, стороннего наблюдателя, чувством отчужденности, корни которой нужно искать в его биографии. Весьма рано этот наделенный обостренной чувствительностью отпрыск ганзейской купеческой семьи понял, что в нем самом жизненные силы и добродетели предков уже угасли. Тот, кому фигура Ганно Будденброка, этого «маленького принца эпохи упадка», как называет его не без нарциссической нежности автор, покажется слишком литературной, пусть прочтет в биографическом очерке Петера Мендельсона рассказ о том, как ученик любекской гимназии Катаринеум шагнул навстречу враждебному миру — бледный, надменный и отчужденный. Когда вскоре после смерти сенатора Манна пастор общины

св. Марии обронил мгновенно облетевшее город замечание насчет «развалившегося семейства», то хотя речь шла о неудачах покойного сенатора, слова эти вполне можно было отнести и к отчужденным и избалованным детям, презрительно и с «мечтательным упрямством» взиравшим на купеческий мирок, последышами которого они были. Как ни скудны наши данные о роли этого или подобного ему опыта для юного Томаса Манна, наверняка можно сказать, что чувство отторгнутости и отвращения к миру этот опыт лишь усилил; сознание собственной страдающей утонченности, неясное ощущение вины и смутная тяга к компенсации — все это соединилось в одно представление: о том, что он, Томас, призван совершить нечто особенное, небывалое — и вместе с тем обязан скрывать свою избранность от людей и их насмешек. Ему казалось, что лишь в искусстве он сумеет укрыться от жизни и одновременно участвовать в ней. И по мере того, как весь этот душевный комплекс претворялся в художественное изображение действительности, по мере того, как смятение чувств преображалось в мерную поступь его прозы, страх и меланхолия претворялись в вымышленные фигуры и ситуации, — все меньше было нужды высказываться прямо; утверждение и отрицание выражались в споре вводимых в рассказ противников, спрятавшись за ними, автор одновременно как бы и открывал себя.

Таковы соображения, которыми хотя бы отчасти можно объяснить примечательную неустойчивость отношения Томаса Манна к политике. Как ему, с его привычкой сдерживать себя в чувствах и волеизъявлениях, с глубоко засевшими в нем сомнениями, как ему было устоять там, где необходимы убежденность и однозначный выбор? Политика предполагала решимость или, как он выражался, радикальное переживание мира. А между тем, говорится в «Размышлениях аполитичного», «ирония и радикализм несовместимы: либо — либо». Подразумевалось, что радикализм прежде всего противоположен и противопоставлен искусству. Ибо за пределами сугубо интимных мотивов, — хотя и происходя из них, — его ироническая отстраненность, обращенная во все стороны, его индифферентность, одинаково участливая ко всем, рождала самую идею художественного произведения. Правдоподобность персонажа, сцены или коллизии росла вместе с наслоениями и дорисовками, которые подчас входили в явное противоречие друг с другом; правда искусства не знала и не хотела знать химически чистых элементов. Чтобы приблизиться еще на один шаг к взаимоотношениям Манна с политикой, понять эти повторные зигзаги, пируэты, уклонения в сторону, необходимо проследить, вслед за психологическим, и их духовное происхождение.

ние, — понять, откуда собственно взялись его представления об искусстве и роли художника, вся идея искусства, под гипнозом которой он находился всю жизнь, чьим последним выдающимся представителем он был.

Литературный дебют Томаса Манна стоял под знаком немецко-го романтизма; в воспоминаниях той поры то и дело всплывают имена Шопенгауэра, Вагнера, Ницше и на разные лады сопрягаются с такими понятиями или темами как музыка, погружение в глубины, предчувствие смерти. Здесь, признавался Томас Манн, «собственно, и находится родина моей души». Отсюда, как и от более отдаленных источников, связанных с немецким классическим идеализмом, идет отчетливое, рано осознанное и подкрепленное собственным жизненным опытом разграничение духа и жизни, — неразрешимый конфликт литературы и действительности, который, в конечном счете, является и антиномией искусства и политики. Чему отдать предпочтение в этом споре, было совершенно ясно: мир творческих созданий бесконечно выше царства теней, называемого действительностью, каковая лишь в силу укоренившегося предрассудка почитается за действительно существующую.

Это представление поднимало художника-творца высоко над всякой действительностью: он стоял над схватками, над презренной борьбой партий и интересов, являя собой единственную подлинно независимую инстанцию. Именно эта общественная индифферентность и свидетельствовала о его исключительном положении и ранге: внесоциальная персона, величественная и чуждая миру, художник, чья аполитичность и асоциальность хотя и не была священным безумием гения и антибуржуазным мятежом, однако несла в себе мощный заряд презрения к жизни. «Пафос дистанции» Фридриха Ницше — вот ключевое понятие для этой крайне стилизованной и вместе с тем самоотверженно-аскетической и даже в какой-то мере героической идеи художника и его дела. В новелле «Тонио Крегер», художественной транскрипции этого конфликта, герой говорит: «Здоровое и сильное чувство... безвкусно». Едва только художник становится человеком с обычными человеческими переживаниями, он перестает существовать как художник.

Ясно, что этот идейно-философский фон, на котором развивалось творчество Манна, не мог не обусловить характерную для его манеры отстраненность действующих лиц и ситуаций с изрядным размыванием контуров действительного мира. Неслучайно повествовательное искусство Т.Манна так часто вторгается в область ми-

фического, сказочного и легендарного. Вновь и вновь мы взбираемся на волшебную гору, высоко вознесенную над тонущей в нереальном равнинной. Социальное положение и происхождение героя, равно как и его образ мыслей, редко служат чем-то более существенным, нежели частным штрихом психологической характеристики, и играют приблизительно такую же роль, как физический дефект, какой-нибудь *tic nerveux*, либо странность в одежде и поведении. И если ирония автора, с королевским равнодушием вззирающая на все вокруг, все же выдает какие-то его симпатии или неприязнь, то последняя всегда достается персонажам преуспевающим, здоровякам, которые в глазах автора — всегда посредственности, ибо укорененность в жизни представляется ему обычной формой проявления заурядного: в таких образах как Алоис Перманедер, громогласный баварец, вломившийся в разряженную атмосферу Любека, или господин Клетерьян из рассказа «Тристан», писатель выразил, не без карикатурных преувеличений, свое отвращение к бодро топающему по жизни животному в одежде буржуа. Зато его симпатии, его сочувственный интерес, подогреваемый чувством психологического родства, принадлежат исключительно тем, кого называют *déracinés*, одухотворенным декадентам вроде Ганно Будденброка, Густава Ашенбаха, Тонио Крегера или Ганса Касторпа, разного рода патологическим личностям, для которых жизнь — это болезнь, или людям, способным лишь грезить о жизни, вплоть до «аристократических монстров». Все они принципиально одиноки, все — возвышенные страдальцы; здесь не существует классов, нет общества, нет вообще какой-либо надличностной принадлежности — а значит, нет и политики.

В одном из писем к брату Генриху, незадолго до начала Первой мировой войны, Томас Манн признавался, что он неспособен «определить свою духовную и политическую ориентацию так, как сумел это сделать ты». Общественный прогресс, права человека, свобода, весь набор политических лозунгов, которыми вдохновлялась эпоха, — не находит в его прозе никакого отклика. «Все мое внимание, — писал он, — было сосредоточено на явлениях упадка; собственно, это и мешает мне интересоваться прогрессом». В другом письме, тоже к Генриху, сказано еще определенной: «К политической свободе я не питаю ни малейшего интереса».

Однако внешние обстоятельства, прежде всего разразившаяся в августе 1914 года война, поставили под сомнение эту концепцию эстетски-пренебрежительного отношения к жизни, и упорно глядящий

назад, отчужденный от жизни созерцатель оказывается перед лицом самоотчуждения. Об этом свидетельствуют и художественные произведения, и личные признания той поры. По словам Манна, в его жизни наступил кризис. Но то, что ему удалось одновременно уклониться от требований политики и пойти им навстречу, избежать ее и вместе с тем стать политическим писателем, — лишний раз показывает, что ирония была для него не только и не столько стилистическим приемом или художественным методом, но и безотказно действующим жизненным оружием.

К работе над книгой «Размышления аполитичного» Томас Манн приступил в непосредственной связи с двумя небольшими произведениями, опубликованными вскоре после начала войны, — «Мысли о войне» и «Фридрих и Великая коалиция». Наполовину исповедь, наполовину политическое эссе — вот что такое «Размышления аполитичного», которые переводят заявленную прежде политическую индифферентность в агрессивное притязание на свободу от всякой политики. Знакомые антитезы духа и жизни, смерти и красоты, бесконечно варьируемые в многословных периодах, встраиваются в этой книге в другой ряд противопоставлений — культуры и цивилизации, радикализма и искусства — и, наконец, ставя все точки над *i*, сводятся к основному противостоянию «немецкой сущности» и политики. С апломбом говорится о том, что политика — всякая политика — «чужда и ядовито-враждебна» немецкому характеру. Однако в пассажах, полемически заостренных против Запада, Просвещения, прогресса, демократии, движения в защиту человеческих прав, против всех этих «чарующих и кружащих голову благоглупостей», отчетливо сквозит не только страх утратить уклад жизни, над которым нависла угроза, но и — как реакция на военную пропаганду стран Антанты — какое-то растерянное изумление, с которым немецкий бюргер внезапно обнаружил, что его традиционная отстраненность от политики выставлена на позор как варварская отсталость, беспомощность и холуйская приниженность перед властями.

Тирады Томаса Манна приобрели особую запальчивость из-за ссоры с братом Генрихом, достигшей наивысшей остроты именно в это время. Трения начались много раньше, вскоре после выхода в свет «Будденброков», и поначалу были связаны с литературным соперничеством братьев, — младший добился большего успеха, чем старший, — а также с несходством характеров. Листая их раннюю переписку, можно, одна ко, заметить, как чисто личные мотивы быстро перерастают в принципиальные расхождения. В своем неуклонно

возраставшем стремлении отгородиться от действительности Томас определял себя как «этического индивидуалиста», как представителя протестантско-романтической «немецкости», для которой всякая общественная заинтересованность есть нечто противоречащее сути искусства, — между тем как Генрих, столь же неуклонно совершавший противоположное движение от горних высот к реальности, превратился в политического моралиста, пристрастно-партийного и страдающего угнетенным, в писателя, который рассматривал художественное слово как средство усовершенствования мира.

С новой силой распря вспыхнула в 1915 г., когда Генрих Манн ответил на «Фридриха и Великую коалицию» обширным эссе об Эмиле Золя, обдуманно-замаскированным полемическим выпадом, где противостояние братьев идеологизировано, приняв форму вызова: литература и политика должны идти рука об руку в общей борьбе, в противном случае литературе грозит вырождение. К этому времени Томас Манн уже несколько месяцев работал над «Размышлениями аполитичного»; выступление старшего брата неожиданно явило перед ним наглядный портрет врага. На его примере он мог развить, отшлифовать и принципиально обосновать свою позицию. Фигура «литератора от цивилизации», которой он, не называя брата по имени, посвятил особую главу, носящую характер развернутой инвективы, есть не что иное как раздутая до исполинских размеров, залитая демоническим светом персونا брата Генриха: гуманист-комедиант, занятый шашнями с добродетелью, разглагольствует пошло-трескучим адвокатским слогом о свободе, равенстве и братстве, одной рукой бия себя в грудь, а другой потрясая «Общественным договором» Руссо. Варьируя свой тезис на разные лады с помощью все новых поворотов, намеков, цитат, Томас Манн стремится представить недостаток твердости характера чуть ли не условием существования художника: настоящий писатель, заявляет он, всегда оказывается между двумя фронтами; он, можно сказать, живое воплощение морально-политической неблагонадежности. Он ведет свою возвышенную игру, используя всячески, в том числе и запретные возможности, — короче говоря, он художник в той мере, в какой он лишен мировоззрения. «Что меня возмущает и отвращает, — писал Т. Манн Эрнсту Бертраму, — так это самоуверенная добродетель, доктринерски-самовлюбленная и деспотическая твердолобость литераторов от цивилизации, которые... твердят нам, что всякий талант, не присягнувший демократии, должен непременно захиреть. Уж лучше я зачухну в своей свободе и меланхолии, чем буду благоденствовать ценой комических пошлостей».

Казалось бы, «Размышления аполитичного» как произведение полемическое и преследующее цели самозащиты не допускало ни самоиронии, ни надломленности. Самая форма этого сочинения — защитительная речь под видом эссе — предоставляла автору возможность, вопреки теории безответственности художника, изложить определенные убеждения, заявить о решительном, чуждом всякой двусмысленности исповедании веры, и фактически книга так и была воспринята читателями. И все-таки, если за необычно воинственным тоном автора не потерять из виду его аргументацию, то станет очевидно, что перед нами — книга, дышащая скепсисом и, в сущности, работающая против самой себя. Как выразился сам Томас Манн — книга, «свободная от намерения подвести окончательный итог». Уже громогласная апология немецкого авторитарного государства и права стоять в стороне от политики сама по себе была — и Манн, конечно, это понимал — вторжением в политику, хуже того: литературством во славу цивилизации. Еще ответственной выглядела уверенность автора в том, что «народная война, подобная этой, неизбежно, безусловно и даже независимо от своего исхода должна принести с собой победу демократии». А ведь это не могло означать ничего другого как политизацию Германии и, следовательно, конец всего, что он понимал под словом «немецкий», чему был привержен задолго до того, как взялся за свою апологию: конец миру аполитичной зачарованности и замкнутости в собственной внутренней жизни, конец миру Йозефа Эйхендорфа, — выражаясь словами Манна, миру «грез, музыки, задумчивой бездеятельности, печального звука почтового рожка, когда тянет итти куда-до в нескончаемую даль, тоски по неведомой родине, падучих звезд над темным лесом...» То, что эта идиллия не имела ничего общего с действительностью, с реальной, быстро индустриализующейся и превратившейся в грозную силу, агрессивно-честолюбивой Германией Вильгельма II, само по себе еще не сокрушало романтическую идею. Куда более убийственной была мысль, что со всем этим будет покончено и должно быть покончено, если Германия вообще хочет существовать как государство и утвердить свое место в ряду других государств.

Извлечь эту квинтэссенцию из хаотичного и капризно-многословного шестисотстраничного эссе, услышать эту мелодию сквозь шум и звон полемики непросто. Тем не менее, эта мысль там присутствует, — отходная бюргерской Германии, *les adieux du siècle*. Не зря Томас Манн сказал однажды о своих «Размышлениях аполитичного», что они представляют собой параллель к «Будденброкам»:

там — история гибели семьи, увиденная глазами художника, здесь — эссеистическая проза, рисующая, уже наполовину с другого берега и не без тайного смятения, закат национального своеобразия.

В дневниках Манна, в первом томе, есть запись, относящаяся примерно ко времени публикации «Размышлений...», где в предельно сжатой форме охарактеризовано главное противоречие, расщепившее книгу и отныне ставшее противоречием его жизни. Он пишет о каком-то разговоре, когда зашла речь о том, что пора «модернизировать и демократизировать страну, покончить со старой, романтической, кайзеровской Германией». Но тут же заговорили о муках, которые принесет с собой ломка, ибо «это старое, быть может, и есть не что иное как самая суть немецкого духа».

В последующие годы это противоречие возникает снова и снова, встает и проблема его разрешения. Для ранних дневников раздраженная поза презрения по отношению к политике — довольно обычная вещь. «Германии осточертела политика», — пишет он в конце 1918 г. Читая эти и подобные им высказывания, чувствуешь глубоко засевшие в немецком бюргере антизападные и антидемократические предрассудки, видишь воочию, как он, этот бюргер, опирается, когда чем ближе к концу войны, тем сильнее, грубым нажимом и посулами, его тянут, словно в ловушку, в демократическую цивилизацию западноевропейских наций. «Таздражение и ужас», — замечает Томас Манн 15 октября 1918 г.; спустя десять дней он пишет о «фарисейской мерзотине самодовольного Запада», называет печать держав-победителей «разнузданной бестией демократии». Демократия — это «гигантская афера Нового времени» (11 января 1919 г.). Летом этого года, при известиях о переговорах в Версале, он возмущен «обезьяньей комедией мира». И одновременно приоткрывается глубоко скрытая причина хотя и очень осторожно выражаемых, но не изжитых до последних лет жизни симпатий Т.Манна к коммунизму: решающим мотивом было и осталось так и не преодоленное до конца недоверие к «демократизму Антанты», который замахивается, как ему казалось, на «душу Германии» (если слегка перифразировать знаменитую формулу позднейшего времени), — тогда как коммунизм грозит «всего лишь» ее свободе. Запад пошел, буржуазен, погряз в низменных удовольствиях — короче говоря, в «политике». Зато представление Манна о коммунизме во многом совпадало с тем образом, который он создал в своем воображении под впечатлением от литературы трагической и глубокой страны, имя которой — Rusdand, Россия.

Правда, как только в Мюнхене возникает Советская республика, моментально приходит разочарование. В мае 1919 г. он откровенно насмехается над карнавальным характером баварской революции — в духе любимого мюнхенцами праздника карнавала, — смеется над «идиотским хозяйствованием», над «шутовской смесью почвенного «юта» и радикализма, вычитанного из колониально-приключенческих романов». Прислушиваясь к вестям из революционной России, он характеризует большевизм как «самую ужасную катастрофу культуры, когда-либо грозившую миру, нечто подобное великому переселению народов, начавшемуся с низов», и пишет о «киргизской идее все подстричь и уничтожить» (дневник от 2 мая 1919 г.). Отсутствие выбора, обманутые ожидания — вот смысл завершающей дневниковой записи этих лет: «Как однако же обанкротилась вся эта революция, чего теперь стоят громкие политические декларации и якобы бескомпромиссное человеколюбие...» (20 ноября 1921 г.).

А ровно десять месяцев спустя писатель произнес в Берлине, в присутствии рейхс-президента Эберта речь «О немецкой республике». Нетрудно отыскать внешние, обусловленные тогдашней политической обстановкой мотивы для этого выступления: происки праворадикальных элементов, покушения на республиканских политиков, вообще растущее чувство опасности справа, которая в свою очередь вызвала воинственные ответные меры со стороны левых. В этих условиях немощная Веймарская республика, постоянно унижаемая и утесняемая державами-победительницами, неуклонно теряла доверие и поддержку населения. Уже в упоминавшихся выше дневниковых записях сквозит, несмотря на все презрение к политике, убеждение — не в последнюю очередь сложившееся под влиянием собственного литературного успеха, — что он, Томас Манн, перерос границы той исключительно персональной сферы, внутри которой политические антипатии и общее недовольство политической ситуацией имеют лишь сугубо личное значение, и призван к некоему представительству. «Я человек равновесия», — сказал он, что означает также — фигура, противостоящая господствующей тенденции времени; его эразмовский, всегда склонный к посредничеству и компромиссу темперамент вновь и вновь приводил его в лагерь угрожаемой стороны.

Выскажем предположение, что эта речь, приуроченная, как уже сказано, к шестидесятилетию Герхарта Гауптмана, была актом и сознательного противостояния самому себе, отважного наступления на мир собственных излюбленных представлений, — что и подтверж-

дается искусно разыгранным воодушевлением и почти юношеской экзальтацией: едва ли каждая фраза не только выдает усилия оратора уговорить самого себя, но и прямо обнаруживает дистанцию между автором и его предметом.

Так что он остался самим собой. Всякий, кто попытается так или иначе анализировать высказывания Томаса Манна на политические темы, будет постоянно наталкиваться на прихотливый и путаный словарь, в котором термины либерализм, консерватизм, социализм и даже коммунизм соединены в самых причудливых сочетаниях: все это было и осталось «литературой» автора, вторгающегося в чуждую ему сферу. Вопреки стараниям опровергнуть самого себя, он так и не преодолел своей отрешенности от политики. И, право же, трудно себе представить, чтобы его последующие выступления, все более частые по мере того, как республика близилась к своему окончательному крушению, его отчаянные призывы к разуму и человечности, — трудно представить себе, чтобы они нашли сколько-нибудь значительный отклик в раздираемой внутренними противоречиями и оказавшейся на грани гражданской войны, оглушенной топотом марширующих военных отрядов и криками демагогов Германии.

Вспоминая позднее об этой речи 1922 года, Томас Манн сказал, что он пытался бросить на немецкую демократию «отблеск теплого света родины». Его собственным отечеством эта демократия, однако, не была. Конечно, нельзя утверждать, что он выступил в защиту демократии попросту вследствие своего конформизма или ради представительности — и, значит, обманывал общественность. Но и в его республиканском красноречии неустранимо сохранялось, как он уже сказал раньше о «Размышлениях...», нечто от роли, от адвокатского амплуа и от игры, некий нерастворимый остаток, и мы не рискуем впасть в преувеличение, если скажем, что всякий раз, когда он поднимался на трибуну, он словно брал на себя обязанность одного из своих литературных персонажей, — в действительности же пребывал где-то посредине, в поле напряжения, создаваемом этим персонажем и его антагонистом. То, что под этим подразумевается, наглядней всего можно показать на примере созданного в эти же годы романа «Волшебная гора», который есть не что иное как эпическая метафора того же самого раздвоения. В общественно-политических заявлениях, обращаясь к публике непосредственно, Томас Манн выступал как единомышленник и чуть ли не родственник Сеттембрини, а в глубине души оставался Гансом Касторпом и питал смутную симпатию к Наффе.

Ибо как бы ни толковать этот роман, — сведенный к своему ядру, он окажется притчей о человеке, который принужден выслушивать ожесточенный спор двух господствующих идеологий времени, чтобы, проделав некоторым образом эксперимент над самим собой, в конце концов решить, какая сторона права. Сеттембрини чутко улавливает колебания юного Касторпа, которому хочется уклониться от решения и определения своей позиции. «Вы хотите сказать, — замечает он Касторпу, — что вовсе уж не так уверены в правильности ваших утверждений, что высказанные вами взгляды не так уж бесспорны, и вы их изложили как одну из возможных точек зрения, которые, так сказать, носятся в воздухе; что вы хотели, не беря на себя никакой ответственности, просто испытать свои силы, развивая их». А Касторп в свою очередь указывает на относительность суждений самого Сеттембрини, обмолвившись замечанием, что-де Сеттембрини всего лишь представитель: он выступает от имени «вещей и сил, к которым стоит прислушаться, но отнюдь не безусловно, и не только к ним».

Желание уклониться от битв времени, сохранив нейтральную позицию между фронтами — с очевидным риском подать повод к неправильному истолкованию этой позиции, — несомненно, было причиной и длившегося почти четыре года отказа публично заявить в изгнании о своем отношении к Третьему рейху. Сам Т.Манн неоднократно объяснял это молчание, вызвавшее в кругах эмиграции немалое недоумение и нападки, тем, что он хотел сохранить читателей в Германии. Но люди, упрекавшие его, не понимали, что он — писатель, для которого оговорка стала своего рода идеологией. И все же, при всей глубоко засевшей в нем боязни открытых признаний, при всем своем так и не преодоленном отвращении к политике, он был единственным крупным немецким писателем, который многократно и недвусмысленно выступал в защиту неисцелимо чахнувшей и окруженной врагами республики. Ни величественно помалкивавший Гауптман, ни все эти Деблины, Вассерманы и Фейхтвангеры, не говоря уже о ставших позднее столь красноречивыми и плаксивыми левых от Анны Зегерс до Бертольта Брехта, — никто не отнесся к гибнущей в обстановке страха и унижения республике иначе как с равнодушием и даже цинизмом, и уж во всяком случае никто из них не встал на ее защиту, как это сделал сдержанный в признаниях и в высшей степени аполитичный Томас Манн.

В знаменитом новогоднем письме 1937 года, адресованном декану философского факультета в Бонне, Манн заявил, наконец, о своем отказе от сдержанности:

«Я никогда не предполагал и, думаю, мне на роду не было написано, что на старости лет я буду обесчещен и проклят у себя на родине, что мне придется быть эмигрантом и вести политическую борьбу, необходимость которой я глубоко ощущаю, с тех пор, как я вступил в духовную жизнь, я чувствовал, что меня связывает с моим народом счастлирое понимание его сокровенных свойств, его духовных традиций. Я гораздо больше приспособлен к тому, чтобы быть выразителем унаследованных настроений народа, чем мучеником, принести в мир хоть немного высокой радости, чем разжигать борьбу, раздувать ненависть. Должно было произойти нечто в высшей степени ложное, чтобы жизнь моя сложилась так ложно, так противоестественно. Слабыми своими силами я пытался остановить эту зловещую ложь, и своими действиями я уготовил себе судьбу, которую должен научиться примирять с моей натурой, — по существу же все это ей глубоко чуждо».

Письмо обнажает суть дилеммы, от которой Томас Манн старается увернуться и с которой отныне он принужден жить; оказывается, что достигнуть нравственного согласия с самим собой можно, лишь совершив акт интеллектуального самопожертвования. Если в прежние годы, высказываясь о республике, о политике, он так или иначе уступал своей всегдашней склонности выражаться неоднозначно, то теперь ему предстояло принять решение, не допускавшее никаких иронических оговорок, никакой двусмысленности. Для него это было чем-то противоестественным, точнее говоря, чем-то противным его духовной природе. Но жизнь не оставляла ему выбора.

«У Гитлера было большое преимущество, — писал он в 1946 году, в эссе “История Доктора Фаустуса”, — которое состояло в том, что он способствовал упрощению чувств. То, о чем отныне шла речь, ни на миг не допускало сомнений. Нет, — ясную и смертельную ненависть». С необычайной отчетливостью Манн осознал, что это упрощение стоило ему не более и не менее, как части его самоощущения, его самости. Вот еще одна цитата, из письма к одной американской корреспондентке. С грустью говорит он, что не рожден для ненависти: «Она мне навязана — и отнюдь не помогает оставаться самим собой». С какой бы силой ни проявлялось в его исполненных величайшей серьезности радиопередачах отвращение к преступлениям гитлеризма, еще сильнее, еще глубже казалось порой его огорчение от того, что Гитлер разрушил тот старый, близкий и родной художнику мир, где человек еще имел право оставаться аполитичным. Вместо ненависти — депрессия. Он пишет Рене Шикеле: «Мы чужаки в этом

наседающем на нас времени, и в конце концов нам придется смириться. Я, по крайней мере, давно уже смотрю на себя с исторической точки зрения, как на живой пережиток другой культурной эпохи, с которой я как личность остаюсь до конца, несмотря на то, что она, собственно говоря, погрузилась в прошлое».

Мысль о том, что он опоздал и отчужден от времени, — повторение его давнишнего самоощущения аутсайдера, — а вместе с ней и свобода, которую дает старость, побуждали его все откровенней выказывать симпатию к своим истокам. Во всяком случае, складывается впечатление, что он тем упрямей цеплялся за свой старый, замешанный на романтическом неприятии действительности и презрении к политике комплекс, чем больше отвергал его в качестве общественно-го адвоката демократии, свободы и защиты прав человека. В письмах он снова и снова отстраняется от своей общественно-политической проповеди, от демократической «благонамеренности». Например, Фердинанду Леону он писал после войны:

«Моя позиция демократа не совсем подлинная, это скорее раздражительная реакция на немецкий иррационализм и головокружение от глубин..., да и на фашизм вообще, который я — говорю это со всей ответственностью — не перевариваю. Ему таки удалось сделать меня на время странствующим проповедником демократии, — роль, на которую я сам порой взираю с недоумением. Я всегда чувствовал, что во времена моего реакционного упрямства, когда я писал “Размышления аполитичного”, я был куда интересней и дальше от банальности».

Его не оставляло чувство, что эпоха и навязанная ею партийность толкают его чуть ли не к глупостям во имя верности определенному мировоззрению. Но говорить об этом слишком много не стоило. И он держался той линии, которую избрал еще в начале 20-х годов, — четкого размежевания политико-риторической и писательской сфер. Необходимость борьбы, к которой принудил его Гитлер, сделала это разграничение лишь более очевидным, но не изменила его по существу. Как бы то ни было, основные направления и излюбленные мотивы его творчества, интерес к упадочному, к музыке, к темам и настроениям смерти, ирония как посредник между духом и жизнью, равно как и представление о политике как о чем-то чуждом немецкому искусству, — все это осталось незыблемым, ничем он не пожертвовал. Вклад немцев в великое искусство XIX века, писал он

(в 1940 г.), «чужд всему социальному и не желает ничего о нем знать; ибо социальность..., вообще говоря, не предмет для искусства: так, по крайней мере, представляется дело с точки зрения немецкого духа». Таков его инстинкт, предшествующий сознательному решению». Даже войну он втискивает в эту систему взглядов: война, продолжает он, «ведется за деполитизированную Европу, — только в такой атмосфере Германия может быть великой и счастливой».

Эти слова взяты из открытого письма Томаса Манна редакции журнала «Common Sense» по поводу взаимоотношений Вагнера и национал-социализма. Еще три года назад, когда Манну напомнили о роковых политических последствиях, связанных с именем великого музыканта и отчасти подготовленных самим Вагнером, он говорил: «Верно. Знаю». Вопрос был в том, насколько сам Томас Манн, вышедший из той же традиции, более того — ее великий представитель, насколько он сам готов признать свою собственную связь с катастрофой — и порвать с этой традицией. Он отвечал: «Но все-таки, какой уровень, какое искусство, какой гуманизм, это же все-таки еще та, старая и великая Германия, хоть и зашатавшаяся, — и в конце концов что вы хотите? Это моя родина, я испытываю волнение, возвращаясь к ней». А затем — снова и вопреки всему — признание: «В конце концов я написал «Размышления аполитичного». Не только эту книгу, но и ее тоже» (сб. «Писатели о своих произведениях», т. 2, стр. 553).

Томас Манн никогда не отрицал своей духовной причастности к тенденциям, которые, пусть косвенно и отдаленно, но все же привели к победе национал-социализма. Уже эссе 1938 года «Брат Гитлер», воспринятое многими как скандальное, было доведенной до крайности и противостоящей всем стараниям эмигрантов обелить себя попыткой выявить общий культурный и психологический фон, подготовивший торжество нацизма. Брат Гитлер — эти слова были продиктованы мучительным чувством родства с тем, что ужасало мир своими преступлениями. «Я не был вполне чужд склонностям и амбициям эпохи, — говорится в этом эссе. — Нечто связывало и меня с тем, что рвалось найти себе выход, с устремлениями, которые спустя двадцать лет превратились в вой толпы на улицах». В докладе «Германия и немцы», произнесенном сразу после крушения гитлеровского режима, в конце мая 1945 года, он развил и уточнил эту мысль: «История эта должна раскрыть перед нами истинность выказанного положения: нет двух Германий, доброй и злой, есть одна единственная Германия, лучшие свойства которой под влиянием

дьявольской хитрости превратились в олицетворение зла. Злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и теперь стоящая перед катастрофой. Вот почему для человека, родившегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощенной исторической виной, и заявить: я — добрая, благородная, справедливая Германия; смотрите, на мне белоснежные одежды. А злую — я отдаю вам на растерзание. В том, что я говорил вам о Германии или хотя бы бегло пытался объяснить, во всем этом нет ничего от ученой холодности, отчужденности, беспристрастности, все это живет во мне, все это я испытал на себе».

Жизненный опыт и мудрость 80 лет не сделали Томаса Манна политическим писателем в сколько-нибудь серьезном смысле этого слова; строго говоря, он не претерпел никакой эволюции, не пережил никакого обращения в другую веру, не прошел никакого пути, который мог бы стать примером для других. Бурные политические события, свидетелем которых он стал, потрясли и преобразили его душу, но не затронули глубинный пласт его личности, равно как и его творчество. Они лишь пробудили в нем готовность делать, «в сознающей свою ответственность свободе», то, что почитал он своим педагогическим долгом. Даже в романе «Доктор Фаустус», который, что бы там ни говорили, есть великая и не в последнюю очередь политически осмысленная притча о заблудшей и потерпевшей исторический крах Германии, даже в этой книге писатель остался верен своей всегдашней симпатии к «аристократическим монстрам», склонности героизировать отщепенцев, остался привязан к дорогим для него антиномиям искусства и жизни, гения и болезни, греха и милосердия; так что и тут мы имеем дело с некоей параллелью к «Размышлениям аполитичного». Громоздкое эссе, стыдливо выброшенное из первого послевоенного собрания сочинений, едва ли позволительно недооценить. Во введении к «Размышлениям...», которые позже все-таки вышли отдельным изданием, дочь писателя Эрика Манн, явно желая так или иначе оправдать это произведение, обратила внимание читателей на то, что в самой книге, точнее в авторском предисловии к первому изданию 1918 г., содержится «столько жестокой самокритики, оговорок, ограничений и даже прямой отказ от того, что в ней высказано, что теперь уже едва ли можно превратно толковать то, что незрелый писатель в своих метаниях и попытках свести счеты с миром и самим собой выразил в достаточно смутной и спутанной форме». Но на самом деле

отказ касается лишь некоторых актуальных для того времени политических тем, где его чересчур заносило, — а в общем «Размышления аполитичного» отнюдь не свидетельство растерянности или самоотрицания. Напротив, книга эта — автопортрет, на долгие годы сохранивший верность оригиналу, документ не столько эпохи, сколько личности писателя, незаменимый ключ ко всякому сколько-нибудь серьезному объяснению натуры и всего творческого наследия Томаса Манна.

Он понимал это и сам, и если и соглашался с ретуширующим комментарием дочери, то, скорее всего, потому, что хотел, так или иначе, устранить зачастую тяготившее его несоответствие между «Размышлениями...» и своими республиканско-демократическими декларациями. Но и там, и здесь он отстаивал по сути дела позицию середины, которая была для него равнозначна идее гуманизма. И если во всей этой видимой смене убеждений, во всех тактических зигзагах или оправдываемых педагогикой обходных маневрах можно найти устойчивую основу, то она — здесь, в этом его представлении о гуманизме. Во имя этой идеи он готов был идти на любые уступки формам политической, государственной или социальной организации; они были в его глазах лишь строительными элементами. Если еще в 1918 г. он полагал, что дело гуманизма может найти самую надежную защиту в немецком авторитарном государстве, то четыре года спустя, в речи «О немецкой республике», он заявлял, что желает привлечь молодежь «к тому, что именуется демократией и что я называю гуманизмом из отвращения ко всякому блефу и надувательству, которые прилипли к слову демократия».

Во всем этом всякий раз проглядывает его потребность в равновесии, приверженность разумной середине. В пору «Размышлений...» ему казалось, что равновесию Запада грозит торжество демократического принципа, позже — что опасность кроется в присущей немцам тяге к иррационализму; и каждый раз, сознательно идя на риск, он предпринимал рекогносцировку новой для него области. Политического человека, политического писателя в духе его брата либо в смысле агрессивной приверженности к определенной партии, что было обычным для его современников, — в Томасе Манне нисколько не чувствуется. Но виден человек, чьи посреднические усилия и готовность к компромиссу — поистине необходимое условие нормальной общественно-политической жизни. Необходимое, — как бы настойчиво он ни провозглашал себя сыном другой эры.

Он всегда тосковал по той ушедшей в далекое прошлое эпохе, когда дух не был обязан во имя политической целесообразности и общественной пользы делать уступки «господствующей пошлости». С крушением гитлеровского рейха он связывал надежду на то, что поре идеологического ожесточения, ненависти и нетерпимости придет конец. Уже цитированный выше пассаж из «Истории Доктора Фаустуса» о том, что Гитлеру принадлежит заслуга упрощения чувств, заканчивался словами: «Годы борьбы против него были в моральном отношении хорошим временем».

Но они были для Манна, добавим мы, и глубоко чуждым временем, и в словах этих негрудно уловить чувство облегчения, что теперь, когда Гитлер сгинул, снова станет возможным то, с чем была для него всю жизнь нерасторжимо связана всякая литература, да и собственное существование: игра, ирония и ни к чему себя не обязывающая, граничащая с авантюризмом свобода искусства. В упомянутое выше эссе «Германия и немцы», задуманное как критический самоотчет, автор, как оказалось (это заметил Эрих Геллер), вставил целые абзацы из «Размышлений аполитичного», не указав, однако, что это цитаты. При этом он лишь переменял знаки на обратные и переименовал некоторые ходы мысли. Можно представить себе, как он, хотя и полный боли о беде и вине своей страны, уступает непреодолимой тяге к двусмысленному и, как встарь, тайком забавляется, разделяваясь вроде бы с заблуждениями прошлого и в то же время буквально воспроизводя их, то есть как бы в пародийной форме признается в своей тайной симпатии к ним. В написанной через несколько лет, уже незадолго до смерти, «Фантазии о Гете» мы встречаем следующие фразы: «Он считал, что несвободный человек не может быть надежным стражем свободы, и потому сам тем больше и тем охотнее пользовался ею, — всеобъемлющей, до неуловимости, до невыразимости широкой свободой, свободой Протея, принимающего всевозможные формы, стремящегося все познать, все понять, всем быть... Ему свойственно какое-то царственное вероломство, которое забавляется тем, что предаёт своих сторонников, посрамляет защитников любого принципа, осуществив до конца и данный принцип, и — противоположный ему. Да, в этом есть нечто от иронического владычества над миром, озорная измена одной идее во имя другой, глубокий нигилизм, объективизм искусства, не склонный разграничивать явления и оценивать их..., некий элемент отрицания и всеобъемлющего сомнения, благодаря которому он, если верить окружающим его людям, любил произносить суждения, где уже содержалось и внутреннее отрицание утверждаемого».

То был автопортрет, хотя и возвышенный до идеального образца. Ибо таким он всегда хотел быть: широким до неуловимости, королевски-вероломным, готовым весело совершить измену и преданным всеобъемлющему сомнению. Вместо этого эпоха мобилизовала его и принудила к служению определенной идее. И все же ему удалось приблизиться к тому образу, который он набросал под видом портрета Гете. Остальное было ревнивым восхищением.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Леонид ЛЮКС

БОРИС ХАЗАНОВ — К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ

Борису Хазанову и его ровесникам не повезло. Они родились в жестокую эпоху, может быть самую жестокую в истории. Хотя 1928 год — год рождения Бориса Хазанова — был своего рода передышкой в хронике этого страшного века. В России начали тогда постепенно забывать о красном терроре и о голоде начала 20-х годов, а в Европе о Мировой войне. Нацистская партия получила в выборах в рейхстаг жалкие 2% голосов, и большинство немцев начало как бы смиряться со столь нелюбимой веймарской демократией. В этом же году был подписан курьезный договор Бриана-Келлога, названный так в честь его инициаторов — французского и американского министров иностранных дел. Договор этот всего на всего запрещал войну как средство решения международных конфликтов и подписало его более 50-ти стран.

Эти радужные настроения человечества накануне величайшей катастрофы в его истории подчеркивают, как редко нам удается распознать в настоящем ростки будущего, до какой степени мы являемся пленниками духа времени. Опыт 20-го века разоблачает не только теории о непрерывном прогрессе, но и всякие другие модели, говорящие о какой-либо, подчиненной человеческой воле исторической закономерности. Об этом пишет Борис Хазанов в своем очерке «Долой историю», и я, будучи сам историком, с ним полностью согласен. В отличие от предыдущих поколений, мы — дети 20-го века — вкусили плод с древа познания, и знаем, как низко может пасть человек. Теодор Адорно говорил в 1951 году, что писать стихи после Освенцима — это варварство. Наш же юбилей пришел к другому выводу. Он считает, что как раз после Освенцима надо писать и изображать этот небывалый в истории век — в назидание потомкам. Адорно говорит «Писать нельзя, унывать!», а Борис Хазанов ему отвечает «Писать, нельзя унывать!»

Биография Бориса Хазанова связана с двумя странами, которые в драме 20-го столетия находились на авансцене. Это они, в первую оче-

редь, повлияли на своеобразие этого века. Чтобы его понять, надо в первую очередь попытаться понять Россию и Германию, что и делает наш юбиляр почти всю свою сознательную жизнь.

Для писателя с таким независимым складом ума как Борис Хазанов, как и для многих других не оказалось места в России. Как и многие его предшественники, он выбрал своим местом изгнания Германию. То же самое сделали в прошлом, например, Федор Степун или Семен Франк. То, что Хазанова объединяет с выше названными, это не только горькая участь эмигранта, но и тот факт, что Германия не является для него чужбиной, так как немецкая культура — это для него вторая духовная родина. Борис Хазанов пишет: «Если я выбрал Германию как страну изгнания, то потому, что я с молодых ногтей был связан с немецким языком, немецкой литературой и музыкой. То, что некогда называлось духом германской культуры, не было для меня пустым звуком».

В тех же словах могли бы выразить свое отношение к Германии и Федор Степун, и Семен Франк. Однако им, в отличие от Бориса Хазанова не повезло. На их глазах страна романтических мечтателей, «сумрачного германского гения» отворачивалась от своих гуманистических корней, поддавалась гитлеровскому гипнозу и превращалась постепенно, как и сталинская Россия, в ад на земле.

Германия же, в которой живет Борис Хазанов, это совсем другая страна. В ответе на анкету израильского журнала «Нота бене» на тему «Русский еврей в современной Германии» Борис Хазанов пишет: «В центре Берлина воздвигается грандиозный мемориал катастрофы евреев. Публичное отрицание Голокауста в Германии уголовно наказуемо. Гитлеровский “тысячелетний рейх” просуществовавший 12 лет, не может и не должен быть забыт — для большинства нынешнего населения Федеративной республики это азбучная истина».

Но, несмотря на его проникновенное понимание всех тонкостей немецкой культуры, несмотря на признание его писательского таланта в приютившей его стране, Борис Хазанов остается осколком России в Германии. Второй родины он так и не обрел. В книге «Миф Россия» наш юбиляр пишет: «Мысль о новом супружестве меня не увлекает. Для этого я слишком намучился в первом браке, да и слишком прирос к своей старой жене. Словом, я одновременно здесь и не здесь, там и не там, и в сущности говоря, ни здесь ни там».

Но нельзя забывать, как обостряется взгляд на свою страну, если смотреть на нее «с другого берега», если у тебя двойная перспектива человека находящегося и внутри и вовне. Так писали о своей родине Фукидид, и Данте, Мицкевич и Герцен, Набоков и Томас Манн. К этой плеяде принадлежит и Борис Хазанов, и время его, как писал Эйтан Финкельштейн в своем очерке о юбиляре, еще придет.

Юрий КОЛКЕР

ПИСАТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Кто, если не он?

Не то чтоб вокруг «немотствующая пустыня» была. Пишут многие. Иные неплохо пишут, хорошо, замечательно; но так, как он, — никто. Не то чтоб — повторимся интонационно — другие были похожи. В культуре близнецов не бывает, родство не ценится (о чем нам велеречиво, но не совсем верно напоминает всеми забытый Евгений Замятин). А всё же я (не более чем я) с моей кочки (болотной и субъективной) вижу современный русский ландшафт таким: с одной стороны — прозаики (неплохие, хорошие, замечательные; прочие не в счет), а с другой — Борис Хазанов. Они — и он. Оппозиция. Два съезда, две партии. Он другой. Оттого и не понят.

«Один не услышит, другой не поймёт», — так некогда Надсон сказал, а современный поэт повторил, хоть и в неведении, что повторяет. Очень верно сказано.

Когда в 1993 году вышла небольшая книжка под неудобным названием *Нагльфар в океане времен*, мне (с моей кочки) показалось, что мир ахнет. Время еще было подходящее; еще ждали и надеялись. Эмигрантов на руках носили, ковровую дорожку им стелили. Странно вспомнить, но было: на минуту там, в России, людям почудилось, что вот сейчас они, эмигранты, вернутся из своего потустороннего мира и будут править — не страной, так культурой. Почти как после 1956 года, когда из лагерей начали возвращаться (и Фадеев с испугу застрелился).

Но мир не ахнул. Заглянули, да не поняли, а затем всё разом изменилось, люди занялись делом. Обычная история. Мир велик, а жизнь коротка. Вот я и думаю: не заглянуть ли еще раз — теперь, когда мы опять на обочине? Может, всё-таки поймем что-нибудь? Сейчас — самое время: Хазанову исполняется 80 лет.

Гендерные аллеи

«О чем бренчит?» О чем пишет настоящий писатель, тот, кто нашу душу исследует? Всегда об одном: о гендерных делах. Есть такое пре-

противное новорусское словечко. О взаимодействии прекрасного пола с менее прекрасным. Попутно там и многие другие вопросы возникают: о войне и мире (мире), о преступлении и наказании; о лагерях, если говорить о Хазанове, который сидел при Сталине. Иной раз эти вопросы и на авансцену выступают, но нас не проведешь: главное — в другом. Господь бог, которого нет, так устроил этот мир. Поработил нас, сделал рабами пола. Исходил из римского правила: разделяй и властвуй. Разделил человека на две половины. Раньше миром еще голод правил, а сейчас мы сыты (все или почти все; исключение — русская глубинка, с которой Москва обходится, как Спарта с илотами). По части любви — тоже; так сыты, как наши предки никогда не бывали. Любовь подешевела. Женщины теперь мужественны, мужчины — женственны. Неустанная работа в пользу стирания различий между сильным и менее сильным полом — такая благородная и справедливая, начатая британскими суфражистками (из-за грамматической особенности английского языка, в котором нет пола), — снижает разность потенциалов. Божий замысел сходит на нет, а с ним — и Бог. Бога становится всё меньше в нашем мире, он мельчает — и вот-вот уйдет в геометрическую точку, когда в мире останутся одни женщины (потому что биологическое место мужчины — подсобное, вторичное, праздное; без него можно обойтись). Бог — это пол. Через что еще он заявляет о себе так явственно?

Эти непосильные соображения тут к слову припелись; к Хазанову они прямого отношения не имеют. У него противостояние полов — классическое. Это тем интереснее, что сам он — не классичен, пространство и время у него не ньютоновы, а эйнштейновы; корпускула смысла проникает в два отверстия сразу, как в квантовой механике.

Две темы и ещё третья

Две темы первым делом бросаются у него в глаза, разворачиваются на фоне прошлого небывалой, притягивающей и отталкивающей странности. Одна, можно допустить, не без хомо Фабера возникла: инцест. Библейское, безотчетное, но безответное, влечение отца к дочери, брата к сестре. Тут — Эдип; острое человеческой трагедии. Трагедия ведь там, где боги подстраивают человеку ловушку — и безвинно казнят его, когда он попадает. Если человек сам виноват, трагедии нет. В настоящей трагедии нет виноватых, тем она и страшна; и выхода из нее нет. И хомо Фабер тут, пожалуй, ни при чем; он к слову пришелся. Тему не придумаешь; она должна жить в тебе, иначе она — не тема. Их, тем в литературе (в мире человеческом), незамутненных тем, всего семь: по числу дней недели, по числу главных светил у халдеев и священных го-

родов в Месопотамии; по числу нот в нотной грамоте и струн у кифары (опошлившейся до гитары). Простое число; проще — только тройца. Остальное — вариации. Занятно, что с усложнением жизни число тем не возрастает, а убывает. Карло Гоцци их 35 насчитывал; Шиллер не мог набрать тридцати, а теперь уж вот ученые мужи и жены сошлись на семи. Кстати, кто это сказал, что жизнь усложняется? Она дробится. Человек-то — уж тут невозможно сомневаться — мельчает (по мере мельчания Бога); древние были крупнее нас — и содержали нас в себе. В Аврааме — и Моисей уже заложен, и Иисус (наполовину; по материнской линии), и Маркс, и Фрейд, и Эйнштейн. Презанятная, кстати, линия получается, приводящая к мысли об относительности всякой истины.

Вторая главная тема Хазанова — совсем рискованная; тут он по острию ножа ходит. Лирический герой — герой литературного произведения или вообще любого рассказа, хоть автобиографического (а в честной биографии, говорит Орвелл, должно быть что-то постыдное), — не может совсем перестать быть героем, не должен быть лишен хоть какой-то доблести. Это — закон жанра. Берем Монтеня: уж как он себя принижает, но не до конца, с оговорочкой. Отметил это первым Руссо — и сам туда же. Я ничтожество, я последний из людей, слуга, вор, Альфонс, однако вот взгляните... Работает западная двойственность; принцип «да, но...». Это у тех, кто о себе писал. Романист же еще больше связан. Роман должен быть занимателен, персонаж — замечателен. Флобер хотел сломать этот закон, да сам сломался. Джойс... но этот, не к столу будь помянут, уже не для читателя писал и не для Бога, а для литературоведов. Вот и не сходит с экранов Джеймс Бонд (срисованный с лица вполне исторического: с Сиднея Рейли, он же — украинец Шломо Розенблюм). Другой полюс — мыльная опера, reallife. А художнику куда деваться?

Хазанов выводит простых людей (на автора словно бы и не похожих; важный принцип: отрешиться от автобиографичности). *Час короля* — не исключение; там король — тоже простой человек, хирург, да еще к тому же и уролог; опять гендерные дела, в связи с которыми там и Гитлер появляется. Как сделать простых людей интересными? Поместить их в необычные условия. Это мы проходили: Лем, Брэдбери, Азимов, Стругацкие. И до них было. Гулливер уж куда как прост, но он становится совершенно необычен в стране великанов и в стране лилипутов. То же и с Робинзоном на острове. Хазанов выходит из положения методом квантово-механическим: у него событие одновременно происходит и не происходит; и — релятивистским: искривляет пространство, смещает время. Конечно, это уже было под солнцем, но вспомним: сюжетов — всего семь (стало быть, все они заимствованные; у Пушкина,

например, нет ни одного не заимствованного), а приемов — мы не знаем, сколько, но можно поручиться, что их, агрегированных, тоже считающее число окажется; считающее и простое. Талант отвечает на вопрос: *как?* а не на вопрос: *что?*

А вот то, чего не было под солнцем — или было, да не совсем так. Как ни прост герой, в любом романе наступает момент, когда ему нужно соединиться с героиней, и — будь он хоть последний мерзавец или обыватель — тут мы с ним (или с нею) всей душой, потому что нас вплотную к Богу подводят, к биологическому заданию. Тут зов предков. Тут, хотим мы этого или нет, мы сопереживаем, перевоплощаемся в героя (на чем и держится искусство). Тут-то у Хазанова и происходит полное, последнее развенчание героя-мужчины, чего самые смелые себе не позволяли: герой оказывается несостоятелен. «Ее пальцы в отчаянии схватили его липкую, беспомощную плоть, так что он взвыл от боли. Никогда в жизни он не чувствовал себя до такой степени опозоренным...» Пример выхвачен наудачу. Не все герои Хазанова таковы, но мотив повторяется — и остается в памяти как один из главных. Еще важнее другое: тот же герой — и *в той же самой ситуации*, не в похожей, а именно *в этой, единственной* (частица входит в два отверстия сразу) — оказывается таким, как все; но ведь мы никогда не знаем, что на самом деле произошло (особенно между ним и ею), а слова — сказаны и сделали свое дело. Нормальное развитие событий сливается с ненормальным; запоминается — ненормальное. Разве захочется такое перечитывать? Разве мы полюбим такого писателя, пойдем его? Он *слишком* смел.

Что до третьей темы (третьей вариации), то она — тоже гендерная, но уже в самом широком смысле: это — ужасы двадцатого века, самого жестокого в истории человечества. Тут у Хазанова опять неудобство. Зачем писатель возвращает нас к лагерям и газовым камерам? Надоело. Мы больше не хотим. Мы хотим радоваться жизни, которая (черным по красному) удалась. Но ведь палачи тоже именно этого хотели — и они никуда не делись, они и сейчас хотят, только палачествуют по-новому...

В аллеях темно

Хазанов темен, как Достоевский. Точнее, как Тинторетто: тот ведь совсем не темен, если приглядеться и вспомнить. Так и тут. Светлая, спору нет, вещь *Час короля*, хоть это и схема с трагическим задником; но она ранняя, а остальные — темноваты. В компанию к его героям — не тянет. Зачем он выбирает такие краски? Почему не хочет порадовать нас, больных?

Потому что мы не заслужили радости. Покоя тоже не заслуживаем. Это одно. А второе и главное вот что: искусство ведь не о радости трактует, а о наслаждении, и по этой части в темных аллеях всё в порядке. Когда свыкаешься с освещением, от картин Хазанова не оторваться, они возвращаются и остаются. Десять раз произнесенный в его адрес упрек несправедлив: он — не мыслитель в своей прозе, он художник. Говорят: в его аллеях темно, потому что они перегружены мыслью. Верно; но эта мысль совершенно так же не вычлняется из Хазанова, как из Толстого. Она еще меньше вычлняется: она — парадоксальна, провокативна; не к евангельской жизни приглашает, а к наслаждению текстом — только и всего. Вот мы на днях еще немножко повзрослеем и поймем: нельзя изображать, не размышляя.

«Если в кране нет воды...»

Еще говорят: Хазанов засовывает нас в чулан. Вместо раздольной русской жизни с ее матушкой-Волгой (великой татарской рекой), вместо пресловутой всемирной отзывчивости — русский писатель всё сползает на еврейскую тему. С чего бы это? Берем его *Антивремя*: уж тут-то, думаешь, обойдется, ан нет: под конец прорывается. И как! Но об этом рассуждать не будем; это нужно перечитать, пережить. Нельзя пересказать писателя. Мир созерцает художник — и судит, и дерзкою волей, / Демонской волей творца — свой созидает, иной. Писателя, художника только коснуться можно, прокомментировать по касательной. Человек равновелик вселенной; частица его внутреннего мира, вынесенная в текст, — тоже.

Отчетливо помню это чувство: меня засовывают в чулан. Но оно прошло. Оно было искривлением пространства, очень советским искривлением. Советский мир был заповедником XIX века в двадцатом. В культуре мерещился пантеон; писатели казались властителями дум. (Это ж нужно было такую формулу придумать: *писатель земли русской!* Отчего мы никогда не слышали о *писателях земли английской, французской?*) Народничали. Священнодействовали до самого начала 1990-х. Великая русская литература — и вдруг евреи. Нельзя ли без них?

Нельзя. Так уж случилось исторически. С другими народами тоже случалось. Сегодня в каждом втором испанце течет такая маленькая примесь еврейской крови. Евреи — коренные жители Испании; они там до испанцев появились. В Россию они тоже не приходили: Россия пришла к ним. И вышло, что нельзя написать честную прозу о России XX века, обойдя стороной еврейский вопрос. Деревенская проза (как и на-

учная фантастика) была эскапизмом не только от советской власти: еще и от евреев. Мол, там, в глубинке, где еще история не началась, уж там-то их нет. Напрасный труд! Они есть и были всегда. Достаточно вспомнить, что такое жидовище, как Троцкий, — выходец не из мещан черты оседлости, а *из русских крестьян*. Сам Хазанов работал врачом в сельской больнице. А ссыльные в Сибири? Но это долгий разговор. Проза — не для крестьян пишется, не для русских крестьян. Они если и жнут, то не разумное-доброе-вечное. А городская русская жизнь без евреев — такая же схема, как производственный роман. Не хотите — не ешьте. Истина нелицеприятна. Кажется, это Лютер сказал, но мы и без него знаем.

Еврейский вопрос — вопрос на засыпку. Пробный камень, если угодно; камень преткновения, на котором новгородец Васька Буслаев шею сломал. В страшную глухую пору, когда дышать было нечем, когда буддийская Москва подавила всё живое, честь России спас один харьковчанин с татарской фамилией:

Благодарствую, други мои,
за правдивые лица.
Пусть, светла от взаимной любви,
наша подлинность длится.

Будьте вечно такие, как есть, —
не борцы, не пророки,
просто люди, за совесть и честь
отсидевшие сроки...

Одного я всем сердцем боюсь,
как пугаются дети,
что одно скажет правнукам Русь:
как не надо на свете.

Видно, вправду такие чай,
уголовное время,
что все близкие люди мои —
поголовно евреи...

Борис Чичибабин, если не вспомнили. Написано в 1978 году.

И *еврейский ответ* не обойдешь. Испания, выбросив евреев, за сто лет съехала на положение второстепенной державы — а ведь над нею солнце не заходило. Еще один долгий разговор. Оборвем на полуслове.

С Хазановым же так вышло, что чулан оказался тоннелем, в конце которого — свет. Выходом в широкий мир, к той самой всемирной от-

звывчивости, которая на поверку не вовсе русской оказалась. Здесь он тоже смел до дерзости. Он говорит нам: можно быть евреем и русским. Одновременно. Русским писателем (писателем земли русской, в эмиграции, без всякой земли, потому что любая земля — жупел) и евреем. Евреем — и русским националистом: потому что кто же такой националист, как не служитель национальной культуры (а ведь Хазанов по-русски пишет)? Этот тип обозначился в России после 1990-го: честный русский националист из евреев, еврейства не прячущий. Хазанов опередил типаж на десятилетия. Он всё это понимал уже тогда, когда слово *еврей* стало открытым ругательством, преспокойно заменив запретное (и совершенно безобидное) слово *жид*. О расистах не говорим; смешно говорить. Генетический великоросс — выдумка и суеверие. Никогда, ни на одном этапе своей истории русские не были племенем: всегда — связкой племен; всегда — государственной и культурной общностью. Нужно ли напоминать, что сегодня вторая религия в России — ислам? И что первый — самый первый — документ древнего Кива написан на иврите?

«Пастернак да сельдерей»

В 1980-е годы в одной ближневосточной стране, на четверть русскоязычной и сегодня уже не столь отдаленной (а в ту пору словно на Марсе находившейся,) группа молодых — точнее, еще нестарых — людей (находившихся в плену прежней, из XIX века вынесенной, утопии, мечты о великой русской литературе, о великом и могучем языке) задалась престранной мыслью: выявить среди современников абсолютного стилиста (естественно, пишущего по-русски). Долго ломали копья — и к единому мнению не пришли. Где два еврея, там три мнения. У меня есть на этот счет мнение, но я с ним не согласен. Обычная история. Солженицына («с чисто семитской жестокостью») отвергли сразу. Иные готовы были признать, что он писатель земли русской, все признавали его вклад в борьбу с подлым и бездарным режимом, но за стилиста его не держал никто. Было ясно: человек лишен всякого языкового чутья; не владеет нормативным языком, оттого и юродствует в слове (и еще оттого, что юродивый на Руси всегда найдет сочувствующих).

Запутались в определениях. Брать ли в расчет публицистов и эссеистов, или только прямых прозаиков? Запутались в именах. И, вот беда, почему-то выходило, что все кандидаты — евреи, а этого участникам спора совсем не хотелось. Не сразу догадались, в чем дело, хотя вопрос был проще пареной репы: стилист — в первую очередь хранитель; страж культуры; а у национальных алтарей, куда взгляд ни кинь, всегда кордегардия из нацменов...

В итоге затею эту бросили; но Хазанов в споре был назван, и отстаивали его с большой, чисто русской литературной горячностью. Не как абсолютного стилиста, таких нет, а как лучшего стилиста современности.

Пройдет ли он в короткий список сейчас, когда многие пишут хорошо, иные и замечательно (а большой литературы нет)? У Хазанова (прости, Флобер!) встречаются однокоренные слова на одной странице, даже в одной фразе. Его книги обставлены эпитафиями из красного дерева на гнутых ножках, совершенно лишними и неуместными. Названия — почти все неудачны, вызывают ненужные, неверные ассоциации. *Антивремя. Московский роман...* Один подзаголовок чего стоит! Что делать читателю, а таких немало, который по-настоящему, в сердцах, не любит эту новую Ниневию, город кровей, бесовестный, паразитический город, чуждый и враждебный России?

Есть, есть что поругать у Хазанова. Кто без греха? Но одно придется признать: текстов более густых, более ассоциативных и более выверенных сейчас не найдешь. Он — уж это точно — самый образованный писатель современности (и чуть-чуть излишне щеголяет своей эрудицией; как Борхес). Густота ткани превращает его короткие вещи в длинные. Он пишет медленно — и читать его квантово-механическую прозу приходится медленно, по-старинке.

Расстрел без права переписки

«...из нынешних жителей Косова...», пишет он. Слава богу! Многие ли сейчас понимают, что только так и правильно? Флексии уходят из языка; с ними уйдет и язык, а с языком — последняя память о русском народе, не теперешнем, он стоит недорого, а о том, которого больше нет: который создал великую литературу, литературу милосердия и сострадания. Авторы мультфильма *Трое из Простоквашино* — изменники родины; по ним 58 статья сталинской конституции плачет (по которой сидел Хазанов). В сознании миллионов детей застряло на всю жизнь, что названия типа Косово, Пулково, Шереметьево, Переделкино, Иваново не склоняются: Сказать «трое из Простоквашино» — дикое уродство; то же, что сказать «трое из Москва». Но так и будет. Так — с немецким акцентом — будут говорить в самом непосредственном будущем. В современной Москве уже говорят не по-русски, да заметно это только со стороны.

Кощеево царство

«Вот экспозиция: похожая на реку из грязи дорога и кузов застрявшего грузовика. Кругом поле, заросшее диким бурьяном... Вылез-

шему из кабины горожанину кажется, что он попал на край света. Из-за горбатого косогора, на который так и не удалось взобраться, выглядывает деревня, полтора десятка прохудившихся и кое-как залатанных крыш. На плешивом лугу, точно павший конь князя Олега, разлагается какой-то землеобрабатывающий механизм. И всё это кощеево царство затянуто паутиной дождя...

Однажды, бродя по полям, заезжий гость, ибо кому же еще могут прийти в голову подобные мысли, спускается в лощину, по упавшему дереву храбро перебирается через тихую речку и попадает в другой век. Два ряда древних ползасохших лип, аллея, заросшая травой, и вдалеке белеет дом с колоннами. Этот дом пуст. Колонны осыпались, обнажился кирпич. За домом, призвав на помощь воображение, можно обнаружить остатки дворянского парка, где гуляет привидение — барышня в соломенной шляпе, в белом платье, с книжкой в руках. Перед вами памятник погибшей цивилизации. Здесь обитало исчезнувшее племя — в этих поместьях, близ этих рек...»

Это из публицистики Хазанова. Было время, когда в Хазанове ценили не столько писателя, сколько публициста. Тут стилистический его блеск на виду, и многие отмечали это, а мешало многим (большинству) — то же, что в прозе мешает: мысль. Большинство стервенеет, когда натывается на непривычное, неуютное. Большинству кажется, что оскорбляют святыню. И большинство право: мысль — кощунственна по самой своей природе. Разве не богохульствовали Коперник, Джордано Бруно, Галилей, Эйнштейн?

Хазанов сказал страшные вещи. Например, что Россия, которую мы так страстно и безнадежно любили под серпом и молотом, — миф. Сказал, когда путинская Россия и на горизонте не маячила. Разве это не пророчество? Сказал, что русский народ — выдумка русской литературы. Народа, о котором грезили Толстой и Достоевский (а с их подачи Европа), никогда не существовало; существовал в эмбрионе, в крепостничестве, в доисторической дремоте — сегодняшний русский народ, с гусеницами, боеголовками и полонием. В 1917 году он покончил с *другим русским народом*, верхним, совестливым, тем, который создал культуру и мечту о всемирной отзывчивости; вытеснил этот народ — и Россия словно маску сбросила; на месте христианского милосердия изумленному миру предстала злоба, замешанная на зависти, и неслышанная жестокость... Отчетливо помню, как страшно, как горько было читать об этом тогда, когда с Россией еще связывали какие-то надежды.

Первый ли Хазанов произнес эти страшные вещи? Какое! Сюжетов — всего семь... Разве не Георгий Иванов сказал (ямбом): «России —

не было»? За полвека до Хазанова сказал. Разве Владимир Вейдле, православный мыслитель и страстный патриот, не сказал: «Россия — не удалась, исторически не состоялась»? И другие догадывались. Но был запрет, внутренний, нравственный запрет, подсказанный любовью, — и Хазанов, тоже движимый любовью, нарушил его в самое неподходящее время: в 1970–80. Одни не услышали, другие не поняли. Не хотелось такое слушать. Был же у европейских интеллектуалов запрет на ГУЛАГ. Лучшие умы отвергали это как бред и кощунство. Люди предпочитают верить, а не думать.

Мечта о добром самаритянине

Есть еще одна тема, одна вариация. Хазанов сполна отдал дань мечте о России. Так любил ее, так мечтал о ней, как немногие. Резал по живому, уезжая (уезжал же в ту пору, когда уезжали навсегда). Сотни, тысячи эмигрантов 1970–80-х пережили свой единственный приступ ностальгии еще до отъезда: принимая решение уехать (а уехав, так и не узнали ностальгии классической, которую Цветаева называет «давно разоблаченной морокой»).

Одно из преломлений этой любви у Хазанова — мечта о русском человеке. В *Чудотворце* христианский священник гибнет от нацистской пули, пытаясь остановить отправку евреев в Освенцим. В *Анти-времени* перед юношей сталинской поры (за день до его ареста) открывается возможность эмигрировать, ему сулят человеческое достоинство, общество без лжи и жестокости, Кембриджи и Сорбонны, а он твердо отвечает: «Нет», и это при том, что в семье — голод, да и неродной он в этой семье, а приемный (очень, очень важная символика). Конечно, не только о русском человеке мечтает ранний Хазанов, а о человеке вообще. *Час короля*, где герой — скандинав или немец — апофеоз этой мечты. Но в первую очередь — о русском.

Была у Хазанова, может, и по сей день не умолкла, вера в то, что великий для России девятнадцатый век не вовсе умер, что остался в этой стране тончайший, но плодоносный слой тех особенных людей, которые так много дали миру. И к христианству Хазанов был близок. Горько и больно видеть, чем это обернулось. На мечту о добром самаритянине (не одного Хазанова, другие тоже мечтали) Россия ответила беспримерным в истории образом: убийством Александра Меня. О сегодняшней России и не говорим. Тоже ответец хоть куда. В семидесятые и восьмидесятые годы в самиздате ходила вещь Хазанова *Новая Россия*, проникнутая любовью и верой. Зарубленному топором священнику в одном повезло: новой России он не увидел.

«Я продолжаю читать Бориса Хазанова, иногда с интересом...» — пишет московский эссеист, старший соратник Хазанова по «застойной поре», несколько злоупотребляющий местоимением первого лица единственного числа. Он остался, не эмигрировал — и продолжает спорить с Хазановым по этому ностальгическому пункту: «...ни одна вещь, написанная в Мюнхене, не брала меня за горло так, как “Час короля”, „Запах звезд“, „Взгляни в глаза мои суровые“. Только возвращение к памяти детства, начатое еще в Москве („Я воскресение и жизнь“), сохраняло свою теплоту...»

Старая песня, не правда ли? Почвенническая. В человеке мыслящем — странная. Цветаевой «разоблаченная морока» не помешала; десяткам наших современников — тоже. Отчего бы, произнося такие оценки, не брать в расчет разрешающую способность прибора? Наши душевные диоптрии изнашиваются; и, кроме того, мы частенько надеваем на них идеологические фильтры. Мы не свободны от этой потребности (очень гендерной): всё примерять на себя, самоутверждаться за счет других. Не растерял Хазанов теплоту (и не теплота у него главное), а «за горло» — или, скорее, за душу — бог весть кого он еще возьмет; иные еще и не родились. Проза ведь — не эссеистика, она живет долго.

Кто, если не он?

В связи с Бродским был некогда задан умилительный вопрос: достойны ли мы быть его (Бродского) современниками. Спрашивавшая была современницей Колмогорова, Шостаковича, Томаса Манна — и застала Гитлера, Сталина. Будь она поумнее и покультурнее, она бы спросила: доросли ли мы до Бродского? Именно это она хотела спросить, да не смогла. До Бродского мы доросли — потому что оценили его при жизни; не без помощи шведской академии, но всё же. С Бродским шведские академики (случайно) не промахнулись, спасибо им, хотя вообще история Нобелевской премии интересна именно их ошибками. Они проглядели Георгия Гамова, физика, которому полагались две премии по физике и одна — по биологии... за двойную спираль Вотсона и Крика. Из русских писателей *ни один не получил* эту премию только за свой талант, без учета политической конъюнктуры. Эстетическая конъюнктура тоже важна: вспомним Грэма Грина. Вообще в Стекольные держат нос по ветру, черную Африку не забывают (по разрядке и в угоду политической корректности), на восток же поворачиваются нехотя, и тут они правы: это обочина, если не интеллектуальная, то уж языковая — точно. Чернокожие поэты Анголы, пишущие по-португальски, ближе Европе, чем те, кто пребывает в кириллице.

Доросли ли мы до Хазанова? Непохоже. Шведские академики — и того меньше; и тут их не упрекнешь: им трудно. Сидит человек в Мюнхене, пишет кириллицей про евреев (на самом деле — про русских, но один не услышит, другой не поймет), партией на щит не поднят, шороха знамен за его спиной не слышно. Родись он и вырасти в одном из нормальных западных языков, хоть в том же португальском, все было бы в порядке: был бы услышан многими и сразу, а не по очереди; в свои 62–65 лет, как положено, получил бы Нобелевскую премию, то есть на минуту был бы выхвачен лучом юпитера и тотчас забыт (как Айзек Башевис Зингер, сказавший о себе: «Вчера — еврейский писатель, сегодня — нобелевский лауреат, завтра — еврейский писатель...»). Нобелевская премия ведь только в России кажется помазанием на царство, а здесь... — здесь Грэм Грин и не заметил ее отсутствия, у него была премия поважнее.

На Хазанове гимнастерка не пуста, несколько московских регалий (еще честных, не теперешних) позвякивают на ней. Не знаю, к лицу ли они ему. Не знаю, пошла ли бы ему и нобелевская побрякушка. Ну, выдвинут его. Ну, задумаются в Стекольные; люди они умные и честные (не в пример москвичам), хоть и трудно им. Ну, получит он ее. Что толку? Где «великая русская литература»? Про сегодняшнюю только одно можно сказать: она то потухнет, то погаснет. Нет, по мне — пусть уж лучше Хазанов останется в одной компании с Толстым, которому шведы — «Запад есть Запад, Восток есть Восток» — Кишлинга предпочли.

СОДЕРЖАНИЕ

ALTER EGO

Универсальная грамматика	7
Horologium Dei	20
Гиббоны и облака	31
Жизнеописание Л.Лурье, основателя Новой Каббалы	42
Идущий по воде	50
Похож на человека	58
Διαλογοί	68
Alter Ego	79

ТРИПТИХ О ВЕЧНОСТИ

I. Девушки	89
II. Ульрика, или Спасённая добродетель	94
III. Мэри, или Обещание	109

РУССКИЙ СОН О ГЕРМАНИИ

Тот, кто отважился	125
Похороны дракона	133
Ута, или Путешествие	148
из Германии в Германию	148
Еврей в этой стране	160
Дым Отечества	165
Русский сон о Германии	169
Конец утопического века (<i>О книге И. Феста</i>)	180
Нечаянное будущее	185
Человек за бортом	187

ИМЕНА

Человек: семантический портрет (<i>В.В.Налимов</i>)	193
Стефан Цвейг	197
Рембо, или Спящий в долине	201
Канетти	207
Эрнст Юнгер, или Прелесть правизны	213

КРИЗИС ЭРОТИКИ

Писатель в языке и традиции	237
Апология нечитабельности	239
Тоска по многословию	253
Притча о соглядатае	256
Кризис эротика	259
Россия: язык и действительность	263
Сага о паспорте	266
Ещё живо чрево	271

В ЛУЧАХ ЧУЖИХ ПЛАНЕТ (Переводы)

<i>Иоганн-Баттиста Метц (Johann-Baptist Metz)</i>	
Христиане и евреи после Освенцима	277
<i>Себастьян Гафнер (Sebastian Haffner)</i>	
В тени истории	292
<i>Голо Манн (Golo Mann)</i>	
Карл Маркс	306
<i>Вилем Флюссер (Vilem Flusser)</i>	
Родина и чужбина	320
<i>Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker)</i>	
Мы, Федеративная республика	329
<i>Лешек Колаковский (Leszek Kolakowski)</i>	
Политика и дьявол	345
Похвала изгнанию	363
<i>Джеймс Биллингтон (James Billington)</i>	
Ирония русской истории	368
<i>Элиас Канетти (Elias Canetti)</i>	
Из книги «Масса и власть»	376
<i>Иоахим Фест (Joachim Fest)</i>	
Последние дни Рейха	388
Размышления об аполитичном	404

ПРИЛОЖЕНИЯ

Леонид Люкс

Борис Хазанов — к восьмидесятилетию 429

Юрий Колкер

Писатель земли русской 431

Борис Хазанов

В лучах чужих планет
Рассказы, статьи, переводы

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Оригинал-макет подготовлен *Б. Н. Марковским*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304, тел. (812) 577-48-72
E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел продаж*),
aletheia92@mail.ru (*редакция*)
www.aletheia.spb.ru
Заказ книги: fempro@yandex.ru, тел. (812) 951-98-99

*Книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:*

«Историческая книга», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездииковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
Магазин «Гилея», Тверской б-р., д. 9. Тел. (495) 925-81-66
Магазин «Циолковский», Новая площадь, 3/4, подъезд 7д.
Тел. (495) 628-64-42
«Галерея книги „Нина“», ул. Бахрушина, д. 28. Тел. (495) 959-20-94

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x88¹/₁₆. Усл. печ. л. 27,32. Печать офсетная.
Заказ № 1533.

Отпечатано в цифровой типографии «Буки Веди»
на оборудовании Konica Minolta
ООО «Ваш полиграфический партнер»,
ул. Ильменский пр-д, д. 1, корп. 6
Тел.: (495) 926-63-96. www.bukivedi.com, info@bukivedi.com



Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

Заключительный том Собрания сочинений Бориса Хазанова содержит рассказы, очерки, памятные записи разных лет. Книгу завершают избранные переводы работ известных современных западных авторов.

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги:

Истинная история минувших времен.

К северу от будущего. Романы и повести

Третье время. Романы и повести

После нас потоп. Романы и повести

Вчерашняя вечность. Повести и рассказы

Опровержение Чёрного павлина. Романы, повести, эссе

Миф Россия. Статьи и эссе

Подвиг Искарриота. Рассказы, статьи, письма

В лучах чужих планет. Рассказы, статьи, переводы